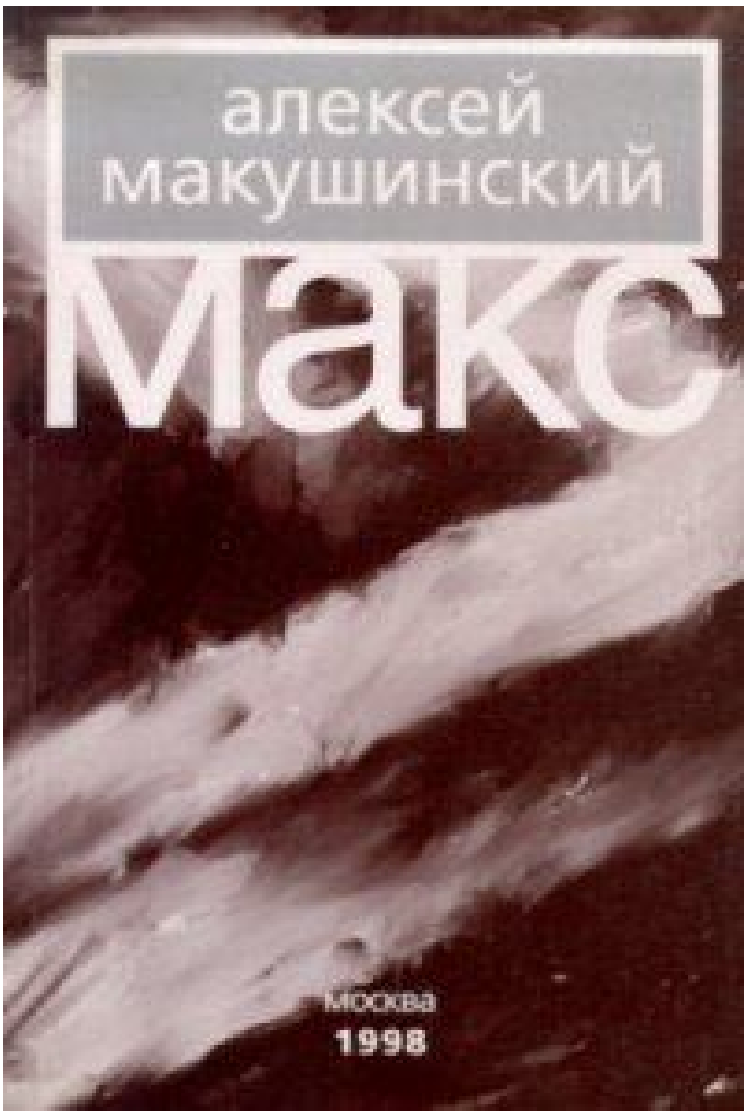
алексей
макушинский
Макс
Москва
1998

Алексей Макушинский

МАКС

Роман

1

— Я поворачиваю обратно, — мне часто вспоминается теперь эта фраза, сказанная когда-то Максом. Он сказал ее совсем просто, как что-то обыкновенное и не имеющее значения, — и тем более странно прозвучала она в окружавшей нас тишине.

Он достал сигареты и закурил. Потом очень медленно, как будто все еще раздумывая и сомневаясь, повернулся и пошел обратно, туда, откуда мы пришли. Я смотрел ему вслед, ничего не понимая, не в силах справиться с изумлением. Было очень холодно, я мерз без перчаток. Лес стоял огромный, притихший, заваленный снегом. В морозном воздухе уже угадывались сумерки.

Макс шел не оборачиваясь; я догнал его.

— Но послушай, — сказал я, — ведь нас ждут…

— Кто же? — так он ответил. Можно было подумать, что он и в самом деле не знает, кто нас ждет, куда мы шли, где мы находимся. Во всяком случае, разговаривать он не желал. Окурок он бросил в снег. Где-то высоко пролетел самолет, звук его был слаб и нерешителен, он как будто боялся спугнуть тишину этих январских — нет, еще декабрьских сумерек.

Вот так это вспоминается мне сегодня: заметенный снегом лес, где темнота уже притаилась между сосен, дымок Максовой сигареты — и этот на секунду образовавшийся зазор между событием и возможностью поверить в него, эта вдруг приоткрывшаяся и потом плавно, по мере того как он удалялся в сумерках, закрывавшаяся и наконец, когда я очнулся и пошел за ним вдогонку, окончательно захлопнувшаяся дверь.

Я поворачиваю обратно.

Под стук колес повторял я эту фразу, в душном купе, бессонной железнодорожной ночью. Я уехал из Москвы, самого странного на свете города, и вот теперь здесь, в маленькой и никому не ведомой деревушке на берегу Балтийского моря — поворачиваю обратно.

Мы здесь жили когда-то вдвоем; я живу здесь теперь — один. Сейчас ранняя весна, уже тепло, позавчера в ночь растаяли последние льдины, еще лежавшие у самого берега, когда я приехал. Я подолгу гуляю, сначала вдоль моря, потом захожу в дюны, и там, перебираясь с холма на холм, можно подглядеть самые неожиданные пейзажи. Ты идешь по мягкому, обволакивающему сапоги настилу из мха и красновато-бурого вереска и вдруг, поднявшись на очередной холм, видишь, за отпрянувшими соснами — море, и это подобно Бог знает откуда зазвучавшей музыке. И только возвращаясь обратно, я понимаю, что невольно и в точности повторил маршрут наших с Максом, когда-то, прогулок.

Время течет медленно. Один день похож на другой, я не считаю их. И эта неторопливость меня радует, она сродни моим теперешним занятиям. Прошлое, в которое я хочу вернуться, прошлое, которое я хочу вернуть, подается с трудом и уступает понемногу.

— Я поворачиваю обратно, — сказал Макс. Он и в самом деле остановился, закурил сигарету, посмотрел на горящую, потом погасшую спичку, потом медленно, как будто все еще раздумывая, сомневаясь, повернулся — и пошел обратно, туда, откуда мы пришли. Становилось все темнее, все тише. Макс бросил окурок в снег.

Темнота уводит куда-то в сторону, смешивает предметы, превращает лес в замок, изгиб дороги делает деревом. Мы шли, уже почти не разбирая тропинки, проваливаясь в снег, молча, — и вышли, наконец, к станции с тускло горевшими фонарями. Старые, круглые, с грустно прыгавшей минутною стрелкой часы показывали: половину шестого.

Макс постучал в окошечко кассы, и рука невидимой кассирши протянула нам билеты.

Дул холодный и злой ветер, заметал рельсы, рвал в клочья облака, выхваченные из мрака ко всему безразличной зеленоватой зимней луной.

Уже в поезде я что-то сказал ему, и он мне что-то ответил, что — я не помню, какие-то, вполне случайные фразы. В окне была ночь, далекие огни, внезапная станция, отражения наших лиц.

На другое утро он пришел ко мне.

— Я отказываюсь, я не иду дальше, — сказал он.

По ночам, прислушиваясь к шорохам и скрипам в чужом доме, где я снял комнату, я чувствую окружающее меня пространство, со всеми его деревьями, дорогами и домами, — чувствую, как оно растягивается, разбегается в разные стороны, стремится вдаль, вширь, ощущаю, в самом себе, его растяжение, — напряжение, — пафос дистанций и расстояний, и уже засыпая, я провожу в нем линии, вычерчиваю узоры, соединяя далекое и близкое, уже бывшее и еще только имеющее быть. Две фигуры идут навстречу друг другу; они идут странно медленно, все сближаясь и сближаясь, и кажется, им так никогда и не встретиться — и вдруг одна из них сворачивает куда-то влево и исчезает в тени неразличимых отсюда деревьев.

Вот так я впервые увидел Макса.

Холодным утром в начале августа мы шли навстречу друг другу по безлюдной улице еще спавшего дачного поселка, шли странно медленно, все сближаясь и сближаясь, и казалось, мы так никогда и не встретимся, и вдруг он свернул куда-то влево, в одну из дач, и калитка с ржавым скрипом пружины захлопнулась за ним, и имен мы еще не знали, и так вот шли, безымянные, навстречу друг другу, и все-таки не встретились, потому что он свернул вдруг куда-то влево, и его еще не названное имя — Макс — повисло в воздухе, застыло и притаилось, чтобы вечером того же дня прозвучать, наконец, с достойной человека отчетливостью.

2

С тех пор прошло неправдоподобно много времени. Это был дождливый, сырой и темный август, с уже почти осенними красками, с уже пожелтевшими, хотя еще и не опавшими листьями и с тем потаенным, осенним ощущением жизни, которому я отдавался тогда с такой непосредственностью и полнотой, на какую теперь уже, видимо, не способен. Я жил в опустевшем поселке, в пустом доме, один; вставал рано; проснувшись, выходил из дому — Макс, шедший мне навстречу, свернул вдруг куда-то влево; калитка, с ржавым скрипом пружины, захлопнулась, помедлив, за ним.

Он шел, то вынимая, то снова засовывая руки в карманы, останавливаясь, глядя по сторонам; и хотя лица его я видеть, конечно, не мог, что-то знакомое увиделось мне в этом смутном, неясном, от серой утренней дымки еще с трудом отделявшемся облике, — образе, — очертании; что-то знакомое было в его походке, и в том, как смотрел он,

шагая, по сторонам, и даже в том, как свернул он куда-то влево, в одну из дач (и калитка захлопнулась за ним…) — во всем этом было что-то… да, что-то, пожалуй, знакомое, уже виденное — быть может. Во всем этом было что-то — неведомое, не виденное — ни разу, увиденное — впервые.

Я остановился, постоял, повернул обратно — и пошел, как обычно, к станции, но: другой дорогой, краем леса, по узкой, с выступавшими из земли корнями, тропинке, с высокими, по бокам ее, травами, мокрыми от ночного дождя. Шум поезда вдалеке — и вот он, через поляну, набирающий, отходя от станции, скорость, мелькающий за деревьями, — и вот он уже исчезает в их чаще, и только шум его еще долго отзывается в воздухе.

И так же долго стоял я, — на опушке леса, один, — прислушиваясь, замерев, — с внезапным чувством: внезапного, чудесного пробужденья.

А вечером того же дня, когда уже начинало темнеть и в поселке загорелись уже фонари, я шел по той же улице, под совсем мелким, наискось, в отсвете фонарей, струившимся, падавшим и летевшим дождем, — прошел тот дом, и забор, и ту калитку, куда он свернул утром, еще безымянный, — и вот кто-то догнал меня, посмотрел мне в лицо, пошел рядом. Вот так мы и кружим в пространстве, сближаясь, расходясь, догоняя друг друга.

— Я видел вас утром.

— Я тоже.

— Но и раньше мы виделись.

— Может быть.

— Где-то здесь, на этих улицах, в этом поселке.

— Пожалуй.

— Я не помню лишь вашего имени.

— Макс, — сказал он.

Вот так мы и кружим в пространстве.

Август: начало всего.

И на другое утро он сам зашел ко мне, оказался вдруг на пороге, и через заднюю, в глухом заборе, калитку мы вышли, я помню, в лес, и в лесу было совсем-совсем тихо, темно, были осины, орешник — с мягкими, мокрыми листьями, туман над поляной, влага, застывшая в воздухе; и был, я помню, еще один, чуть более светлый, чем все остальные, смутно-дымчатый, тающий, — и еще, и еще один — последний, как потом оказалось — опять темный и снова пасмурный день; и мы очень долго шли, вместе с

Максом, куда-то, к дальнему шоссе, под дождем; и потом весь вечер сидели у него, на веранде; и придя домой я заснул; и тут же проснулся; и была уже ночь; всплески, шорохи, падение капель; внезапное волнение охватило меня; я вышел на улицу. Дождь кончился; редкие звезды показались среди невидимых облаков. Я не зашел к нему — Максу; в его окнах не было света. Я постоял у калитки, держась за нее руками; я вспоминаю теперь это ощущение мокрой древесины под ладонями, неровной и трудной; мелких капель, навсегда остающихся на пальцах… И на другое утро, опять-таки, его уже не было там; дверь была заперта; и я побродил еще немного по улицам, по лесу, и в конце концов уехал, как и он, Макс, в Москву, в этот город, самый странный на свете — из которого я снова уехал: теперь — уехал теперь: сюда.

Отступая в прошлое, события и вещи меняют свою природу; очертания их кажутся воздушными, легкими — как очертания облаков, плывущих над морем; вся тяжесть жизни из них исчезает; вся смутность жизни исчезает из них. Сегодня ясный и солнечный, весенний балтийский день, один из тех дней, когда видно далеко до боли, когда, выйдя к морю, можно различить каждый в отдельности домик в соседней деревушке километрах в пяти от нашей, и в том особенном, одновременно прозрачном и пронзительном свете, какой бывает, наверное, только здесь, у этого моря, с совершенной отчетливостью, чуть-чуть подрагивая на ветру, проступают все ветви всех сосен, все ракушки, и даже тени их, следы на песке. События и вещи, отдаляясь, преображаются. Отдаляясь, вещи, события влекут и чаруют нас — издалека… Но есть блаженные минуты, когда мы видим настоящее так, как видим обычно лишь прошлое, с той же отрешенностью, с тем же вниманием, как будто отсутствуя, но, может быть, именно потому присутствуя в нем, — блаженные минуты, которые случаются с нами всякий раз неожиданно, сами собою, — на берегу моря, на повороте в какой-нибудь переулок…

Театр же — на маленькой площади — был найден Максом случайно, во время его бесконечных блужданий по городу, блужданий, которые каждый день начинались сначала, варьировали на разные лады все те же улицы, переулки и дома, и охватив и проиграв уже известное, прибавляли к нему всякий раз еще и малую толику неведомого — каковая на следующий день возникала вновь и чуть-чуть измененная, в ином порядке улиц и поворотов, осуществляла себя самое, прежде чем уступить место дальнейшему движению темы. В ту осень ветер с такой яростью набрасывался на город, с таким неистовством гонял по улицам листья, мусор, обрывки газет, что даже самые невнимательные из горожан, самые прохожие из прохожих то и дело

останавливались, испуганно замирали — и подолгу стояли так, прислушиваясь, присматриваясь к чему-то, застигнутые врасплох. Людей, впрочем, немного было на улицах.

Он как будто впервые открывал для себя этот город, самый странный на свете (этот город, из которого я уехал — и который отсюда, теперь, кажется мне чем-то почти немыслимым, невозможным: как если бы его никогда и не было вовсе…); однажды, выходя из дому, посмотрев на небо — с разорванными, то и дело менявшими свои очертания, сливавшимися и вновь, друг от друга, отделявшимися облаками, — с мгновенными просветами, проблесками: голубизны, синевы, как будто тоже летевшей, улетавшей куда-то и словно выцветшей, вылинявшей на ветру, — выходя из дому, посмотрев на небо и опуская глаза, я вдруг увидел его, Макса: в проеме арки, совсем неожиданно.

Я выбежал в переулок; я увидел его со спины, уходящим. Чем дальше он уходил, тем яснее, удивительным образом, вырисовывался на фоне деревьев, листьев и облаков.

И почему-то я не окликнул и не догнал его: я до сих пор не знаю и не могу понять почему…; Макс же шел и шел дальше и после бесчисленных поворотов, углов и арок, бесконечных переходов из света в тень и обратно, в очередной раз прибавив неведомое к известному, очутился на маленькой, совсем маленькой площади, образованной углом одного дома, торцом другого, стеной третьего: — и вот, в глубине ее, на повороте в уже совсем ему, Максу, незнакомую улицу — такой же, как и все остальные на площади, — маленький, двухэтажный — старый и ветхий, — и так же косо стоявший, — и все-таки выделявшийся из всех остальных, — с жестяным навесом над ведущими к входу ступеньками, — с цветными, раскрашенными и разрисованными плакатами, афишами в окнах, — черно-белыми, очень блеклыми фотографиями: — вот, следовательно, в глубине площади, еще один дом: театр, следовательно, на маленькой площади.

То ли ему показалось, то ли и в самом деле ветер вдруг начал стихать, смиряться, сдаваться… Он постоял у афиш, посмотрел на плакаты и еще, должно быть, раздумывая, зайти или нет, поднялся по ступенькам, взялся за (медную, тяжелую…) ручку — и тут дверь вдруг сама собой распахнулась: наружу, едва не сбив его с ног, — и — смутной тенью в темном проеме, заполняя его собою — высокий, с удивлением смотревший на него человек оказался вдруг перед Максом. Макс, уступая ему дорогу, сделал шаг влево: тот (уступая дорогу Максу…) — туда же; Макс вправо: тот тоже; — и они еще пару раз столкнулись друг с другом, прежде чем, неожиданно рассмеявшись, тот не отвел его в сторону, решительной и твердой рукою.

— Входите, входите же, наконец, — сказал он (смеясь…).

— А я и не знал, что здесь театр, — ответил на это Макс (не в силах справиться с замешательством…).

Но тот уже выходил, и дверь плавно, уже не заботясь о ветре (который и в самом деле начал как будто стихать…), закрылась за ним — вышедшим: и за вошедшим, соответственно, Максом.

Человек, столкнувшийся с ним в дверях и сказавший *входите*, был Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер (как называл его впоследствии Макс…): тот, кому много позже, в холодный, почти январский, еще декабрьский вечер, предстояло ждать нас и не дождаться: ведь мы повернули обратно (с чего я и начал…), дошли в темноте до станции и возвратились в город.

Спускаясь же вновь по ступенькам, он, то есть Макс, обнаружил, что день, ветер и осень оборвались и закончились за те несколько, предположим, минут, которые он провел там, внутри, в вестибюле театра, рассматривая афиши и покупая, на ближайший спектакль, билет. Были сумерки — уже почти зимние; ветер, действительно, стих (смирился и отправился восвояси…); облака исчезли; просветы и проблески: в голубизну, синеву — затянулись, закрылись; и вместо всего этого пошел снег с дождем, холодный, липкий и скользкий; пошел, повалил, в ранних сумерках, залепляя глаза, лицо, руки, усиливаясь и как будто сгущаясь; Макс, завернув за угол и пройдя, может быть, несколько — по совсем незнакомой ему и, значит, тоже впервые открытой им улице — все таких же, старых и ветхих, и так же косо стоявших домов, услышал вдруг где-то вдали, но потом все ближе и ближе: гул, грохот и дребезжание, каковые, подобно сумеркам, снегу, нарастали, усиливались — покуда, за выступом предпоследнего, за углом последнего дома, перед ним не открылся огромный, ревущий, полный машин, людей, возбужденья проспект, безусловно и решительно знакомый ему. И когда он вышел на этот проспект, что-то, в нем самом, закружилось, смешалось и спуталось; возбуждение передалось ему; гул и грохот его оглушили; и с чувством мгновенной горечи, неожиданного бессилия, внезапного, может быть, поражения пошел он, сквозь мокрый снег (гул и грохот…) — к троллейбусной, например, остановке.

Да, в самом деле: *я поворачиваю обратно*, сказал Макс; и вот теперь здесь, в этой маленькой, никому или почти никому не ведомой деревушке — прислушиваясь к шуму прибоя за дюной и вдыхая влажный, морской, сквозь уже по-весеннему распахнутое

окно влетающий в комнату ветер — я провожу линии, вычерчиваю узоры, соединяя далекое и близкое, уже бывшее и еще только имеющее быть.

Три точки в пространстве: *я поворачиваю обратно*, сказал Макс, и мы повернули обратно, дошли в темноте до станции, и рука невидимой кассирши протянула нам билеты; *входите, входите же, наконец*, сказал Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер — и театр был найден, ветер стих, блуждания, сами собой, прекратились; и еще когда-то — Бог знает когда — когда-то и где-то — Бог знает где — в глубине и отдалении — была рассветная, еще спавшая дачная улица, по которой мы шли с ним навстречу друг другу, все сближаясь и сближаясь — и вот калитка, с ржавым скрипом пружины захлопнувшаяся за ним. И есть еще это *теперь* — шум прибоя за дюной и влажный, морской, влетающий в комнату ветер — *теперь*, в котором я надеваю пальто и выхожу на берег, чтобы в том особенном, одновременно прозрачном и пронзительном свете, какой бывает, наверное, только здесь, у этого моря, увидеть наконец — километрах в пяти отсюда — каждый в отдельности домик.

3

Сергей Сергеевич, столкнувшийся с Максом в дверях (им, Сергеем Сергеевичем, возглавляемого театра…), был, в самом деле, высок: высок, худощав; он говорил очень медленно, растягивая слова, и растягивая их, посматривал то и дело на своего собеседника, как будто желая проверить, на месте ли этот последний; убедившись же, что собеседник на месте, продолжал, откуда-то сверху, растягивая слова, говорить — причем руки складывал на груди и шевелил потихоньку пальцами.

Впоследствии, много позже, он ждал нас — и не дождался; разговаривая, может быть, с кем-нибудь (из уже приехавших…) — растягивая слова, отрываясь от разговора, — подходил он, должно быть, к окну — руки складывал на груди, шевелил пальцами — и всматривался, должно быть, в сгущавшиеся, морозные сумерки, в которых — но этого он не видел — мы шли к нему с Максом: и потом вдруг остановились, помедлили, повернули обратно. Он видел лишь край забора, сосну — сосну, которая, когда я сам смотрел на нее, казалась мне прекраснейшей из сосен, высокая, с нежным красноватым стволом и одной, очень длинной, выбивающейся из общей игры ветвей, веткой,

тянущейся к самому дому, — и дальше (видел он…): поле, опушку леса, морозные сумерки… Нас, повернувших обратно, он видеть, конечно, не мог; мы же, проваливаясь, как сказано, в снег, не разбирая тропинки, лесом и краем леса, вышли, как сказано, к станции, с тускло горевшими фонарями.

И мне странно думать теперь, что эта тропинка, протоптанная кем-то в снегу, была той же, с выступавшими из земли корнями и мокрой травою тропинкой, по которой, впервые увидев его, Макса, еще безымянного, шел я некогда — к той же, к той же самой, удивительным образом, станции…; Макс, постучав в окошечко кассы, положив билеты в карман, подошел к перилам, сгреб снег ладонями, скрутил снежок и с внезапной, мгновенной улыбкой, бросил — в ближайшее дерево.

— Странно, не правда ли?

— Да, правда, странно.

Странно думать, еще и еще раз, что это была та же самая станция, — та же касса и те же скамейки, — и те же дома вдалеке, — и те же деревья вокруг; и мы стояли вдвоем, на платформе, в снегу; и заметая рельсы, злой ветер рвал в клочья, над нами, зеленоватой зимней луной выхваченные из темноты облака; и он, Макс, я помню, то отходил к перилам, то возвращался к краю платформы, и смотрел — казалось мне: с нетерпением — в ту сторону, откуда, из-за дальнего леса, должен был появиться, упорно не появлялся — и вот, наконец, появился — пригородный, своим длинным и ярким лучом осветивший, на мгновение, станцию — в последний раз — скамейки, кассу, перила, нас самих, наверное, поезд.

На другое утро он пришел ко мне, как уже говорилось. Я не ждал его; я услышал звонок, открыл дверь и увидел его на пороге. Он снял пальто, стряхнул снег.

— Ты дашь мне кофе?

— Конечно.

И покуда он пил свой кофе — одну чашку и сразу за ней другую — я смотрел на него, я помню, и в снежном, зимнем, утреннем свете, наискось падавшем на него из окна, лицо его показалось мне вдруг изменившимся, — странно-отчетливым, — непривычно-определенным.

— Я отказываюсь; я не иду дальше.

— Как хочешь… Мне-то, впрочем, уже все равно.

— Мне тоже. И тем не менее, давай, наконец, объяснимся…

И когда мы, наконец, объяснились, он, Макс — допив, наконец, свой кофе — снова вышел на улицу — или, вернее: во двор — прошел под аркой, пересек, не сворачивая в

него, тот переулок, в котором я увидел его когда-то, со спины, уходящим, — прошел мимо трех, с одной, и трех, с другой стороны, очень старых, но и очень хорошо сохранившихся, бледно-зеленой краской выкрашенных домов — совершенно ясно я вижу их: отсюда, из-далека — свернул налево, направо и сам не зная, должно быть, куда, зачем он идет, пошел, значит, дальше, все дальше, по еще тихим, пустынным улицам, переулкам, по еще чистому — а впрочем, уже тронутому первыми, робкими следами прохожих (лопатами дворников…) снегу — чтобы (как я впоследствии выяснил…) встретить вдруг — в трамвае с обледеневшими стеклами — некоего, еще не введенного мною на эти страницы персонажа моей истории (если это история…); и проехав с ним, в обледеневшем трамвае, три или четыре, может быть, остановки, еще очень долго кружил, должно быть, по городу — и только под вечер возвратился, должно быть, домой: в свое (так я думаю теперь…) — решительно неописуемое жилище.

В самом деле: есть вещи, поддающиеся, и есть — не поддающиеся описанию. Первые могут случиться на бумаге — и бумага не рвется; о вторых мы только упоминаем с опаской…

Есть вещи, поддающиеся, и есть — не поддающиеся описанию. Деревня, к примеру, где мы жили когда-то вдвоем и где я живу теперь, поворачивая обратно, один, — эта маленькая, никому или почти никому не ведомая деревушка, с ее редко стоящими домиками и ветром, гудящим в высоких соснах, — с ее солнцем, луной и звездами, — утренним холодом, пронзительным светом, — и с этими ранними вечерами ее, когда сверху, с дюны, она вся просматривается насквозь, и за деревьями, сквозь голые ветви, виден и дальний лес, и поле, и — черной чертою — шоссе, и последние белые пятна уже осевшего, как будто тающего в сумерках снега, и дым над крышами, почти неподвижный: медленно, совсем-совсем медленно поднимается он над редко стоящими домиками — исчезая, теряясь: в еще прозрачном, уже застывшем, протяжными, розовыми, закатными полосами расчерченном небе, — деревня эта относится, без сомнения, к первым, поддающимся описанию вещам. Но те, вторые, неподдающиеся, ускользающие — —

Отсюда, из этой маленькой и без всяких сомнений поддающейся описанию деревушки, тот, там, покинутый мною город (со всеми его проспектами, площадями и улицами…) кажется мне чем-то почти немыслимым, невозможным: как если бы его никогда и не было вовсе.

А между тем он был, есть; и он не просто был, есть, но в нем и есть, и были, разумеется, некие — более или менее старые — в общем и целом, вопреки всему и

несмотря ни на что — еще возможные улицы (переулки, дома; проходы, арки, дворы…).

Они есть, они были; и я сам — я, живущий теперь здесь, поворачивая обратно — я сам жил когда-то на такой улице, в таком дворе, в таком доме.

Я знал этот город; я даже любил его — время от времени; но я уже никогда, наверное, не забуду того ощущения — невозможности, которое вдруг охватывало меня — я садился, к примеру, в троллейбус — на каком-нибудь новом, огромном, полном машин, людей, возбужденья проспекте, в каких-нибудь снежных, ранних, текущих и растекавшихся сумерках, когда все грохотало, гремело, — кружилось и путалось, — вспыхивало и гасло…; или в том же троллейбусе, например, подъезжавшем к мосту и въезжавшем на мост, когда, подняв голову, я видел вдруг его — да, его, увы, Максово — с позволенья сказать — жилище, темной громадой нависавшее над рекою: над другими домами, над городом.

Дом его, и улица, на которой стоял этот дом, и все прочие, на этой улице и вокруг его дома, дома описанию решительно не поддаются — и я их не буду, конечно, описывать.

Они огромны, они все заполняют собою; а между тем им словно не хватает чего-то, в них словно отсутствует нечто.

Они есть, они были; их как бы — нет, как бы — не было: так думаю я теперь.

Странный город; удивительный город.

Название его сохранилось: Москвою называется он.

Но даже немногие, еще сохранившиеся названия (улиц и переулков, бульваров и площадей…) звучат как будто вполголоса, не доверяя самим себе; прочие, новые — ничего не в силах назвать; все тонет — в безымянной безмерности.

Все безмерно, огромно; и все кажется — взорванным; развалившимся на куски; распавшимся на какие-то отдельные части; фрагменты, уже почти не связанные друг с другом…

Нет, нет, думаю я теперь, то, что не поддается описанию, описывать, конечно, не следует. Я скажу — о нем; я не позволю ему — явиться, самому сказать о себе: здесь, думаю я, здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке, с ее редко стоящими домиками и черной чертою шоссе, с ее ранними, долгими вечерами, когда сверху, с дюны, она еще вся просматривается насквозь, но уже гаснет, синеет, густеет, замирает над соснами небо, и над дальним лесом, пробиваясь сквозь синеву, уже появляются первые, редкие и робкие звезды, и дым над крышами уже сливается с темнотою, — и спустившись с дюны и принеся дров, я тоже растапливаю, в углу

комнаты, круглую, железную печку, — и прислушиваясь к потрескиванью поленьев, дрожанию воздуха, ворошу кочергою в огне, — и снова сажусь за стол, и зажигаю лампу, и беру в руки вот эту, недописанную утром страницу: здесь, еще и еще раз, — здесь, на этой странице, на этих страницах, ему, призрачному, нечего делать. И — хватит пока об этом.

Он же, Макс, возвратившись домой, — заснув и снова проснувшись, — и преодолев, вслед за тем, полугодовое пространство, через которое (подбрасывая поленья в огонь…) я перескакиваю с помощью двух каких-нибудь слов (полугодовое, пространство…) и которое там, тогда, для него, было плотной, не пропускающей или почти не пропускающей света чередою точно и тщательно пригнанных друг к другу дней, вечеров и утр, — преодолев, значит, все-таки, это огромное (как ему, должно быть, казалось…) пространство подъемов и спадов, засыпаний и пробуждений, разочарований и надежд, — Макс, почти неожиданно для себя самого, изменив направление, переставив флажки на карте, оказался — тоже и впервые оказался вдруг здесь, в этой маленькой, еще и еще раз, никому или почти никому не ведомой деревушке на берегу Балтийского моря: и плотная череда дней сделалась вдруг прозрачной. —

Я еще сам не знаю, куда я пойду; я так долго готовился к этому, теперь и здесь, поворачивая обратно, наконец, наконец-то, начавшемуся движению; я думал о нем постоянно; но я еще сам не знаю, куда, по каким дорогам пойду я. Я вижу, конечно, ближайшее (доступное, позднее…): ту зиму, с которой я начал — я поворачиваю обратно — или, скажем, его, Максов, только что мной упомянутый, — или, скажем, мой собственный, вслед за ним, через месяц, первый и как бы предварительный приезд в эту маленькую, за дюной притаившуюся деревушку, ни ему, ни мне дотоле неведомую…; лишь с трудом различаю я — за всем этим, где-то вдали — еще совсем, конечно же, смутные, дрожащие и колеблющиеся очертанья каких-то, совсем иных, совсем и даже неправдоподобно далеких времен — некий август: дождливый и темный — некую осень: удивительно-ветреную — некую, опять-таки, зиму: ту зиму, с которой я начал и которая (потому-то я и начал с нее…), смыкая раннее с поздним, относится и к поздним и к ранним — или так мне кажется — временам. Я еще сам не знаю, куда я пойду; я уже отметил их — как на карте — на этих страницах: и некий август, и некую осень, и некую зиму (три точки в пространстве…); я хотел бы отметить их сразу все, эти разные (так думаю я теперь…) самой природой своей, своей окраской, звучанием, значением и смыслом друг от друга отделенные времена; отметить, предположим, на карте еще некую, и еще, и еще некую зиму, холодную, теплую, никакую; отметить и некую, скажем, весну; и

некое лето; и еще некую осень; они приближаются, они наплывают друг на друга — как льдины, наплывающие на берег; собрать их, расставить их по местам: вот задача, может быть, невыполнимая.

4

Все тихо вокруг; утро; утренний холод.

Я еще сам не знаю, куда я пойду; я был на море (где уже нет никаких, разумеется, льдин…); я зашел, на обратном пути, в ту (как он называл ее…) — совсем рядом с моим домом — *мансарду*, которую снимал здесь некогда Макс, — род надстройки над некими *службами* (как он называл их…): дровяной сарай, погреб — с крутой наружной лестницей и крытым, неловко повисшим над землею балкончиком перед дверью. Она пустует теперь; я попросил открыть ее для меня; там ничего не изменилось с тех пор. Там те же, обитые досками, стены; и тот же запах: хвои, смолы; и та же, под скатом крыши, кровать; и то же окно; и то же кресло возле окна…

Доступное; позднее.

— Я поворачиваю обратно, — сказал Макс; и на другое утро объяснившись со мною, возвратившись домой, заснув и снова проснувшись, и преодолев, вслед за тем, шесть — нет, пять — очень долгих, как, наверное, казалось ему, из пробуждений и засыпаний, подъемов и спадов, надежд и отчаяния сотканных месяцев, вдруг, переставив флажки на карте, оказался, к своему собственному удивлению, — здесь: и плотная череда дней сделалась вдруг — прозрачной. —

Он приехал в начале июня; сошел с автобуса на обозначенной лишь столбиком и скамейкой остановке у въезда в деревню, и проводив его до поворота глазами, остался — один, в мгновенной, после шума, движенья, мельканья со всех сторон обступившей его тишине. Было раннее, еще совсем раннее утро. Пахло морем, песком, пространством. Он сел на скамейку и закурил; спешить ему было некуда. Он вытянул ноги; он посмотрел на небо: по небу, уже освещенные солнцем (вставшим у него за спиною…) бежали легкие, белые, быстрые — лишь очень и очень редко, раз или два в году, в какой-нибудь, скажем, весенний, холодный и ветреный день, бывают такие там, в том городе, из которого он уехал — морские, быстрые, легкие, снизу, вставшим солнцем освещенные облака.

Спешить ему было некуда. Он сидел на скамейке, курил, смотрел на небо, на белый песок у обочин, и думал, как это часто бывает после бессонной — почти бессонной — под стук колес — ночи, ни о чем в отдельности, обо всем, значит, одновременно. Вот, думал он, может быть, вот, поезд, бессонная ночь, и какие-то станции, какие-то полустанки, и электричка, и шоссе, и автобус, и море, мелькнувшее между сосен… А ведь оно где-то здесь, совсем рядом, за дюной: сколько лет я не видел его?.. И надо сейчас идти, и искать, и спросить у кого-нибудь дорогу… У меня записан адрес… да, вот он: название дома… И как мы шли, молча, проваливаясь в снег, в темноте… и уже полгода: полгода назад… И что же… нет… все равно…

Промчалась, обдав его ветром, машина; исчезла: за поворотом; и он вдруг очнулся, встал, и посмотрел еще раз вокруг — и снова сел на скамейку. Уходить ему не хотелось; ему хотелось сидеть и сидеть так, смотреть, обо всем — или уже ни о чем, быть может, не думая, на белый, уже отсвечивавший на солнце песок у обочин, на небо, с легкими, быстрыми, летевшими прочь облаками…:

— Жизнь, подумал он вдруг (с той внезапностью, которая бывает свойственна нашим самым удачным мыслям…) — жизнь находит, но жизнь и теряет вдруг свою — тему. Она становится жизнью — о чем-то, и потом опять превращается в жизнь — просто так, ни о чем.

— Просто так, ни о чем…

И на сей раз в другую сторону промчалась машина, обдав его ветром; и покинув, наконец, эту обозначенную лишь столбиком и скамейкой остановку у въезда в деревню (мы очень часто сидели здесь, позже, по вечерам…) — Макс, после недолгих поисков, нашел и, договорившись с хозяйкой, снял — сначала на месяц, а затем и на все лето — свою, с тех пор ничуть не изменившуюся мансарду, с ее крутой наружной лестницей, запахом хвои — и широким, почти во всю стену, выходившим в поле окном, — в котором, осматриваясь, тут же и разумеется, увидел он — уже по дороге замеченное им, быть может, — или, может быть, как раз не замеченное им по дороге и тем более поразившее его своим внезапным появленьем в окне — в солнечной тающей дымке — на краю поля — дерево: с огромной, круглой, как будто парящей — в дымке, в воздухе — кроной и странно зыбкими, размытыми очертаниями ствола.

Это дерево (собственно: липа…) — вот оно; его видно и с дороги; почти всякий раз, проходя мимо, останавливаюсь я перед ним; иду дальше; вновь оборачиваюсь.

Конечно, теперь, без листьев, оно выглядит совсем по-другому; зато теперь, и только теперь, я вижу, как разбегаются в разные стороны и в то же время переплетаются, образуя единое целое, его черные, тогда, в начале июня, невидимые за листьями ветви; ствол его тоже виден теперь; увитый плющом, тогда, он казался простым началом кроны, не столько поддерживавшим, сколько соединявшим ее: с землею, травою…

— И почему же я думал… неважно… неважно…

— Жизнь находит, но жизнь и теряет вдруг свою тему…

И наверное, никого, ни одного человека в то утро не было на море; солнце, мерцающей полосою, бежало к берегу по воде.

Время течет медленно; один день похож на другой — и он их тоже, наверное, не считал. Он бродил по дюнам, по берегу, слушал шум волн, шум ветра, хруст песка под ногами; он сходил в дальний лес (за шоссе…); он побывал в соседней деревушке (километрах в пяти от нашей; там была — и есть — почта; он позвонил мне…); и каждый вечер, и каждое утро, проснувшись или перед тем, как заснуть, смотрел, должно быть, в окно — возле которого, впервые приехав к нему сюда (через месяц, в начале июля…) — и еще сам не зная, конечно, не подозревая и не догадываясь, чем станет для меня эта маленькая, за дюной притаившаяся деревушка, — возле которого я и обнаружил его, я помню: в кресле, с брошенной на пол книгой.

Дождь, начавшийся еще там, в Москве, и сопровождавший меня всю дорогу, здесь сменился, на мгновенье, туманом; в окне, в тумане было видно лишь это огромное — вот оно: еще и еще раз — в тумане, на сей раз, как будто уплывшее дерево; почти минуту молчали мы, может быть; и когда он повернулся ко мне, наконец, лицо его — в сером, темном, дрожащем и тающем свете — вновь показалось мне изменившимся, — знакомым, — неузнаваемым; и обернувшись, он посмотрел на меня: почти так же, быть может, как он смотрел, только что, на это дерево, окутанное туманом: внимательно, отрешенно…; и вдруг улыбнулся; и спросил меня, как я доехал; и сказав мне, я помню, что-то насчет плохой погоды, серых туч, нависших над морем, отвел меня в этот (деревянный, хотя и с кирпичным фундаментом, и с очень острой, высокой, взлетающей в небо крышею…) — в этот дом, следовательно, где я и живу теперь: снова, по-прежнему; и было, я помню, еще несколько, почти таких же, дождливых, пасмурных дней; и теперь уже вдвоем мы бродили вдоль моря, по дюнам; и по самой кромке воды доходили, всякий раз, до разрушенного, давным-давно разрушенного, должно быть, причала (почерневшие, покрытые водорослями, из простых бревен,

опоры — каждая со своим отражением — вот и все, что осталось теперь от него…); и поднимались в дюны, где уже цвел — лиловым, фиолетовым — вереск; и снова спускались к воде; садились, если не было дождя, на песок; о чем-нибудь иногда говорили.

— Подумай, — сказал он мне как-то, — вот мы сидим здесь, на берегу моря, на краю мира…

И — что же?

Нет, ничего.

У этой мысли не было — и нет — продолжения; а между тем, я прекрасно понял — еще лучше я понимаю ее теперь; и мне так же странно думать теперь — на берегу моря — о мире, оставшемся где-то там, в отдалении, никакими, например, километрами, конечно же — не измеримом.

А здесь, теперь, на море — здесь уже не только нет — льдин: уже последние пятна снега, еще совсем недавно, вчера или позавчера, лежавшие в тех тенистых местах, где пляж переходит в дюну, растаяли, исчезли, забылись; уже почти по-летнему, согреваясь на солнце, пахнут сосны смолою… И чему-то я учусь у них — терпенью, молчанью — у этих сосен, теперь — у этих волн, набегающих на песок, — у этой чайки, с протяжным криком улетающей вдаль…

И потом, я помню, все, в одну ночь, изменилось; дождь кончился; небо взлетело вверх; и в том особенном, одновременно прозрачном и пронзительном свете, какой бывает, наверное, только здесь, у этого моря, расступились и как будто раздвинулись сосны; расступились, в деревне, дома (изгороди, сараи, колодцы…); и он, Макс, в ближайшем к нам — в тридцати километрах отсюда — курортном, так скажем, поселке, купил — я же, на чердаке моего дома, обнаружил другой, очень старый, но еще вполне пригодный к употреблению велосипед; и каждый, почти каждый день ездили мы куда-нибудь — в ту сторону, например, где скрылся сначала один, привезший его, Макса, затем другой, опять-таки, меня самого привезший в эту деревню автобус (и, значит, как говорил Макс, *дальше*, вдоль моря…) — по ровному, понемногу, впрочем, отходившему от линии берега, с белым песком вдоль обочин, шоссе; доезжали до перекрестка, — сворачивали направо: к морю, — и тут же опять налево, — или ехали прямо, удаляясь от линии берега, все дальше и дальше, все быстрее и быстрее; Макс, крутя педали, пригнувшись к рулю, то и дело поднимал голову, смотрел вокруг, вдаль; я сам, выпрямляясь в седле, смотрел на Макса, на мелькавшие мимо деревья, поляны, облака над темными соснами; одним махом, все быстрей и быстрее, проезжали мы пять, десять, пятнадцать, иногда,

километров; и вдруг останавливались; и он, Макс, с перекинутой через раму велосипеда ногою, — и я сам, переводя дух, замерев, — и мы оба, прислушиваясь, подолгу стояли так, в мгновенной, все той же, после ветра, шума, движенья, возбужденья, стука и скрипа, — со всех сторон обступавшей нас тишине.

И бывали, я помню, дни очень сильного ветра, когда все билось: в испуге, трепетало: в тревоге, и все листья всех кустов, всех деревьев поворачивались своей обычно невидимой, светлой, другой стороною, и на море, вечером, мокрый, то и дело заливаемый водою песок — из узкой кромки превратившись в широкую, далеко-далеко уходящую полосу — отсвечивал, почти яростно, розовым, красным, — и вдруг: сизым, серым, зеленым, — и вдруг опять: красным, — ярко-красным, — затихающе-розовым… И бывали, напротив, совсем жаркие, почти душные дни, когда море лежало неподвижно, безмолвно, и совершенно отчетливо, вплоть до отдельных завитков, сгущений и прорезей, отражалось в нем неподвижное, с дымчатым краем, бессильно, безмолвно повисшее облако, и только вдруг, непонятно откуда, приходила, накатывалась и с глухим звуком, как будто полым внутри — как если бы она и эхо свое приносила с собою — ударялась о берег одна-единственная, мелкая, неуверенная волна; и дни такого тумана, что, выйдя на море, не видели мы ни моря, ни сосен, ни друг друга, вообще ничего; и потом опять ясные, жаркие; прохладные, ясные дни; и мы вновь отправлялись, на велосипедах, куда-нибудь; и если не ехали *дальше*, вдоль моря, пересекали шоссе — и значит, ехали от моря, *вглубь*: туда, где прибрежная низменность сменяется холмами, полями и перелесками, и уже нет поселков, нет деревень, и только одинокие хутора возникают вдруг за деревьями.

— Был, значит, некий август, начало всего…

— И была, значит, некая осень, — он улыбнулся, — начало — чего-то…

— Сколько же времени прошло между ними? Год или два года, быть может?

— Два года, — сказал он. — Но сколько бы времени ни прошло между ними, это уже не имеет значения: и как если бы, — так или примерно так он сказал, — они, тот август, та осень, лежали в каких-то, друг с другом почти не связанных временах, в каких-то, почти не соотнесенных друг с другом пространствах…

— В самом деле, — сказал я, — есть ведь разные, совсем разные времена. Они не просто переходят друг в друга, вообще, может быть, не переходят друг в друга, — но разделенные самой своей природой — окраской, звучаньем — существуют как бы сами по себе, несравнимые с предыдущим, несопоставимые, — сказал я, — с последующим… Собрать их, расставить по местам: вот задача, может быть, невыполнимая…

Он опять улыбнулся: — и сидя где-нибудь, на склоне холма, у обочины, глядя вдаль, вниз, — в долину, с одиноким, окруженным деревьями хутором, — полем, уже начавшим желтеть, — аистом, блуждающим по полю, — далекой цепью поросших лесом холмов, — мы говорили, уже отстраненно, об этих разных, самой природой своей, своей окраской, звучаньем, значеньем и смыслом отделенных друг от друга, — несравнимых и несопоставимых друг с другом, — уже отмеченных или еще не отмеченных мною на карте, — уже введенных или еще не введенных в историю временах; и вечером, в сумерках возвратившись в деревню, вновь говорили о них — в его, Максовой, повисшей над землею мансарде (дерево, дерево за окном…) — или, скажем, на остановке (столбик, скамейка…) — или вновь, допустим, у моря, еще озаренного последними, закатными, быстрыми, по облакам, по воде пробегавшими отблесками, — или уже, допустим, погасшего, но еще долго, еще бесконечно долго, тихим, затаенным и призрачным, как будто внутрь повернутым светом светившегося в темноте. И говоря со мною о разных, совсем разных временах и событиях — как будто (или так мне казалось…) отдавая их: в мое распоряжение, в мое, если угодно, ведение — с рук на руки (или так мне казалось…) передавая мне свою, нашу жизнь, — он вдруг умолкал, смотрел на воду, пересыпал руками песок; шум волн окутывал нас на мгновение…; и на другой день вновь ехали мы куда-нибудь, дальше, вглубь, все равно.

Там есть один холм — там, в глубине — один-единственный холм, с которого, в ясные дни, видна бывает, вдруг, тоненькая, за всеми прочими холмами, полями, чуть более светлая, чем лес, синеющий на горизонте, чуть более темная, чем небо, синеющее над лесом, тоненькая, совсем тоненькая, темно-синяя полоска — чего же? Это море, удивительным образом, море, бесконечно далеко отступившее, внезапно, безмолвно и призрачно возникающее за всеми полями, холмами, между лесом и небом, сливаясь с ними, отделяясь от них…

Как август, — сказал мне Макс. — Как август, как август.

5

По ночам, прислушиваясь к шорохам и скрипам в чужом доме, где я снял комнату, я провожу, как сказано, линии, я вычерчиваю, как уже говорилось, узоры; я хотел бы разметить его сразу все, целиком — как карту — это огромное, со всеми его дорогами, — холмами, полями, — мостами и реками, — без конца расширяющееся, блаженной тревоги исполненное пространство; совершенно отчетливо, внутри, в себе,

засыпая, я чувствую его напряжение, — растяжение, пафос дистанций; я стараюсь удержать его, собрать его; не позволить ему разбежаться…; с радостью, наконец, я отмечаю в нем, — как на карте — некий — совсем иной город (в отличие от Москвы утративший свое название…) — город садов, дворцов, набережных, — мостов и каналов, — куда мы отправились вместе с Максом, в конце лета и прежде чем возвратиться в Москву, всего на несколько дней.

И было, я помню, уже почти по-осеннему холодно, когда мы стояли, в последний раз, на обозначенной лишь столбиком и скамейкой остановке у въезда в деревню; и в уже почти по-осеннему тонком, прозрачном и тихом воздухе кружились, я помню, ложились на землю, на асфальт, на белый песок у обочины, — первые, желтые листья; и Макс, я помню, выходил на середину шоссе, и смотрел в ту сторону, откуда — из-за дальнего, опять-таки, леса — должен был появиться, и очень долго не появлялся, опять-таки, — и вот, наконец, появился — внезапно и призрачно — показался, приблизился и подъехал автобус; и садясь в него, с передней площадки, и в последний раз, уже из окна, посмотрев на столбик, скамейку, я вдруг понял, что я вернусь, — что очень и очень скоро (зимою? весною?..) вернусь я в эту маленькую, за дюной притаившуюся деревушку, — с ее соснами облаками, — безусловными облаками, несомненными соснами, — и что если вообще когда-нибудь, где-нибудь, то именно здесь, очень скоро, начнется это — движение куда-то (неизвестно куда…), приближение к чему-то (непонятно к чему…), это — поворачивание обратно, к которому я так долго готовился, так долго стремился и которое (думаю я теперь…) вот, теперь, наконец, началось.

А там, в том — совсем другом городе (в отличие от Москвы утратившем свое название, но зато сохранившем, почти сохранившем свой облик, а значит, и свои названия: названия улиц, садов и набережных, — мостов и каналов, — проспектов и площадей…) — Макс, на второй или, может быть, на третий день по приезде (он поселился у своих знакомых, я у своих; в тот день мы не виделись с ним…) — Макс, сворачивая с *Невского проспекта* на *Екатерининский канал* (и собираясь, должно быть, выйти через *Михайловский парк*, мимо *Летнего сада*, на *Дворцовую набережную*: обычный его маршрут…) — Макс, сворачивая с Невского на канал, столкнулся вдруг с шедшим ему навстречу, сворачивавшим, соответственно, с канала на Невский, *Сергеем Сергеевичем*. Менее всего ожидал он встретить Сергея Сергеевича — здесь, в этом городе (лишенном названия…); Сергей же Сергеевич, оказавшись вдруг перед Максом, совершенно спокойно, как ни в чем не бывало (говорил мне впоследствии Макс…) взял

его под руку и пошел вместе с ним, вдоль Екатерининского канала, то есть — со своей точки зрения — обратно. Он приехал, как выяснилось, на два дня; уезжает — сегодня вечером. Встрече с Максом он рад… да, он, Сергей Сергеевич, весьма и даже очень рад этой встрече, столь неожиданной. Что здесь делает Макс? Ничего особенного, приехал на несколько дней, из деревни? Отлично. Он, Сергей Сергеевич, приехал сюда по делу, уезжает сегодня — сегодня вечером… Где же Макс остановился? У знакомых? Где именно? На Большом проспекте? Нет, он никогда не бывал там. Это, кажется, где-то на Васильевском острове? Ах нет, на Петроградской стороне? Ну что же, пусть так… А позволено ли ему будет спросить, куда, собственно, Макс исчез, почему он, вообще говоря, пропал, оказывается вдруг на углу Невского и Екатерининского канала, живет вдруг на Большом проспекте Петроградской стороны, а приехал сюда и вовсе из какой-то деревни?.. Макс может, конечно, не отвечать, он, Сергей Сергеевич, настаивать, конечно, не будет. И все-таки, и тем не менее, он, Сергей Сергеевич, был — скажем прямо — весьма и весьма раздосадован, обескуражен и огорчен внезапным исчезновением Макса, он, Сергей Сергеевич, не знал, что ему и подумать, и раз уж они столь приятным образом встретились здесь, Макс, полагает он, мог бы что-то ему объяснить и как-то с ним объясниться — хотя, с другой стороны, все это уже никакого, почти никакого значения не имеет…

Вот именно.

Макс вдруг остановился; остановился и нежданный его собеседник.

Вот именно — и потому, если Сергей Сергеевич не возражает, он, Макс, во всяком случае…

Он справился, наконец, с охватившим его замешательством; освободил свою руку; улыбнулся; посмотрел на Сергея Сергеевича.

Еще был слышен шум Невского; шум проехавшей вдоль канала машины; тихий плеск темной, в канале, воды.

Если Сергей Сергеевич не возражает, сказал Макс, он, Макс, во всяком случае, предпочел бы пройти вот здесь… да, направо…

Тот, в свою очередь, улыбнулся, посмотрев на него.

Пожалуйста, как угодно.

— А знаете, Сергей Сергеевич, я ведь тоже очень рад видеть вас… Я даже собирался звонить вам, возвратившись в Москву…

Допустим… И все-таки… растягивая слова… и все-таки, все-таки, он, Сергей Сергеевич, был, еще и еще раз, весьма-весьма раздосадован, весьма огорчен и прямо-таки обескуражен внезапным исчезновением Макса… в конце концов, он тоже

связывал с Максом некие планы, некие замыслы… и хотя с тех пор прошло уже целых полгода… что?.. даже больше?.. вот именно… и все это уже почти никакого значения не имеет… он, Сергей Сергеевич… он ждет все-таки объяснений.

И значит, все-таки, все-таки (они шли уже через Михайловский — им, Максом, особенно, пожалуй, любимый — и даже самый любимый, может быть, парк; Сергей Сергеевич, закурив сигарету, быстрыми ударами указательного пальца сбивал с нее пепел; выпуская дым, отворачивался; затягиваясь, смотрел на Макса; молчал…) — Макс, все-таки и глядя вокруг, вынужден был — объясниться с Сергеем Сергеевичем: почти так же, быть может, как объяснился он, неким январским утром, со мною. Я отказываюсь? Я не иду дальше? Нет, нет, этого он не сказал. Подумайте, сказал он, наверное, подумайте, Сергей Сергеевич, ведь это могло быть только однажды… только однажды…

Это было *единственное событие*… во всяком случае, для него, Макса… единственное… Таковым оно и осталось… таковым оно и останется…

Он должен был сразу предупредить Сергея Сергеевича? Он не мог, он не знал. Сразу после? Он не решился. Ему пришлось попросить об этом —

(Меня, живущего теперь здесь, попросил он, в то январское утро, поговорить с Сергеем Сергеевичем…)

Что? Другие возможности?.. Ах да, другие возможности… Жалеет ли он о них? Нет; наверное, нет. Та, единственная, осуществившись, как будто отменила их все… А может быть, он и жалеет о них… чуть-чуть… иногда… вот сейчас, может быть… Но в общем и как бы то ни было… вы совершенно правы, Сергей Сергеевич… все это не имеет уже никакого, совсем никакого значения…

— Жизнь, видите ли, находит, но жизнь и теряет вдруг свою тему.

Сергей Сергеевич опять улыбнулся — нет, рассмеялся. Это как же прикажете понимать? спросил он.

— Ну да, вот… Она становится жизнью — о чем-то, и потом опять превращается в жизнь — просто так, ни о чем.

Просто так, ни о чем…

И уже начинали желтеть, краснеть клены — здесь, в Михайловском, им, Максом, особенно любимом, может быть, парке — уже совсем низким, осенним казалось нависшее над деревьями, над лужайкой — с еще по-летнему, впрочем, зеленой и яркой травою — в темных тучах, серое небо.

— А скажите, Сергей Сергеевич, — Макс снова остановился, — скажите, Сергей Сергеевич, ведь на самом деле… конечно, я поступил не лучшим образом… я уже передавал вам свои извинения… я готов повторить их… но скажите, на самом деле, я ведь не очень подвел вас?..

— Да нет, в конце концов все устроилось…

— Вот это мне и хотелось услышать… И я действительно собирался звонить вам… У меня было чувство какой-то… какой-то, пожалуй, незавершенности… Идемте?

— Идемте.

И значит, все-таки — все-таки — объяснившись, они, Макс и Сергей Сергеевич, свернули, на сей раз, налево, к Марсову полю; прошли вдоль Лебяжьей канавки (Летний сад, с его высокими кронами, остался у них, соответственно, справа…); вышли к Неве — и говоря, наверное, о каких-то — для него, Макса, уже посторонних — с театром, на маленькой площади, связанных, в первую очередь, обстоятельствах, спектаклях и репетициях, — и уже… совсем просто говоря, должно быть, о них, — пошли, по набережной, в сторону Зимнего; Макс, в свою очередь закурив сигарету, с внезапным, его самого удивлявшим, наверное, чувством — завершения, облегчения, смотрел, должно быть, на безмерное, серое, лежавшее перед ним, тихой рябью и первыми каплями начинавшегося дождя подернутое пространство Невы, на Петропавловскую, с ее золотым шпилем, крепость, на Ростральные, под серым небом, колонны; остановился, на сей раз, Сергей Сергеевич (устроитель и режиссер…).

Ну что же, сказал он, остановившись, он, Сергей Сергеевич, не предлагает Максу *начать все сначала*… Макс, если он правильно понял, не согласится… да это уже, в общем, и невозможно… Тем не менее, пускай Макс заходит… в театр… почему бы и нет?.. Ему же, Сергею Сергеевичу… ему уже давно пора быть в гостинице, и… дождь все усиливается, как нетрудно заметить… и вот, кстати, едет… взмахнув рукою… такси… и в общем… что же еще сказать?.. Он решится сказать все-таки, что Максовы объяснения… не вполне удовлетворили его. У Макса, полагает он, были еще какие-то… причины?.. нет, чувства, полагает он, и эмоции, в конце концов и подвигнувшие его, то есть Макса, на столь странный поступок… он, Сергей Сергеевич, не будет в них, конечно, вдаваться… Он думает лишь о неких, не сбывшихся, вероятно, надеждах, не оправдавшихся ожиданиях… о некоем, возможно, отчаянии… Впрочем, все это его не касается. Не подвезти ли Макса куда-нибудь? Нет? В таком случае…

— В таком случае, — закончил Сергей Сергеевич, — желаю вам всяческого успеха в вашей — просто так — жизни.

— Спасибо, — ответил Макс.

И только в машине, усевшись на переднее, рядом с шофером, сиденье, он, Сергей Сергеевич, сложил, наконец, руки на груди и пошевелил, на прощание, пальцами. Машина, брызнув водой из-под колес, развернулась и под дождем, по пустынной набережной, помчалась обратно, в сторону Марсова поля. Макс, проводив ее глазами, оставшись один, пошел, в свою очередь, дальше, по набережной — и вспоминая, может быть, ту, уже отмеченную мною на карте — уже очень и очень скоро, по всей вероятности, мне вновь предстоит писать о ней — осень, когда (думал он: думаю я теперь…) — когда жизнь, собственно, и — нашла свою тему, он же, Макс, блуждая по городу, нашел, среди прочего, театр: на маленькой площади, — или думая, может быть, о том — единственном, во всех смыслах, событии, до которого и я, когда-нибудь, доберусь, — об осуществлении (или неосуществлении…) возможностей, для меня, здесь, еще… невозможных, — о надеждах, сбывшихся и несбывшихся, — ожиданиях, оправдавшихся или нет, — или уже ни о чем, быть может, не думая, — дошел до Зимнего, перешел на Васильевский остров и, пройдя, разумеется, мимо одной из Ростральных колонн, спустился на Стрелку, к самой воде: с тихим, но удивительно отчетливым звуком, гулким отзвуком, набегавшей на гранитные, покрытые водорослями, позеленевшие от влаги ступени: и вновь, помедлив на них, отступавшей.

Он поискал глазами, он нашел то место, на набережной, где он простился, только что, с Сергеем Сергеевичем — он уже не думал о нем — ни о чем не думал, быть может, — и уже ни о чем, быть может, не думая, но с тем же, все тем же, не покидавшим его, хотя и удивлявшим его по-прежнему чувством — облегчения, завершения…, смотрел, по-прежнему, на безмерное, серое, под серым небом и серыми тучами, дождем и рябью подернутое пространство Невы, на Петропавловскую, с ее золотым шпилем и кусочком песчаного берега, крепость, дворцы набережной, фасады дворцов. Прогулочный, белый, совсем крошечный в окружавшей его безмерности катер проплыл и скрылся в Малой Неве; длинная, тонкая, оставшаяся от него и понемногу расходившаяся волна, с тихим и отчетливым звуком, ударилась, докатившись до них, о ступени; набежала, помедлила, отступила…; он же, Макс, еще очень и очень долго стоял, наверное, так, под дождем, ни о чем не думая, на Стрелке, у самой воды.

6

Как они кружат в пространстве, эти поезда, электрички, подрагивают на ходу, грохочут, гудят… Иногда, по ночам, мне кажется, я вижу их сразу все, слышу их сразу все: и ту, что увозила нас с Максом, повернувших обратно, в город, — ту, с которой я начал, — и ту, через день после Максовой, вполне неожиданной, в совсем другом городе, встречи с Сергеем Сергеевичем, — ту, в которой мы ехали в *Павловск*, волшебное место, точку в пространстве. О, как они кружат в нем (в без конца расширяющемся, полном тревоги, трепета, ожидания…), проводят линии, вычерчивают узоры, подрагивают и грохочут, и медлят на пустынных, каких-то, без названия, станциях, и снова стремятся, и вдруг поворачивают: и тогда тот, кто едет в первом или во втором, к примеру, вагоне, выглядывает из окна, и видит — сзади, вдали — широкой, огромной дугою, под небом, низким и темным, весь поезд: вагон за вагоном…

— Сергей Сергеевич? Невероятно…

И сидя в поезде, глядя в окно, я пытался представить себе эту встречу (только что мною описанную…) — и думал, конечно, о той — да — невстрече с Сергеем Сергеевичем, — о той невстрече, с которой я начал, — о том мгновении, следовательно — я поворачиваю обратно — с которого (думал я…) — с которого я и начну…

Был снова пасмурный, серый, осенний, задумчиво, тихо, печально — как будто силясь что-то припомнить — но вместе с тем, в глубине этой печали, чему-то, может быть радуясь, вспоминая — осенний, серый и пасмурный, печально, тихо, задумчиво проплывавший за окнами день. Мы ехали в Павловск, волшебное место.

— Вот с этого — я поворачиваю обратно — вот с этого я и начну… вот с этого мгновения… в сумерках…

Я уже знал, как сказано, где — здесь, в деревне за дюной — я еще не знал, разумеется, когда это будет — зимою, весною; — и — как бы то ни было — когда бы то ни было — сидя в поезде, глядя в окно, пытался представить себе какую-то, первую, скажем, фразу, вторую и третью…; и вспоминал, как мы шли вместе с Максом (сидевшим напротив, смотревшим в окно…) — к той же станции и по той же тропинке, по которой я шел, один — в августе…; а значит, думал и о самом этом августе, неправдоподобно-далеком, об этом августе, темном и пасмурном — таком же пасмурном, может быть, как проплывавший за окнами темный, пасмурный день.

— Да и как же не думать о нем? Оттуда все исходит, туда все возвращается; там, в глубине его, в дожде, тумане и холоде, таится, может быть, что-то… с тех пор, быть может, утраченное…

Макс, сидевший напротив, улыбался, я помню — проплывавшим мимо деревьям.

— И я скажу о нем сразу же, сразу же… во второй, к примеру, главе…

И потом, когда мы сошли с поезда, — и деревья остановились, день тоже, — и Павловск, волшебное место (где я очень давно не бывал и куда он, Макс, созвонившись со мною, предложил мне съездить в тот день — погулять в парке — почему бы и нет?..) — Павловск, волшебное место, с его холмами, аллеями, — влажным воздухом и дымкой в низинах, — с его серым, осенним, огромным, нависшим над деревьями небом, — разворачивался, раскрывался, распахивался перед нами (заворачивал, закрывал, запахивал нас в себе, в себя…) — я думал по-прежнему о Сергее Сергеевиче: устроителе, режиссере, — о встречах с ним и невстречах, — и о театре: на маленькой площади, — и о том — единственном, конечно, событии, о котором (так думал я, может быть…) мне тоже стоит, наверное — предстоит, наверное — сказать почти сразу, — о котором мне еще нечего, пожалуй, сказать, — которое втайне присутствует здесь, в моей истории, с первой страницы, — и конечно, об августе: начале всего…; и он, Макс, по-прежнему улыбался — улыбкой, всякий раз, отмечая внезапное, всегда внезапное появление знакомых статуй, притаившихся за деревьями, — павильонов, беседок, — лужайки с еще по-летнему зеленой травою, — ручья с мостиком, отражавшимся в тихой воде, — островерхой башенки на берегу…

И так, значит, шли мы, все дальше и дальше, по пустынному, огромному, под серым небом, Павловску, через парк, по холмам и снова по парку.

И конечно, теперь, когда я уже знаю, что будет дальше и что — вернее: кого — мы встретили (встретим…) в глубине одной, очень длинной, бесконечно раскрывавшейся перед нами и вдруг, когда мы встретили, наконец, увидели, наконец, его — вернее: ее — закрывшейся, запахнувшейся за нами аллеи, — все это: и эта аллея, по которой мы шли, и пожелтевшие липы, и желтые листья, и далекие очертанья дворца, и пруд, оставшийся где-то внизу, и скамейки, и статуи, и вся эта наша поездка (в Павловск: волшебное место…) — все это кажется мне теперь простым приближением к ней, еще не названной, но уже — почти — появившейся; тогда же (думаю я теперь…) все это было, конечно, само собою, само по себе; и мы просто шли, очень медленно, по раскрывавшейся перед нами аллее; и он, Макс, улыбался, шагая; и я уже ни о чем — в свою очередь — ни о чем, быть может, не думал; и отделяясь от меня самого, какие-то — уже почти не мысли, быть может, тихо звучали рядом (рядом со мной, рядом с Максом…), завершая самих себя, замолкая; и когда мы увидели ее, наконец — завершились, замолкли; и она, сидевшая на скамейке, подняла голову, и посмотрела

на нас, приближавшихся к ней, и снова ее опустила; а мы все шли и шли, очень медленно, по этой бесконечной, осенней и темной аллее, все приближаясь и приближаясь к ней, уже появившейся; шли так же медленно, долго, как мы шли с ним когда-то, навстречу друг другу, в какое-то, отчасти похожее на этот день, темный и пасмурный, пасмурное и темное утро, в августе, в начале всего; и было так же тихо, совсем тихо вокруг; и она, Соня, тихо сидевшая на скамейке…: вот так (думаю я теперь…) — вот так, вот так мы и кружим в пространстве.

Мы кружим в пространстве, сближаясь и расходясь, проходя мимо и оборачиваясь: — и так же медленно, долго шли мы — в обратную сторону, и было все так же тихо, совсем тихо вокруг, и только темный гравий аллеи поскрипывал у нас под ногами, и тихо шуршали листья: — и когда мы подошли к ней — с другой стороны, и она, Соня, вновь подняв голову, посмотрела на нас, на меня и на Макса, на Макса и опять на меня, аллея, до сих пор раскрывавшаяся, распахивавшаяся перед нами, запахнулась, исчезла, оставив нас, значит, втроем, в глубине этого пасмурного, тихого и темного дня, в парке и в Павловске, среди сомкнувшихся, над нами и вокруг нас, деревьев.

Макс, подойдя к Соне, напомнил ей об их кратком — печально-кратком: сказал он — знакомстве.

— Вы меня, конечно, не помните…

— Нет, отчего же, я отлично вас помню… и помню тот вечер, на море, два года назад…

И тут я заметил вдруг — и он, Макс, тоже, конечно, заметил — и тут мы оба вдруг заметили — книгу, лежавшую у нее на коленях; и сказав Максу, что она его помнит, узнав его, улыбаясь, но с еще как будто замедлившим, не поспевшим за нею удивленным выражением лица, глаз, она положила ее, обложкой вверх, на скамейку: — и это, к нашему собственному удивлению, оказался некий роман, отлично известный Максу и отлично известный мне: одно из тех, весьма немногочисленных сочинений, в которых — при полном несходстве — я видел, и вижу, некое тайное, необъяснимое, скрытое, и все-таки несомненное для меня соответствие —моей собственной (так думаю я теперь…) еще только приближающейся к осуществлению истории (если это история…) — моему собственному, если угодно, роману; — роман, который я перечитывал и вчера, и сегодня, который я беру сейчас в руки — вот сейчас: шум прибоя за дюной — перелистываю, снова откладываю (я привез его, конечно, с собою: среди прочих — немногих — втайне связанных с моей историей книг…).

— Как странно, что вы читаете его здесь, — сказал Макс (не глядя на Соню…) — именно здесь…

Он не смотрел на нее; он смотрел лишь на этот роман, в столь хорошо нам знакомой, белой с черными полосами обложке; Соня же, не глядя ни на роман, ни на Макса, ни на меня, медленно, тихо, я так и не понял откуда возникшей в ее руке, сухой и сломанной веткой чертила, на темном гравии, тонкие, сплетавшиеся, расходившиеся, бесконечные линии…

— И все-таки странно, что вы читаете его — именно здесь. Он чем-то похож, не правда ли, на этот парк… со всеми его аллеями… ручьем, дворцом на холме…

— Еще более странно, — сказала Соня, — что вы его — тоже читали. Мне казалось, — она подняла голову, посмотрела на Макса, — мне казалось, кроме меня самой, его вообще никто не читал.

— О нет, я читал, я много раз читал его. Мне дал его, кстати… —

Я, живущий теперь здесь, на берегу моря, на краю мира, дал его некогда Максу.

— Ах, вот как…

Макс представил меня.

Мне же, в свою очередь, посоветовал прочесть его тот, уже упомянутый, но еще не введенный мною на эти страницы персонаж моей, если угодно, истории (моего собственного, если угодно, романа…), с которым он, Макс — вот так мы и кружим в пространстве — встретился, повернув обратно, объяснившись со мною, ранним утром, морозным и зимним, в трамвае с обледеневшими стеклами…

— Да, вы правы, — говорила, тем временем, Соня, — в нем есть, действительно, что-то от этого парка… со всеми его холмами, аллеями… И он так же меняется. Он меняется непрерывно.

— Он проводит линии, очерчивает пространство…

— Он сам создает свои предпосылки… полагает свои границы — и тут же снимает их…

— Он как будто приближается — втайне — к чему-то…

— В нем есть, значит, некая приблизительность…

— Но вместе с тем, — сказала Соня, — в нем есть и некая безусловность, сравнимая, может быть…

— С безусловностью этих деревьев…

— Этих холмов…

— Этого дворца, наконец, от холмов, деревьев — неотделимого.

И рассмеявшись, она встала со своей скамейки, я помню; и по вновь распахнувшейся перед нами, липовой и темной аллее, мы пошли, все так же медленно, к этому — от холмов, деревьев неотделимому — безусловному, с каждым шагом приближавшемуся дворцу; и прошли, я помню, по внешней его галерее; и обошли его, я помню, кругом; и спустились по лестнице; и пошли вдоль ручья; и после многих мостиков дошли, я помню, до круглого, с колоннадой — Соня, войдя в нее, исчезла, появилась опять — павильона; и отдалившись, за пожелтевшими кронами, то исчезал, то вновь появлялся дворец; появлялись, исчезали беседки, решетки…; и только в поезде, по дороге обратно, я попросил у Сони, взял в руки этот — в белой, с черными полосами, обложке — вот он — втайне связанный с моим собственным романом — роман; и открыл его, я помню, где-то в начале; и где-то в конце; и Макс — мы сидели с ним рядом, Соня напротив — сказал ей, что — вот, еще неделю назад мы были с ним, как он выразился, не очень далеко от тех мест, где, некогда, они и познакомились с Соней; и она спросила, где именно; он ответил; и снова, но теперь уже в другую, разумеется сторону, проплывал за окнами день, серый и пасмурный; и я снова думал, наверное, о моем — моем собственном, если угодно, романе, об этом медленном — так думал я, может быть — со всеми его поворотами, изменениями, смещениями перспективы — здесь, теперь, начавшемся, наконец-то, движении…; и смотрел, конечно, на Соню — вспоминавшую, вместе с Максом, подробности их знакомства: печально-краткого: вновь сказал Макс…; и только в поезде, не без удивления, узнал я, что — как и мы — она жила — и живет: сегодня утром я получил от нее письмо — там, в том, огромном, таинственном, невероятном, покинутом мною городе — в Москве: скажем просто — куда — на другой день встретившись возле Исаакиевского и на третий возле Казанского, я помню, собора — куда мы и возвратились: втроем, дня через три.

7

Как все это странно, в самом деле… Уже без всяких сомнений весна; уже цветет, повсюду, сирень; уже зимние вещи забыты, спрятаны в шкаф; уже та прозрачная влажность в воздухе, легкая дымка, которая, в самом начале лета, так удивительно напоминает, на мгновение, об осени; уже то дерево, на которое он, Макс, смотрел когда-то, утром и вечером, обрело свои прежние, парящие, зыбкие очертанья…

И я уже пробовал, пару раз, войти в воду, еще ледяную; и я опять езжу, почти каждый день, на заново смазанном, собранном мною велосипеде — и точно так же, как мы ездили некогда с Максом — крутя педали, пригнувшись к рулю…

И так же, как некогда, пролетают деревья, поляны; и понемногу сужаясь, чернеет, среди сосен, шоссе; и тихим шепотом, стрекотом, быстрыми брызгами отзываются, в углубленьях асфальта, последние лужи, уже просыхающие…; и я доезжаю до перекрестка; сворачиваю направо; или еду прямо, все дальше и дальше, ни о чем не думая, отдаваясь движению, ощущению скорости, ветру, мельканию сосен; и проехав пятнадцать — нет, восемнадцать: если верить указателям — километров, за ручьем, у бывшей мельницы, теперь заколоченной, сворачиваю, опять же, направо, к морю и снова к морю: я знаю все это, теперь, наизусть: я мог бы вычертить схему и план этих мест, со всеми шоссе, поворотами (тропинками в дюнах, просеками в лесу…); вечером, по дороге обратно, уже в сумерках, тормозя, оборачиваюсь: там, сзади, за соснами, уже горит — уже гаснет закат, и впереди уже ночь, и я въезжаю в нее, возвращаюсь в деревню…; и на другой день, покончив с писанием, снова еду куда-нибудь.

К сожалению, туда, *вглубь*, к холмам, полям, перелескам, сейчас еще не проехать: лесная дорога размыта, колеса вязнут в грязи.

Я встаю совсем рано теперь, так рано, как я вставал, быть может, лишь в августе, в начале всего, и как я разучился вставать за все, с тех пор прошедшие годы.

И каждое утро, проснувшись — когда здесь, в деревне за дюной, еще холодно, сыро, но уже тает, в яснеющем воздухе, уже редкий, тонкий туман, и еще лежащая, конечно, повсюду, на траве, на всех ветках, роса уже вспыхивает, уже, вдруг, загорается, и остро, нежно пахнет зеленью, влагой, и куда-то совсем далеко убегают все тени, тень дома, тень дерева — проснувшись, каждое утро, я выхожу, разумеется, на море, и поднявшись на дюну, вдруг, всякий раз неожиданно, вижу, за соснами — солнце, уже ослепительное, — и всякий раз останавливаюсь: море, в мерцаньях и отблесках, кажется, удивительным образом, выше берега, сосен — и как будто идет под уклон, понемногу спускаясь к уже белеющему на солнце песку… И накатываются, и вновь отступают, и медлят, и ударяются о песок — оттуда, откуда-то, из сиянья, мерцанья бегущие волны; и по самой кромке воды я дохожу, всякий раз, до разрушенного, давным-давно, как уже говорилось, разрушенного причала, опор и бревен, отражающихся в воде; и вновь поднявшись на дюну, вновь — и вновь оборачиваюсь.

И выпив кофе, каждое утро, занимаю я, если угодно, свою — свою, так скажем, позицию: здесь, в этой комнате, возле этого, уже настежь распахнутого окна; и все

стихает вокруг; и даже редкий шум волн, резкий крик чаек — тут же снова сливается с окружающей меня тишиною…

— Все, что мы говорим, всегда, увы, приблизительно. Только то, что приходит само и само говорит о себе, только оно безусловно…

Мы возвратились, значит, в Москву, в этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, — в этот город, как будто взорванный изнутри, сохранивший свое название, лишенный названий, — (и я вспоминаю теперь бессонную, в поезде, ночь, отчасти похожую, разумеется, на все прочие, в других поездах, бессонные или почти бессонные ночи, но вместе с тем, втайне отмеченную, втайне выделенную — из всех прочих ночей —ее, Сониным, почти незримым, на нижней полке, присутствием, — и как я лежал в темноте, прислушиваясь: к стуку колес, дребезжанью чего-то, голосам в коридоре, — и как, уже почти под утро, Макс, смутной тенью, спустился с соседней полки, открыл и снова закрыл за собою дверь из купе в коридор, — и я пошел за ним следом, — и обнаружил его в самом конце вагона, в так называемом тамбуре, — и там, в тамбуре, горел, разумеется, свет, — и закурив сигарету, глядя в окно — где отражения наших лиц, наших рук уже проплывали сквозь туманные сумерки, и первые очертанья деревьев уже отделялись от темноты, и огни промелькнувшей станции казались серыми, тусклыми — Макс, с проплывавшим сквозь деревья лицом, сказал мне вдруг нечто… незабываемое, нечто такое, однако, что я еще не решаюсь, теперь, повторить…) — и когда мы возвратились в Москву, наступило, сразу же, позднее, совсем позднее время: осень, зима.

Я почти не виделся с Максом; мы оба виделись с Соней (она тоже, как выяснилось, жила в старой, поддающейся или почти поддающейся описанию части города, совсем недалеко от тех мест, где жил я…); однажды — поздно вечером, у меня дома — я все рассказал ей.

Все: обо всех персонажах, событиях, изменениях, смещениях перспективы; поворотах, уже намеченных мною; соответствиях, тайных прообразах; возможных скрещениях предполагаемых линий; предпосылках, границах, запретах…

— И значит, истинный герой твоей истории — ?..

— Разумеется…

Она рассмеялась; мы вышли на улицу.

Были желтые листья по краям мостовых; прозрачные отсветы в тающем небе; редкие звезды над темными крышами.

— Вот здесь мы шли… идем… будем идти…

— И вон там… когда-то… когда-нибудь…

И потом мы еще долго стояли на крыльце ее, Сониного, двумя полукружиями во двор выходившего дома; и к тому времени уже очень хорошо мне знакомые, смутно белеющие тополя во дворе чуть-чуть, я помню, колебались, клонились под ветром; и невидимая, проехала по переулку машина; свет фар ее скользнул по соседней крыше, вершинам деревьев, последним листьям на ветках; и все опять стихло, стемнело; и вдруг пошел дождь; звезды исчезли; пряной прелью пахнуло откуда-то; и положив руку на перила крыльца, рядом с Сониной, я сказал ей, что — вот, теперь я могу начинать… наконец; и она улыбнулась… наверное; и было это тревожное, радостное, забытое… нет, не забытое мною ощущение — мокрой древесины под ладонями, неровной и трудной, мелких капель, навсегда остающихся на пальцах…; и я еще постоял под дождем; и она выглянула, я помню, помахала мне из вдруг загоревшегося, в левом полукружье, окна; и теперь я уже действительно мог — начинать; но еще медлил, еще ждал — до весны; прождал, значит, и осень, и зиму; и только весною, решившись, уехал, наконец, в эту маленькую, за дюной притаившуюся деревушку, где я живу и теперь, один, поворачивая обратно.

И был, конечно, последний день, в Москве, там, весенний, ясный и путаный, с внезапными порывами ветра, внезапным снегом, солнцем, столь же внезапным, с легкими, быстрыми, то сверкающими, высокими, то вдруг темными, низкими, улетающими сквозь снег — и уже морскими какими-то облаками; и в этот день мы встретились с Максом у Сони; и потом, вечером, снова встретились с ним: у него; и была опять, конечно, бессонная, опять в поезде, ночь; и стук колес, и голоса в коридоре; и деревня, когда я приехал, еще просматривалась, конечно, насквозь; и последние льдины еще лежали у самого берега; последние пятна снега в тех тенистых местах, где пляж переходит в дюну; и заняв, наконец, свою, если угодно, позицию, волнуясь и радуясь, провел я самые первые, тонкие, первые линии… И вот теперь уже лето; листья; сирень; и почти жара; вдруг прохлада; и туман, и ветер, и тишь; и покончив с писанием, я вновь, как некогда, отправляюсь, на велосипеде, куда-нибудь; и каждый вечер вновь выхожу, разумеется, на море; и там, над дальним мысом, над лесом, еще горит — еще гаснет закат; сужается, стягивается, краснеет, бледнеет; и последние, тающие, розоватые отблески еще бегут по облакам, по воде; и лишь повернув обратно, всякий раз неожиданно, я вижу — море, уже померкшее, небо, уже погасшее; и как будто вхожу в сон, возвращаюсь в ночь, засыпаю…

И оно уводит меня все дальше и дальше, это медленное, не знающее остановки, каждый день прерываемое, но и каждый день возобновляемое мною движение, все дальше и дальше, куда-то, по каким-то, впервые открывающимся дорогам...

8

Был, значит, некий август, дождливый и темный — август: начало всего.

Я жил — впервые — один: в пустом доме, в опустевшем поселке. Было холодно, сыро; листья, еще не падая, желтели и вздрагивали на ветру; небо, окутанное туманом, мелким дождем, тихой моросью, опускалось все ниже и ниже, и ухватившись за крыши домов, за кроны деревьев, натягивалось, наконец, серой сплошной пеленою; земля в лесу была уже черной, влажной, вязкой.

Я жил в опустевшем поселке, один, в пустом доме: в том же доме, в том же поселке, где я жил всегда, каждое лето.

И значит (думаю я теперь…) — и значит, все было так же: тот же дом, и тот же поселок, — тот же лес, та же станция, — и те же кусты сирени в окне, и тот же забор, и те же ели, и та же дорога, чернеющая за ними.

Все было так же; но все это (знакомое мне наизусть…) — все это виделось мне — как будто впервые: и как если бы я не только не видел, ни разу, этих елей, этих кустов, но вообще ничего, никогда.

Впервые в жизни я остался один — все изменилось.

Были те же деревья, те же дороги; тот же лес, та же станция; дома и улицы; тропинки и просеки; падение капель, дрожание листьев; холод, туман.

Но что-то вдруг зазвучало оттуда; позвало и окликнуло; что-то прежде неведомое, ранее незнакомое проступило вдруг сквозь эти деревья, дома; мелкий дождь, тихую морось.

И я смотрел вокруг, удивляясь, и бродил по улицам, по лесу, сам не зная зачем, просто так.

И были, я помню, бесконечные, долгие, бесконечно-долгие вечера; ночи, уже осенние; шелест веток, отзвуки поездов…; и каждое утро, проснувшись, я выходил, как сказано, из дому; и шел к станции, и в магазине у станции, если он был открыт, покупал что-нибудь к завтраку…; и вот так, в какое-то, похожее, в общем, на все остальные, холодное, раннее, еще совсем тихое утро, — вот так я впервые — как будто впервые —

увидел Макса, еще безымянного: медленно, совсем-совсем медленно шли мы навстречу друг другу, с каждым шагом все ближе, и казалось, нам так никогда и не встретиться, — и так же… да, так же медленно падал, я помню, один-единственный, сорвавшийся с дерева лист, мокрый, первый и желтый — так медленно, что казалось, ему вообще не долететь никогда до земли — кружился, кружился, падал, не долетал, долетел, — и он, Макс, помедлив, свернул вдруг куда-то влево, в одну из дач, и калитка, с ржавым скрипом пружины, захлопнулась, тоже помедлив, за ним.

Я остановился, как сказано; я узнал его; я не мог лишь вспомнить его имени: Макс; еще не названное, оно словно замерло в воздухе, в утренней дымке, застыло и притаилось; другой дорогой, краем леса, по узкой, с выступавшими из земли корнями тропинке пошел я, как сказано, к станции.

Я шел и шел по ней; я и сейчас еще помню, как долго я шел по ней и как стегала по ногам трава, оставляя на брюках длинные темные полосы.

Шум поезда вдалеке — и вот он, через поляну, набирающий, отходя от станции, скорость; и вот он уже исчезает среди деревьев, и только шум его еще долго, еще очень и очень долго отзывается в воздухе. И так же долго стоял я, на опушке леса, один, прислушиваясь и, кажется, еще различая, вдали, и стук колес, и то неясное колебание, дрожание, дребезжание чего-то, какое создает всякий быстро идущий поезд…; и затем дошел, как обычно, до станции; возвратился домой; и только под вечер, как сказано, когда уже начинало темнеть и в поселке загорелись уже фонари, мы снова, действительно, встретились с Максом.

Он догнал меня; он посмотрел мне в лицо: вот так (думаю я теперь…) — вот так мы и кружим в пространстве.

Он улыбнулся, когда я сказал ему *вы* (я не помню лишь вашего имени…); он назвал свое имя.

Мы уже были, когда-то, знакомы: помню ли я, спросил он: помню ли я, например, как мы ездили, на велосипедах, вот по этим же самым улицам, вместе с кем-то, и помню ли с кем, и как его, Максов, сломался — да, помню, пожалуй…; и как, в другое лето, куда-то, если я помню, на поезде — в соседний поселок? — наверное…; и как мы ходили в кино — в кино? — ну конечно, у станции…

— Там ведь было раньше кино, у станции, за магазином…

— Было: я помню.

Ничего этого не было больше; был только вечер, туман, мокрые листья, мелкие капли, по рукаву стекавшие на руки; был Макс, шагавший рядом со мною: Макс, с которым мы и вправду ездили на велосипедах, когда-то (и куда-то, в другое лето, на

поезде…), но который (так думал я и так думаю я теперь…) — который уже ничего или почти ничего общего не имел для меня с тем, каким-то, уже невообразимым более Максом.

— Ну да, мы были просто дети, — сказал он.

— А теперь?

— А теперь, уже, наверное, нет.

И под совсем тихим, наискось, в отсвете фонарей, струившимся, падавшим и летевшим дождем мы шли, я помню, все дальше и дальше, по нашей и по другой улице, налево, направо и еще раз направо…

— Я в первый раз живу здесь — один.

— Я тоже, — сказал я.

— Я вообще впервые остался один.

Мы посмотрели друг на друга; мы оба вдруг рассмеялись.

— Я тоже, — сказал я.

Август: начало всего.

И на другое утро он сам зашел ко мне, постучал в дверь и оказался вдруг на пороге; и через заднюю, в глухом заборе, калитку мы вышли, как сказано, в лес; и в лесу уже пахло грибами, осенью, горькой прелью, влажной землею; и вот: поляна, прогалина; туман над поляной; тропинка, терявшаяся в траве; тихий зов, нежный оклик, безмолвный призыв…

— И чего же они хотят от нас, эти деревья, кусты, эти осины, орешник?.. А ведь чего-то они хотят от нас, чего-то им надобно…

Мы вновь посмотрели друг на друга, я помню; мы оба остановились, на краю поляны, в лесу.

— Чего же, чего же они хотят? Ты знаешь? Вот и я не знаю, — сказал он.

И вот: еще поляна, другая прогалина; и через поляну, вдали — дерево, дуб, с раздвоенным внизу стволом; и затем — мы повернули направо — просека, прямая и ровная, сужавшаяся в сумрачной дымке; еловый лес и сосновый; мох и папоротник; гулкое эхо…

— Как будто впервые все это…

— Как будто впервые…

Да, август, август, начало всего.

И еще я вспоминаю какой-то, чуть более светлый, чем все остальные, — с внезапными проблесками, разрывами облаков, — смутно-дымчатый, серый, но вдруг как будто яснеющий, тающий, уже почти готовый раскрыться, — и все-таки скрывающий, прячущий свое сияние день, — и как мы шли с ним по той, уже много раз упомянутой, с выступавшими из земли корнями и мокрой травою тропинке, которая, краем леса, выводила, как сказано, к станции: по той же самой, значит, тропинке, по которой нам предстояло идти с ним впоследствии, много позже, повернув обратно, проваливаясь в снег, в темноте: мы не знали, конечно, мы и не догадывались об этом…; и мы не свернули к станции; мы пошли, я помню, направо, вдоль железной дороги; и вошли, наконец, в березовую, всю в просветах, проблесках редкую рощу; и что-то мерцало, сияло за облаками, туманной завесой; и белые, в темных крапинах, стволы застывших берез как будто отражали, чуть-чуть приглушая его, нам невидимое сияние; и он, Макс, ушел, я помню, вперед; и уходил все дальше, все дальше, теряясь среди деревьев, в трепещущем воздухе; вновь появляясь; и я смотрел ему вслед, не в силах справиться с изумленьем, волненьем, прислушиваясь к призыву, думая об ответе; и в конце концов догнал его, Макса; и он вдруг сказал мне, я помню, что это его последнее лето — здесь, и что вообще начинается, быть может, какая-то, совсем другая, наверное, жизнь; и вдруг остановился; я тоже.

Там были, я помню, березовые, осиновые, с уже потемневшими краями, кругами волокон, но еще пахнущие древесиной, опилками бревна; черное пятно от костра; остатки золы, прибитой дождем.

— Спички? Спички у меня есть…

И не в силах загореться, мокрый хворост, собранный нами, трещал, дымил, гас; сворачиваясь, вспыхивала берёста; еловая ветка, которую я бросил в костер, чадила, шипела, трещала; запах дыма смешивался с запахом леса… И глядя в огонь, он снова заговорил со мною о будущем, и о том, что мы будем делать с ним через месяц, через год, через два; и вдруг замолчал, улыбнулся; пожал плечами; длинной, кем-то когда-то оструганной и с одного конца уже обгоревшей, разумеется, палкой поворошил, я помню, в огне; и подняв голову, посмотрел — я тоже — на медленно, медленно, в мерцающем небе, среди редких ветвей, желтых листьев, исчезавший, терявшийся дым…

— Да, ответить, ответить… как же: ответить?..

И были еще, конечно, какие-то — я уже не помню их — дни; и последний, темный и пасмурный, опять темный, совсем пасмурный день; и в этот день мы встретились, я

помню, у Макса; и дошли до станции, до магазина у станции; и магазин, у станции, оказался закрыт, замок висел на двери; и предложив мне — раз так — сходить в другой, дальний магазин, у шоссе, Макс, я помню — подожди, подожди-ка — пошел, по мокрой траве, к той, в задах магазина, заколоченной, в чем тут же и убедились мы, двери, где был некогда вход — в уже упомянутое: им, Максом — а значит, и мною: на этих страницах — кино. Там показывали, в самом деле, кино: в другие годы: в маленьком, с белыми стенами и фанерными, очень старыми, всегда скрипевшими креслами, зале; теперь, в августе — то ли потому, что поселок опустел, все разъехались, то ли еще по какой-то, неведомой нам причине — никакого кино здесь, во всяком случае, не было; дверь была заколочена; и мы стояли, молча, в мокрой траве, под мелким дождем; и отъезжая от станции, промелькнул за деревьями поезд; и кто-то проехал на велосипеде, в плаще с закрывавшим лицо капюшоном, по асфальтовой, от магазина к станции ведущей дорожке; и он, Макс, вдруг улыбнувшись, сказал мне, что была ведь… была ведь и другая дверь, всегда запертая, с другой стороны; и я сказал, была, была, кажется; и мы обошли магазин, я очень хорошо это помню; и та, другая, действительно, дверь на сей раз оказалась почему-то незапертой; простая палка просунута была между ручек, ржавых скоб, припаянных к створкам; мы вытащили ее — дверь распахнулась; сырым холодом пахнуло на нас; и едва освещенный темным, серым и пасмурным светом, проникавшим сквозь открытую дверь, ложившимся на пол, зал был таким же, каким был он и в прошлом, и в позапрошлом году, — совсем, совсем маленьким, — с теми же, фанерными, креслами, — белыми, вымазанными известкою стенами, — и тремя окнами, забранными все той же, черной, плотной и пыльной, не пропускавшей света материей…; и тускло, серою белизною, отсвечивал, я помню, экран; и было, конечно, то маленькое, квадратное, в глубине зала, над последним рядом, окошко, откуда, пробиваясь сквозь темноту, выходил некогда длинный, желтый, понемногу расширявшийся луч стрекотавшего, за стеной, аппарата; и откуда теперь, вдруг, послышался резкий, стрекочущий, щелкающий, испуганно-радостный щебет какой-то, невидимой, птицы; удары клюва; шум крыльев; и Макс, прислушиваясь, подошел к окошку, привстал на цыпочки, обернулся; и пошел обратно, к экрану; и вновь обернулся; и сказал мне, что — вот, все это мы видим в последний раз… наверное; может быть…; в последний раз, как будто впервые.

В последний раз, как будто впервые; и я сел в кресло, я помню; и снова встал; и сиденье, подпрыгнув, ударилось, с глухим стуком, о спинку; и глухо, печально, отчетливо звучали наши шаги в тишине; и за дверью был дождь; и далекие деревья; и

черные ветви; и низкое — нет, как будто приподнявшееся над деревьями небо; и мы еще постояли в дверях; и в последний раз оглянулись; как будто впервые; и он, Макс, найдя ее в мокрой траве, просунул прежнюю палку между ржавых скоб, припаянных ручек; и опять прошумел, промелькнул за деревьями поезд; и мы пошли, наконец, не оглядываясь, в тот, дальний — и действительно: очень далекий — магазин, у шоссе, до которого мы ни разу, как выяснилось, ни он, Макс, ни я, не доходили: пешком.

Мы видели его, в другие годы, проезжая мимо, приезжая из города — вместе с кем-нибудь, конечно, *из взрослых* — Макс улыбнулся — на машине или, например, на такси.

— А мы и поймаем машину, — сказал он.

Но никаких машин не было; был только дождь, холод, коченеющие ладони; пустые дома, мокрые крыши.

И очень и очень долго мы шли под дождем, — все дальше и дальше от кино, от станции, — налево, направо, — по той, нашей, — по другой, очень длинной, самой длинной в поселке, вдоль леса тянувшейся улице (я помню… я конечно помню все это наизусть; я мог бы вычертить схему и план этих мест, — этих улиц, — просек, — тропинок в лесу…) — прошли ее, — вновь повернули, — поселок кончился, — улица превратилась в дорогу, — слева, внизу, остался подернутый тиной, рябью, темный и пасмурный пруд, — кусты, отражавшиеся в воде, — лодка, качавшаяся у мостков.

— И дальше я еще никогда не ходил…

— Я тоже. Никогда, никогда…

И это было, я помню, так, как если бы мы перешли вдруг какую-то — впервые перешли вдруг — границу, отделявшую — от всего остального и прочего — тот замкнутый в себе мир (лес, поселок и станция…), в котором, почти не думая о его границах, пределах, мы жили каждое лето, всегда, и в прошлом, и в позапрошлом году…; как если бы мы впервые оказались *снаружи*, с веселым чувством *побега*…; и мы шли, я помню, быстро, легко, по дороге, по которой никогда не ходили, черневшей и загибавшейся среди незнакомых нам сосен; и он, Макс, шагая рядом со мною, то вынимал, то снова засовывал руки в карманы; и смотрел, шагая, по сторонам; и чем дальше мы шли, тем сильнее делалось это чувство — побега, и это осеннее, потаенное ощущение — жизни, отпущенной впервые на волю…; и я сказал ему, что я мог бы идти и идти вот так, бесконечно; и он сказал, что он тоже, наверное…; а между тем, мы уже слышали — за поворотом — шум машин, шум шоссе; и повернув, увидели это шоссе — и эти машины, с тревожным шипением пролетавшие по мокрому, скользкому,

во все стороны брызгавшему асфальту, — и какие-то — мне казалось, я вообще никогда их не видел — туманно-тающие поля за шоссе, — и какую-то другую дорогу, терявшуюся среди этих полей. И в магазине — он оказался очень похож на тот, наш, закрытый — с такими же или почти такими же, ведущими к входу ступеньками — перилами над крыльцом — высоким стеклянным прилавком — полками в глубине — купили мы, как сказал Макс, всего — и хлеба, и сыра, и каких-то, я помню, консервов, и — сосчитав деньги — бутылку вина, первую, как выяснилось, бутылку вина, вообще нами купленную…; и выйдя из магазина, и оглянувшись, увидели сворачивавший с шоссе грузовик; и он, Макс — для меня, но, показалось мне, и для него самого, Макса, почти неожиданным, легким, плавным движением — взмахнул рукою, выбросил ее в воздух и вновь, выдохнув, опустил; и грузовик, проехав, остановился; мы подбежали к нему; Макс, договорившись с водителем, сказал мне: в кузове: в кузове мы поедем; и мы поехали, действительно, в кузове, сидя, в глубине его, на каких-то ящиках, качавшихся и гремевших. И все грохотало, гремело вокруг нас; и пробегал по щекам, трепал волосы влажный, дорожный, сырой далью отзывавшийся ветер; и безмерным, огромным казалось — над убегающими деревьями — небо; и — совсем-совсем маленьким, когда мы въехали в него, наконец, как будто сжавшимся показался поселок; быстро-быстро промелькнули знакомые улицы; Макс, перегнувшись, постучал по крыше кабины; грузовик, дернувшись, затормозил.

И мы еще долго провожали его глазами — он поехал куда-то к станции — скрылся за поворотом — и потом пошли по той, нашей улице — к Максу; — и потом еще очень долго, как сказано, весь вечер сидели у него, на веранде.

И понемногу темнело за окнами; и чем темнее становилось вокруг, тем ближе придвигался к веранде сад; и Макс, когда мы поужинали, снова заговорил со мною о прошлом, о позапрошлом лете, о сломанных велосипедах, вечерних встречах возле кино…; о том, что мы тогда еще помнили, а после как будто забыли: так думаю я теперь; еще помнили: уже вспоминали; и от выпитого нами вина все чуть-чуть путалось: шелест веток, отзвуки поездов…; и вдруг засмеявшись, он сказал мне, что все это… все это очень грустно; и я спросил, что именно; он сказал, вообще все; и мы оба засмеялись, я помню; и я сказал ему, что мы, конечно, увидимся с ним в Москве; и он сказал, да, конечно, увидимся; и выйдя на улицу, я посмотрел, в последний раз, на горевшие за деревьями, мокрыми листьями окна его веранды; и дошел до дому, смеясь сам с собою; и заснул — и тут же проснулся. И когда я проснулся, я помню — все уже было иначе; была ночь; была такая, вдруг, ясность — во мне; такое чувство —

внезапного, вновь, пробужденья; и так четко, так точно отделялись друг от друга все звуки; всплески, шорохи за окном; и так влекли, так манили; и так ясно, вдруг, увиделся мне весь этот день, уже закончившийся; и весь это август, уже завершившийся; и кино, и зал, и дорога, по которой мы шли; и грузовик, и небо над высокими кронами; и все просеки, и все тропинки в лесу; и поезд… поезд, я помню, пролетев сквозь падение капель, сквозь шелест веток, шум сада, распахнул вдруг такое огромное, с такими безмолвными — я видел их, закрывая глаза — полустанками, — разъездами, станциями, — мостами и реками, — такой тревоги исполненное пространство: — что, не выдерживая, я зажег свет, — оделся, — снова вышел на улицу.

Да, звезды: звезды среди невидимых облаков; и темные очертания дома; и калитка, и ладони, и капли; и… на другое утро, как сказано, Макса там уже не было.

И я побродил еще немного по улицам, по лесу, и постоял у тех бревен, в березовой роще, где мы жгли с ним костер, и в конце концов уехал, как и он, Макс, в Москву, в этот огромный, опять-таки, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, — в этот город, где старое так причудливо сплетается с новым, дозволенное с запретным, поддающееся с не поддающимся описанию, — и где, вскорости, мы снова встретились с Максом.

9

И здесь пауза (думаю я теперь…) — здесь два года, с которыми я не знаю что делать: и как если бы (думаю я…) — как если бы нечто (и даже все…), уже начавшись (в августе, в августе…), еще, странным образом, медлило, и таилось, и пряталось — где-то, за краем жизни, за поворотом…

И все-таки заполним ее, эту паузу: заполним ее все-таки… чем-нибудь.

Отступая в прошлое, события и вещи меняют свою природу. Совсем иначе видим мы их; время, лежащее между ними и нами, высвечивает их как будто своим, — своим собственным, — прозрачным, пронзительным, — тем же самым, может быть, светом, какой светит… да, снова светит сегодня здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке, где я живу по-прежнему, один, поворачивая обратно.

И всматриваясь отсюда, теперь — в тот, там, покинутый мною город, — и хотя он кажется мне, теперь и отсюда, чем-то почти немыслимым, невозможным: как если бы

его никогда и не было вовсе, — всматриваясь отсюда, теперь, вопреки всему и прежде всего, я вижу там, в том городе, некие, еще возможные, почти возможные улицы, переулки: проходы, арки, дворы: тот дом, например, тот двор (с клумбой, скамейкой…), где жил я — еще так недавно, уже так, в общем, давно; ту арку, выводившую из двора в переулок; тот, между трех, с одной, и трех, с другой стороны, очень старых, но и очень хорошо сохранившихся, бледно-зеленой краской выкрашенных домов (с фронтонами, с подобьем кариатид…) к ближайшей улице ведущий проход: проход, всякий, почти всякий раз, когда я шел по нему и как бы часто я по нему ни ходил, поражавший меня своей неожиданной, среди кривых улиц, загибавшихся переулков, прямизной, соразмерностью, внезапной и уверенной перспективой; ту улицу, наконец, спускавшуюся к красной, кирпичной — с далекими куполами за нею — стене; еще улицы, еще переулки; бульвары, аллеи; преображенные временем, пронзительным светом, они влекут меня — почти так же, быть может, как влекут меня, здесь и теперь, эти крошечные, у моря в соседней деревушке километрах в пяти от нашей, с совершенной ясностью друг от друга отделенные домики, далекие сосны; почти так же, быть может, как влекут меня те, другие, дачные улицы, кусты и деревья, мелкий дождь и тихая морось — так навсегда и оставшиеся: в августе, в начале всего.

Все это было — и есть, разумеется — там, в том городе, мною покинутом.

И все это было — бывало — разумеется, зимним, осенним…; и был, значит, ветер; листья; были, конечно же, облака; и — что же? — и густая синь вечернего неба над, скажем, желтыми, красными кронами; и сиреневый отблеск крыш перед самым закатом; и те, скажем, светлые, снежные, как будто тающие и почти прозрачные ночи, когда, просидев весь вечер у меня, в моей комнате, мы выходили вместе с Максом на улицу; я шел провожать его; странно легкими, в отсветах фонарей, казались мне очертанья карнизов, решеток, обведенные снежной каймою; совсем неподвижно, как будто вообще неспособная к движению, стояла приткнувшаяся где-нибудь на ночь, в проеме арки, машина; бульвар терялся в сугробах; снег скрипел под ногами; и еще говоря, быть может, о чем-нибудь — впервые прочитанном, договаривая, не в силах договориться, сворачивали мы в один, в другой переулок, налево, направо…; и еще долго, иногда очень долго бродили по улицам, пустынным и замершим; и почти так же, быть может, как бродили, в августе, по лесу; почти так же, быть может, как, впоследствии — здесь, вдоль моря, по дюнам…

Да, все это — или, вернее: вот так, преображенное временем, все это вспоминается мне теперь; но (с другой, роковой стороны…) — но я уже никогда не забуду, как сказано, того ощущения невозможности, провала, разрыва…, которое вдруг охватывало меня на каком-нибудь огромном, ревущем, полном машин, людей, возбужденья проспекте, в каких-нибудь снежных, ранних, текущих и растекавшихся сумерках; или, например, на какой-нибудь, заметенной снегом окраине, среди грязно-белых, и вполне одинаковых, домов, пустырей, скользящих прохожих; или, скажем, в метро: в метро, в этом призрачном, подземном, электрическом сумраке, где все исчезало: и дома, и деревья, и снег, и листья, и улицы…; и только необозримые, серые и черные толпы двигались, сталкивались, обгоняли друг друга; и так странно, мучительно терялись все направления; и поезд въезжал на станцию с какой-то — не той стороны; и станция оказывалась вдруг — перевернутой; и я уже сам не понимал, может быть, где я, собственно, нахожусь.

Все это тоже было — и есть, наверное — там, в том городе, покинутом мною; всего этого: ничего этого как бы — нет, как бы — не было.

Странный город, удивительный город. Название его сохранилось; названия — исчезли; все тонет — в безымянной безмерности.

Да, все безмерно, огромно; и все кажется — взорванным: как если бы (так думаю я теперь — или так думал я, может быть, в шуме и грохоте, в тоске и спешке возвращаясь, к примеру, домой…) — как если бы некий мир, некий город, здесь когда-то стоявший — распался, разбился: и вот — на том же месте, среди обломков, развалин — возникли какие-то улицы, проспекты, дома, ни с чем не соотнесенные, ни к чему не причастные…; вне мира, вне города.

Есть (еще и еще раз…) — есть вещи, поддающиеся, и есть — не поддающиеся описанию. Первые могут случиться на бумаге — бумага не рвется; о вторых мы только упоминаем с опаской.

Есть вещи поддающиеся, и есть — не поддающиеся описанию; но (так думаю я теперь…) — но тот дом, где жил — Макс, всегда казался мне, и до сих пор кажется: из всего неописуемого — самым неописуемым, из всего немыслимого — самым немыслимым, наименее возможным — из всего невозможного. Темной громадой нависает он над рекою, над городом, над другими домами — перерастая их все и как бы вбирая их все в себя…; Макс же (думаю я теперь…) видел его каждый день (каждый вечер и каждое утро…) — из окна своей комнаты. Он жил в боковом, или, вернее, в противоположном по отношению к главному зданию крыле; окно его комнаты

выходило во двор; — и всякий раз, когда, переехав на троллейбусе через мост, я заворачивал за угол, поднимался на лифте, нажимал на кнопку звонка, — и он, Макс, открывал мне дверь, впускал меня внутрь, — всякий раз, войдя в его комнату, я подходил, я помню, к окну, и раздвинув шторы, смотрел на эту темную, заслонявшую небо громаду, не в силах в нее — поверить…; Макс, как только я отходил от окна, тут же вновь задергивал шторы. Он вообще жил с закрытыми шторами, Макс, отгораживаясь от неописуемого; в его комнате — при условии, разумеется, тщательно задернутых штор — было, пожалуй, что-то неприступное, уединенное. Совсем тихо было здесь, в этой комнате: с книжными полками вдоль одной стены и столом, прислоненным к другой, с двумя креслами и диваном, наконец, в глубине, — в этой комнате — при условии, разумеется, задернутых тщательно штор — как будто плывущей над городом (уже невидимым…), над другими (невидимыми…) домами. И лишь выходя на улицу, садясь, к примеру, в троллейбус, вновь видел я и эти другие (неописуемые…), и его, Максов (решительно неописуемый…) дом; всякий раз почти с облегчением возвращался я в старую часть города, еще, в общем, возможную.

Но в жизни (так думаю я теперь…) — в жизни есть ведь не только улицы, не только дома. В жизни есть еще — что же? — некие отношения, некие события, некие обстоятельства…; сама жизнь, короче: та жизнь, к примеру, которой жил я, живущий теперь — здесь, — та, к примеру, которой он, Макс, жил там, в том, огромном, невероятном, таинственном, самом странном на свете городе (вне мира, вне города…) — и в которой, на каждом шагу, каждый день, мы сталкивались с чем-то сомнительным, неописуемым, невозможным. Не только город: все прочее тоже — распалось, тоже — разбилось…; мы же (так думаю я теперь…) — мы не просто — сталкивались, и не просто — видели все это: подобно тому, как мы видели, к примеру, дома, проспекты и улицы, еще возможные или уже, к примеру, немыслимые: — мы оба, каждый на свой лад (хотя и сходным образом: точнее я сказать не могу: пока не могу…) участвовали, и не могли не участвовать, в некоей, если угодно — как будто превышавшей нашу собственную жизнь, вбиравшей ее в себя — в некоей, тоже, если угодно, жизни, решительно, решительно неописуемой.

Мы не соглашались с нею, конечно: мы оба, однако, платили ей свою дань: если не каждый, то почти каждый день: если не каждое, то почти каждое утро.

Она надвигается, она охватывает; не участвовать в ней мы не можем; а между тем, ей словно не хватает чего-то, в ней словно отсутствует нечто.

В ней есть некая принудительная обязательность, подавляющая безусловность; а между тем, ее и вообще как бы нет — нет, как бы — не было: так думаю я теперь.

И — хватит, хватит пока об этом.

То, что не поддается описанию, описывать, конечно, не следует: роман, сказал мне некогда некто, еще не введенный мною на эти страницы, но уже втайне упомянутый мною, роман — это сумма запретов.

— Роман — это сумма запретов…; и всматриваясь отсюда, теперь (из этой маленькой, еще и еще раз, за дюной притаившейся деревушки, с ее утренним, по-прежнему, холодом, пронзительным, по-прежнему, светом, и с этими — теперь уже летними, долгими и ясными вечерами ее, затихающими деревьями, луной, поднимающейся над ними…) — всматриваясь, теперь и отсюда, в тот, там, покинутый мною город, — вновь, в спасительном смещении перспективы, я вижу там, в том городе — улицы, еще возможные, переулки, еще дозволенные, — и какие-то, скажем, осенние, — какие-то весенние, скажем, — ветреные и тихие дни, — и первые желтые, — и первые зеленые листья, — и зимние ночи, — и снег, повторяющий очертанья решеток, очертанья карнизов, — и сугробы, и отсветы фонарей, — и какие-то летние, ясные, долгие — почему бы и нет? — вечера, луну над крышами, затихающие деревья…

Отдаляясь во времени, еще и еще раз, события, вещи меняют свою природу.

Но есть блаженные минуты, как сказано: блаженные минуты, когда мы видим настоящее так, как видим обычно лишь прошлое, с той же отрешенностью, с тем же вниманием, как будто отсутствуя, но может быть именно потому присутствуя в нем: блаженные минуты, с почти мучительной остротою, удивительно часто случавшиеся с Максом в ту осень, когда, не в силах остановиться, он бродил и бродил по городу, по улицам, переулкам — и набрел, среди прочего, на одну, очень маленькую, как сказано, площадь.

10

Был, значит, некий август, дождливый и темный: начало всего; и была, значит, некая осень, очень ветреная: начало чего-то.

Да, ветер: ветер набрасывался на город, гонял по улицам листья, мусор, обрывки газет, — и подгоняемый им, отдаваясь ему, Макс (истинный герой моей истории: если

это история…) уходил все дальше и дальше, куда-то, — и блуждания его каждый день начинались сначала, варьировали на разные лады все те же улицы, переулки, проходы, и охватив и проиграв уже известное, прибавляли к нему всякий раз еще и малую толику неведомого: еще одну улицу, еще один переулок…

Он как будто впервые открывал для себя этот город, самый странный на свете (и прежде всего, разумеется, его старую, поддающуюся или почти поддающуюся описанию часть, от его, Максова, неописуемого, еще раз, жилища отделенную, как уже говорилось, рекою…); но вместе с тем и в то же самое время что-то совсем иное открывалось — открылось ему в ту осень.

Что это было? Был ветер (еще и еще раз…); была, в этом ветре и на этом ветру, блаженная, мучительная тревога; мучительная, блаженная обостренность всех впечатлений; внезапное расширение каких-то, неведомых прежде границ; тайный трепет; волшебная дрожь…

Он шел, следовательно, все дальше и дальше; и вдруг, замерев — в мгновенной, вдруг обступавшей его тишине, в чудесной паузе, в чарующем промежутке: между чем-то и чем-то — между вдохом и выдохом — видел улицу, по которой он шел, и потрясенные ветром деревья, и летящий по ветру лист, и солнце, бегущее по карнизам…; почти восторг охватывал его временами. Как будто впервые видел он все это: почти так же, быть может, как увидели мы когда-то, в августе, в начале всего, совсем другие, дачные улицы, дома и деревья, мелкий дождь и тихую морось, — но вместе с тем и в то же самое время: с какой-то, доселе ему неведомой, до сих пор ему недоступной, невероятной, почти пронзительной ясностью, восхищавшей и поражавшей его самого.

И это (так думал он, может быть…) — и это (так думаю я теперь…) — и это было, наверное, так, как если бы он, Макс, блуждая по улицам, вдруг и совсем неожиданно, нашел в себе некую, единственную и неподвижную точку, с которой, и только с которой, он мог увидеть, и действительно видел: деревья, дома.

Он нашел ее — он находил ее: все снова и снова.

— Вот, думал он, может быть, вот я иду здесь, по этой улице, решительно мне незнакомой; и вот ветер, вот облако; вот машина проехала; вот лист летит с дерева; и вот она, эта волшебная, эта неподвижная точка — во мне; стоит найти ее — и все стихает, все проясняется… Свернем сюда, в переулок?.. Ах, я уже знаю его… там, дальше, бульвар… бульвар и аллея… листья и ветер… и вот я иду здесь… Нет, что же, что же я думал?.. Продлить свою мысль: вот что важно, вот в чем все дело…

И он пытался, в самом деле, продлить свою мысль; как будто впервые он открывал для себя ее длительность, протяженность; он измерял ее: дойдет ли она, вместе с ним, вон до той арки, скамейки, свернет ли, вместе с ним, в переулок…; и в тайном созвучии с его шагами, с поворотами улиц, порывами ветра, она достигала вдруг такой ясности и такой остроты, о которых он, может быть, и не подозревал до сих пор, отчетливости, ни с чем не сравнимой; она двигалась — он видел ее движение; он следил за нею: почти так же, быть может, как следил он — за летевшим по ветру обрывком газеты, за сменою света, теней на асфальте: с той же отстраненностью, с тем же вниманием.

И она действительно доходила вместе с ним: до арки, скамейки; и сворачивала вместе с ним в переулок; и вдруг обрывалась, терялась: точно так же, как вдруг терялись, исчезали из виду дома, листья, асфальт, тени и свет на асфальте; и лишь выходя на бульвар, он вдруг снова ловил ее, возвращался: откуда-то…; и снова, и снова находил в себе эту единственную, неподвижную точку, с которой, и только с которой, он мог увидеть и видел: решетку, отделявшую бульвар от улицы, деревья, гравий аллеи.

И тот (так думаю я теперь…) в августе, в начале всего, впервые услышанный нами — призыв: он слышал его и здесь: по-прежнему или, может быть, снова слышал его: и хотя здесь, в городе, на этих улицах, среди этих домов, услышать — расслышать его было, конечно же, гораздо, несравненно труднее. Но он все-таки слышал его (на этих улицах, среди этих домов…); и заглушаемый шумом ветра, шумом и грохотом города, призыв этот, здесь — или, вернее: теперь, осенью, с ее блаженной тревогой, пронзительной ясностью, мучительной обостренностью всех впечатлений, — призыв этот звучал так настойчиво, как может быть еще никогда — и даже в августе, в начале всего — не звучал; Макс, остановившись и замерев, всматривался, к примеру, в какое-нибудь, с уже облетавшими листьями, дерево, — в какой-нибудь вяз, липу: с мгновенной голубизной, синевой, просвечивавшей сквозь уже по-осеннему черные ветви, — в начале бульвара, — удивленный и очарованный.

— И чего же они хотят от нас, эти деревья, с их стволами и ветками… этот вяз, эта липа?.. Они хотят, может быть, чтобы мы их — увидели?.. Вот, я их вижу…

— Да, я вижу его, это дерево — прямо напротив — этот вяз: совсем старый, наверное — этот лист, оторвавшийся, упавший на землю — это сплетение веток — голубизну, синеву… Да, я вижу его, это дерево… В нем есть — что же? — в нем есть, может быть, некая, ни с чем не сравнимая безусловность; вот оно: прямо напротив… Но вот и я; вот я; вот я смотрю на него…

Бульвар же почти всякий раз повторялся в его блужданиях. Он шел, очень медленно, по боковой, обычно, аллее, особенно любимой им, то есть Максом, за ее совершенную прямизну, бесконечную протяженность, волшебное ощущение перспективы, глубины, отдаления — или, наоборот, приближения к чему-то, упорно и медленно отдалявшемуся…; ветер, перелетая через нее, шумел как будто снаружи, в вершинах деревьев; в ней самой было тихо. И были пятна солнца на темной земле; листья, шуршавшие у него под ногами; скамейки, убегавшие вдаль, с чудесной четкостью отделенные друг от друга, но как будто сближавшиеся, уменьшавшиеся вдали; аллея, понемногу сужавшаяся: — медленно, совсем-совсем медленно шел он по ней иногда, — и теряясь в ее глубине, перспективе, взгляд его скользил, ускользал…, и потом опять возвращался к нему, — и он опять останавливался: перед каким-нибудь деревом: липою, вязом.

— И чего же, чего же они хотят от нас, эти деревья… эта липа, тот вяз?..

— Они хотят, чтобы мы их — увидели?.. они призывают нас, быть может — к усилию?.. Да, к усилию, думал он, конечно, к усилию…

Он и совершал усилие… прямо напротив; и пытался, и продлевал его… сколько мог; и делал один шаг; оглядывался; делал еще один; и в последний раз оглянувшись, уже не оглядываясь, шел, так же медленно, дальше — по этой ровной, прямой, сужавшейся понемногу аллее: настолько ровной и настолько прямой, что, лишь до половины пройдя ее, может быть, он, Макс, уже видел, вдали — в волшебном, чарующем отдалении — ее конец, выход: мгновенный просвет между — еще неразличимыми, конечно, деревьями…; и хотя он прекрасно знал, разумеется, что аллея, а вместе с ней и бульвар, — что бульвар и аллея заканчивались, обрывались на некоей, очень шумной, широкой, полной машин, людей улице, — и что, когда он выйдет на эту улицу, нечто, в нем самом, тоже, скорее всего, оборвется, закончится: — нечто, в нем самом, не только не обрывалось, но в этом медленном, неуклонном приближении: к уже известному, заранее заданному, — в эти несколько, предположим, минут, покуда он шел: по аллее, — в это краткое, заранее ограниченное, но может быть именно потому чудесно растянутое, осязаемо длительное мгновение, — нечто, и даже все, обострялось, усиливалось, блаженно и радостно; затаив дыхание шел он; откуда-то, изнутри, видел он каждый свой шаг; откуда-то, издалека — пятна солнца на темной земле, скамейки, с совершенной четкостью отделенные друг от друга; все казалось — убедительным, безусловным; достоверным и обязательным; несомненным, не подлежащим сомнению; ощущение перспективы почти совпадало, быть может, с ощущением — счастья.

И он выходил, в самом деле, на широкую, шумную — не столь широкую и не столь шумную, может быть, как тот, какой-то, уже упомянутый мною проспект (где он садился обычно в троллейбус…) — но все-таки: мучительно возбужденную, переполненную: людьми, машинами, улицу; он спешил уйти с нее; сворачивал в переулок, налево, направо…; и покуда он шел так, нечто, в нем самом, действительно: обрывалось; кружилось; мысли путались; взгляд, не в силах ни на чем задержаться, перескакивал с одного на другое: — и подгоняемый этим яростным, этим неистовым ветром, оглушенный и охваченный им, шел он: все дальше и дальше, все быстрей и быстрее, не останавливаясь, не глядя по сторонам: — и вдруг, в проеме арки, в глубине какого-нибудь двора, — вдруг как будто спохватывался; замирал: почти в испуге, быть может; и вновь, с прежней ясностью, видел этот двор, например, знакомый ему или нет, все равно, и какую-нибудь, снова, решетку, клумбу, скамейку, и отражение облака, промелькнувшее в дальнем окне…

И значит (так думаю я теперь…) — и значит, что-то еще — что-то совсем иное, опять-таки, открывалось — и открылось ему в ту осень.

— Что это, что это было?

— Это налетает, как ветер, и как ветер уносит куда-то… И вот мы идем, не в силах остановиться… уходим, не оборачиваясь…

— Да: продлить свою мысль… Но я не в силах продлить ее: вот в чем все дело…

Как будто впервые, блуждая по городу, открывал он ее, мысли — расширявшиеся: чудесно и радостно — расширявшиеся, но все же: границы. Она действительно доходила с ним вместе: до конца бульвара, к примеру; и сворачивала вместе с ним в переулок; но затем, как сказано, обрывалась, терялась; кружилась и путалась; и распадалась, наконец, на какие-то, отдельные, случайные мысли, ему, Максу, уже неподвластные.

Он пытался собрать их; иногда мог, иногда не мог собрать их, конечно.

— Но ведь вот же, вот я иду здесь; и вот ветер, вот облако; вот лист летит с дерева… И вот я снова нашел ее, эту неподвижную точку — во мне. Она есть — ее не было; ее можно найти — ее можно и потерять. И все кружится, все исчезает…

Он находил ее — он снова ее терял.

Деревья обращались к нему — он не смотрел на них. Листья, обрывки газет взывали к нему, пролетая — он шел, уходил, не оглядываясь, не в силах остановиться.

— К усилию призывают они?.. к усилию, которого мы не выдерживаем…

— Мы не выдерживаем его, мы не справляемся с ним…

И так было, конечно, всегда, думал он. Он, Макс, — он не видел этого раньше. Ему просто неоткуда было это увидеть. Теперь было откуда. Теперь, то и дело спохватываясь, все ясней и яснее видел он, в самом себе, эту смутность, бессилие мысли, ускользанье, скольженье…

Она ускользала от него, еще и еще раз; она распадалась, может быть, на какие-то, отдельные, случайные мысли; она превращалась, может быть, в мысль: для кого-то другого…

— Вот именно: для кого-то другого…

Он сам не знал, разумеется, что ему со всем этим делать. Так не может быть, думал он, нет, так не может быть…

Так не может быть, но так было. И вновь, и вновь, останавливаясь, всматривался он в эту путаницу случайных, его собственных, неподвластных ему самому, в эту сумятицу смутных, путаных, к кому-то другому — к кому же? — обращенных, может быть, мыслей: уже, конечно, исчезнувших, пролетевших: вновь, увы, налетевших — он шел дальше — как ветер.

Как ветер, как ветер…; и ветер, как сказано, ветер, все снова и снова, изо дня в день набрасывался на город; и гонял по улицам листья, и мусор, и обрывки газет; и Макс, отдаваясь ему, каждый день, все снова и снова пускался в свои блуждания; и все повторялось, кружилось; повторялись улицы, переулки; проходы, арки, дворы; почти каждый день повторялся бульвар; аллея, прямая и ровная; липы, вязы, сплетение веток; скамейки, убегавшие вдаль; призыв, превышавший его возможности; усилие, которого он не выдерживал; искомая ясность; смутность, пугающая и постыдная…

— Мы почти всегда… с кем-нибудь… говорим… Мы не совпадаем… сами с собою…

И — и летел по ветру, и дрожал на ветру, и медленно, медленно опускался, и вновь, встрепенувшись, взлетал обрывок какой-нибудь, к примеру, газеты…; и он, Макс, остановившись и замерев, все снова и снова спрашивал себя самого, что же ему со всем этим делать…; и не знал, конечно же, что.

11

Ветер рванул дверь: и уже во дворе, пытаясь снова закрыть ее и глядя при этом на небо, с разорванными, то и дело менявшими свои очертания, сливавшимися и вновь, друг от друга, отделявшимися облаками, — с внезапными просветами, проблесками: голубизны, синевы, как будто тоже летевшей, улетавшей куда-то, — закрывая дверь, посмотрев на небо и опуская глаза, я вдруг увидел его, Макса: в проеме арки, совсем неожиданно: еще мгновение он был ясно очерчен пронзительным, под арку, наискось ложившимся светом, — и потом, конечно, исчез, — и осталось только чистое, в арке, на ветру полинявшее небо, тоже куда-то летевшее. Я выбежал в переулок; я увидел его со спины, уходящим. Он шел как-то странно, неловко и неуверенно, подняв голову, останавливаясь, вращая руками и крутя головой; в походке, в руках его виделось мне: изумление. И все это: листья, облака, ветер; дома и деревья; Макс, который, по странной прихоти света, чем дальше он уходил, тем отчетливей, яснее и безусловнее вырисовывался на фоне листьев, ветра и облаков; домов и деревьев: — все это уносилось куда-то, проносилось, улетало, летело.

Я не догнал его; я посмотрел ему вслед и пошел своей дорогой.

Макс же шел и шел дальше, и охватив и проиграв уже известное, очутился, значит, на маленькой, совсем маленькой — угол одного дома, торец другого, стена третьего — площади: — и вот, в глубине ее, на повороте в уже совсем ему, Максу, незнакомую улицу — такой же, как и все остальные на площади, — маленький, двухэтажный, — старый и ветхий, — и так же косо стоявший, — и так же, вместе с листьями, облаками, уносившийся и летевший куда-то — дом.

Но что-то выделяло его, этот дом, из всех прочих, на площади: то ли, может быть, жестяной, над входом и над тремя, ведущими к входу ступеньками, проржавевший по краю навес, — то ли, может быть, новая, покрытая, наверное, лаком, отсвечивавшая и блестевшая на ветру, с большой медной ручкою, дверь, — то ли: в окнах, может быть, что-то?..; Макс, переходя через площадь и предполагая, должно быть, увидеть рядом с дверью (с навесом…) какую-нибудь табличку с каким-нибудь, ничего никому не говорящим названием — одно из тех невозможных, загадочных сочетаний слогов, букв, не только не собирающихся в слова, но как будто застывших в своей мучительной, друг от друга, отъединенности — одно из тех пугающе странных обозначений, короче, которые (думал он, может быть…) так часто встречаются нам в наших, к примеру, блужданиях по этому странному… ах, пугающе странному городу, — Макс, переходя через площадь, еще и сам не знал, наверное, что это было; подойдя же к дому, никакой таблички не обнаружил: и в окнах… да, театра, оказались цветные, раскрашенные и

разрисованные плакаты, афиши, — и черно-белые, очень блеклые фотографии, — и рядом с дверью (с навесом…) объявления о предстоящих спектаклях.

Сергей Сергеевич, как уже говорилось, распахнул дверь, едва не сбив его с ног, и столкнувшись с ним на пороге, рассмеявшись и в то же время весьма решительно отстраняя его рукою, сказал ему, чтобы он — входил, наконец.

— А я и не знал, что здесь — театр…

Но Сергей Сергеевич ничего не ответил на это — вполне наивное замечание; и наверное не услышал его; дверь закрылась; Макс, войдя с улицы (с площади…), различал, в полумраке, лишь смутные очертания лестницы, еще какую-то дверь, и кажется, на стене, еще какие-то плакаты, афиши…; и потом увидел, под лестницей, окошечко кассы; и сидевшая в кассе девушка (сообщив ему, между прочим, что это был *не кто иной, как*… да: *Сергей Сергеевич, наш режиссер*…) продала ему, на ближайший спектакль, билет.

Ветер, как сказано, стих (смирился и отправился восвояси…); пошел снег, холодный, липкий и скользкий; на другое утро растаял; и было несколько, между осенью и зимою, странно тихих, пустых и как будто пустынных, очень долго тянувшихся дней, в один из которых (блуждания его сами собою закончились…) он вновь дошел до маленькой площади и снова оказался в театре.

Он не предполагал, разумеется, что это — тоже, если угодно, открытие будет иметь в его жизни какие-нибудь — или, во всяком случае, сколько-нибудь значительные последствия; ни о каких последствиях он и вовсе, должно быть, не думал. Ему, пожалуй, понравилось все это: и маленькая площадь, с ее одиноким фонарем — такая маленькая, что казалось, она возникла случайно, по недосмотру или ошибке: дома, по ошибке и недосмотру, раздвинулись — стоит им сдвинуться вновь, и она исчезнет, превратившись в простой перекресток; — и косые ступеньки у входа, и жестяной, над входом, проржавевший по краю, навес, — и темная, непонятно куда ведущая лестница, и касса под нею, — и нечто вроде фойе, с тремя, кажется, лавками у стены; — и особенно зал: зал — совершенно ясно я вижу его отсюда — напомнивший ему, Максу, зал, к примеру, какого-нибудь, деревенского или, скажем, пригородного кино: тот зал того кино, например, куда он ходил когда-то — еще до августа, еще до начала (и куда мы зашли с ним в последний, темный и пасмурный день, в августе, в начале всего…).

В самом деле, здесь, в театре (на маленькой площади…) — здесь были такие же, как будто вымазанные известкою стены; и такие же фанерные, без обивки, очень старые кресла; и окна, забранные черной, плотной, тяжелой, не пропускавшей света материей,

здесь тоже, удивительным образом, были. Здесь была, впрочем и разумеется, сцена (без занавеса…) — там ее, разумеется, не было — здесь были две, почему-то, колонны, справа и слева от ведущего к сцене прохода; и в том месте, где там был вход (справа, если встать лицом к ней, от сцены…) здесь — а впрочем, и здесь была некая, неизвестно куда, опять-таки, ведущая дверь, для зрителей, по-видимому, запретная. Вход же располагался здесь прямо против сцены, на другом конце уже упомянутого мною прохода; Макс, войдя в зал — и тут же вспомнив, тут же узнав его — обернулся: нет, того маленького квадратного окошка (оно могло бы здесь быть над входом, над дверью…) здесь, конечно же, не было.

Он пришел рано; зал, когда он вошел в него, был почти пуст; фанерное кресло заскрипело под ним… да, тем же, протяжным, долгим, пронзительным скрипом. Он встал, осмотрелся — сиденье кресла ударилось, с глухим стуком, о спинку; он снова сел — скрип, ожидание.

И покуда он сидел так, глядя на сцену, и зал, очень медленно, наполнялся людьми — странное, совсем особенное, одновременно тревожное и радостное ощущение охватило его, должно быть: город, улицы, переулки, дома, арки, дворы, и даже маленькая площадь с ее одиноким фонарем, и даже косые, у входа, ступеньки, и жестяной, над входом, навес, — все это исчезло куда-то: и как если бы там, за черными окнами, ничего этого уже не было и быть не могло, но был только зал, была только сцена, две колонны, скрип и стук кресел, зрители, понемногу входившие в зал: — странное, тревожное, радостное, отчасти, по каким-то другим театрам, ему, Максу, уже, конечно, знакомое, но здесь, в этом маленьком зале, отчасти знакомом, особенно острое ощущение — укрытости и в то же время оторванности: от всего, от себя.

И затем погас, разумеется, свет, — и было это единственное, всякий раз волнующее мгновение, когда все затихает, — и нечто уже готово начаться, но еще медлит: неизвестно где, за кулисами, — и вот, вот, наконец, начинается: мгновение, впрочем (так думал, может быть, Макс, сидя в кресле, — и так, во всяком случае, думаю я теперь, здесь, поворачивая обратно…) — мгновение, впрочем, почти никогда не сдерживающее — своих обещаний. В самом деле, зал затих, сцена вспыхнула, действие началось: и это (так думаю я теперь…) — и это был, значит, какой-то, более или менее удачный спектакль: по какой-то, более или менее удачной пьесе, знакомой ему или нет, все равно, — спектакль, похожий, в общем, на уже виденные им, Максом, когда-то и где-то, в других театрах, спектакли (и вовсе, конечно, не тот — с тайной радостью я упоминаю о нем — совсем не тот, конечно, спектакль, который сам я видел

впоследствии, много позже, некоей, еще нигде не отмеченной, ранней весною впервые оказавшись в театре: на маленькой площади: — его еще не было в ту далекую осень…) — какой-то, следовательно, более или менее удачный, еще раз, спектакль: спектакль, впрочем, который — с одной стороны разочаровав его, Макса, своим несомненным сходством с уже виденными им, когда-то и где-то, спектаклями, не сдержав обещаний — с другой, и почти независимо от того, что, собственно, происходило на сцене, но может быть, именно потому, что все это происходило не на какой-нибудь, а на этой, именно, сцене, перед этим залом, в этом театре, — который понравился ему точно так же, как понравился ему сам театр: сцена и зал.

Да, ему понравилось все это, еще и еще раз; и хотя, возвращаясь, к примеру, домой (по уже отчасти знакомой ему, пустынной и тихой улице; выходя на проспект и садясь, к примеру, в троллейбус…), он, Макс, ни о каких последствиях, конечно, не думал, — и хотя (так думаю я теперь…) по сравнению с его подлинными открытиями все это отступало, пожалуй, на какой-то второй, задний план и даже казалось, наверное, чем-то, скорее, случайным: — все это, тем не менее — и по дороге, в тот вечер, домой — и на другой день, и через два дня — вдруг — как бы в скобках или, может быть, на полях — отзывалось в нем: его самого, Макса, удивлявшим, должно быть, влечением: к чему-то, еще не изведанному, — ожиданием, тревожным и радостным…

Как бы то ни было, он снова — и снова оказался в театре; входя в зал, перед началом спектакля, увидел вдруг Сергея Сергеевича (устроителя, режиссера…) — и тот, в свою очередь, не только увидел, но и узнал его, к немалому его удивлению, кивнул ему, улыбнувшись, — и пройдя, вместе с кем-то, Максу, разумеется, незнакомым, вдоль сцены, скрылся за уже упомянутой мною, для зрителей не предназначавшейся дверью; Макс, когда спектакль закончился, подошел к ней, постоял у нее — но не решился ее открыть.

И еще через несколько, таких же, пустынных и тихих дней (осень не превращалась по-прежнему в зиму…) он опять увидел Сергея Сергеевича, на мгновенье, в антракте; после спектакля, надеясь встретить его, задержался в зале, в фойе; с пальто в руках помедлил у гардероба; не встретил; вышел на улицу; оглянулся — Сергей Сергеевич шел за ним следом.

— А… это вы тогда *мялись в дверях*; я узнал вас…

Была поздняя осень, был вечер, сырой и печальный, — и как если бы это само собой разумелось, Макс, замедляя шаги, пошел рядом с Сергеем Сергеевичем, вместе с ним,

по пустому и тихому переулку, в какую-то, ему, Максу, как будто незнакомую сторону…

Да, говорил Сергей Сергеевич, отвечая на его вопросы, театр открылся, в общем, недавно, несколько лет назад. Нет, в нем играют не только *настоящие*, с позволенья сказать, актеры; это нечто вроде *студии*, если угодно. Ставят ли они какие-нибудь новые спектакли? Конечно. Какие же? А вот какие — *если эти названия вам что-нибудь говорят*… И даже многое? Тем лучше, тем лучше…

Куда они шли, собственно? Он не знал, куда они шли.

Да, вы правы, это как раз и будет *совсем непохоже* на то, что мы играем сейчас. Это будет немножко… театр в театре — и о театре (растягивая слова…). Как вы сказали? *Известная отстраненность*. Вот именно…

— Сама обстановка располагает к чему-то подобному; сам зал, сцена…

Сергей Сергеевич сбоку посмотрел на него.

— Пожалуй…

Нет, он не узнавал ни этих домов, ни этого переулка, ни этой улицы, в которую свернули они — почему-то вдруг замолчав.

— А вы…? — сказал, наконец, Сергей Сергеевич, снова, сбоку, посмотрев на него. — Уже не в первый раз я вас вижу в театре.

— Мне все это очень нравится, — сказал Макс, — и маленькая площадь, и — все остальное…

— Приятно слышать. Вы, наверное, и сами хотели бы…

— Простите?

— Ну, у вас тоже есть, должно быть, какие-то (с мгновенной усмешкой, растягивая слова…) — какие-то… театральные помыслы?

— Я не знаю. Я никогда не думал об этом. Разве это возможно?

Он вдруг представил себе — себя, выходящим на сцену из-за кулис…

— Это, наверное, очень страшно?.. — сказал он.

— Что именно?

— Выйти на сцену, встать перед залом…

— Конечно. Особенно поначалу. Потом: входишь в роль, привыкаешь…

— Да, — сказал Макс, — но это, наверное, совсем особенное и ни с чем не сравнимое ощущение — какой-то… как бы сказать?.. раскрытости, может быть… Это очень трудно, наверное, выдержать… выстоять.

— Конечно, — снова сказал Сергей Сергеевич, снова — и снова посмотрев на него. — В этом есть даже что-то беспощадное — если угодно. Но вместе с тем, вот в чем дело, вы укрыты и спрятаны за той ролью, которую вы играете. Это уже не вы — это ваш персонаж выходит на сцену. Так, во всяком случае, — так должно быть.

Ах, вот где они оказались: — он вдруг узнал и улицу, по которой они шли, и узкий, короткий переулок, — проулок, — в который они свернули, — и ближайший дом, и следующий за ним, — и водосточную трубу, и тумбу, и подворотню: они сделали полукруг, они должны были выйти — выходили уже на тот самый, почти всякий раз повторявшийся в его осенних блужданьях бульвар. Они не пошли по нему: лишь на мгновение, пересекая ее, увидел он — боковую, столь любимую им аллею, с ее совершенной прямизной, волшебной перспективой, убегающими скамейками: там горели уже фонари, и влажным блеском отсвечивали последние, уже давным-давно облетевшие, конечно, с деревьев, но еще медлившие на сырой и темной земле, желтые, бурые листья…

— Да, выйти на сцену, встать перед залом… Это тоже, — подумал он вдруг, — это, наверное, тоже какое-то… исключительное мгновенье.

— Куда вы идете, собственно?

— Домой, — Макс сказал адрес. — А вы?

— Я-то иду к метро, — ответил Сергей Сергеевич — уже как будто прощаясь.

В самом деле, метро было рядом, почти у самого выхода: с бульвара на улицу.

— Ну что же… весьма приятно было познакомиться с вами… всего наилучшего и: до свидания.

— О нет, постойте, прошу вас… Я понимаю, это, может быть, с моей стороны… но: мне бы очень хотелось… когда-нибудь… если это возможно… побывать, к примеру, на репетиции.

Сергей Сергеевич сложил руки на груди; пошевелил пальцами.

— Я подумаю, — так он ответил. — Позвоните мне: вот телефон. Или просто зайдите как-нибудь: второй этаж, прямо по коридору.

— Спасибо.

— Значит, — в последний раз взглянув на Макса (в последний раз убедившись, что Макс перед ним…), — значит, какие-то театральные помыслы у вас все-таки есть?..

Никаких театральных помыслов у него — все-таки — не было; простившись с Сергеем Сергеевичем, он снова свернул на бульвар; пошел — в обратную сторону — по боковой, конечно, аллее; и — совсем иначе, конечно, увиделось ему все это: и эта аллея, сужавшаяся вдали, и скамейки, убегавшие вдаль, и желтые, и бурые листья —

уже не шуршавшие — скользившие у него под ногами, и влажный сумрак и отблески фонарей… Совсем иначе увиделось ему все это: с той ясностью, которую он открыл в себе, блуждая по городу, и которой — в присутствии Сергея Сергеевича — у него, Макса — в нем, Максе — разумеется, не было, — и не могло, наверное, быть.

— Ее и не могло быть… конечно. Присутствие… другого, — так думал он, может быть, — отделяет нас от нас же самих… от того, что мы видим… или не видим… не можем увидеть…

— Но что же… но что же делать с этим иным… незримым присутствием… в нас же… кого-то?.. Ведь мы всегда, почти всегда с кем-нибудь говорим… к кому-нибудь, всегда, обращаемся…

Он, Макс, оставшись один, вновь, следовательно — тут же и разумеется — оказался лицом к лицу со всеми своими открытиями. И он не знал, конечно, по-прежнему, что ему со всем этим делать; и помедлил, наверное, у какой-нибудь, в конце бульвара, скамейки; и вновь — и вновь посмотрел на эти деревья, с их ветками, совсем уже черными, эти листья на влажной земле; и пошел дальше, не справляясь с усилием; ускоряя шаги, обращаясь к кому-то…; и только, может быть, вдруг — пройдя бульвар целиком и сворачивая, например, в переулок — вновь, может быть, представил себе — себя, в какое-то — исключительное мгновение, выходящим на сцену из-за кулис…

12

Теперь вот что важно. Все эти открытия, блуждания и встречи — я ничего не знал о них. Я увидел Макса однажды, закрывая дверь, в проеме арки, совсем неожиданно; и потом, выбежав в переулок, еще раз, со спины, уходящим; но встречи, блуждания, открытия — я не знал о них ничего, они разыгрывались без меня. Ветер набрасывался на город, гонял по улицам листья, мусор, обрывки газет; потом стих, смирился, отправился восвояси; первый снег засыпал деревья, крыши, растаял; и пустынная, тихая, поздняя осень еще очень долго медлила, не превращаясь — и затем превратилась все-таки в зиму; а я жил там, в том городе, огромном, таинственном, невероятном — своей собственной жизнью; и разыгрываясь где-то рядом, где-то поблизости, на тех же улицах и в тех же, соответственно, переулках, его, Максовы, блуждания, встречи, открытия разыгрывались сами по себе, без меня: — и чтобы только теперь, здесь, в этой маленькой, в ту пору, в ту осень, в ту зиму еще, ни мне, ни Максу, неведомой, и значит, несуществовавшей еще

деревушке, — чтобы только теперь, здесь, на берегу моря, на краю мира, поступить, наконец, в мое распоряжение, в мое, если угодно, ведение…

А между тем (думаю я…) — какие-то, еще совсем смутные мысли — о чем же? — я еще сам себе не решался сказать о чем — какие-то, еще бесконечно-далекие — от чего бы то ни было — помыслы, стремления и планы уже, наверное, были у меня в ту далекую осень, — и в ту, не менее далекую зиму.

Я жил, значит, там (еще и еще раз…) — там, в том, огромном, таинственном, невероятном, самом странном на свете городе, — в его, как сказано, старой, поддающейся или почти поддающейся описанию части; я бродил, как и Макс, по улицам; я видел деревья, небо, видел снег, видел листья; я знал этот город; я даже любил его — иногда; у меня были в нем свои, особенные маршруты, отличавшиеся от общеизвестных. Я ходил переулками, проходил дворами, отыскивал кратчайшие расстояния или, наоборот, отклонялся в сторону…; и тот, в августе, в начале всего, впервые услышанный нами — призыв: я тоже слышал его, слышал его и здесь, и хотя здесь, как сказано, в городе, на этих улицах, среди этих домов, услышать, расслышать его было, конечно же, гораздо, несравненно труднее. Но я все-таки слышал его (на этих улицах, среди этих домов…); и вдруг останавливаясь, пытался не просто увидеть — со всей доступной мне ясностью, прямо напротив — но — я еще и сам не знал, быть может, зачем — запомнить, сохранить, удержать: и листья, летевшие по ветру, и обрывок газеты, взлетавший в конце переулка, и первый снег, и крыши под снегом, и какие-нибудь разводы розоватого дыма над городом.

— И чего же они хотят от нас, эти разводы дыма, деревья в снегу? Они хотят, чтобы мы их увидели — вот, я их вижу…

— Да, я вижу их, эти деревья, уже вполне зимние, черные, с наростом снега на ветках… Но призыв их не умолкает, призыв их… да, призыв их звучит все настойчивее. К чему-то совсем иному, быть может, — к чему же они нас призывают?..

Я еще и сам не знал, конечно, к чему; я уже чувствовал себя — вдруг — я очень хорошо это помню — стоящим — поставленным: перед какой-то — еще не только невыполнимой — еще совершенно неопределенной — уже и все же: задачей.

Но это были, конечно, только мгновения, — предчувствия, — внезапные остановки (в проеме арки, в глубине какого-нибудь двора…): — и еще минуту помедлив, я вновь, конечно же, возвращался в свою, тогдашнюю — теперь и отсюда уже едва различимую жизнь, со всеми ее отношениями, знакомствами, встречами, — обстоятельствами, в той или иной мере случайными, — с ее сменою дней, вечеров и утр, засыпаний и

пробуждений, — (и с ее мучительной причастностью к какой-то иной, превышавшей ее саму и как бы вбиравшей ее в себя, — к какой-то, тоже, если угодно, жизни, принудительно-обязательной, невозможно-неописуемой…): жизнь (думаю я теперь…), в которой присутствовал, разумеется, Макс (истинный герой моей истории: если это история…), — но в которой он, Макс, присутствовал — нет, не совсем — почти так же, быть может, как присутствовали в ней все другие и прочие ее персонажи (еще не введенные мною или вообще не подлежащие введению на эти страницы…): как простая данность, если угодно, не зависящая от моей воли, моих желаний, стремлений, — смутных помыслов, — тайных надежд.

Как бы то ни было (выпадая из жизни, возвращаясь в нее…), я все-таки, значит, запомнил и — сквозь все изменения, превращения и переходы, позднейшие времена — все-таки, значит, донес, сохранил и эту осень, с ее неистовым ветром, и снег, и крыши под снегом, и тот, к примеру, какой-то, в самом начале зимы, светлый, снежный, хотя и без солнца, легкой дымкой окутанный день, когда — уже вечером, у меня дома (в той комнате, думаю я теперь, которая была когда-то моею и вокруг которой, когда-то, располагались для меня все улицы, переулки, ожиданья и встречи, дни, вечера…) — он, Макс, впервые рассказал мне о театре (на маленькой площади…), о Сергее Сергеевиче (режиссере и устроителе…), о репетиции (на которой побывал он в тот же день…), и — уже ночью, мы вышли на улицу — впервые — как я теперь понимаю — заговорил со мной о своих осенних, важнейших открытиях.

Зато теперь, здесь — теперь и отсюда — как будто с двух сторон (моей и Максовой…) вижу я этот день (подобно осени, только что мною описанной, поступивший — поступающий — наконец, в мое распоряженье и веденье…) — тот день, следовательно и с его стороны, когда, созвонившись, в самом деле, с Сергеем Сергеевичем, договорившись с ним, он, Макс (истинный герой моей истории: если это история…) впервые оказался на маленькой площади утром, зимою (она показалась ему чуть менее маленькой, чем казалась осенью, по вечерам…), вошел в пустое фойе, пустой зал, открыл и снова закрыл за собою некую, до сих пор для него, Макса, запретную дверь, прошел большое, темное, заваленное какими-то, почти неразличимыми в темноте предметами — стульями, поставленными друг на друга, фрагментами декораций, быть может — помещение за сценой, — поднялся, по темной, опять-таки, лестнице, на второй, в самом деле, этаж, и мимо еще каких-то дверей — прямо по коридору — дошел, наконец, до — пятиугольной, как выяснилось, комнаты Сергея Сергеевича; Сергей Сергеевич, крикнув: *входите*, пожав ему руку и извинившись, тут

же вышел куда-то; Макс остался один; осмотрелся: дальняя, без окон, стена шла, удивительным образом, наискось — и вдруг загибалась, образуя еще один угол и, соответственно, еще один, узкий простенок (кресло, афиша…). И были еще афиши, развешанные по стенам; еще одно кресло; стол; диван у стены; пахло же — пылью, табачным дымом, крошащимся деревом.

Он подошел к окну: маленькая площадь, заметенная снегом; какая-то девушка, в черной короткой шубке, идущая через площадь к театру; соседняя крыша; редкие, большие снежинки.

— Ну, вот уже и зима…: — с радостью, но и с тайным сомнением в возможности его имени, на этих страницах (а между тем, его так действительно звали; я, впоследствии, очень хорошо его знал…) — с радостью, хотя и с тайным сомнением, ввожу я на эти страницы, впускаю в историю — им, т. е. Максом, уже виденного на сцене актера (он узнал его, обернувшись…), каковой, войдя неожиданно в комнату, быстрыми, легкими шагами подойдя к Максу, к окну и сказав, зачем-то, что — вот уже и зима, представился: *Фридрих.*

— Как, простите?

— Фридрих; а что?

— Да нет, пожалуйста, как вам будет угодно…

Они оба рассмеялись, должно быть.

— Все всегда удивляются, но так меня и вправду зовут…

И таким же быстрым, легким движением — непонятно откуда, из какого-то, во всяком случае, невидимого кармана достав сигареты (на нем был длинный, серый, широкий, с треугольным вырезом свитер…), предложив одну Максу — курите? нет? — закурив другую, взмахнул вдруг рукою, почти полный круг описал ею в воздухе — и бросив уже погасшую, разумеется, спичку во вполне неожиданно возникшую на столе, Максом, во всяком случае, не замеченную до сих пор пепельницу, оказался вдруг на диване, ногу закинул за ногу — другая пепельница возникла рядом с ним на полу — покрутил носком, посмотрел на свои ботинки, на Макса…:

— А вы, соответственно… кто же?..

Но тут возвратился Сергей Сергеевич, вошла, вслед за ним — в черной, по-прежнему, шубке — та девушка, которую он, Макс, видел, только что, из окна — которую видел он и на сцене — он узнал ее, наконец, — Лиза: так ее звали — посмотрела, в свою очередь, на Макса, на Сергея Сергеевича…:

— Это Макс, — сказал Сергей Сергеевич просто, — он посидит сегодня на репетиции…

— Ага, понятно, — сказала Лиза, и сбросив на диван свою шубку, остановилась, в свою очередь, у окна, рядом с Максом, улыбнулась, встала на цыпочки, заложила руки за спину, подняла их над головою, потянулась, тряхнула — светлыми, с рыжеватым отливом, тут же рассыпавшимися по плечам — волосами. — Но как же все-таки, — сказала она, — как же хочется все-таки спать… Еще так рано… так рано…

— Ничего себе рано, — сказал Сергей Сергеевич. — Уже одиннадцать.

— Для нее это рано, — сказал Фридрих. — Для меня, впрочем, тоже…

— Ну да, — она повернулась вдруг к Максу, — если вечером вы играете…

— Потом гуляете целую ночь… — сказал Фридрих, гася сигарету.

— Ах нет, вовсе нет, — она смотрела на Макса по-прежнему. — Не верьте ему. Он сам целыми ночами… гуляет. А я, — она опять улыбнулась — и улыбнувшись, приблизилась — и приблизившись, вдруг словно выступила из собственных своих очертаний; Макс, глядя в ее светло-карие, но с очень темными, вдруг — расширившимися, вдруг — сузившимися зрачками, глаза, вдруг и почти пугаясь, почувствовал, что он почти теряется в них… в мгновенном наплыве ее духов, томительных и тягучих; вдохнул и выдохнул… вместе с нею. — А впрочем, я тоже не всегда сижу дома…

— Вот-вот, — сказал Фридрих.

И — с кем еще познакомился он в тот день? С Юлей? — возможно; с Марией Львовной? — наверное; с Володей, быть может, помощником Сергея Сергеевича, заглянувшим в комнату и объявившим, что — *все уже в сборе*?..; еще, может быть, с кем-то?..; он был, конечно, в растерянности; имена и лица сливались для него в единое, смутное целое; лишь войдя, может быть, вслед за Сергеем Сергеевичем, в пустой и темный по-прежнему зал, справился он, наконец, с охватившим его замешательством.

— Садитесь здесь где-нибудь… где хотите… вот здесь…

И после тех сборов, ожиданий, приготовлений, той легкой путаницы, которая (мы оба, впоследствии, не раз убеждались в этом…) всегда предшествует репетиции, началу ее, все опять исчезло куда-то… и пятиугольная, скажем, комната Сергея Сергеевича, и лестница, и коридор на втором этаже, и — за черными окнами — маленькая площадь, дома. Ничего этого не было больше; был только темный, по-прежнему, зал; и не очень ярко, на сей раз, но все-таки освещенная сцена; и какие-то ящики, и стулья на сцене; и подобие столика, за которым сидел Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер: простая доска, собственно,

положенная на спинки передних кресел; и лампа, зажженная им…; и он, Макс — он сидел в предпоследнем ряду — вновь, наверное, представил себе — себя, выходящим на сцену из-за кулис; на сцену же вышел Фридрих; вышла, вслед за ним, Юля: только что мной упомянутая; еще, может быть, кто-то: из еще не упомянутых мною актеров (я, впоследствии, знал их, кажется, всех; Макс, разумеется, тоже…); Сергей Сергеевич, пошевелив пальцами — Макс видел его наискось, со спины — попросил сыграть целиком *весь отрывок*; затем — изменив *мизансцену* — снова сыграть его; и странно выхваченный из недоступного ему, Максу, целого, этот маленький, минут на десять, допустим, фрагмент — ему, Максу, лишь по названию знакомой, может быть, пьесы (совсем не той, все еще, которую сам я видел впоследствии, впервые оказавшись в театре: некоей — комедии, собственно: ее тоже, впрочем, я видел впоследствии…) — фрагмент этот сыгран был и дважды, и, наверное, трижды; и разложен на отдельные фразы, движения; и снова сыгран весь целиком; и Сергей Сергеевич, подходя к сцене, делал свои замечания; и просил Фридриха встать здесь, Лизу там; и поднявшись на сцену, показывал Юле, как, по его мнению, следует ей играть; и садился где-нибудь во втором, в третьем ряду; и вновь возвращался за свой — с горевшею лампою — столик; и хотя он, Макс, почти не понимал поначалу, а затем уже почти и не думал, быть может, о том, что, собственно, происходит на сцене, чем дальше, тем удивительнее казалось ему само это повторение: одних и тех же слов, жестов; возвращение времени и как бы сгущенье его; и он все снова и снова пытался представить себе, как он стоял бы там, на сцене, обращаясь к кому-то… и с таким, наверное (думал он…) — с таким острым, наверное, чувством своего присутствия — там — какое лишь очень и очень редко бывает у нас (думал он…) посреди нашей, если угодно, жизни… к которому мы так стремимся, которого мы не выдерживаем.

И потом, когда репетиция кончилась, и Сергей Сергеевич — Макс подошел к нему — спросил его, удовлетворил ли он свое любопытство, и не дождавшись ответа — ответа и не было, — заговорил с Володей, своим помощником, о — других репетициях, и Лиза, попрощавшись с Максом — улыбнувшись и на мгновенье приблизившись, — исчезла, вместе с Марией Львовной, за той, возле сцены, для него, Макса, вновь как будто запретною дверью, и ему оставалось лишь поблагодарить Сергея Сергеевича — что он и сделал — попрощаться с ним и уйти: — Фридрих, вполне и вполне неожиданно оказавшийся рядом с ними, спросил у Макса, куда он — взмахнув рукою — идет, и тут же, у Сергея Сергеевича, может ли он, то есть Фридрих, быть — взмахнув рукою — свободен, и не нужен ли он Сергею Сергеевичу еще, например, для

чего-нибудь…; выяснив же, что — нет, не нужен, да, может, и узнав от Макса, что — пожалуй, к метро, заявил, что он тоже, и —

— Пойдемте вместе, — сказал он.

— О да, пойдемте, — ответил Макс. — Пойдемте, да, с удовольствием.

Но я пытаюсь представить себе теперь его, Максово, удивление, когда, прощаясь — с ними обоими, Сергей Сергеевич, среди прочего, сообщил Фридриху, что, в ближайшие дни, он, Сергей Сергеевич, будет, скорее всего, *на даче,* — Макс же, просто так, ни о чем, должно быть, не думая, спросил его, где же именно, по какой (имелось в виду: железной…) дороге находится эта *дача,* — когда, следовательно, Сергей Сергеевич сказал ему где, по какой.

— Не может быть, — сказал Макс.

— Простите?

— Я жил там, в детстве, каждое, почти каждое лето…

— Ну, что же здесь удивительного, — ответил Сергей Сергеевич. — Это вообще известное место. Там многие жили, не вы один.

— И все-таки… странно.

Впрочем, сказал Сергей Сергеевич, если уж на то пошло, дача его находится не совсем там. Она стоит, вообще говоря, в лесу, вернее, за лесом (если идти от станции…) — как и еще несколько дач, у шоссе.

— Да, — сказал Макс, — я, кажется, помню. Там еще… поле, и вот, за полем — дома…

Совершенно верно; крайний из этих домов как раз и принадлежит ему, Сергею Сергеевичу.

— Но скажите, скажите, Сергей Сергеевич, там, в самом поселке, у станции, там было когда-то — не знаю, есть ли теперь, но еще три или четыре года назад было — кино… Вы помните?

— Нет.

— Вы не бывали там?

— Нет, никогда. Почему вы спрашиваете?

— Этот зал, здесь, так похож на тот, там…

Вполне возможно. Этот зал, здесь, и в самом деле похож на зал, к примеру, какого-нибудь, деревенского или, скажем, пригородного кино: не правда ли (к Фридриху…)?

— Да, правда, — ответил Фридрих. — Следует, впрочем, заметить, — с легким, почему-то, поклоном, — следует заметить, однако, что никакого кино здесь не было никогда.

— А что здесь было? — спросил Макс.

— Какая-то, с позволенья сказать, контора… Ну что же, идемте?

И они вышли, вдвоем, на маленькую, заметенную снегом площадь; Фридрих, закурив сигарету, таким же странным, сложным, в то же время: легким, простым, на сей раз в другую сторону обращенным движением как будто вдруг вывернутой руки отбросил спичку, улыбнулся, и — скользя по снегу, глядя на Макса:

— Он возьмет вас…

— Куда?

— Как — куда? В свою студию, разумеется… как он ее называет.

— Я и не думал об этом, — сказал Макс.

Фридрих остановился.

— Тогда что же все это значит?

— Не знаю.

Они оба, опять, рассмеялись; они свернули в тот переулок, по которому он, Макс, шел, в прошлый раз, вместе с Сергеем Сергеевичем.

— Нет, он точно возьмет вас. В вас что-то есть такое… какая-то собранность…

— Ах, если бы…

— Есть, есть, уж поверьте… Вы что вообще делаете? Учитесь? Где? —

Роман — это сумма запретов. —

— Ну и как? Интересно? Нет? Так я и думал…

— Не только не интересно, но… вполне отвратительно.

— Все вообще отвратительно, вы не находите?

А между тем, они оба смеялись по-прежнему; быстро, легко и весело дошли они до бульвара (неузнаваемого, заметенного снегом…); и только, может быть, вдруг, выходя на бульвар (Фридрих предложил ему пообедать в некоем, как он выразился, полуресторане, полукафе: здесь, рядом с метро…) — Макс, выходя на бульвар, вдруг и по-прежнему удивляясь (с внезапным чувством возвращения к чему-то, ощущением невозвратимости…) — Макс, короче, выходя на бульвар, вновь подумал, должно быть, о том, что — вот, как ни странно, у Сергея Сергеевича есть, значит, дом: там, в том, почти в том поселке, где мы с ним некогда встретились, — подумал, может быть, и об августе: начале всего, — подумал, наверное, и обо мне: обо мне, живущем теперь здесь,

поворачивая обратно, — подумал, пересекая аллею, и обо всех своих осенних открытиях; и тут же, обо всем забывая, вновь потерялся, должно быть, в тех веселых, быстрых и легких, вопросах, ответах и репликах, обмениваясь которыми свернули они с бульвара, вошли в кафе (как и большинство подобных заведений в том городе, покинутом мною, скорее, в общем, неописуемое…), сели за столик.

— А вы, должно быть, из тех людей, — сказал Фридрих, — которые все читали, все книжки…

— Ах (снова…) если бы…

— Не притворяйтесь. Я вижу. Я вот ничего не читал… почти ничего.

— Вы сами притворяетесь, — сказал Макс.

— Чуть-чуть. Но правда: нет времени.

И посмотрев, действительно, на часы, пробежав глазами меню — здесь не очень вкусно, но быстро, сказал он, вы бывали здесь? — нет, никогда — подозвал официанта — выпьем что-нибудь? я угощаю — отпустил его, постучал пальцами по столу, помолчал…

— Правда, правда: нет времени… То спектакль, то репетиция… в гости тоже надо пойти… А после спектакля ничего уже делать не хочется. Так вот день за днем и проходит… Вы сами не знаете, в какую жизнь вы… ввязываетесь.

— Я ни во что не… ввязываюсь, — Макс улыбнулся. — Но скажите, Фридрих, на самом деле… вам ведь нравится эта жизнь, не так ли?

— Мне?

— Вам.

— Я не знаю. И да, и нет… когда как. В конце концов, мы ведь своей жизни не выбираем. А вам нравится ваша?

— Нет, — сказал Макс, — моя мне не нравится.

— Жаль, — сказал Фридрих. — Ну… приятного, во всяком случае, аппетита…

И — чокнувшись с Максом:

— Давайте сразу закажем кофе, я заплачу и пойдем… мне тут надо заехать еще… в одно место. Нет, конечно, я заплачу… вы меня как-нибудь в другой раз пригласите… Лизу тоже, — он посмотрел вдруг на Макса — и вдруг улыбнувшись: быстрой, резкой, широкой, как будто отделенной от его слов, от него самого и какой-то, пожалуй, откровенно-преднамеренною улыбкой, сразу же и вслед за тем рассмеялся.

— Конечно, — сказал Макс, — конечно.

— Ну да… вот, — (с той же улыбкой и с тем же смехом над нею…). — Бифштекс, скажем прямо, мог бы быть и помягче…

Уже клонился к вечеру день; синел в сумерках снег; они простились возле метро; Фридрих — взяв номер Максова и сообщив ему, в свою очередь, номер своего собственного телефона — сбежал, на бегу заматывая шарф, по ступенькам; обернулся; махнул рукою; исчез; Макс остался один. И оставшись один, тут же все, разумеется, вспомнил, — и вновь подумал, наверное, об августе, обо мне, — подумал, выходя на бульвар, и обо всех своих осенних открытиях. По бульвару, на сей раз, он не пошел, но — из какой-нибудь, по всей вероятности, телефонной кабины — телефонного автомата — позвонив мне (был — я помню — или так мне кажется: теперь и здесь — помню — тот особенный, в трубке, отмечающий падение монеты, щелчок, какой всегда бывает, когда кто-нибудь звонит вам из автомата, кабины…) — спросив меня, может ли он зайти ко мне… вот сейчас (да, можешь, конечно…) — перешел на другую сторону улицы, свернул по ней направо, — налево, — опять направо и еще раз налево, — и пройдя, наконец, мимо трех, с одной, и трех, с другой стороны, — фронтоны, кариатиды — домов, — под аркой и через двор, — поднялся по лестнице, нажал на кнопку звонка…; и вот так (думаю я теперь…) — вот так пути повествования (если это повествование…) снова сводят нас вместе… в том городе, на этих страницах.

И я вспоминаю теперь, здесь (отсюда и со своей стороны…), как я открыл ему дверь, и он, Макс — показался ли он мне: изменившимся? — нет — я не помню — слишком давно это было — Макс, как бы то ни было, сняв пальто, стряхнув снег, вошел в мою комнату (в ту комнату, следовательно, вокруг которой, когда-то, располагались для меня все улицы, переулки, ожиданья и встречи, смутные планы, далекие помыслы…) — и тут же — не успел я сказать ему, что я видел его, мельком, в проеме арки, две, допустим, недели назад — тут же и подойдя к окну (сумерки, соседняя крыша, двор, клумба, заметенная снегом…) сообщил мне, что — вот, недели две назад познакомился он — с одним человеком, у которого, как ни странно и как сегодня он выяснил, есть — дом, там, в том поселке, почти в том поселке, где мы с ним некогда встретились…; и — кто же это? спросил я — и рассказав мне, следовательно, о своем знакомстве с Сергеем Сергеевичем, режиссером и устроителем, о театре, на маленькой площади, о спектаклях, о репетиции, на которой побывал он в тот день, — отойдя от окна, сев к столу, — вновь сказал, я помню, что — вот, как ни странно, у Сергея Сергеевича есть, значит, дом, там, в том поселке… помнишь, если пройти через лес?..

Я помнил: конечно.

— Ты бывал там с тех пор?

— Нет, ни разу. А ты?

— Я тоже: ни разу. Надо бы съездить туда.

— Что же, давай съездим…

И… и как я ни пытаюсь, теперь, я уже не могу теперь вспомнить, о чем мы еще говорили в тот вечер… сливающийся и путающийся, теперь, для меня, с другими — в другие годы, зимы — или в тот же год, в ту же зиму, например — вечерами, проведенными вместе с Максом, вдвоем, в его, Максовой, плывущей над городом, или в моей, как на этот раз, комнате: в этой комнате (с двумя, кстати, под углом друг к другу во двор выходившими окнами…), где (как, кстати, и в моей теперешней комнате, здесь, на берегу моря, на краю мира…) стоял один, письменный, у окна (у одного из окон…) и другой, круглый, посередине, обеденный, соответственно, стол: за ним-то мы почти всякий раз и сидели: если, впрочем, он, Макс, не садился, в глубине комнаты, на диван (с высокой и очень высокою спинкой; здесь, теперь, стоит простая кровать…) — и в таком случае почти всегда, я помню, опирал локоть на валик, висок на ладонь, и ногу закинув за ногу, обхватывал свободной рукою колено… Но я уже не помню, как сказано, не помню и не могу теперь вспомнить, о чем мы говорили в тот вечер; и он, Макс, — так думаю я теперь — отказавшись, скорее всего, от чаю — нет, нет, сказал он, наверное, я ведь обедал, недавно — вновь подошел, должно быть, к окну (к одному из окон, если угодно…) и перебирая книги, лежавшие, возле окна, на столе, спросил меня, может быть, читал ли я — что же? — нет, не помню, не могу теперь вспомнить; в конце концов и как бы то ни было, мы все-таки выпили, наверное, чаю; уже почти ночью я пошел провожать его: как обычно.

Город же (думаю я теперь…) — город преображается ночью; замирает; смиряется; жизнь (неописуемая…) уходит; исчезает; засыпает, быть может; и сквозь эти улицы, переулки, — дома и стены, — карнизы и крыши, — проступают вдруг очертанья какого-то… совсем другого, может быть, города: города, который когда-то здесь был, которого больше нет.

— Самое трудное, — сказал он мне вдруг, — самое трудное — это остаться в одиночестве. Мы очень часто бываем одни, но в одиночестве бываем мы очень и очень редко…

И вот этот… да, вот этот, ночной, разговор я, конечно, запомнил.

Мы шли в его, Максову, сторону, по улицам, пустым и безмолвным; мы дошли, я очень хорошо это помню, до того, обычно: ревущего, переполненного, мучительно-

возбужденного, теперь же, ночью: тоже как будто смирившегося, притихшего, почти пустого проспекта, где он, Макс, садился обычно в троллейбус и где теперь, ночью, он мог бы поймать такси; ловить его он не стал; перейдя проспект, вышли мы на бульвар — нет, не тот самый, с его прямой и ровной аллеей, — совсем другой, загибавшийся, исчезавший: в снежном сплетении веток, сугробах, отсветах фонарей.

— Мы почти всегда с кем-нибудь говорим; наша мысль ускользает от нас самих. Не знаю, понимаешь ли ты меня?

Я понимал его — или так мне казалось; я почувствовал вдруг — волнение, его охватившее.

— Проследи за своей мыслью, отстранись от нее на мгновение. Это трудно? Да, это трудно. Но эта отстраненность и есть, собственно, мысль. Все прочие мысли случайны, необязательны. Они есть — их могло бы, наверное, и не быть.

— И — что же?

— И вот, она ускользает от нас, наша мысль… ослабевает, сдается, дробится… и превращается, наконец, в мысль — для кого-то другого, обращается — к кому-то другому…

— К кому же? — спросил я.

— К кому угодно, — сказал он. — К любому, сколь угодно случайному персонажу нашей… если угодно, жизни.

— Все это очень грустно, — сказал я.

— Грустно? — Ужасно… И что с этим делать?..

Он вдруг остановился, я помню: у заметенной снегом скамейки. Там было, я помню, дерево, уже вполне зимнее, черное, лишенное признаков, то ли вяз, то ли липа, с наростом снега на темном стволе и одной, очень длинной, тонкой, нависавшей над скамейкою веткой.

— А есть ведь только это, — сказал он, — эти ветви, эти деревья… Но мы не в силах… ответить им, мы не выдерживаем их… безусловности.

— Да, бывают, — он поставил ногу на сиденье скамейки, — бывают, конечно, мгновения, когда все удается, — когда мы видим настоящее так, как видим обычно лишь прошлое, — когда с отстраненной ясностью движется наша мысль… Бывают: конечно… но: так… вдруг… Они не длятся, вот в чем все дело; они словно выпадают из жизни; они как бы отрицают ее… Все прочее… все прочее тоже не жизнь…

— Смотря что называть жизнью, — сказал я.

— Жизнью, — сказал он, — можно называть все, что угодно, и если угодно — все.

Мы оба рассмеялись, я помню.

— Как бы то ни было, — он уже не смеялся, — это должно быть — жизнью, это внезапное, редкое… Сама жизнь должна быть — как в эти минуты…

— Разве это возможно? — сказал я. — Вот так, по-моему, как раз… не бывает, не может быть.

Он дотронулся до ветки рукою; смахнул с нее снег; посмотрел на меня.

— А мне все равно, — сказал он, — бывает так или нет. Так должно быть; иначе… иначе я не согласен.

И я уже не помню, опять-таки, где мы простились в ту ночь; и в конце концов поймав, должно быть, такси, он довез меня, наверное, до дому; и я вышел из машины; и проводил ее, должно быть, глазами: набирая скорость, уменьшаясь в размерах, быстро-быстро доехала она — вниз по улице — до красной, кирпичной — с далекими куполами за нею — стены; повернула; скрылась за поворотом.

13

Зима, следовательно: я же, всматриваясь, отсюда, теперь, в тот, там, покинутый мною город (со всеми его бульварами, переулками, проходами, арками…) — и то ли потому, что здесь, теперь: лето, — то ли, может быть, потому, что летом я почти всегда из него уезжал, — то ли, наконец, потому, что нечто зимнее вообще было свойственно (свойственно…) этому городу (как если бы именно зимою он обретал свой подлинный облик, свое истинное лицо…) — то ли еще по какой-то, неведомой мне причине, — как бы то ни было, я, всматриваясь, теперь и отсюда, — я вижу там, в том городе — и некие, разумеется, осени, и некие, конечно же, весны — но прежде всего и в первую очередь: разные, друг на друга совсем непохожие, холодные и не очень холодные, бесснежные, снежные — зимы: с их морозами, оттепелями, сугробами, слякотью: и ту, конечно же — я поворачиваю обратно — ту, с которой я начал (и к которой мне еще предстоит — вернуться, до которой мне еще нужно — добраться…) — и вот эту, далекую, раннюю, — и еще, конечно, какие-то, еще не отмеченные мною на карте.

Он сходил, еще и еще раз, в театр (на маленькой площади…); он посмотрел еще и еще один, быть может, спектакль — и в конце концов посмотрел их, наверное, все; больше смотреть было нечего.

Он встретился — и еще раз встретился с Фридрихом, с Лизой; он пообедал с ним, с нею в (другом, знакомом ему…) кафе; он побывал у Фридриха дома — на какой-то, вполне, конечно, неописуемой, заметенной снегом окраине — в очень большой, пустой, но вместе с тем, казалось, заполненной чем-то, уже словно не нуждавшимся в вещах и предметах, и, странным образом, совсем далекой от этой безнадежной окраины, почти не соотнесенной с ней комнате; Фридрих, садясь и вставая, наливая чай или, к примеру, каким-нибудь, одновременно простым, сложным, легким, уверенным, над самим собою смеющимся жестом поднося спичку к его, своей сигарете, рассказал ему множество, самых разных, с театром, в первую очередь, связанных, конечно, историй: о спектаклях и репетициях, о чьих-то успехах и чьих-то провалах, о Лизе, о Сергее Сергеевиче, о Марии Львовне, о других, еще не введенных на эти страницы, еще даже не упомянутых мною актерах.

Но все это было в скобках (так думал он, может быть…) — на заднем плане, — или, может быть, на полях; совсем другое занимало его.

Жизнь нашла свою тему; жизнь столкнулась, наконец, с самой же собой.

Жизнь нашла свою тему: что это значит? Это значит: возможность просто жить дальше была безвозвратно потеряна, навсегда уничтожена. Просто жить дальше? Ни о чем подобном уже не могло быть и речи; но — надо было делать что-то, надо было что-то, немедленно, делать; спрашивалось: что же?

Он стремился к безусловному: он видел, в самом себе, что-то сомнительное, случайное; стремился к ясности: видел, в самом себе, что-то смутное, путаное; он не знал по-прежнему, что ему делать.

Уже давным-давно закончилась осень: удивительно-ветреная; закончились и блужданья: по городу. Он платил свою дань, он возвращался домой; и если выходил, опять, из дому, то, как правило, уже не садился в троллейбус, не переезжал через мост — шел, предположим, к реке, и дальше: по набережной. Набережная (опишем ее: она поддается, может быть, описанию…) — набережная, загибаясь (вместе с рекою…) уводила его куда-то прочь, в сторону: и причем не только от его, Максова, решительно неописуемого жилища, но и вообще как будто от города (улиц, проспектов…). А между тем, это был все-таки город: — и обернувшись, к примеру, он видел, вдали, и свое собственное жилище (темной громадой нависавшее над рекою…), и другие, на другом берегу реки, почти столь же огромные, новые, неописуемые, разумеется, здания, и машины, обгоняющие друг друга: — здесь, на набережной, ничего этого, во всяком случае, не было; машины не ехали — машины стояли здесь: совсем неподвижно, как будто

вообще неспособные к движению, заметенные снегом, уткнувшись в сугробы…; и затем, когда стоянка кончалась, были только скамейки, деревья (с наростом снега на ветках…); железнодорожный мост: вдалеке; и на другом берегу реки — какие-то склады, бараки, пустыри и снова деревья: — странное (так думаю я теперь…) — как будто выпадающее из города, из сплетения улиц, проспектов, — ни с чем не соотнесенное, ни к чему не причастное, — но все-таки, в общем и целом, поддающееся описанию место.

И все, конечно же, повторялось на этих прогулках; и деревья (с обведенными снегом ветками…), и белые льдины (с неровными, как будто обломанными краями…), и черная, совсем черная вода между льдинами, и сугробы, и железнодорожный мост вдалеке: все это, разумеется, вновь и вновь окликало его, обращалось к нему; требовало ответа, призывало к усилию; и откликаясь на этот зов, этот оклик, он вновь и вновь заставлял себя: видеть, смотреть; и по-прежнему, конечно, искал и — в чудесной паузе, в чарующем промежутке — находил в себе ту единственную, неподвижную точку, с которой, и только с которой, он мог увидеть, и действительно видел: мост, льдины, сугробы…

Он находил ее: он снова ее терял; он принуждал себя к усилию: он был не в силах его продлить. Все было так же: все повторялось.

— Но ведь вот же, вот я иду здесь; вот я: без всяких сомнений… И вот они, эти сугробы, льдины, деревья… и — что же?.. Нет, думал он, мы не выдерживаем их безусловности, мы не в силах — ответить…

Нет, конечно же, нет, нет и нет, он не выдерживал их безусловности, их, своей несомненности; все быстрей и быстрее шел он: по набережной; и чем дальше он шел, тем тише становилось вокруг (и только далекий, совсем далекий шум города, невидимых и как будто неведомых улиц, доходил до него: откуда-то…) — но, чем дальше он шел, тем громче, резче, отделяясь от него самого и в то же время заполняя его целиком, звучали в нем его мысли: и даже сама эта мысль о невозможности ответить, увидеть…, превращалась, может быть, в мысль для кого-то другого, ему, Максу, уже неподвластную.

— Это налетает, как ветер, и, как ветер, уносит куда-то… и вот мы говорим, говорим, не в силах остановиться… уходим, не оборачиваясь…

— И главное, это так легко, такой постыдной, такой унизительной легкостью…

— Молчание — вот что трудно… вы знаете, как это трудно?..

И вот так, обращаясь к кому-то — к любому, сколь угодно случайному персонажу своей, если угодно, жизни (все более случайной, все менее — жизнью казалась она ему…) —

отсутствуя — не глядя вокруг — шел он: все дальше и дальше, все быстрей и быстрее…; и отделяясь от него самого, заполняя его целиком, его — уже, в общем: не мысль — мысль, во всяком случае, ему, Максу, уже неподвластная — двигалась как будто в каком-то (так думаю я теперь — или так думал он, может быть, вновь, на мгновение, спохватившись…), в каком-то — ей же самою и создаваемом, быть может, пространстве, по какой-то, к примеру, улице, — улице, неважно какой, по которой он шел как бы с кем-то, неважно, совершенно неважно с кем, — рассуждая о чем-то, он уже и сам не мог бы сказать о чем, — с легкостью, постыдной и унизительной.

Его как бы не было — во всяком случае, здесь, на этой набережной, у этой реки; он не видел ни деревьев, ни сугробов, ни льдин; лишь походя, лишь на ходу замечал он их; и в общем, значит — не видел; не слышал… или почти не слышал их призыва, их оклика; не чувствовал… почти не чувствовал ни их безусловности, ни своего бессилия перед ними; все было просто, легко, даже весело; шагая, улыбался он, может быть, какой-то — вполне отсутствующей улыбкой.

И лишь пройдя набережную — почти до конца (она заканчивалась мостом…), вдруг, может быть, остановился — и остановившись, увидел: мост, реку, — поезд, переезжающий через мост, — деревья, льдины, сугробы.

Был, предположим, какой-нибудь, темный, пасмурный день; большими, мокрыми хлопьями падал, может быть, снег; вдруг, быть может, закончился; внезапное подобие солнца проступило сквозь сумрачную завесу. Совершенно ясно видел он все это: и этот бледный, белесый, почти прозрачный, дрожащий в воздухе шар, — и деревья на том берегу, — и снег на ветках, снег на перилах, — и мост, и опоры моста, отразившиеся на мгновенье в воде, — и этот бесконечный, товарный, гудящий и грохочущий поезд, переезжающий через мост, — и каждый вагон в отдельности: он мог бы сосчитать их, наверное: совсем маленькими, почти игрушечными казались они отсюда, — и длинный, одинокий луч солнца, пробившийся сквозь снежную завесь, — осветивший на мгновение реку, льдины, сугробы, — мост, опоры моста, — последний, крошечный, исчезающий, — вот, исчезнувший, в самом деле, вагон.

— Где же я был, только что, пять минут, десять минут назад?..

Здесь, на этой набережной, у этой реки, его, во всяком случае, не было.

И теперь, когда он действительно был здесь — вот здесь, вот сейчас — теперь, когда он видел — что то же? — и реку, и льдины, и мост, — все это вновь, разумеется, обращалось к нему, окликало его; и он снова, с мучительной ясностью, чувствовал свое

бессилие, свою вину перед всем этим; перед самим же собою; почти в отчаянии смотрел он вокруг.

— Выдержать все это… выстоять: прямо напротив…

— Но мы не выдерживаем, уходим… наша мысль, отделяясь от нас самих, движется как будто в каком-то, ей же самою и создаваемом, быть может, пространстве…

— А есть ведь только это — вот здесь, вот сейчас — этот мост, и эта река, и эти льдины с обломанными краями…

— Но мы не выдерживаем, — думал он, — мы не удерживаемся — вот сейчас, вот здесь — в настоящем… наша мысль, ускользая от нас самих, соскальзывает как будто в какое-то, ей же самою и создаваемое, может быть, время… какое-то, — думал он, — будущее…

— Будущее? — Конечно.

Это простое соображение поразило его; он провел рукой по лицу; снова — как будто впервые — посмотрел и увидел он: мост, реку, льдины…

— Ах, конечно, конечно… мы перескакиваем через все это… через реку и мост… мы представляем себе — себя… завтра, через неделю, неважно… и как мы идем — как мы будем идти, вместе с кем-то, неважно с кем… по какой-то улице, неважно какой…

— А есть ведь только это… вот здесь, вот сейчас…

Опять пошел снег, большими, мокрыми хлопьями, и всякое подобие солнца тут же, конечно, исчезло. Но он, Макс, — закурив, может быть, сигарету, прикрывая ее рукою — он все стоял и стоял так, в конце набережной, глядя вокруг — и уже понимая, должно быть, что, как только он пойдет, к примеру, обратно, домой, все начнется сначала, и вновь, и вновь, ускользая от него самого, его — уже, конечно, не мысль — соскользнет, конечно, в какое-то — так думал он, может быть, — пустое и легкое будущее, в какое-то, может быть, *завтра*: оно же, думал он, никогда, разумеется, не наступит.

— Нет, думал он, завтра будет тоже — сегодня, снова — сегодня; и все будет так же… так же трудно и так же мучительно, как — сейчас, здесь, на этой набережной, у этой реки…

— Есть ведь только это… только это… вот здесь, вот сейчас…

И он пошел, в самом деле, обратно, домой; или, может быть, дошел до конца, до моста; и снова остановился; и посмотрел, как будто в последний раз, на реку, на воду…; и сделал один шаг, другой, третий…: нет, он не шел еще — он только начинал идти: обратно, домой; и еще совершенно ясно — откуда-то, изнутри — видел он и этот первый, и этот второй шаг, и третий, и — чуть менее ясно — четвертый, и — еще менее —

пятый; и вновь спохватившись, вновь обернувшись, снова, в последний раз, увидел мост, опоры его, просветы между опорами, пятна снега на черной земле; и услышал их призыв… несмолкающий; и не справился… нет, конечно же, не справился с их безусловностью; и был опять, значит, первый шаг, опять второй, опять третий; ускользание; убывание ясности; и как будто перескакивая через… реку и льдины, деревья и ветви, ускоряя его шаги, его — уже не мысль — соскользнула, конечно, в какое-то, пустое, легкое будущее; и в каком-то *завтра*, обращаясь к кому-то, говорил он, что он не хочет, не хочет ни с кем говорить; не может не говорить… вот в чем дело; и когда он вновь спохватился, вновь обернулся, уже, за поворотом набережной, излучиною реки, исчез и спрятался мост; уже, пока он отсутствовал, начало, быть может, смеркаться; и уже опять появилось, уже совсем близко подступило к нему его собственное, неописуемое, еще и еще раз, жилище, темной громадой, безмолвной угрозой нависавшее над ним, над рекою.

— Так где же, где же я был, только что, пять минут, десять минут назад?..

И теперь он был здесь, без всяких сомнений; и теперь он смотрел — почти в отчаянии — на эту темную, заслонявшую небо громаду, не в силах в нее… поверить; и ни к чему, разумеется, не призывая его, она словно бросала ему некий вызов… самой своей — невозможностью; и он не знал по-прежнему, что ему делать.

Жизнь нашла свою тему; жизнь, столкнувшись с самой же собой, отпрянула в изумлении, в испуге, не узнавая себя саму.

Чем решительнее стремился он — к безусловному, тем более случайной, сомнительной казалась ему его — жизнь; но и те мгновения ясности, которых он так искал и которых он не выдерживал, жизнью тоже, разумеется, не были; не длились; выпадали из жизни.

— А ведь это и должно быть, собственно — жизнью, это внезапное, редкое… Должно быть, должно быть…

И он все снова и снова принуждал себя, конечно, к усилию; и пытался, и вновь пытался продлить его… сколько мог; и собирал свои мысли; ловил свою мысль; и останавливался; и начинал все сначала; и опять останавливался.

Но все старания были бесполезны; все усилия ни к чему не вели; всякий раз неожиданно давалась ему искомая ясность, вожделенная собранность; удержать удавшееся, повторить его он был не властен; чем дальше шло время, тем глубже

делался этот разрыв: между данным и должным, искомым и подлежащим преодолению, отрицанием и — отсутствием жизни.

14

А между тем, я (живущий теперь здесь, поворачивая обратно…) — я (живущий теперь здесь…) познакомился однажды с одним, очень маленького роста человеком, уже при первой встрече поразившим меня, я помню, своей внезапной улыбкой, своими удивительно спокойными — или, может быть, наоборот: своими спокойно-удивленными — и словно отсылавшими куда-то, к чему-то — глазами: — с тем, следовательно (так думаю я теперь…) уже не раз, втайне, упомянутым мною, но еще не названным, еще не введенным на эти страницы персонажем моей истории (если это история…), которого он, Макс (истинный герой ее…), встретил много позже, впоследствии — которого ему, Максу, предстояло впоследствии встретить — совсем другой, давным-давно и сразу же отмеченной на карте зимою — ранним утром, морозным и ясным, в трамвае с обледеневшими стеклами…; я же познакомился с ним, в общем, случайно, у своих, каких-то, тогдашних — с тех пор я потерял их из виду — тоже, в общем, случайных знакомых, в середине — или уже в конце, может быть? — почти в конце этой ранней, далекой — этой первой, если угодно, — и тоже, в общем, холодной зимы.

Его звали *Алексей Иванович*: имя, к которому я очень долго не мог, я помню, привыкнуть: с которым я очень долго не мог, я помню, смириться. Оно решительно не подходило ему; но когда я пытался представить себе, какое имя подошло бы ему, или — что то же — когда я пытался найти для него какое-то другое, настоящее имя, мне всякий раз казалось, я помню, и до сих пор кажется, что такого имени нет — и не может быть: и как если бы (думал я — думаю я теперь…) — как если бы он, Алексей Иванович, вообще ни в каком имени не нуждался.

Мы вышли — случайно — вдвоем — из гостей — на улицу, пустую и темную. Алексей Иванович тоже, как выяснилось, жил в старой части города; нам было с ним по дороге; уверенно и вместе с тем осторожно — как будто обдумывая каждый свой шаг — ступал он по чистому, мягкому, за вечер наметенному снегу.

— Чем вы занимаетесь? — спросил он вдруг.

Я сообщил ему свои внешние (запретные…) обстоятельства.

(Сказать ли, думаю я теперь, решусь ли я, наконец, сказать, что, как и Макс, истинный герой моей истории, я, живущий теперь здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке, — что, как и он, Макс, я посещал в ту пору, в ту зиму — и в другие зимы, конечно — некое — решимся и скажем так — учебное — или, может быть, учебное, так сказать, заведение, где меня ничему, разумеется, не научили и которое — как и он, Макс, — я рассматривал, в первую очередь, как простое средство спасения от несравненно более страшного…: а впрочем, думаю я теперь, достаточно, на этой странице, для этой страницы, одного — нарушенного запрета. Как бы то ни было, я посещал его: если не каждый, то почти каждый день, если не каждое, то почти каждое утро, и я относился к нему примерно так же, как он, Макс, к своему: с той смесью презренья и ненависти, мучительного чувства зависимости и тайного ощущения свободы, которую, т. е. смесь, я уже почти бессилен представить себе теперь — на берегу моря, на краю, соответственно, мира… Но все это, разумеется, в скобках. Закроем их…) —

Алексей Иванович, сообщив мне свои, улыбнулся: внезапной — и даже как будто для него самого, Алексея Ивановича, неожиданной (так я подумал…) улыбкой. И мы еще долго шли молча, по улицам, вглубь переулков; и была ночь, снег; были темные, безмолвно стоявшие вокруг нас дома; деревья, сугробы; кружились, в темноте, в пустоте, одинокие большие снежинки; и только изредка, вдруг, вылетала откуда-то заблудившаяся среди домов и деревьев, фонарей и сугробов машина — и вспыхнув фарами, заскрипев тормозами, вновь уносилась куда-то, в тишь и темень, снег, ночь.

— Не правда ли, — проговорил, наконец, Алексей Иванович, — не правда ли, ночью этот город бывает — даже красив?..

— Да, правда, — сказал я в ответ. — Но, разумеется, только его старая, его — скажем так — поддающаяся описанию часть.

— Вот именно, — он опять улыбнулся: внезапной, всегда внезапной улыбкой.

— Вообще, — сказал я, — есть что-то тревожно-влекущее в этих безмолвных, ночных домах… переулках, улицах, перспективах…

— Разумеется, — так он ответил. — Они кажутся простым порождением некоей мысли… с которой мы вдруг совпадаем. Вот здесь я живу.

Это был узкий, не слишком длинный, всего в пять или шесть домов, переулок, как будто затерянный: в сплетении и путанице таких же, как и он сам, старых, безусловно поддающихся описанию улиц, — переулок, давным-давно и отлично известный мне: много раз, много лет проходил я мимо этих пяти или шести, быть может, домов, а

значит, и мимо вот этого, зеленой краской выкрашенного забора, мимо вот этой, почти сливавшейся с забором калитки: и ни разу, должно быть, не спросив — себя самого — *что там*, за этим забором, за этой калиткой, и есть ли там вообще что-нибудь… А там был маленький, едва различимый в темноте двор; деревья: с обведенными снегом ветками; и наискось, слева от калитки, стена какого-то, фасадом, должно быть, в соседний переулок выходившего дома: стена и дверь, навес и крыльцо.

Здесь-то и жил, как выяснилось, Алексей Иванович.

— Если хотите, зайдем ко мне.

Было поздно; я отказался.

— Тогда заходите в другой раз, — сказал он: и посмотрев на меня своими удивительно спокойными — своими: спокойно-удивленными, быть может, глазами, пожал мне руку и скрылся; и калитка, я помню, захлопнулась за ним — с протяжным, долгим, что-то напомнившим скрипом; и через несколько дней я снова встретился с ним — у тех же, его и моих — случайных, в общем, знакомых; и в другой раз — нарушим запрет — для меня, здесь, почти все явления жизни запретны — на некоем — да, нарушим — концерте; и в конце концов, в какой-то, я помню, очень холодный вечер, оказался у него дома; пересек дверь, поднялся по лестнице, нажал на кнопку звонка: — и вот так (думаю я теперь…) той далекой и очень далекой зимою, он, Алексей Иванович, уже возник в моей жизни: с внезапной, всегда внезапной улыбкой.

Его улыбка намекала на что-то; его глаза отсылали куда-то; его имя не подходило ему точно так же, как не подошло бы ему никакое другое; во всем его облике, шагах и жестах, словах и движениях не было (или так мне казалось…) ничего (или почти ничего…) лишнего: и как если бы (думал я — думаю я теперь…) — как если бы все, что он делал, и все, что он говорил, одновременно прибавляло: что-то к чему-то: жест к жестам, слово к словам, — и вместе с тем избавляло его, Алексея Ивановича, от чего-то такого, что, однако, немедленно возвращалось и от чего (думал я…) он, Алексей Иванович, тут же и совершенно спокойно, вновь избавлялся: следующим жестом, следующим словом…

Мне казалось, он почти не теряет себя из виду; я понимал, что это немыслимо.

Я наблюдал за ним; я пытался поймать его, так скажем, врасплох, в минуту рассеянности; я понял вдруг, что и он занят тем же: что, в свою очередь, объяснило мне и внезапность — улыбки, и спокойное удивление — в глазах, и те мгновенные паузы, ту, всякий раз неожиданную, напряженную — мне тоже, всякий раз, сообщавшуюся на мгновение — скованность, которую, время от времени, не очень часто, я замечал в нем.

Он следил за собою; вдруг, посреди разговора, умолкал, я помню, с каким-то — настороженным выражением лица, как будто прислушиваясь к чему-то, удивляясь чему-то, в себе; или вдруг несколько раз подряд повторял какой-нибудь жест — простейший; какое-нибудь слово — простейшее; поднимал руку, вновь опускал ее; говорил: здравствуйте; здравствуйте…; и это всякий раз было так, как будто что-то совсем неожиданное открывалось ему в этом слове, движении; как будто он сам не знал, что ему со всем этим делать; как будто сталкивался вдруг с неким препятствием; — преодолев же его — и как будто, еще раз, введя этот жест, это слово в систему и целое всех других слов, прочих жестов — внезапной, всегда внезапной улыбкой отмечал свою победу над ним, окончание паузы.

Он пытался учесть в себе — непроизвольное: так думал я иногда; ему это удивительным образом удавалось.

И когда с паузой бывало покончено, совершенную — восхищавшую меня — убедительность обретали его жесты, слова; я угадывал за ними — почти непрерывное, временами, конечно, ослабевавшее, но в общем, казалось мне, никогда не покидавшее его в полной мере и как бы на себя самое обращенное (так я думал…) внимание; последовательность неких усилий; отбор и выбор; сумму запретов; движение некоей мысли (так думал я в свою очередь…) — мысли, которая уже не была, разумеется, мыслью о чем-то, — которая могла быть о чем угодно, — обо всем, — ни о чем, — о себе самой, наконец, — и которая, в отличие от всех прочих (во множественном числе…) мыслей, заканчиваясь, не обрывалась, но чудесным образом переходила: в жест и движение, взгляд и улыбку, — продолжаясь и как бы додумывая в них себя же саму.

И по сравнению с ней, рядом с нею, все оказывалось, конечно — случайным, как будто падало — в необязательность: о чем я и сказал ему как-то: не помню лишь, не помню и не могу теперь вспомнить, где и как это было: у него дома, на улице: и как если бы, в самом деле (так думаю я теперь…) в связи с ним и по отношению к нему все эти внешние обстоятельства уже никакого значения не имели.

— Что? Случайным? С известной точки зрения все случайно, — сказал он. — Кроме… самой этой точки зрения, конечно.

— И вот, — сказал я: почти неожиданно для себя самого, — вот: отказаться от всего случайного, приблизительного…

— Как же, смею спросить, вы собираетесь от него — отказаться?

— Нет, — сказал я (впервые, может быть, заговорив — вообще с кем-нибудь — о своих, самых тайных и самых робких, в ту пору еще совершенно неопределенных

помыслах, стремленьях и планах…). — Нет, не здесь — там, на каких-то, еще не написанных мною страницах…

— Это другое дело, — сказал он: с внезапной — конечно — улыбкой.

Но только следующей — еще не отмеченной мною на карте — теплой, темной и снежной зимою я действительно рассказал ему о моих — к тому времени уже отчасти определившихся — хотя все еще очень и очень расплывчатых устремленьях; его — ответное внимание, я очень хорошо это помню, одновременно обрадовало и удивило меня.

В самом деле (так думаю я теперь…) я очень долго не мог понять природу наших, скажем так, отношений. Я искал встреч с ним — он, не избегая их, не искал встреч со мною; я приходил к нему — он так ни разу, кажется, и не был у меня дома; я наблюдал за ним — он знал об этом — ему было это, казалось мне, безразлично; он сам наблюдал за мною — почти так же, казалось мне, как наблюдал он за движениями своей руки, за любым случайным прохожим на улице; он мог, или так мне казалось, почти забыть о моем присутствии в одной комнате с ним — и вдруг с таким удивлением посмотреть на меня, как будто он вообще никогда меня раньше не видел. Лишь позднее понял я, что и я занимаю некое — неслучайное — место в той — системе целого, которая так меня восхищала.

15

— Роман, — сказал мне некогда некто — некто? некогда? — Алексей Иванович сказал мне так — следующей, уже и только что отмеченной мною на карте, теплой, снежной зимою, — роман — это сумма запретов…

— Роман — это сумма запретов…; и когда я теперь, здесь, поворачивая обратно (а здесь, теперь, на море, уже перевалило через вершину, уже прошло сквозь разгар, жару, грозы, уже втайне, еще почти незаметно, но уже клонится к осени лето; уже внезапный холод пробивается сквозь тепло; осенняя сырость сквозь летнюю влагу; уже выгоревшая на солнце, пожелтевшая от зноя трава намекает на возможность иной, совсем иной желтизны…) — когда я вспоминаю теперь — те, какие-то, уже не существующие более зимы — и вот эту, холодную, раннюю, уже, в свою очередь, приближающуюся, быть может, к концу — и, скажем, следующую, теплую, темную, снежную — я, вспоминая их, среди прочего, если не в первую очередь, вспоминаю,

разумеется, некие книги, в то время меня занимавшие (я же — так думаю я теперь — я читал тогда гораздо и несравнимо больше, чем читаю теперь, здесь, поворачивая обратно: и не только потому, разумеется, что здесь, теперь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке, у меня просто-напросто нет, почти нет с собой книг — я, повернув обратно, приехав сюда, привез с собою лишь несколько, втайне связанных с моим собственным, скажем так, сочинением, скажем так, сочинений: некий, уже давным-давно упомянутый мною, в белой с черными полосами обложке, роман, некую, лишь втайне и походя упомянутую — мне еще предстоит говорить о ней — пьесу: — но в первую очередь и прежде всего потому, так думаю я теперь, что, однажды начавшись, это медленное, не знающее остановки, каждый день прерываемое, но и каждый день возобновляемое мною движение — движение куда-то, приближение к чему-то — требует меня — к себе — целиком, и покончив с писанием, я могу лишь ездить на велосипеде, бродить вдоль моря, по дюнам, и вечером, возвратившись домой, вновь возвращаюсь — вот к этим страницам; тогда же, в той жизни, в том городе, хотя и вынужденный, как уже говорилось, платить свою дань: ненавистно-неописуемому, но, в известном смысле, куда более свободный, чем теперь, здесь, поворачивая обратно, я — как, кстати и разумеется, Макс: истинный герой моей истории: если это история — бросался впервые, может быть, открывая их для себя, от одного автора к другому и третьему, от стихов в прозе, от умозрений к повествованьям…) — но — думаю я теперь — но как бы мне ни хотелось — теперь, здесь, поворачивая обратно — рассказать, например, о моих, каких-то, тогдашних, теперь уже не совсем мне понятных — исчезнувших и как бы преодоленных — наоборот: сохранившихся — или о Максовых, например, известных мне — о наших общих с ним, наконец, увлечениях, — о соответствиях, указаньях, намеках, — внезапных перспективах, — влияниях, противоборствах, — понятиях и сочетаньях понятий, в ту или иную эпоху важнейших для него, для меня, — или, к примеру, о тех, отчасти знакомых мне, отчасти, до знакомства с ним самим, незнакомых и от всего, что я читал до тех пор, во многом отличавшихся книгах, о которых, по большей части, и говорили мы — с Алексеем Ивановичем: — я, теперь и здесь, останавливаюсь, и как будто не в силах произнести — написать на бумаге — ни одного названия, имени, смотрю в окно (где уже клонится к осени лето…) — и не знаю — уже знаю, вернее, что с ними делать, и что от них тоже — и от них тоже придется мне — отказаться. И как если бы (думаю я теперь — и так думал я — не только думал, но и говорил я Максу когда-то — не помню лишь, опять-таки, где это было: в его,

Максовой, плывущей над городом: в моей, может быть, теперь и здесь отчасти повторившейся комнате…) — как если бы (думаю, думал и говорил я…) — как если бы тот прелестный и точный мир: имен и названий, событий и дат, — мир, которого никогда, может быть, и не было вовсе, но который, как бы то ни было, был он или не был: неважно, — как если бы он распался, разбился…: и (блуждая среди обломков, тоскуя среди развалин…) — и хотя названия, конечно, остались — названия уже неуместны: само их место исчезло.

И значит (думаю я теперь…), он так и останется, значит, неназванным — тот, к примеру, в белой с черными полосами обложке, уже давным-давно появившийся на этих страницах, в парке и в Павловске, в аллее и на скамейке, в моем собственном романе, роман: тот роман, иными словами, который посоветовал мне прочесть — Алексей, конечно, Иванович, когда — следующей, уже отмеченной на карте зимою — я действительно рассказал ему о моих, в ту пору и к той зиме уже отчасти определившихся, хотя все еще бесконечно далеких от осуществления помыслах, стремленьях и планах: — и точно так же (думаю я теперь…), как — неназванной — останется, значит, та, уже втайне мной упомянутая — я беру ее в руки: вот сейчас — пьеса, которую вполне случайно: как чаще всего и бывает — я открыл для себя в самом конце вот этой, холодной, ранней зимы — а впрочем, если память не изменяет мне, уже после некоей, в самом конце зимы предпринятой Максом и мною поездки: попытки, первой и предварительной: повернуть обратно и к чему-то — к чему? — возвратиться.

16

Я же, среди прочего, прочих — о каких-нибудь (неназванных…) книгах, например — разговоров, — я рассказал, разумеется, Максу о моем знакомстве с Алексеем Ивановичем; я уже не помню теперь, как отнесся он к моему сообщению. — Зато я вспоминаю — теперь — как, среди прочего, прочих, несколько раз за эту зиму (холодную, раннюю…) возвращались мы — или, вернее, возвращался он, Макс, к тому разговору, ночному, который мы вели с ним, в самом начале зимы, на загибавшемся, заметенном снегом бульваре.

— Да, все случайно, сомнительно, — так говорил он. — Мы что-то делаем, мы куда-то идем — могли бы не делать, могли бы и не идти…

— Наши мысли? — Мы их не мыслим. Они мыслятся: в нас и помимо нас, сами по себе и сами собою; мы спохватываемся — они исчезают…

— Да это и не мысли вовсе, — сказал он мне как-то (мы сидели, я помню, в его, Максовой, плывущей над городом комнате…).

— Что же это? — спросил я.

— Простое — продолжение жизни, — так он, я помню, сказал.

— Что называть жизнью? — сказал я.

— Что бы ни называть так, — сказал он. — Она продолжается в нас, вот и все. Она заполняет нас целиком; вырваться из нее мы не в силах.

Он отдернул шторы, присел на подоконник, закурил сигарету.

— Мы живем ею; мы думаем — нет, не о ней — мы думаем, и не можем не думать, о том, о чем она предлагает нам, заставляет нас — думать: и как если бы, — так или примерно так он сказал, — как если бы, не удовлетворяясь, собственно, внешним, она проникала еще и куда-то внутрь, и вот: разыгрывалась — внутри — в нас самих, не отпуская — или, может быть, лишь ненадолго отпуская нас, — сказал он, — на волю.

— Отчего, — сказал он, — отчего и наша внутренняя, как мы зовем ее, жизнь тоже оказывается — внешней, не нашей, неподвластной и чуждой нам же самим…

Я не знал, что ответить.

— А ведь так не может, так не должно быть… И в общем, — он посмотрел на меня, — ничего, в общем, не надо… Надо только выйти и вырваться — из всего этого…

— И как же — выйти, как же, хотел бы я знать, из всего этого — вырваться?.. Вот, кстати, послушай…

И отойдя от окна, погасив сигарету, он прочитал мне, я помню, довольно длинный и очевидным образом перекликавшийся с тем, что он только что сказал мне, отрывок: из некоего — мир названий разбился — вполне умозрительного сочинения, в ту пору, в ту зиму весьма и весьма, я помню, его увлекавшего, мне тоже знакомого; я же, слушая — я не помнил этого места, решительного и резкого — я подошел к окну, в свою очередь; и там, в окне, за окном — там была, разумеется, темная, заслонявшая небо громада его, Максова, неописуемого жилища; внезапный вызов и призрачная угроза; но вместе с тем, там, внизу, во дворе — там были крошечные, заметенные снегом скамейки, и такие же, совсем крошечные деревья, и фонари, уже загоревшиеся, и тихие отсветы их на тихом снегу — в своей затаившейся неподвижности, потаенном безмолвии как будто сулившие что-то, что-то втайне, подумал я, обещавшие, уводившие: от чего-то к чему-то…

17

Все было так же: все повторялось.

Была зима, как сказано, был самый конец зимы. Зима же, думаю я теперь, зима кончается совсем по-другому, совсем не так, как, скажем, кончается лето: теперь и здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке. Зима, заканчиваясь, вспыхивает всеми своими красками, снег блестит на солнце, солнце блестит на снегу, мороз не ослабевает — напротив, мороз, после краткой, к примеру, оттепели, крепчает, накрепко сковывая, навсегда замораживая: деревья, сугробы…, все охватывая собою; и конец февраля, первые числа марта кажутся, как ни странно, более зимними, чем безусловно зимний декабрь и несомненно зимний январь.

Вот так и заканчивалась та далекая, ранняя, несуществующая больше зима: вспыхивая на солнце, накрепко схваченная морозом: Макс (истинный герой моей истории: если это история…) — Макс, выходя из дому, возвращаясь домой, смотрел на все это, яркое, крепкое, ясное — все с тем же, уже почти не покидавшим его ощущением бессилия, в блаженном усилии…; все это, ясное, яркое, крепкое, тут же и вновь обращало его к его собственной жизни, нашедшей свою тему, столкнувшейся с самой же собой.

То были дни — ему казалось: недели — то были, следовательно, недели и дни, тянувшиеся мучительно долго, пролетевшие мучительно быстро, в мучительном, до сих пор, пожалуй, неведомом ему напряжении. Он платил свою дань; он возвращался домой; спускался к реке; доходил до моста; вечером, вновь возвратившись, смотрел в окно, вниз, на заметенные снегом скамейки, деревья, отсветы фонарей на снегу. Он не знал по-прежнему, что ему делать.

— Жизнь нашла свою тему; жизнь, найдя свою тему, распалась надвое, на отрицание — и отсутствие себя же самой…

— Но ведь вот же, вот же, вот же она, моя жизнь… и стоит мне только подумать о чем-нибудь, чтобы ухватить ее обеими руками. Я мыслю ясно; я держу ее крепко; и — что же?

И все опять, конечно, разваливалось; рассыпалось; дробилось; и он, Макс, все снова и снова, но с каким-то, пожалуй, неведомым ему прежде упорством, немедленно, нагонял, настигал свою мысль, — жизнь, — упорно от него ускользавшую; ловил ее; делал шаг и тут же, немедленно, останавливался; и… и все опять, конечно же, начиналось сначала; и вновь, и вновь, не удерживаясь в настоящем, его — уже, конечно, не мысль — не жизнь — соскальзывала как будто в какое-то, ей же самою и создаваемое, быть может,

пустое, легкое будущее, — и двигаясь как будто в каком-то, ей же самою и создаваемом, может быть, пустом и легком пространстве, уходила все дальше и дальше — от него, от себя…; и он опять ловил ее, с неведомым прежде упорством, — выслеживал, одергивал, — останавливал.

Он уже понимал, может быть, что долго все это не продлится.

— И значит, что-то не так, что-то, значит, неправильно…

То были, как сказано, дни — то были даже недели — то были, следовательно, недели и дни, тянувшиеся, пролетевшие: в блаженном усилии, в мучительном напряжении. То была его, Максова, последняя — или так казалось ему — заранее — он был почти уверен в этом — обреченная на неудачу, безнадежная, но все же попытка: преодолеть… подлежащее преодолению, выйти и вырваться.

— И как же вырваться, как же, думал он, выйти?..

Он выходил, вырывался… ненадолго, изредка — и потом опять, конечно же, падал — в ту же — случайную, чуждую, внешнюю, ему самому неподвластную, как сказано, жизнь — не-жизнь, если угодно…

— А ведь это и должно быть, думал он, жизнью… это внезапное, редкое, трудное…

— Это должно быть — жизнью, это должно быть — легко…

— Ах вот как? — Конечно. — Это должно быть легко… просто… как вдох или выдох.

— И что-то, значит, неправильно, в чем-то я ошибаюсь…

Он пытался начать все сначала, продумать свои предпосылки. Он принуждал себя к усилию — он уже не верил в него.

— Нет, думал он, простым усилием ничего не добьешься, ничего не изменишь…

— И значит, так думал он, может быть, и значит, должны быть какие-то, совсем иные, еще не испытанные, еще не изведанные или, может быть, забытые мною возможности… какие-то, может быть, совсем иные источники жизни…

И шагая, например, вдоль реки или стоя, например, у окна, глядя во двор, вниз, на совсем крошечные, заваленные снегом скамейки, деревья, отсветы фонарей на снегу, Макс, продумывая свои предпосылки, — Макс, как будто впервые (он понимал, разумеется, что это не так, но так казалось ему…) — и как если бы (так думаю я теперь, здесь, в конце лета, на берегу моря…) — как если бы, не выдерживая настоящего, не в силах ему ответить, он, Макс, в эти дни и недели, недели и дни, предпочитал, предпочел пустому будущему прошлое, во всяком случае, подлинное, действительно бывшее, — и в тайной надежде, быть может, найти там, в прошлом, какие-то, совсем

иные, забытые им возможности, какие-то, может быть, совсем иные источники жизни, — Макс, короче и как будто впервые, думал, начал думать, в эти дни и недели — о разных, далеких и очень далеких, самой природой своей, своей окраской, звучанием, значеньем и смыслом друг от друга отделенных, как сказано, временах, о той, к примеру, неистово-ветреной и теперь уже давным-давно закончившейся, как сказано, осени, когда он бродил и бродил по городу, не в силах остановиться, и в этих блужданиях открывал в себе нечто, дотоле неведомое, ранее незнакомое, то же самое, думал он, что и привело его к этому… раздору с самим же собой, — и набрел, среди прочего, на некую, очень маленькую, как сказано, площадь, — и о прошлой, к примеру (не отмеченной мною на карте…) или о позапрошлой, скажем, зиме, — о прошлом, о позапрошлом (взятом в скобки, не взятом в историю…) лете, — о его, Максовых (не упомянутых мною…) поездках, — о нашей с ним общей, однажды (и тоже не упомянутой мною…) поездке в тот город, в отличие от Москвы утративший свое название, куда мы снова поехали с ним — отсюда, из этой маленькой, за дюной притаившейся деревушки — гораздо позже, впоследствии, — о дворцах и набережных, мостах и каналах, — о Ростральных колоннах, Михайловском парке, Марсовом поле, — и о том, конечно же, августе, дождливом и темном, когда мы встретились с ним, впервые, как будто впервые, — об этом августе, неправдоподобно-далеком (так думал он, может быть, — и так думаю я теперь, здесь, в конце лета, на краю мира…) — об этом августе, об этом начале, которое (как и всякое начало, быть может…) одновременно принадлежит и не принадлежит всему последующему (всему тому, собственно, что вместе с ним и началось…) — точно так же, как принадлежит и не принадлежит оно всему предыдущему (всему тому, соответственно, что вместе с ним и закончилось…) — об этом кратком, единственном, в дожде и холоде, тумане, шелесте листьев затерянном, невозвратимом мгновении, — и еще, быть может, о чем-нибудь, уже совсем сказочном, призрачном, — о том, что мы еще помнили, в августе, а после как будто забыли, — о сломанных велосипедах, вечерних встречах возле кино, шуме поездов по ночам…; все дальше и дальше уходил он по этим, как будто впервые открывавшимся — ему, Максу — дорогам; все глубже и глубже проваливался он в свою жизнь; и вдруг опять оказывался на поверхности — вот сейчас, вот здесь — в настоящем, лицом к лицу с самим собою; и все опять было так же, так же трудно и так же мучительно; и он не знал по-прежнему, что ему делать. Зима заканчивалась — избавление не приходило.

Зима заканчивалась; снег блестел на солнце; солнце вспыхивало на снегу: все более ясным, все более ярким, уже почти ослепительным светом; мороз, все усиливаясь, накрепко сковывая, странную неподвижность придавая деревьям, сугробам, самый воздух делая, наконец, неподвижным, стеклянным, мелкими льдинками опускался на землю, мелкими льдинками потрескивал под ногами; и казалось, что — вот, вот сейчас — все это оборвется, рассыплется, рухнет под собственной тяжестью…; но все это еще держалось, сверкало, сияло, и он, Макс — как ни хотелось ему — а ему уже очень хотелось: бежать… забыться, рассеяться… пойти куда-нибудь в гости… почему бы и нет? — Макс, посреди этой яркости, крепости — щуря глаза и потирая замерзшие руки — еще упорствовал, еще не сдавался.

Нет, нет, он уже не верил в усилие; все снова и снова думал он, что это должно быть легко и получаться само собою… это трудное, редкое… как вдох или выдох.

И были, были, конечно, какие-то, всякий раз неожиданные — и всякий раз как будто сулившие, обещавшие что-то — нет, не длившиеся, конечно, по-прежнему — выпадавшие, конечно, из жизни, — но все-таки были, пусть краткие, редкие, всякий раз неожиданно ему, Максу, удававшиеся, дававшиеся мгновения, когда вдруг и как бы сама собою, с чудесной ясностью, в чарующем промежутке, виделась ему, скажем, река, скажем, мост, блеск солнца, блеск снега, без всяких усилий.

И было — при всем напряжении, упорстве — вопреки ли, благодаря ли ему — было и что-то совсем иное, пожалуй, что-то тихое, затихающее в этих днях и неделях, неделях и днях, что-то тайное, потаенное, затаившееся…; медленно, медленно — сквозь все прочее и все остальное — сквозь блеск и сияние — напряженье, упорство — яркость и крепость — проступали очертанья каких-то, далеких и очень далеких, забытых и совсем забытых времен; все глубже и глубже проваливался он в свою жизнь; все дальше и дальше уходил он куда-то, по каким-то, как будто впервые открывавшимся ему, Максу, дорогам: они же, пересекаясь и путаясь, все чаще и как будто с разных сторон, из более раннего, из более позднего, подводили его к тому дождливому, холодному и темному августу, когда мы встретились с ним: к этому краткому, единственному, между *уже* и *еще*, между концом и началом затерянному мгновению; впервые в жизни, быть может, он почувствовал в нем что-то загадочное, с тех пор, быть может, утраченное, быть может — невозвратимое; впервые в жизни, быть может, он спросил себя — что же: что же было тогда, в августе, в начале всего?.. Он сам не знал, может быть, что тогда — было.

— Был дождь, был холод, туман… падение капель, дрожание листьев… и это чувство внезапного, чудесного пробужденья… и это осеннее, робкое, радостное, с тех пор, быть может, утраченное… да, утраченное, быть может, ощущение — жизни: забредшей — куда-то, заблудившейся и затерявшейся — где-то, среди деревьев, в тумане и холоде…

И что-то скрывалось, что-то словно таилось там, в этом холоде и в этом тумане — он сам не знал что — но что-то словно окликало его оттуда, из глубины этого далекого, дождливого и темного августа, звало и манило…; и стоя, например, у окна, глядя, по-прежнему, вниз, во двор, где уже сгущались, может быть, сумерки, и не в силах пробиться сквозь скованный холодом воздух, свет какого-нибудь, например, фонаря казался большим, стеклянным, светящимся шаром вокруг другого, поменьше, такого же, — Макс, в эти дни и недели, недели и дни (еще, все-таки, длившиеся…), и уже понимая, как сказано, что долго они не продлятся, — уже понимая, быть может, что, не выдержав, он очень скоро оставит усилия, бросит старания, и что как только он бросит их — случайное, внешнее, легкое, пускай лишь на какое-то время, захлестнет его целиком и заполнит его без остатка, — и уже стремясь, в общем, забыться, рассеяться, — пойти куда-нибудь в гости, — но еще упорствуя, еще, все-таки, не сдаваясь, — Макс, в эти дни и недели, пытался вспомнить, пока не поздно, что же все-таки было тогда, в августе, в начале всего, и вспоминал, разумеется, дождь, холод, туман, внезапное пробуждение, призыв, впервые услышанный…, и по-прежнему глядя в окно, видел те, какие-то, дачные улицы, дома, крыши, заборы, видел лес, просеки, видел станцию, магазин возле станции, и по разным дорогам к нему приближаясь, как будто обходил его, все снова и снова, этот замкнутый в себе мир, где мы жили каждое лето, когда-то, где мы в последний раз жили с ним в августе, который, в августе, разомкнулся…, этот, иными словами, всего в каких-нибудь сорока минутах езды от города — на так называемой электричке — расположенный дачный поселок, который он, Макс, помнил, конечно — как и я его помню, теперь — наизусть, и в котором каждый дом, каждое дерево, все изгибы всех тропинок в лесу как будто хранили в себе и сквозь все изменения, превращения и переходы, позднейшие времена, как будто доносили до него, Макса, и что-то от того августа, когда мы встретились с ним, и что-то от той, уже совсем сказочной, призрачной, уже невообразимой более жизни, которая как раз и закончилась — в августе. И внезапное, безнадежное, горестное, но вместе с тем и в то же самое время как будто примирявшее его с чем-то, с самим же собою, влечение — ко всему этому охватывало его; и — где же все это? спрашивал он себя,

куда же… куда же все это делось? и как же могло случиться, что он, Макс, так странно запутался и в таком раздоре оказался вдруг с самим же собою?..

— И все, конечно, не так, все, конечно, неправильно… и должны быть, должны быть, конечно, какие-то, совсем иные возможности… источники жизни.

— Искать их, найти их… — так думал он, может быть.

Но чтобы искать их, требовалось, конечно, все то же, то же усердие, те же усилия, то же, пускай отстраненное, тихое, затихающее, но все-таки, конечно, внимание: то же самое напряженье, короче, в котором проходили, мелькали и проносились эти дни и недели, недели и дни: уже, в общем, кончавшиеся: он чувствовал это: и кончавшиеся именно потому, разумеется, что он, Макс, уже не выдерживал их напряженья, уже сдавался, уже уступал.

И уже подавалась, уже, в свою очередь, сдавалась понемногу зима — нет, нет, еще сверкала, сияла на солнце, еще яркая, крепкая, морозная, ледяная…; но уже как будто первые трещины, первые щели пробились сквозь эту крепость, уже словно первые темные пятна проступили сквозь эту яркость, и в этой силе уже чувствовалось бессилие, расслабленность, истома, изнеможение… Так ломается камень, так трещит и ломается лед…; и уже понимая, конечно, что никаких — иных возможностей ему — теперь — не найти, что искать их ему еще придется когда-нибудь… после, — уже понимая, как сказано, что, не выдержав напряженья, он бросится, скорее всего, очень скоро, в какую-нибудь — откровенно-внешнюю, легкую, намеренно и нарочито случайную жизнь, — отдастся ей и забудется в ней, — и уже втайне, быть может, предчувствуя, что она, эта жизнь, уведет его — отбросит его еще дальше от того, что по-прежнему… по-прежнему, конечно, влекло и манило его, звало и окликало оттуда, из глубины того дождливого, темного, неправдоподобно и непоправимо далекого августа, когда мы встретились с ним (и что же все-таки, что же было тогда?..) — Макс, с тоской и горечью все это понимая, предчувствуя — и как будто стремясь, в последнее, еще отпущенное ему мгновение, увидеть, запомнить и взять с собою — оттуда — хоть что-нибудь…, — Макс, короче, еще раз: Макс, отойдя, наконец, от своего, еще по-зимнему, конечно, закрытого, еще залепленного снегом окна, проведя рукой по лицу — и этим простым движением как будто перечеркнув и закончив: и дни и недели, и недели и дни — Макс, еще и еще раз: Макс, отойдя, наконец, от окна, с тоской и горечью принимая свое поражение, перечеркнув дни и закончив недели, почувствовал — не просто желание, но — необходимость: немедленно, сегодня, сию минуту, пока не поздно, поехать туда, в тот, еще и еще раз, всего в сорока

минутах от города и все-таки бесконечно, непоправимо далекий поселок, где, как сказано, ни он, ни я, с того самого августа, не бывал…: я же (теперь и здесь, отсюда и со своей стороны…) — я вспоминаю теперь, как, в какой-то — воскресный (я был, следовательно, свободен от неописуемого; Макс, разумеется, тоже…) — из всех прочих, воскресных ли, будних дней той далекой зимы теперь и здесь выделяемый мною день, я вышел на улицу — или, вернее: во двор, еще заметенный, разумеется, снегом, — и едва закрыв дверь, замер, заметив вдруг что-то — еще сам не понимая, может быть, что, — и уже весенний, влажный и теплый воздух пахнул на меня откуда-то (из каких-то щелей, каких-то трещин…), и в дальнем конце двора уже были первые черные пятна земли, за ночь проступившие из-под снега, и взлетевшая с клумбы ворона закричала вдруг каким-то иным, одновременно протяжным и резким, испуганным и радостным криком, — и резко, внезапно, решительно — из уже по-весеннему оставленного мной приоткрытым окна моей комнаты — из еще по-зимнему, может быть, распахнутой мною форточки — зазвонил, вдруг, телефон, — и вдруг замер и вдруг опять зазвонил, — и я взбежал по лестнице, подбежал к аппарату, — и быстрым, резким, решительным, каким-то, подумал я, почти деловитым голосом, Макс, оказавшийся на том конце провода, сообщил мне, что он, Макс, собирается вот сейчас, сию минуту, немедленно поехать туда, в тот поселок, где мы с ним некогда встретились; если, сказал он, если у меня есть время, если у меня есть желание поехать с ним вместе, он ждет меня через час на вокзале. И так же быстро попрощавшись, не дожидаясь ответа, повесил трубку; я же еще пару мгновений слушал, я помню, на моем конце провода, короткие, резкие, быстрые, как будто обгонявшие друг друга гудки.

18

Уже конец лета: здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке.

Уже холодные темные ночи, уже первые желтые листья сухо трепещут, испуганно вздрагивают на ветру, уже ветер шумит иначе, уже море окрасилось по-иному. Оно кажется то прозрачно-серым, то призрачно-голубым, но уже ко всему безразличным, от всего отрешенным; в легкой дымке лежит его берег, дальний мыс, дюна; и медленно-медленно тают, сливаясь с ним, отраженья и отсветы — навсегда уплывающих облаков. Все меняется: все изменилось — и хотя еще много солнца, много света вокруг, но этот свет уже холоден, тих, пронзительно ясен по-прежнему, но уже какой-то иной, как будто затаившейся ясностью: деревья, освещенные им, стоят как-то странно, одиноко и

неуверенно — и как если бы — осень? — осень, медленно приближаясь, возвещала о своем приходе, раздвигая, переставляя и путая предметы (заборы, крыши, мостик через ручей…) — смещая акценты, сбиваясь с ритма; — и только дождь, налетая порывами, все ставит вдруг на свои, еще непривычные, но уже окончательные места.

И — что же? — я остаюсь здесь? — да, конечно, я остаюсь здесь, на берегу моря, на краю мира…; я проживу здесь и осень, и, наверное, зиму, и — сколько бы времени ни потребовало от меня это медленное, каждый день прерываемое и каждый день возобновляемое мною движение (движение куда-то, приближение к чему-то…) — столько времени и проживу я, наверное, здесь, на краю мира, на берегу, соответственно, моря…

И возвращаясь, на мгновенье, к ближайшему (уже отступившему…), я вспоминаю теперь (почти невольно вспоминаю теперь…) тот, какой-то, последний день того — прошлого (уже прошлого, всего лишь прошлого…) лета, которое мы прожили здесь вдвоем, вместе с Максом, и как мы стояли, в последний раз, на обозначенной лишь столбиком и скамейкой остановке у въезда в деревню…: когда это было? Еще недавно, уже давно: в еще совсем близком, уже отдалившемся, почти осязаемом, уже все-таки — в прошлом.

И я выхожу — теперь — из дому, и пройдя, разумеется, мимо его, Максовой, повисшей над землею мансарды, помедлив, разумеется, перед тем — с еще парящей, но уже редеющей кроною — деревом, на которое он, Макс, смотрел когда-то, утром и вечером, дохожу до остановки — теперь; и здесь все теперь так же, почти так же, быть может, как было тогда, год назад; тот же столбик, та же скамейка; и так же, в тонком воздухе, кружатся, и так же, на асфальт, на белый песок у обочины, ложатся первые, желтые и как будто те же самые листья; и так же, из-за поворота шоссе, из-за дальнего леса, появляется, внезапно и призрачно, тот же самый, быть может, автобус; приближается, тормозит — я не сажусь в него — отъезжает…

Я остаюсь здесь: конечно.

Да, конечно, я остаюсь здесь — и время (думаю я, провожая автобус глазами…) — время (думаю я…) — пускай медленно, медленно утекая — уводит меня все дальше и дальше от — доступного, близкого, позднего, все дальше и дальше, куда-то, по каким-то, как будто впервые открывающимся дорогам…

И он так же, по-прежнему влечет меня: здесь и теперь, как влек его, Макса: там и тогда, этот август, уже описанный мною, это как бы по ту сторону всех прочих времен лежащее время, с его потаенной укрытостью, тихой моросью, опускавшимся небом…,

этот август, еще и еще раз, когда, и в силу, конечно, каких-то, вполне случайных, пускай по видимости, обстоятельств, я впервые в жизни, как и он, Макс, остался один и, блуждая по лесу, блуждая по улицам, услышал вдруг, как и Макс, из сплетения веток, сквозь мокрые листья, впервые, может быть, зазвучавший призыв…

И в самом деле, еще и еще раз (так думаю я теперь…): чего же они хотят от нас, эти деревья, с их стволами и ветками… вот эта, скажем, осина у меня за окном, вон та, уже на дюне, сосна?..

Они хотят, может быть, чтобы мы их — увидели? Вот — отрываясь сейчас от писания — вот: я вижу их: прямо напротив…

Они хотят, чтобы мы их — запомнили, сохранили, взяли с собою? Я запомню их, разумеется; я буду вспоминать о них, конечно, когда-нибудь, уехав отсюда… когда это будет?.. и точно так же, как я вспоминаю теперь те, в том городе, липы и вязы, те клены, те, в августе, тоже сосны, тоже осины, те березы в роще, тот орешник в лесу…

Но, еще и еще раз, но призыв их не умолкает, призыв их… да, призыв их звучит все настойчивее; к чему-то еще, к чему-то совсем иному они нас призывают… Они и хотят, может быть, превратиться — во что-то иное, — в слова и фразы, к примеру, — в эпитеты, например, и сравнения, — в подъемы или, наоборот, падения ритма… Они и превращаются в них — вот сейчас.

А между тем (так я думаю…) за этим последним призывом таится, быть может, еще один, самый тихий и самый настойчивый, необъяснимый, неисчерпаемый, не отменяющий, но как будто перерастающий все остальные, поднимающийся над ними, над нами, ко всей нашей жизни обращенный, быть может, призыв… Они хотят, чтобы мы их увидели, деревья, сосны, осины… Они хотят, чтобы мы их — запомнили… чтобы мы превратили их в слова, фразы… конечно. Но за всем этим… ах, за всем этим таится что-то огромное, превышающее наши возможности, бесконечно-далеко уводящее, ни к чему не сводимое… И мы никогда не поймем, разумеется, чего же они хотят от нас, та осина, эта сосна.

Уже конец лета, уже самый конец его. И уже не просто желтеют, уже падают понемногу листья: падают еще медленно, неуверенно и неловко, еще раздумывая, еще колеблясь, подрагивая на лету — и словно пожимая плечами, с тайным упреком, с тайным сожалением соглашаясь на что-то — но уже падают, падают непрерывно. И в этом медленном, непрерывном падении листьев уже слышится, и все отчетливей слышится, осень, ее приход, ее приближение — и словно шаги ее, по лесам и дорогам, шаги еще тихие, легкие, но уже глубоким, протяжным отзвуком наполняющие

пространство. Она приходит, проходит, смахивая, как капли дождя с деревьев, стряхивая, как листья и вместе с листьями, остатки лета, собирая в ладонях, унося их с собою, — приходит, проходит, по пути раздвигая предметы, раскрывая пространство, протяжным отзвуком наполняя округу…; и каждый день, покончив с писанием, я, оставшийся здесь, выхожу, разумеется, из дому, и помедлив возле мансарды, посидев на скамейке, у столбика, ухожу, вместе с осенью, все дальше и дальше, куда-то, по тропинкам, дорогам, по листьям и по лесу, — сквозь ландшафт, как будто превращенный, на мгновенье, в ландкарту, — и дохожу, например, до того, поросшего травою холма, где мы сидели некогда с Максом — когда это было? — и где я сказал ему, глядя в долину — с теперь уже совсем пожелтевшим, разумеется, полем, но с тем же аистом, еще блуждающим по полю, — что есть ведь разные, совсем разные времена (собрать их, расставить их по местам…), — и поднимаюсь на тот, другой, тот единственный холм в округе, с которого, и только с которого, в какой-нибудь очень ясный, осенний, к примеру, день, видна бывает, вдруг, тоненькая, чуть более светлая, чем лес, синеющий на горизонте, чуть более темная, чем небо, синеющее над лесом, тоненькая, совсем тоненькая, темно-синяя полоска — чего же? — море, еще и еще раз, море, внезапно и призрачно возникающее за всеми прочими холмами, полями, между лесом и небом, сливаясь с ними, отделяясь от них.

Я вижу, я не слышу его. Оно лежит там, вдали, неподвижно, безмолвно, недостижимое, в чарующем отдалении.

Да, в самом деле (еще и еще раз…) есть разные, есть совсем разные времена. Есть разные, совсем разные времена; но когда мы всматриваемся в них: откуда-то (вот с этого, например, тоже и уже совсем пожелтевшей травою поросшего, конечно, холма…) — одно из них (еще и еще раз…) — одно из них, какое-нибудь совсем, совсем раннее, неправдоподобно-далекое, не существующее более время (какой-нибудь август, к примеру, дождливый и темный, холодный, почти осенний…) — одно из них невольно кажется нам: началом: началом всего: всех прочих, следовательно, и по видимости никак не связанных с ним времен.

Он лежит там, вдали, этот август, это начало, — лежит там, вдали, недостижимый, невероятный, — отделенный от всего предыдущего (всего того, значит, что вместе с ним и закончилось…), но отделенный и от всего последующего (всего того, соответственно, что вместе с ним и началось…): предел, замкнутый в своих пределах, граница, замкнутая в своих границах; и чем пристальнее я в него всматриваюсь, чем реальнее делаются его очертания (его границы, его пределы…), тем более странным и

удивительным кажется мне, теперь, что до него был, к примеру, какой-то июль, а после — какой-то сентябрь. Никакого сентября, никакого июля, ни до, ни после, не было: был только август, начало всего. И если это все, если, значит, все прочие времена, однажды начавшись (а начались они, как сказано, в августе…), как будто вовлечены уже в какое-то огромное, охватывающее и объединяющее их всех движение, — и возникая друг из друга, превращаясь друг в друга, как будто стремятся куда-то, к чему-то (и никто, конечно, не знает куда, не знает к чему…) — то, напротив, он, этот август, ни из чего не возникая, ни во что не превращаясь, не ведая ни *до*, ни *после*, ни сентября, ни июля, — он лежит где-то там, в неправдоподобном, немыслимом отдалении, — лежит неподвижно, безмолвно, как полоска заката, замедлившая над лесом, как полоска рассвета, вдруг вспыхнувшая над морем, — или, наконец, как тоненькая, едва различимая полоска воды, где-то там, за всеми холмами, полями и перелесками…; из любого времени можно к нему возвратиться.

19

Я приехал на вокзал; Макса там не было. Были поезда, электрички; совсем неподвижно, опять-таки (как будто вообще не способные к движенью…) стояли они возле заметенных снегом перронов. И я бродил между ними, один, глядя на часы, думая — тоже и в свою очередь, уже тогда, как теперь, думая, конечно, об августе, начале всего, — и о том, что вот, через час, мы снова увидим эти улицы, заборы, дома, и тот дом, где жил Макс, и тот, где сам я когда-то жил, — но что мы увидим их: вот сейчас, через час, зимою, в конце зимы, в совсем… ах, в совсем другом времени.

— Там ничего, наверное, не изменилось; там те же деревья, те же улицы, те же тропинки в лесу. Но августа (думал я…) — августа там уже нет.

— И где же он, этот август, с его мелким дождем, тихой моросью, падением капель, дрожанием листьев?.. Его нет; его никогда уже больше не будет.

— И возвратиться, на самом деле… возвратиться никуда невозможно; а если возможно, то как-то — совсем иначе…

— Совсем иначе? — Конечно.

И что-то вдруг почувствовал я, блуждая среди электричек: какой-то (так думаю я теперь…) как будто издалека нарастающий ритм, смутное биение дальнего замысла.

Это было, я помню, внезапно: внезапно и радостно; и близость возвращения, ощущение невозвратимости, и та веселая, легкая, втайне задумчивая тревога, которая предшествует всякой поездке, пусть краткой, всякой дороге, пусть близкой, — все это словно сливалось, сходилось с предчувствием, быть может, какого-то, совсем иного, может быть, возвращения: еще неясного, смутным замыслом проступавшего сквозь прочие мысли, чувства, — ожидание, волнение, — вокзал, перроны и поезда: август (думаю я теперь…) — август, со всеми его деревьями, тропинками, просеками, тихой моросью и мелким дождем — вдруг словно обратился ко мне, на вокзале: почти так же, быть может, как, в августе, обратились ко мне деревья, тропинки, мелкий дождь и тихая морось: с тем же призывом, как тот же призыв.

Но — я очень хорошо это помню — но когда он, Макс (истинный, еще и еще раз, герой моей истории: если это история…) — когда он, Макс, появившись — я так и не понял откуда, — пожал мне руку, и извиняясь за опоздание, посмотрел на меня какими-то, никогда прежде мною не виданными, какими-то, вдруг, возбужденно-пристальными, напряженно-тревожными и тут же, от моего ответного взгляда, ускользнувшими, я помню, глазами, — это выражение его глаз, как, впрочем, и неожиданно-крепкое, тут же, однако, ослабнувшее пожатие его руки, — все это (а все это, здесь и теперь, превратившись, наконец, в простой предмет моих занятий, усилий, дается мне совершенно просто и так же просто входит во все остальное, в поездку, уже начавшуюся, как, скажем, снег, перроны и поезда…) — все это, пускай на мгновение, отбросило меня от моих — смутных помыслов, далеких предчувствий…; и я стоял, на вокзале, удивляясь этому сочетанию силы и слабости, этому напряженно-пристальному возбуждению, так странно не соответствовавшему (казалось мне…) той деловитой решительности, с которой он говорил со мною по телефону. Было холодно, тихо; до ближайшей электрички оставалось еще — минут, наверное, десять. И все эти десять минут я смотрел, я помню, в его, Максовы, неузнаваемые, возбужденно-пристальные глаза, то заглядывая в них украдкой, то пытаясь, наоборот, поймать его взгляд, удержать и добиться ответа; и я чувствовал, как постепенно, очень медленно, взгляд его изменялся, смягчался и как медленно, постепенно исчезала, во мне самом, охватившая меня скованность.

— Не странно ли, — спросил он меня, наконец (мы вошли, наконец, в вагон…), — не странно ли, что все это мы увидим сейчас: под снегом, в снегу?..

— Да, странно, — сказал я в ответ. — Но еще более странно, не правда ли? что все это мы увидим: вот сейчас, не тогда.

И сидя в поезде, напротив Макса (а поезд шел медленно, от станции к станции, и медленно, тихо проплывал за окнами день, морозный и солнечный…), — глядя, как и он, Макс, в окно — мы оба молчали, — я вновь думал, может быть, о каком-то, совсем ином, еще невозможном — единственно-возможном (так думал я…) возвращении; Макс же, я помню, с уже смягчившимся, но по-прежнему напряженным выражением лица, глаз — и время от времени посматривая почему-то на свою руку, лежавшую у него на колене, то сжимая, то разжимая ее — Макс, с напряженным, странным, смягчившимся выражением глаз и лица, как будто высматривал что-то в окне, все снова и снова всматриваясь в проплывавшие мимо — столь, когда-то, знакомые — с того августа, с того последнего, в августе, дня, когда он, Макс, утром, когда я сам, вечером, в последний раз ехал по этой дороге в Москву, ни им, ни мною не виденные ни разу — станции, будки, платформы, — какие-то, все те же, заборы, — какие-то, наверное, склады, — деревья, далекие крыши.

Был морозный, ясный и солнечный день; блестел снег; темнела дорога; медленно, бесконечно опускался шлагбаум; вспыхивали, на мгновение, стекла затормозившей перед шлагбаумом машины; все это было — сейчас, вот сейчас, само по себе.

Но мысль ходит своими, тайными, путями. Суть ее в одновременности, в непрерывном и одновременном движении по совсем разным, бесконечно далеко уводящим друг от друга, хотя и пересекающимся временами дорогам.

Я помнил, конечно, его, Максов, рассказ о театре (на маленькой площади…), о Сергее Сергеевиче (режиссере и устроителе…) — и о том, что — вот, как ни странно, у Сергея Сергеевича есть, значит, дом: там, в том — или, вернее: почти в том поселке, где мы некогда встретились с Максом и куда мы теперь возвращались…

Нет, сказал Макс (отвечая на мой вопрос…) — нет, в театре (на маленькой площади…) он уже очень и очень давно не бывал. Он был, признаться, занят совсем другим. (Ах вот как: совсем другим?..) Да, совсем другим. Но вообще… —

— Что?

Вообще все это весьма и весьма интересно. Непонятно лишь, что с этим делать.

— Непонятно лишь, что ты имеешь в виду.

Он вдруг улыбнулся, я помню: впервые за всю нашу встречу (поездку…).

— Я и сам не знаю, — сказал он (улыбаясь — проплывавшим мимо деревьям…). — Выйти на сцену, встать перед залом: в этом (так он сказал…) — в этом тоже есть, может быть, некая… безусловность — и может быть, некое чувство… победы… над чем-то.

— Да, — сказал я, — это, наверное, совсем особенное и ни с чем не сравнимое ощущение…

— Вот именно.

И больше мы ни о чем подобном не говорили; ведь мысль, еще и еще раз, ходит тайными, своими путями; и пути эти расходятся в разные стороны, кружат по сторонам, теряются, вновь возникают, — и только изредка, вдруг, совпадают друг с другом, пересекаются, как иногда пересекаются рельсы, возле пустынной, какой-нибудь, без названия, станции, — бегут вместе, разбегаются вновь…

— Мы приехали, — сказал Макс.

Ну что же: вот она, эта станция.

И когда поезд ушел, когда звук его замер вдали, мы остались, вдвоем, на платформе, сбитые с толку, не в силах справиться с изумлением.

В самом деле, вот поезд (поезд, это как бы еще продолжение города…) — вот поезд уходит, исчезает: за выступом леса, вот даже и звук его замирает вдали, а мы остаемся, вдвоем, на этой пустынной, неузнаваемой, заметенной снегом станции, — и словно вдруг выброшенные откуда-то, словно вдруг брошенные куда-то, — в мгновенной, после шума, движенья, мельканья, со всех сторон обступающей нас тишине…

Ну что же, вот она, эта станция… Я помнил ее: зеленую, желтую, летнюю, с каплями дождя на перилах, на листьях и ветках, с мелкими лужами в углубленьях асфальта. Но теперь здесь была зима, был снег, солнце, деревья, с обведенными снегом — вплоть до мельчайшей веточки — ветками…; и зима здесь казалась еще совсем крепкой, плотной — сплошной: как если бы, уехав из города, приехав за город, мы возвратились вдруг в ее середину, в ее средоточие.

Что же: вот она, эта станция…; и вот, на противоположной платформе, все та же, сколоченная из досок, с подпираемым деревянными столбами навесом, назад и набок чуть-чуть завалившаяся по-прежнему касса…; и вот часы, с их минутною стрелкою…; Макс, подойдя к перилам, сгреб снег ладонями, скрутил снежок, бросил — в ближайшее дерево: — снежок рассыпался, лишь легкую белую отметину оставив на темном стволе… И были ступени лестницы с косой наледью — мы скользили по ним: куда-то…; был твердый наст узкой, от станции к магазину ведущей дорожки — мы шли, то и дело оступаясь, проваливаясь, глядя вокруг…; были сугробы, солнце, сверкавшее на снегу…; знакомые заборы, калитки…; колодцы, крыши, дома.

— И что же, мы действительно — здесь?..

— Да, кажется…

— Кажется…

Магазин же, я помню, по-прежнему был закрыт, замок висел на двери. И та, первая, за магазином, заколоченная в августе дверь по-прежнему была заколочена; и та, другая, с другой стороны, тоже, на сей раз, забита.

И подняв голову, и обернувшись, я увидел вдруг чистое, зимнее, над оснеженными ветками, совсем другое, ярко-синее небо; и вдруг промелькнул, я помню, прошумел, за деревьями, поезд; прошумел, промелькнул…; и все опять стихло; и мы опять остались вдвоем, в снегу, в тишине.

— И все-таки, что же было тогда, в августе, в начале всего?..

— Был, разумеется, дождь, был, конечно, туман… и это внезапное чувство внезапного, чудесного пробужденья… и это особенное, осеннее ощущение жизни, заблудившейся, забредшей куда-то…

Но как бы то ни было и что бы то ни было — в августе, был — теперь — снег, скрипевший у нас под ногами; были узкие, Бог знает кем протоптанные тропинки; и один, я помню, один-единственный, почти неподвижный в морозном воздухе, белеющий в небе дымок; и обведенные снегом деревья; обведенные снегом заборы; и дома, и крыши в снегу…; и все это, столь, когда-то, знакомое, с того августа не виденное ни разу… и, конечно, хранившее, сохранявшее в себе этот август… еще, может быть, что-то… то, что мы тогда еще помнили, а после забыли… все это, морозное, зимнее, неузнаваемое… с каждым шагом узнаваемое все лучше… все это тоже было, конечно — вот сейчас, само по себе.

И значит, надо было приехать сюда, пройти по этим улицам, мимо этих домов, посмотреть на эти деревья, заборы, чтобы тут же и наконец убедиться, как безнадежно отторгнуты мы от того, какого-то, сохраненного ими и возвращавшегося… конечно, невозвратимого, конечно же, прошлого.

И мы в этом, действительно, убеждались — и с каждым шагом все более.

Вот так, думаю я теперь, вот так, поворачивая обратно, движемся мы — непонятно в какую сторону…

— Странно, не правда ли?

— Да, правда, странно…

И все-таки оно возвращалось к нам, это прошлое, оживало в нас понемногу; и, шагая рядом с Максом, вслед за ним, оступаясь, проваливаясь, глядя вокруг, я вспоминал, я помню, свои зимние приезды сюда, когда-то, бесконечно-давно, еще до августа, еще до начала, в какие-нибудь, скажем субботние, воскресные, скажем, дни, вместе с кем-

нибудь, конечно, *из взрослых* — Макс опять улыбнулся — и как странно, совсем по-другому, выглядели, всякий раз, эти улицы… почти так же, быть может, как выглядели они теперь, вот сейчас… но совсем не так, разумеется, как выглядели, к примеру, каким-нибудь, предыдущим, теперь уже совсем сказочным, призрачным, невообразимым более летом… как странно было ходить по ним, узнавать их, не узнавать их… вот эту, терявшуюся среди сугробов: мы не свернули в нее… и вот эту, по которой мы шли: загибавшуюся, огибавшую… да, все тот же, двухэтажный, кирпичный, самый большой на этой улице дом… и превращавшуюся, ненадолго, в узкий, совсем узкий проход между двумя… все теми же, сплошными заборами… и выводившую вдруг на ту… да, мы вышли на нее, наконец… на ту, нашу улицу…; Макс, когда мы вышли на нее, наконец, тут же, я помню, остановился.

Она была все такой же, эта улица, заваленная сугробами… нет, не такой, как в августе… такой, как когда-то, в те, какие-то, бесконечно-далекие зимы, бесконечно-давно…

— И все-таки, все-таки, что же было тогда, в августе, в начале всего?..

— До августа? До августа мы были дети, — сказал он. — А вот в августе, в августе…

И с напряженным, тревожным, смягчившимся, внимательным и отрешенным выражением лица, то снимая, я помню, то вновь надевая перчатки, смотрел он, шагая, по сторонам… ах, подумал я вдруг, почти так же, как смотрел он, то вынимая, то снова засовывая руки в карманы, в то холодное, в августе, холодное и раннее утро, когда мы шли с ним навстречу друг другу, по вот этой же самой улице, с каждым шагом все ближе — и когда он, Макс, свернул вдруг, так неожиданно — влево? — нет, вправо — с его тогдашней и с нашей теперешней точки зрения — вправо, вправо, конечно — вон в тот просвет между — уже и опять появившимися, обведенными снегом деревьями…

— Зайдем, — сказал Макс. — Конечно… зайдем.

И калитка, я помню, захлопнулась за нами… все с тем же, чуть более резким в морозном воздухе, протяжным, ржавым, пронзительным скрипом.

Был снег повсюду, снег на дорожке, снег на деревьях — мы проскальзывали под ветками, отгибали их — снег осыпался, холодил руки, тихо касался щек…

Снег, снег повсюду, на крыше дома, и на крыше веранды, чуть более низкой, и на карнизах, оконных рамах, на крыльце, на ступеньках…; Макс, поднявшись по ним, перегнувшись через перила, потер стекло, заглянул… я тоже… нет, там, внутри, на веранде… где мы сидели так долго, в последний день, в августе… там ничего не было видно… край стены, косяк двери… немного солнца на дощатом полу.

— Но что же, все-таки, что же было тогда, в августе, в начале всего?..

— Был, разумеется, дождь, был, конечно, туман… и это внезапное, чудесное пробужденье… и это ощущение жизни, заблудившейся, забредшей куда-то…

— Но и что-то еще… что-то совсем иное… с тех пор, быть может, утраченное, быть может, невозвратимое…

И как будто высматривая это — что-то еще, с тех пор, быть может, утраченное, все снова и снова всматривался он туда, в пустоту и заброшенность.

— И — что же? — спросил я его.

— Ничего, — сказал он в ответ. — Край стены, косяк двери…

И мы так же долго стояли на этом крыльце, под этим навесом, как… подумал я… как я стоял здесь, когда-то, один, в тот последний, самый последний день в августе… после последнего… когда его, Макса, здесь уже не было, дверь была заперта… и я не знал, что мне делать… и дождь… я помню, я помнил… дождь, стекая с навеса, струился по желобу и с нежным хлопающим звуком падал, падал на землю… и в том месте, куда он падал, была маленькая темная ямка… там тоже был теперь снег… и внезапный ветер прошумел в вершинах деревьев… и я заглянул, еще раз, в окно… и в конце концов прошел, снова, под этими… да, яблонями, отгибая их ветви… и мелкие капли оставались, конечно, на пальцах… мокрые листья касались, разумеется, щек… и улица, заваленная сугробами… улица, когда мы выскользнули, наконец, из-под веток, показалась мне вдруг непривычно-широкой, странно-солнечной, неожиданно-ясной.

И вот теперь мы были, действительно, здесь — пускай сейчас — здесь.

— А кстати, почему ты уехал тогда… так внезапно?..

— Сам не знаю, — сказал он. — Так… какое-то, вдруг, беспокойство…

А в том доме, где сам я когда-то жил, — всегда и каждое лето, — впервые один и в последний раз в августе, — в этом доме, с его, тоже, верандой, тремя комнатами и тремя, почему-то, порогами в коридоре, соединяющими их, — с еще одной, как будто добавочной, проходной и темной комнатой в глубине, — в этом так знакомом мне доме, как никакой другой дом никогда, конечно, не будет и не может мне быть знаком, — в доме этом жили теперь — и до сих пор живут, наверное, — некие… нет, в общем, незнакомые мне, вполне чужие мне люди. И они действительно жили там, дорожки были расчищены, солнце сверкало в окнах.

И уже как будто сдвинулось что-то, заколебалось и вышло из равновесия: кажется, ели у забора, те самые, на которые я смотрел когда-то, утром и вечером — как будто впервые и в последний раз в августе — расступились и поредели немного: и даже снег,

лежавший на них теперь, не в силах был соединить их в тот прежний, сплошной ряд, почти без просветов…

— Странно, странно, не правда ли?..

Мы вошли в лес; все исчезло.

Совсем узкой, едва различимой, почти нехоженой была здесь тропинка… и терялась, и вновь возникала, и пересекала, вдруг, проложенную кем-то лыжню, и совпадала с нею, и снова от нее отделялась…

И когда исчезли из виду дома, исчезли крыши, исчезли заборы, лес, обступив нас, запахнулся за нами; и вот: поляна, прогалина; вот: осины, орешник; и ветки, и веточки, обведенные, разумеется, снегом; и солнце, терявшееся в их бесконечно-сложном сплетении; пушистой, уже чуть-чуть красноватой каймою оттенявшее их рисунок; и: тот же зов, тот же оклик, тот же, конечно, призыв… несмолкающий; безмолвие; неподвижность.

И я снова думал, глядя вокруг, об ответе… о каком-то, так думал я, может быть, совсем ином, еще невозможном, единственно-возможном, думал я, возвращении… движении во времени, круженье в пространстве.

И мы шли все дальше, все дальше; и вот: еще поляна, другая прогалина; и через поляну, вдали: дерево, дуб, с раздвоенным внизу стволом; совсем черный на белом снегу; совсем черный в прозрачной синеве неба; и просека, и снова тропинка; и еловый лес, и сосновый; и все это, все это… а все это тоже было, конечно, вот сейчас, само по себе… все это, с того августа не виденное ни разу… все это уводило, конечно, куда-то еще дальше, к каким-то, уже совсем сказочным, призрачным, невообразимым более зимам, в их середину, их средоточие…

Зима, думал я, оступаясь, проваливаясь, глядя вокруг, зима — это самое глубокое время года; все прочие времена поверхностны рядом с ней.

Все прочие времена поверхностны, но зима уводит куда-то, приближает к чему-то, запутывает следы, сбивает с дороги, возвращает к невозвратимому…; и мы шли уже совсем тихо, молча, никого ни о чем не спрашивая, ни себя самих, ни друг друга, — и словно вдруг примиренные с чем-то, с самими собою, — отдаваясь и радуясь: круженью в пространстве, движенью во времени…

И замечательно (думаю я теперь…) — в высшей степени и во всех отношениях замечательно, разумеется, что, углубляясь, петляя, не спрашивая никого ни о чем, мы прошли — то самое место, — то место, с которого я начал и до которого мне еще нужно добраться, — ту самую первую точку на карте, легкий изгиб тропинки, где много позже,

впоследствии, Макс, остановившись, закурил сигарету, и помолчав, помедлив, сказал вдруг, что, во всяком случае, он, Макс — поворачивает обратно, — что мы прошли его, не остановившись и даже не закурив, — и что, значит, лишь я один, отсюда, издалека, вижу этот маленький, едва различимый (легкий изгиб тропинки…) направленный в будущее (возвращающий в прошлое…) важнейший для меня указатель.

А мы шли все дальше, все дальше, петляя и углубляясь — и зашли, наконец, так далеко, что вдруг, в мгновенном просвете, увидели, за отпрянувшими соснами: поле — и сделав еще несколько шагов, — за полем, в мгновенном просвете: дома — и тут, разумеется, все углубления кончились.

Вот так, думаю я теперь, вот так, поворачивая обратно, движемся мы — нет, непонятно в какую сторону…

И вот, значит, эти дома, это поле, эта, так думаю я теперь и так думал я, может быть, стоя, рядом с Максом, на краю леса, в снегу, эта, тоже — граница, — граница, отделявшая, некогда, тот замкнутый в себе мир (лес, поселок и станция…), который мы обошли теперь: почти целиком, прошли теперь: до конца, — от всего остального, прочего, уже безразличного…, — простая граница, сама по себе уже не имевшая, для нас обоих, тогда, когда-то, никакого, почти никакого значения…

Ну что же, теперь она получила его, и теперь мы идем через поле, по совсем узкой, опять-таки, обледеневшей, то и дело заметаемой снегом тропинке, и после углубленной неподвижности леса здесь, на ветру, и пусто, и холодно, и ветер, ветер, вокруг нас, пробегая по полю, подбрасывает, закручивает мгновенные всполохи снега…

И уже отделяются друг от друга дома, как будто расходятся в разные стороны, уже видны окна, крыши, заборы, уже совершенно ясно, во всяком случае, виден самый крайний из этих домов, двухэтажный, за высокими соснами…

— Мне кажется, я вообще здесь никогда не бывал…

— Я тоже. Никогда, никогда…

И я уже видел ее, ту, прекраснейшую из сосен, с ее нежным красноватым стволом и веткой, тянущейся к самому дому…; и потом мы завернули за угол, пошли вдоль забора, прошли ворота… незапертые, и обогнув дом, услышали, а затем и увидели, в просвете между двумя другими домами — в просвете, вернее, между двумя, отделявшими их друг от друга заборами — за еще одним, поменьше, полем — шоссе, и обошли их все, эти пять, шесть, может быть, я не помню, домов, двухэтажных, почти одинаковых, и возвратились к воротам, и у ворот, конечно, остановились.

Они не были заперты; одна створка отставала, чуть-чуть, от другой; дом же, глубоко в саду, за высокими соснами, казался заброшенным, почерневшим от времени, дождя и снега, огромным, необитаемым.

Зимою, думаю я теперь, зимою сумерки подступают издалека и наступают внезапно; самый воздух делается понемногу прозрачнее, тоньше — и утончаясь, редея, вдруг, в какое-то, всегда краткое, неуловимое, всякий раз неожиданное мгновение, оборачивается уже давным-давно таившейся за ним темнотою…

— Подойдем поближе, — сказал Макс.

И я опять видел ее, прекраснейшую из сосен, у самого дома, чуть поодаль от всех остальных…; но мы еще долго шли к ней, к ней и к дому, по нерасчищенной, но отчетливо проступавшей под снегом, асфальтовой, твердой дорожке, с птичьими, и только с птичьими, я помню, следами. И были, я помню, сосновые иглы, мелкие веточки на снегу; и дом, сосна перед домом то исчезали, то вновь появлялись за другими, соответственно, соснами; и очертания веток, стволов, как бывает в сумерках, то вдруг расплывались, то вдруг странную, тревожную четкость обретали в сгущавшейся синеве…

— И мы никогда не поймем, разумеется, чего же они хотят от нас… с их стволами, с их ветками…

Там никого не было в доме, ни Сергея Сергеевича, вообще никого.

Была большая, открытая, летняя, заметенная снегом терраса; был круглый стол на террасе; снег лежал на нем толстым, плотным, тяжелым, с одного края почерневшим, я помню, слоем; были птичьи следы повсюду, на столе, на перилах; была дверь и окно возле двери с запертыми изнутри ставнями; ничего, никого больше не было…; Макс, взойдя по ступенькам, обернулся, посмотрел на меня; я же, отступив, я помню, на пару шагов назад, смотрел, в свою очередь, на — сосну, прекраснейшую из сосен, теперь уже совсем, совсем близкую.

Она стояла сама по себе, отделенная от всех остальных, прямо перед выходившими в поле окнами, высокая, с нежным красноватым стволом и одной, очень длинной, выбивающейся из общей игры ветвей и уже совсем синим снегом обведенною, укрытою веткою… веткою, которая шла поначалу чуть вверх, потом, вдруг, загибалась и как будто пытаясь дотянуться до чего-то, прикоснуться к чему-то, долго, бесконечно долго тянулась к дому, к окну, так, впрочем, и не дотягиваясь до них… И чем дольше я смотрел на нее, тем сильнее делалась, во мне самом, меня самого чуть-чуть удивлявшая, пожалуй, решимость… ответить, и я смотрел на нее почти так же… почти так же, быть может, как

я смотрел, в августе, на те, к примеру, какие-то, с тех пор так безнадежно поредевшие ели перед тем, каким-то, окном… на дорогу, черневшую когда-то за ними… с тем же самым, отстраненным, радостным, вновь, следовательно, возвратившимся ко мне изумлением… и как если бы я не только не видел ни разу этой сосны… я же и не видел ее никогда… но вообще никогда, ничего… впервые, как будто впервые.

— Да, конечно, выйти на сцену, — сказал Макс… непонятно к кому обращаясь. — В самом деле и наяву… выйти на сцену, встать перед залом… какая возможность…

И мы еще долго стояли так, в сумерках, на террасе и возле террасы… ведь больше идти было некуда… поездка, в общем, закончилась.

Но была еще и обратная, конечно, дорога; и я вспоминаю теперь, как, в последний раз оглянувшись, пошли мы, снова, к воротам; и снова открыли и снова закрыли их за собою; и тут же, снова, остановились: там, за полем, пройденный нами лес — лес, через который нам вновь предстояло идти — лежал уже черной, четкой, далекой, исчезающей, сплошною чертою, и тоненькая, красноватая полоска заката, замедлившая над ним, казалась уже совсем холодной, почти ледяной на уже позеленевшем, померкшем, замирающем небе…

И казалось почти невозможным снова войти туда, в темноту, неподвижность.

— Пойдем к шоссе, поймаем машину…

Мы не пошли к шоссе, мы пошли, все-таки, через поле, через лес… не узнавая его, натыкаясь на внезапные ветки, оступаясь… все быстрей и быстрее.

И вот опять, уже совсем смутные, очертанья домов, крыш… и я еще видел, с трудом, но все-таки видел… мы не свернули на нее… ту тропинку, по которой шел я когда-то один, по которой шли мы, впоследствии, к станции… и вот опять… замедляя шаги… мой дом, Максов дом, наша улица.

Зима, как сказано, — это самое глубокое время года; все прочие времена поверхностны рядом с ней.

Все прочие времена поверхностны, но зима уводит куда-то, приближает к чему-то…; и вновь оказавшись на этой улице, так знакомой, неузнаваемой, я снова вспомнил, конечно, и вновь вспоминал, разумеется, те, какие-то, невообразимо-далекие, вполне сказочные, субботние, воскресные дни… и как странно, совсем по-другому, выглядела, всякий раз, эта улица… как совсем странно, совсем и совсем по-другому, выглядела она поздно вечером, когда я выходил, ненадолго, из дому, вместе с кем-нибудь, обычно, *из взрослых*… Макс, шагавший рядом со мною, думал, казалось мне, о чем-то своем, мне

неведомом… как странно и удивительно было смотреть на все это, эти дома, эти крыши, ночные, зимние, безмолвные, затаившиеся…

Уже было совсем темно; уже горели редкие, тусклые фонари; желтоватый отсвет их лежал на снегу; тени домов, очертанья деревьев, притянутые, на мгновение, светом, тут же вновь отступали, терялись; улица, проваливаясь в темноту, заканчивалась где-то рядом, в двух шагах, за углом; сугробы казались огромными…; и все это, подступая вплотную, обхватывая, почти обнимая, как будто заворачивало, укрывало, укутывало — его, меня, нас — в какое-то, сотканное, казалось, из мороза и мрака, из снега и света, из скрипа шагов на снегу и быстрых снежных касаний, — огромное, неожиданно-теплое, удивительно-мягкое, первыми звездами, думал я, как будто расшитое покрывало… Уже было совсем темно; горели, чуть-чуть подрагивая, редкие, тусклые фонари; лаяла, вдалеке, собака; умолкала; вновь принималась лаять…; и уже не было, уже не могло быть выхода из всего этого, из снега и света, из мороза и мрака…; и эти улицы, заканчиваясь за углом, не вели уже никуда…; и эти деревья уже не были больше деревьями, но призрачно разрастаясь, превращались, где-то там, в вышине, в снежный мрак, безмерную ночь…; и Макс, шагавший рядом со мною, уже не был более Максом, но был лишь смутной тенью, скрипом шагов на снегу…; и я отставал от него, и смотрел ему вслед, и терял его, на мгновенье, из виду, и оставался совсем один, в темноте, в тишине, укутанный, укрытый и спрятанный…; и ближайшая звезда была ближе ближайшего дерева…; и уже не могло быть, не было выхода…; и эти улицы не вели уже никуда…; и эти объятия были тугими, мягкими одновременно…; и это покрывало огромным, теплым, темным и снежным…; и кроме него, и за ним, в целом мире, в целом свете, вообще ничего уже не было.

Станция; поезд.

И думая, разумеется, каждый о своем, одновременно о разном, мы всю дорогу молчали, и в окне была, разумеется, ночь, призраки наших лиц, далекие огни, внезапные станции.

И лишь возвратившись в город, простившись с Максом — он же, Макс, прощаясь со мною, посмотрел на меня почти так же, с тем же самым, напряженным, тревожным, возбужденно-пристальным выражением глаз, с каким он смотрел на меня, на том же или, может быть, на соседнем перроне, в начале нашей поездки — она закончилась, следовательно, тем же, с чего началась — и так же крепко, и так же быстро выпустив ее, пожал мою руку, и таким же быстрым, решительным, почти деловитым голосом сказав мне: вот и все, до свиданья…, исчез (его, Максово, совершенно неописуемое жилище

находилось — заметим в скобках — и до сих пор, надо думать, находится — всего в каких-нибудь пятнадцати минутах ходьбы от вокзала; мне же еще надо было ехать на метро, затем на трамвае…): — лишь возвратившись в город, простившись с Максом, еще раз, добравшись до дому и входя в подъезд, обернувшись, я вдруг снова почувствовал быстрое, влажное (из каких-то щелей, каких-то трещин…) — влажное, сумрачное дуновенье весны; и затем уже чувствовал его постоянно, с каждым днем все отчетливее; и через несколько дней от зимы и мороза, от сиянья и снега, силы и крепости не осталось уже и следа; и город, улицы, тротуары и мостовые, облака и деревья, дворы и крыши, карнизы и окна, — все это вдруг растеклось, расплылось, — все это, подгоняемое влажным, весенним, порывами налетающим ветром, — все это поплыло вдруг куда-то, само, конечно же, не зная куда.

20

И все-таки: что же было тогда, в августе, в начале всего?

Отступая в прошлое, события и вещи меняют свою природу; время, лежащее между ними и нами, высвечивает их по-новому и поворачивает к нам по-иному; волшебную легкость обретают их очертания.

Но есть блаженные минуты, как сказано, — блаженные минуты, когда само настоящее видим мы так, как видим обычно лишь прошлое, с той же отстраненностью, с тем же вниманием, свободные, пусть ненадолго, от всего случайного, всей сумятицы, путаницы…, возвращенные к себе самим и в то же время приподнятые над самими собою, совершенно ясно, прямо напротив…, — блаженные минуты, которые бывали, пожалуй, и до, бывали (бывают…), конечно, и после этого августа, и которые тогда, в августе… что же?

Ах (думаю я теперь…) он сам, этот август, со всеми его деревьями, улицами, тропинками, просеками, — дождем, туманом и холодом, — сменою дней, вечеров, засыпаний и пробуждений, — вдохом и выдохом, — он сам кажется мне, теперь и отсюда, одной такой, блаженной минутой, чудесным образом растянувшейся: на целый, на целый месяц…

Вот как? — Конечно.

Был август, начало всего; шел дождь; темнела дорога; дрожали, еще не падая, мокрые желтые листья; в лесу уже пахло грибами, горькой прелью, влажной землею; стволы деревьев терялись в сумрачной дымке…

И все это словно входило в меня, само собою, вместе с дыханием…; и, впервые в жизни оставшись один, я бродил, как сказано, по улицам, по лесу, сам не зная зачем, просто так…; и смотрел вокруг, удивляясь, как будто впервые…; и было это особенное, еще раз, тревожное, потаенное, тайное, осеннее ощущение жизни, дождя и холода, тумана и влаги, мокрых листьев, мелких капель, по рукаву стекающих на руки…, ощущение жизни, отпущенной, впервые, на волю — и тут же, конечно, заблудившейся, затерявшейся где-то, среди деревьев, в тумане и холоде…, заблудившейся, затерявшейся — и как будто вобравшей, впитавшей в себя этот холод, туман, падение капель, дрожание листьев… неотделимой от них.

А ведь все уже начиналось, как сказано, начиналось, завязывалось…; и я уже слышал его весь целиком, этот безмерный, безмолвный, неумолкающий, из трех, если не четырех призывов состоящий призыв…; и уже думал, уже думал, как сказано, об ответе…; и после всех блужданий были, как сказано, долгие, бесконечно-долгие вечера…; и я вспоминаю теперь, как, отрываясь, к примеру, от чтения — я очень много читал тогда, в августе — я впервые прочитал тогда некие — мир названий разбился — очень и очень многое, во мне самом, определившие сочинения — они тоже были: призывом…, — как, сидя, например, в моей комнате — первой из трех, ближайшей к веранде — за столом, отрываясь от чтения, я открывал тетрадь, и брал ручку, и прислушиваясь к шелесту веток, шуму сада, падению капель — нет, я еще не знал о чем, что — я не решался еще ничего написать, — и поднимал голову, и смотрел в окно, в темноту за окном, — и оттуда из темноты, вместе с тенью стола и призраком лампы, смотрел на меня, казалось мне, кто-то, — кто-то прежде неведомый, решительно незнакомый, упорно и пристально… И я вставал, я помню, вставал, уходил и заходил, в одну, в другую, зажигая в них свет, и медлил в третьей — столовой, собственно — проходной и как бы добавочной комнате, и садился — неужели он до сих пор стоит там? — на узкий, с круто изогнутыми, по бокам его, деревянными ручками, зеленой тканью обитый диван, и снова вставал, уходил, и шел на веранду, и выходил на крыльцо, и посмотрев на блестящие, мокрые, из открытой двери у меня за спиною, из окна моей комнаты освещенные листья сирени, отсветы фонаря на асфальте, за забором и елями, и вдохнув, еще и еще раз, уже ночной, влажный, травою и зеленью, невидимым лесом, дождем и далью пахнущий воздух, вновь и вновь возвращался,

конечно, в мою — с зажженной лампою на столе, с тенями и сумраком по углам, так знакомую, как никакая другая никогда уже мне знакома не будет, разумеется, — комнату, и еще не решаясь — нет, не решаясь ничего написать — не зная как, не зная о чем — как будто ждал, прислушиваясь, чтобы сами собою, откуда-то, из какого-то, так думаю я теперь, как будто впервые, в августе, услышанного мною безмолвия, вместе с шелестом веток, падением капель, пришли ко мне слова, мысли… неприходившие. И вновь, поднимая голову, смотрел я, конечно, в окно, и оттуда, из темноты, смотрел на меня по-прежнему кто-то, совсем, казалось мне, незнакомый, упорно и пристально…, стоял там, в саду, за окном, стоял, смотрел на меня…, и вдруг — я гасил свет — исчезал, вместе с призраком лампы, исчезал, уходил, вновь — я зажигал другую лампу, возле кровати — но уже как будто вдали появлялся, и опять, и опять уходил, и наверное, еще долго, так думал я, уже засыпая, еще очень и очень долго, наверное, всю ночь, может быть, бродил где-то там, среди пустых домов, застывших деревьев, по дорогам и улицам, бесконечно… И когда я гасил свет, ночь, с ее далекими звуками, протяжными отзвуками, шумом сада, перекличкою поездов, охватывала меня, окружала, окутывала…; и мне снились какие-то станции, какие-то полустанки, разъезды, рельсы, шпалы, мосты…; и на другое утро все начиналось сначала, и я подходил к окну, отдергивал шторы, и смотрел, все с тем же, уже почти не покидавшим меня удивлением, на все ту же сирень, те же ели, серое небо, и одевался, натягивал свитер, надевал сапоги, куртку, и выходил из дому, и по еще не проснувшимся лужам, взрывая их сон, шел, как сказано, к станции…; и вот так, как сказано, увидел я Макса — истинного героя моей истории: если это история — Макса, с которым мы уже были когда-то знакомы, в той, какой-то, предшествующей, в августе, в начале всего от нас обоих отступившей и отдалившейся жизни, — с которым мы встретились, в августе — как будто впервые.

И вот — тропинка, корни, трава, и поезд через поляну, и снова вечер, и улица, и фонари, уже загоревшиеся…

И на другое утро он сам зашел ко мне, как уже говорилось, и вошел, вслед за мной, в мою комнату, и спросил меня, что я читаю, я сказал что, он ответил цитатой, я узнал ее, улыбнулся, он тоже, через заднюю, в глухом заборе, калитку вышли мы, как сказано, в лес… И в другой какой-то, чуть более светлый, чем все остальные, смутно-дымчатый, тающий, уже почти готовый раскрыться, не раскрывавшийся день мы разожгли костер, в березовой роще, и он вдруг заговорил со мною о будущем, и о том, что мы будем делать с ним через год, через два, и о каких-то, я помню, экзаменах, которые нам следовало или, наоборот, по его мнению, как раз не следовало сдавать, и вдруг

замолчал, и опять улыбнулся, и длинной, кем-то когда-то оструганной и с одного конца обгоревшею палкою поворошил, улыбаясь, в огне, и следя за дымом, поднимавшимся среди редких ветвей, я сказал ему, что я напишу когда-нибудь — нет, я не сказал ему, разумеется, — я еще сам не знал что, — и он опять, и опять улыбнулся… И потом опять были пасмурные, опять и снова темные дни…

И все это было одним, одним-единственным, чудесно-растянутым, чудесным, кратким мгновением…

И был последний день, дождь, и магазин возле станции, и зал, вновь, впоследствии, найденный, и белые стены, и фанерные кресла, и дорога, и пруд, и другой магазин, у шоссе, и грузовик, и небо над убегающими деревьями, и вино, и веранда, и ночь, и внезапная ясность, и, я помню, тетрадь, вновь раскрытая, и какие-то, наконец, непонятно откуда, вместе с шелестом веток и сами собой приходившие, вполне случайные, конечно, слова, фразы… о чем-то, я сам не знал, быть может, о чем… о каких-то деревьях, каких-то дорогах, поездах и станциях, шпалах, рельсах, далеких огнях…, и стремленье к иным словам, лучшим фразам, почти, я помню, невыносимое…, и вот, как сказано, звезды, среди невидимых облаков, и забор, и калитка, и как будто собиравшее в себе все стремленья, надежды, исполнение всех надежд сулившее, странным образом, ощущение мокрой древесины под ладонями, неровной и трудной, мелких капель, навсегда остающихся, конечно, на пальцах…, и как ни хотелось мне зайти к нему, Максу, разбудить его, сказать ему что-нибудь, я не стал будить его, не зашел к нему, ничего не сказал. И на другое утро Макса там уже не было, дверь была заперта, и вновь начавшийся дождь струился, стекая с навеса, по желобу, и с нежным хлопающим звуком падал, падал на землю, и внезапный ветер прошумел в вершинах деревьев, и калитка, в последний раз, закрылась, помедлив, за мною.

Вот так и закончился этот август, начало всего. И уже понимая, наверное, что я прощаюсь со всем этим — уже навсегда, я побродил еще немного по улицам, по лесу, и постоял у тех бревен, в березовой роще, где мы жгли с ним костер, и в конце концов, вечером, уехал, как и он, Макс, в Москву, в этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, — в этот город, еще и еще раз, где старое так причудливо сплетается с новым, дозволенное с запретным, еще возможное с совершенно немыслимым, — и где — через неделю? — через две недели, быть может? — в какой-то — упомянем о нем, наконец — уже совсем холодный, осенний, иссиня-белым туманом окутанный день, мы снова встретились с Максом: у него… да, у него, Макса: в его, решительно-неописуемом, как уже много раз говорилось, жилище.

И едва закончившись, август (а вместе с ним и поселок, и станция, и лес, и тропинки, и просеки…) — август, едва закончившись, тут же, удивительным образом, отступил от нас, от меня и от Макса — в неправдоподобную, никаким временем не измеримую даль; и когда мы встретились с Максом в Москве, все уже было иначе; и был этот город, вокруг нас, огромный, невероятный, таинственный, со всеми его, еще возможными или уже невозможными улицами, переулками и домами; и та, принудительно-обязательная, подавляюще-безусловная и решительно-неописуемая, опять-таки, жизнь, в которой мы оба участвовали, не могли не участвовать; и однажды начавшись, разные, самой природой своей друг от друга отделенные времена (собрать их, расставить их по местам…) устремились, сменяя друг друга, куда-то, к чему-то…; и хотя здесь, в городе, услышать его было гораздо, несравненно труднее, я все-таки слышал, по-прежнему, тот, в августе, в начале всего, впервые услышанный нами призыв; и уже втайне помышлял, разумеется, о каких-то, еще совершенно неопределенных писаниях; и втайне готовился к ним; и — как бы то ни было — нарушим запрет — через год (после августа…) мы оба — да, нарушим — закончили школу, и сдали, действительно, некие, заключительные, а затем и вступительные экзамены, — и значит, оба, каждый на свой лад, продолжили так называемое образование: оно же, как сказано, никаким образованием не было, но было лишь средством спасения от несравненно более страшного…; и сдав экзамены, и поступив, значит, каждый в свое, учебное, вновь скажем так, заведение, поехали, я помню, вдвоем — в тот совсем иной, в тот — увы, лишенный названия город, куда мы снова поехали с ним, много позже, впоследствии, отсюда, из этой, в ту пору еще, разумеется, неведомой нам деревушки; и съездили в Царское, я помню, Село; и оттуда, сразу же, в Павловск; и побродили по парку; и зашли во дворец; и следующее (через два года после августа…) лето он, Макс, прожил в какой-то — совсем другой, разумеется, и очень, очень далекой, затерявшейся, как он впоследствии мне рассказывал, среди полей и перелесков деревне, в отрешенной глуши; и затем была осень: удивительно-ветреная; открытия и блужданья; и жизнь нашла, наконец, свою тему; история началась; и он, Макс, блуждая по городу, набрел, среди прочего, на некую, очень маленькую, как сказано, площадь; и познакомился с Сергеем Сергеевичем, устроителем, режиссером; с Лизой и Фридрихом; и я сам, зимою, с Алексеем Ивановичем; и в конце зимы, наконец, мы съездили в тот поселок, где некогда, в августе, встретились, как будто впервые: и значит, впервые попытались — вернуться: что, в свою очередь (так думаю я теперь…) означало разрыв, теперь уже окончательный, расставание, уже, в общем, беспо-

воротное. И когда мы съездили в этот поселок, мои собственные, еще бесконечно далекие от осуществления планы, надежды и помыслы получили вдруг некую определенность, дотоле им, быть может, неведомую; настоятельность; почти неизбежность; он же, Макс, не выдержав напряжения, в конце концов оставил усилия, отдался — случайному.

21

Он не выдержал напряжения; он бросился, в самом деле, в какую-то, откровенно-внешнюю, намеренно и нарочито случайную жизнь: жизнь (так думаю я теперь…), которая уводила его, разумеется, все дальше и дальше от того, к чему он, Макс, по-прежнему, втайне, стремился, — но вместе с тем и в то же самое время, пускай ненадолго, пускай лишь по видимости, помогала ему уйти, ускользнуть и от всего того, с чем он, Макс, как ни пытался — или, вернее: с чем он, Макс, уже и не пытался, может быть, справиться.

Он *убегал*, следовательно; каждый день, покончив с неописуемым, встречался он с кем-нибудь; вместе с кем-то ехал к кому-то; из гостей в гости; как можно позже возвращался домой; ложился спать; засыпал.

Ему было, в общем-то, все равно, куда идти, ехать; важно было идти, ехать — куда-то, с кем-то, к кому-то; жизнь его проходила теперь на людях; он почти не оставался теперь, он боялся теперь остаться один.

В самом деле, присутствие других людей как будто отделяет нас от нас же самих; встречаясь с кем-нибудь, мы словно теряем себя из виду: и все, что мы делаем, все, что мы говорим, почти не затрагивает, быть может, той волшебной точки, того средоточия, которое он, Макс, блуждая по городу, открыл в себе некогда, некоей, удивительно-ветреной и теперь уже отступившей от него, Макса, в бесконечную даль, невозвратимой более осенью. Но, отделяя и отрывая нас от нас же самих, присутствие — рядом, напротив — на улице, в комнате — другого человека (других людей…) вместе с тем и в то же самое время избавляет нас — пускай ненадолго, пускай лишь по видимости — от того, тоже, если угодно, присутствия, которое, когда мы остаемся одни, не позволяет нам остаться в одиночестве, — от того незримого, призрачного *другого*, к которому мы невольно, почти всегда обращаемся: и как если бы (думаю я теперь…) — как если бы некое место (в нас самих…) — место, отведенное, быть может, для этого — как же назвать

его? — собеседника? соглядатая наших мыслей? — как если бы оно заполнялось вдруг теми реальными, если угодно, людьми, с которыми мы встречаемся, говорим, идем или едем куда-нибудь, — теми случайными, если угодно, людьми, с которыми он, Макс, проводил теперь целые дни, вечера и которые, сами того не зная, как будто отвлекали на себя все то, с чем он, Макс, так упорно и так безуспешно — или, вернее: с чем он, Макс, уже не боролся…

Их было очень много теперь в его жизни; некоторых я знал; других нет; пару раз, я помню, мы оказывались, вместе с Максом, в одних и тех же гостях; но встречались мы, в общем, редко: — я жил, как сказано, там, в том, огромном, таинственном, невероятном, самом странном на свете городе — совсем иной, своей собственной жизнью: жизнью, в которой присутствовал, как сказано, Макс (присутствовал: вот волшебное слово…) — но в которой он, Макс, присутствовал точно так же — почти так же, быть может, — как присутствовали в ней все другие и прочие ее персонажи (Алексей Иванович, например…) — как простая данность, еще раз, не зависящая от моей воли, желаний, стремлений…

Своей собственной жизнью жил я — в том городе; и она, эта далекая, давняя, уже не существующая более жизнь — со всеми ее персонажами, знакомствами, встречами, — случайными и неслучайными отношениями, — с ее мучительной причастностью к неописуемому, принудительно-обязательному, — и с той (так думаю я теперь…) — с той сменою дней, вечеров и утр, засыпаний и пробуждений, разочарований и надежд, — мгновенной радости и внезапной печали, — неудовлетворенности или, наоборот, согласия с чем-то, — задумчивости, бездумности, наконец, — с той непрерывною сменой (дней, настроений…), которая (думаю я…) — которая и составляет, собственно, жизнь и которую уже никогда, никому не удастся, наверное, вспомнить, восстановить, воссоздать: — она тоже, если угодно, разыгрывалась — сама собою, сама по себе; я жил ею — я не видел ее; со всех сторон обступала она меня: — и чтобы только теперь, здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке, уравниваясь в правах и даже просто-напросто превращаясь во что-то совсем иное, в слова и фразы, эпитеты и сравнения, подъемы или, наоборот, падения ритма, — чтобы только теперь, здесь, на берегу моря, на краю мира, поступить, наконец, в мое распоряжение, в мое, если угодно, ведение…

А между тем, еще и еще раз, уже там, в самой этой жизни, в глубине ее, уже были, как сказано, уже втайне, тоже, присутствовали, — намечались, сгущались, — некие — из нее выраставшие, ее же и перераставшие — и как бы в иную сторону направленные

стремления, — планы, надежды и помыслы…; я, иными словами, — я уже думал — конечно — об этом превращении жизни в историю; я уже слышал ее, истории, издалека нарастающий ритм, смутное биение дальнего замысла; — и когда мы съездили с Максом туда, в тот поселок, где некогда встретились, эти помыслы, планы, еще бесконечно-далекие от осуществления, обрели, как сказано, некую настоятельность, дотоле им, быть может, неведомую, некую — почти неизбежность.

— И значит, август, начало всего, и — что же? город? город, конечно… этот огромный, невероятный, с его старыми и новыми улицами, площадями и проспектами город… и — что же? что же?..

И ранней весною такое бывало небо, с такими, вдруг, переходами: от серого к синему, от синего к голубому, — и где-нибудь вдали, над бульваром, над черными, совсем-совсем маленькими — и вдруг: с чудесной отчетливостью — в прозрачном воздухе — прочерченными деревьями, такие бывали, вдруг, облака, — и такие просветы, — и такие вдруг тонкие, косые лучи незримого солнца: на самом дальнем, уже почти не существующем плане: за деревьями, за облаками…; и хотя я еще сам не знал, конечно же — что: что будет там (здесь…), на тех (на этих…) страницах, в моей, если угодно, истории, я (или так кажется мне теперь…) — я вдруг видел ее всю целиком — между вдохом и выдохом — в мгновенном, радостном расширении дыханья…; и еще минуту помедлив, вновь, конечно же, возвращался в свою, тогдашнюю жизнь (со всеми ее персонажами, событиями, знакомствами, сменою дней, вечеров…); и была, конечно, весна: ранняя, поздняя (редкие встречи с Максом; все более частые — с Алексеем Ивановичем…); и вслед за нею — какое-то, теперь, отсюда, уже едва различимое, — но все-таки бывшее, и значит, все-таки, пускай на мгновение, возникающее на карте, — холодное? жаркое? — этого я уже не могу теперь вспомнить — но какое-то, все-таки, лето (часть его прожил я в некоем — случайном, если угодно — месте: больше я не бывал там, ни разу: в некоем — тоже: дачном, тоже: поселке — в часе езды от города, по железной, но, что существенно, по совсем другой железной дороге, в совсем другом, с моей историей никак не связанном направлении: у знакомых — да, тоже, в общем, случайных…); и чем дальше шло время, тем ближе (выпадая из жизни, возвращаясь в нее…) — тем ближе (или так мне казалось…) подходил я к чему-то, к каким-то (так думал я, может быть…) — к каким-то, может быть, предпосылкам — моей, еще и еще раз, саму себя, исподволь, осознававшей — осознающей — истории.

Я искал указаний, намеков; я читал тогда, летом — в конце зимы, как уже говорилось, открытую мною пьесу (назвать ее я не властен…) — ту самую пьесу, по которой (я не знал этого…) в театре, на маленькой площади (я еще не бывал там…), уже, наверное, ставили, уже репетировали, а может быть, уже и играли — уже втайне упомянутый мною спектакль (его-то я и видел впоследствии, впервые там оказавшись…): пьесу (думаю я теперь…), в которой, как и в некоем романе, позднее, я, при всех очевидных несходствах, при полном несоответствии: всего, что только возможно, уже, радуясь, находил (и до сих пор, перечитывая ее, нахожу…) — необъяснимое, скрытое, но все-таки, и теперь и тогда, несомненное для меня соответствие: моим собственным — тогда еще очень, а впрочем еще и теперь весьма и весьма далеким от осуществления помыслам, стремленьям и планам…; и то, что я дошел до нее, наконец, и этот тайный прообраз моей истории (один из тайных ее прообразов…), хотя и не назван (а ни один из них назван, конечно, не будет…), но все-таки, и теперь уже со всей определенностью, упомянут мною на этих страницах, наполняет меня, теперь, волшебным чувством каких-то, волшебных, свершений и сбывшихся, наконец-то, надежд…

Что-то угадывал я; что-то — я еще сам не знал, может быть (я и до сих пор не знаю, может быть…), что — но что-то, во всяком случае, отчасти созвучное моим собственным планам, моим собственным помыслам открывалось мне в самом ее ритме, — в медленном, неуклонном нарастании неких событий, — и в тайной отстраненности от этих событий, — и в тайном (так думал я, может быть…) присутствии в ней — кого-то еще: то совпадающего, то, удивительным образом, не совпадающего с одним из ее персонажей, с одной из ее ролей…; и это (так думаю я теперь, сейчас, здесь…) — и это было одно из тех редких, незабываемых чтений, которые, сохраняясь, или, вернее, возвращаясь к нам: непонятно откуда, сохраняют, или, вернее, возвращают нам, приносят с собою и какую-нибудь, случайную, если угодно, веранду, — в случайном доме, в случайном поселке, — и долгую летнюю ночь, — и сад, шумящий в окне, — и звук шагов у нас за спиною…

— Что ты читаешь?

— Вот, посмотри.

И внезапная тень ложилась вдруг на страницу, на книгу (диалоги и реплики…) — и некие черные, совсем черные волосы оказывались вдруг рядом со мною, — и я слышал их запах, — и тихое, рядом со мною, дыхание…: и вот так, с чарующей меня самого неожиданностью, возникает в моей истории *Вера*: Вера, о которой я почти не думал,

быть может, повернув обратно, приехав сюда. Я не думал о ней; я не предполагал, во всяком случае, впустить ее: в роман и в историю. А между тем, я так ясно вижу ее, теперь и отсюда, так ясно, в профиль, пожалуй: мне было бы — да, мне было бы, наверное, жаль оставить ее просто-напросто там, в той, навсегда исчезнувшей жизни; я не могу не взять ее — я уже взял ее на эти страницы.

У нее были серые глаза и черные волосы. Глаза ее, когда я смотрел в них, напоминали мне о каких-нибудь серых тучах над какой-нибудь серой, огромной, подернутой ветром рекою; ее смуглое, тонкое, очень резко — в профиль — очерченное лицо как будто таилось и пряталось: в густой тени ее черных, совсем черных волос.

Как и я, она приезжала в то лето к нашим — общим, следовательно, знакомым; раза два или три я встречал ее, вместе с кем-то, на станции; и в эти долгие вечера, в эти ночи, когда я оставался на веранде один — и читал, как сказано, пьесу (я же перечитывал ее все снова и снова; к концу лета я помнил ее уже почти наизусть…) и она, Вера, сообщив мне, что *все уже спят*, садилась, рядом со мною, в плетеное, чуть-чуть поскрипывавшее, когда она начинала качаться в нем, кресло, — я, отрываясь от чтения, — от соответствий, планов и помыслов, — и хотя говорили мы, большей частью, о вещах, скорее, случайных, — о каких-то фильмах, я помню, которые она видела, я не видел, — или о том, что, вот, завтра утром надо бы пойти на реку искупаться, — я чувствовал, все острее, как изменяется что-то, во мне, как возникает и намечается что-то — было еще не очень понятно что — между нами; и чем темнее становилось вокруг, тем ближе придвигался к веранде сад; и мы уже ни о чем не говорили, молчали; и прислушиваясь к вечерним, ночным, странно отчетливым в замирающем воздухе звукам, шуму сада, шелесту веток, перекличке невидимых поездов, я снова думал, может быть, о моей, еще бесконечно-далекой от осуществления истории, со всеми ее поворотами, повторениями — так думал я, может быть, — внезапными отзвуками, возвращением невозвратимого…; и она, Вера, покачиваясь, закуривала сигарету, и смотрела вдруг на меня; и рука ее, с тонким, серебряным, на среднем пальце, кольцом, вдруг и как бы сама собою, соскальзывала с подлокотника ее кресла на подлокотник, соответственно, моего; — и еще я вспоминаю какое-то, совсем раннее, ясное и тихое утро, когда мы пошли, действительно, на реку, через лес, и вдруг свернули, соблазненные ее нежным изгибом, на тропинку, ни ей, ни мне незнакомую, — и увидели вдруг, за поредевшими березами, поле, уходившее вверх, взбиравшееся на холм и уже чуть-чуть, может быть, пожелтевшее. И была, я помню, на опушке леса, ложбина, с уже грибным, горьким запахом, с прелыми листьями на

влажной земле, — и тень деревьев, из-под которых мы вышли, взбиралась вместе с нами, на холм, — и затем вдруг: солнце, роса, уже просыхавшая, — и где-то за холмом, над холмом: легкое, почти белое в утреннем свете, в завитках и росчерках, облако, с мгновенными и тайными переходами: в темноту, в черноту… Уже надвигался, накатывался: зной, день, — и поначалу казавшаяся совсем близкой, вершина холма отдалялась, упорно и медленно, — и когда мы дошли до нее, наконец, облако, со всеми своими росчерками, завитками, отшатнувшись, отлетело куда-то, вдаль, вверх, в другую часть неба, — и мы увидели другие поля, другие холмы, и рощи, и перелески, и реку, и склонившиеся над нею деревья — совсем маленькими казались они отсюда, — и блеск солнца, пробегавший по ней, — и где-то совсем далеко, между рекою и лесом, синевшим на горизонте, еще что-то блестящее, тонкой линией, едва различимое…; и это было, я помню, так неожиданно, — и так внезапно, так радостно расширилось что-то во мне, — так сжалось, так замерло, — и так тихо было вокруг, — такое безмолвие в воздухе, в синеве неба, в полях, — такая неподвижность во всем, — что, не выдерживая и как будто стремясь за что-нибудь, поскорей, ухватиться, я вдруг нашел ее руку, Верину, взял ее за руку, — и крепко-крепко сжимая мою, она вдруг взмахнула другой, свободной рукою — *смотри, смотри, поезд* — и то блестящее, между рекою и лесом, оказалось вдруг — рельсами, насыпью, железной дорогой, чуть-чуть приподнятой над полями, — и в бесконечном, неправдоподобном, немыслимом отдалении, крошечный, почти игрушечный поезд, медленно — вагон за вагоном — мы видели, да, мы видели их — стекла их вспыхивали на солнце — медленно, бесконечно медленно, огибая лес, поворачивал — в самом движении его была неподвижность — исчезал, скрывался за лесом, — и глядя на все это, замерев, я чувствовал себя так, как будто я столкнулся вдруг с чем-то, с какой-то, самой тайной и самой таинственной, важнейшей из моих предпосылок, — я еще сам не знал, разумеется, что мне со всем этим делать, — пространство моей истории лежало передо мною, — и когда исчез, наконец, обогнул лес и скрылся за лесом поезд, я впервые обнял ее, Веру, приблизившуюся и прижавшуюся ко мне; — и через пару дней мы уехали, я помню, в Москву; и затем была, разумеется, осень — осень: не помню какая — была, наконец, зима: теплая, темная, снежная: единственная из тех далеких, несуществующих более зим, похожая в чем-то на здешние, приморские зимы.

Я же, как сказано, — я, всматриваясь отсюда, теперь (здесь тоже теперь зима…) — в ту жизнь, в тот город, мною покинутый, — я, то ли потому, что летом, к примеру, я почти всегда уезжал из него (в какой-нибудь — случайный, скажем, поселок…) — то

ли, может быть, потому, что нечто зимнее вообще было свойственно (свойственно…) этому городу, — то ли еще по какой-то, неведомой мне причине, — как бы то ни было и в первую очередь, я, всматриваясь, вижу там, в том городе, некие, друг на друга совсем непохожие, холодные и не очень холодные, бесснежные, снежные зимы, со всеми их морозами, оттепелями, пургою и вьюгою, сугробами, слякотью: и ту, конечно же — я поворачиваю обратно — ту, с которой я начал (и к которой мне еще предстоит вернуться, до которой мне еще нужно добраться…) — и ту, к примеру, холодную, раннюю, закончившуюся, в мучительном напряжении, поездкой, первой и предварительной, — и вот теперь, значит, эту, теплую, темную, им, Максом (истинным героем моей истории: если это история…), проведенную среди случайных знакомств, случайных знакомых, для меня же (теперь и здесь, поворачивая обратно…) неотделимую от воспоминаний об Алексее Ивановиче: об Алексее Ивановиче и — как выяснилось — о Вере.

Она жила далеко, на какой-то, вполне неописуемой, конечно, окраине; мне тоже приходилось бывать там; но обычно мы встречались с ней где-нибудь *в городе* (как она говорила…) — на бульваре, у выхода из метро — почти всегда вечером, — и если не шли куда-нибудь в гости или, скажем, в театр (нет — в какой-нибудь — не на маленькой площади…) — кружили по улицам, переулкам, уже затихавшим, терявшимся: в снегу, в сумерках, в темноте. Я же — или так кажется мне теперь — я был с самого начала уверен, что долго все это не продлится и что она, Вера, еще немного помедлив в моей, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, вновь возвратится в свою, мне, в общем, чуждую жизнь; я думал об этом — без сожаления. Я и не пытался, пожалуй, перейти ту границу, которая — казалось мне, кажется мне теперь — отделяла нас друг от друга; разговоры ее о работе, о каких-то выставках, которые она где-то устраивала, не были мне интересны; о моих собственных планах, надеждах и помыслах я ей, разумеется, не рассказывал; о *других книгах* говорили мы редко; суждения ее были беспомощны; вкусы поверхностны. Зато улыбка была пленительна; в глазах же, обычно непроницаемых — серый ветер над серой рекою — вдруг, в иные мгновения, виделось мне что-то очень и очень печальное, сближавшее нас помимо и более всего остального — всего, что мы говорили, всего, что могли друг другу сказать, — что-то горестное, безнадежное, внезапной жалостью отзывавшееся во мне. И я брал ее за руку: в вязаной, я до сих пор помню, перчатке — и до сих пор помню я это ощущение теплой, в моей руке, чуть влажной от снега шерсти, близости, волнующей и печальной; и вдруг улыбнувшись, она спрашивала меня, о чем я думаю,

почему я молчу, — я целовал ее, — губы ее горели, — странно легкими, в отсветах фонарей, казались мне очертанья домов, крыш, обведенные снегом, — и поначалу отделявшее меня, разумеется, от этих крыш и этих домов (деревьев, карнизов…), ее, Верино, рядом со мною, присутствие, в конце концов уже не только не отделяло меня от них, но чудесным образом усиливая и обостряя что-то, во мне, как будто с другой, до сих пор неведомой мне стороны приближало меня к этим деревьям, карнизам (к этим крышам, домам…); медленно, очень медленно шли мы, прижавшись друг к другу, — и прежде чем дойти до меня, заходили, почти всякий раз, в некий, совсем рядом с моим домом, совсем-совсем маленький, притаившийся за другими дворами, домами и словно выпадающий из города дворик, где, как ни странно, я ни разу до этой зимы не бывал и который она, Вера, показала мне в одну из наших первых, я помню, встреч (я же показал его впоследствии Максу…).

Там была, я помню, кирпичная, красная, чуть-чуть возвышавшаяся над переулком стена: с круглой, маленькой башенкой, — лестницей, исчезавшей среди склоненных над нею деревьев, — и почти незаметной из переулка, узкой, возле башенки, аркой: много раз, много лет проходил я мимо этой стены, ни разу (опять-таки…) — ни разу не спросив себя: что там, за нею — и есть ли там вообще что-нибудь. А там, за нею, был сначала один, большой, потом другой двор, поменьше, — и как-то странно, косо, приткнувшись друг к другу стоявшие домики: почти деревенские, почти деревянные, с крылечками и сенями, с цветами на подоконниках, — и тут же, рядом: развалины — уже непонятно чего: фрагмент какой-то другой, но тоже красной и тоже кирпичной стены, — большое, белое, с явно недостающим куполом здание, — узкий, огибающий это здание проход, — внезапный пустырь, — еще одна арка, — и за аркой: последний, уже совсем маленький дворик, обнесенный поверху деревянной, местами покосившейся галереей, — с горевшим, я помню, всегда горевшим над галереей окном и притаившейся под нею скамейкой: на нее-то мы и садились. И хотя здесь кто-то, очевидным образом, жил, — и в освещенном, над галереей, окне появлялись вдруг смутные, быстрые, тут же исчезавшие тени, — мне всегда казалось, я помню, что никто нас не видит, не может увидеть, — и мы сами никогда здесь никого не встречали. И было странно тихо здесь, удивительно тихо; совсем далеким казался отсюда город; лишь смутный гул его доходил до нас иногда; смутный отблеск его лежал на снегу; пробегал по небу: небо же казалось отсюда — светло-дымчатым, тающим, тонким, прозрачным… И поскольку никто нас не видел — не мог видеть — Вера — я смотрел на нее — что-то округлое, мягкое вдруг появлялось в ее резко очерченном профиле — Вера, чуть-чуть наклонив голову — волосы падали ей на глаза —

расстегивала сначала одну, потом другую, потом, очень медленно, третью — кнопками называют их — металлическую, с сухим треском расходившуюся застежку своей, я помню, короткой, подбитой мехом, вельветовой, темно-коричневой куртки, — и взяв мою руку, не улыбаясь, вдруг словно впускала ее куда-то, в пленительное, под курткой, тепло; непроглядная темень ее волос окутывала, охватывала меня; я же, теряясь в них — я очень хорошо это помню — и в то же время с пронзительной, замирающей ясностью ощущая, под рукою, под курткою, шероховатую шерсть свитера, шелковую прохладу рубашки, внезапный жар, мгновенную дрожь, — и те таинственные изгибы, те мягкие, уступающие, невидимые, но словно изнутри освещенные очертания, которые, как ни странно, я уже не мог найти ночью (я находил, конечно, другие…) и которые вот сейчас, здесь, на берегу моря, на краю мира (я смотрю в окно: снег, дюна, заметенная снегом…) вдруг, и непонятно откуда ко мне возвращаются, мгновенной дрожью, внезапным жаром — нет, холодом отзываются в пальцах, — я, короче, отсутствуя, почти исчезая, вместе с тем и в то же самое время — возможность, всякий раз меня поражавшая — думал, успевал подумать, с замирающей ясностью, о чем-то совсем ином, еще, как сказано, бесконечно-далеком от осуществления…; и снова думал о том же, когда, чуть-чуть отстранившись — снег, дворик и галерея вновь возникали передо мною — Вера, с безмолвным блеском в серых глазах, закуривала, например, сигарету.

Было странно тихо здесь, в этом маленьком дворике, удивительно тихо.

— Да, август, август, начало всего, и — что же? — город, город, конечно, огромный, невероятный, таинственный, и — что же? что же?..

И конечно, теперь, здесь, поворачивая обратно и глядя в окно, я уже бессилен представить себе ту — меру расплывчатости (наоборот: ту степень определенности…), в которой все это пребывало и медлило: тогда и там: в том городе, той — снежной — зимою.

Но с тайной, как ни странно, отрадой я вспоминаю теперь какие-то, отвергнутые мною возможности, — возможные направления, по которым я не пошел, — ложные решения ложных задач, — решения, которые я принимал, и тут же отбрасывал, и вновь принимал, и, как бы то ни было, пытался продумать, по мере сил, до конца, — и представлял себе, к примеру, какой-нибудь, вполне немыслимый на этих страницах — теперь немыслимый на этих страницах — несостоявшийся, следовательно, разговор: между — кем же и кем же? — я еще сам не знал, может быть, — я уже не знаю, может быть, кем, — между какими-то, следовательно, так и не появившимися, — или, может быть, чудесным образом изменившимися на этих страницах персонажами моей истории (если это

история…); и видел, скажем, какую-то, ночную и темную улицу, по которой они шли как будто куда-то, — переулок, в который сворачивали они: — и как если бы сам я шел следом за ними, то догоняя их, то вновь от них отставая: — они же уходили все дальше, все дальше, сворачивали налево, направо, исчезали, вновь появлялись…; и когда мы сами выходили на улицу, уже была, на улице, ночь; в мягком воздухе падал, мягкими хлопьями, снег; лаяла, за углом, и вдруг умолкала, и вновь принималась лаять, невидимая, собака; пролетала машина; исчезала: за поворотом; сугробы казались огромными; редкие звезды таились в тающем небе; и я снова брал ее за руку: в вязаной, влажной перчатке; и мы проходили, разумеется, мимо трех, с одной стороны, и трех, таких же, с другой, очень старых, но и очень хорошо сохранившихся, бледно-зеленой краской выкрашенных домов; и всякий, почти всякий раз еще горело, я помню, в крайнем из них, на последнем этаже, предпоследнее по счету окно: — и проснувшись, вдруг, среди ночи, в тот, как будто выпадающий из течения времени, между *вчера* и *завтра* затерянный час, когда все дневные мысли (так думаю я теперь…) поворачиваются к нам какой-то, обычно невидимой стороною, — лежа, в темноте, рядом с Верой, — я вдруг снова видел этих двоих — мне уже было почти неважно кого — опять и снова идущих — мне уже было совсем неважно куда, — и как будто отдавался, вместе с ними, их медленному, бесконечному, по пустынным, пересекавшимся, расходившимся, в безмолвной перспективе исчезавшим, терявшимся улицам, — бесконечному, медленному, не знающему остановки, сквозь какие-то, может быть, разные, переплетавшиеся, сближавшиеся, вновь, друг от друга отдалявшиеся времена, — сквозь какие-то, может быть, разные, совсем разные зимы, — движению; и они все уходили, уходили от меня, эти двое; и я догонял их; и пытался заглянуть им в лицо; они сворачивали в переулок; исчезали за поворотом; я сворачивал вслед за ними; скользил по снегу, не в силах догнать их; вновь, на мгновение, засыпал; и тут же, в проеме какой-нибудь арки, вновь, может быть, просыпался; и уже светало, быть может, за окнами; и пробиваясь сквозь узкую прорезь штор, уже скользили по стенам и потолку первые серые полосы, отблески и мерцания; Верины волосы, рядом со мною, как будто отсвечивали, чуть-чуть, в темноте; я целовал их; тихо-тихо, стараясь не разбудить ее, проводил губами по спине, по плечам; вдруг проснувшись, она спрашивала меня, что я делаю; улыбнувшись, засыпала опять; вновь, в безмолвной перспективе, разворачивались переулки, проходы, дворы, пустынные улицы; на повороте в одну из них засыпал я; просыпался: на повороте в другую; и вновь, уже окончательно, засыпал: в глубине какого-нибудь двора.

Наутро же все это казалось, конечно, чем-то совсем далеким, невозможным, недостижимым; Вера, натянув свитер, красила перед зеркалом губы; я смотрел на нее; те — так думаю я теперь — отнюдь, разумеется, не случайные, но пожалуй, лишь на мгновение появляющиеся — не появляющиеся — на этих страницах персонажи моей тогдашней — в известном смысле и теперешней — жизни (я пишу им отсюда; я звоню им время от времени из соседней — там есть, как сказано, почта, на почте же есть телефон — деревушки; они тоже мне пишут сюда…) — те, в высшей степени не случайные персонажи моей жизни, короче, с которыми, собственно, и жил я: там, в том городе, покинутом мною, в конце концов привыкли, я помню, видеть нас утром — вдвоем; Вера, поначалу старавшаяся ни с кем из них не встречаться, тоже, в конце концов, перестала их избегать; я варил кофе; мы завтракали на кухне; в обманчивой темноте подъезда я в последний раз целовал ее; у входа в метро мы прощались; с тайной, конечно, тоскою отправлялся я платить свою дань: ненавистно-неописуемому.

И вот так (думаю я теперь…) — вот так, понемногу возвращаясь ко мне, возникает на карте эта зима: единственная, еще и еще раз, единственная из тех далеких, не существующих более зим, похожая в чем-то на здешние, приморские зимы.

Она была, в самом деле, теплой, темной и снежной; снег, выпав однажды, шел уже почти без остановки, огромными мягкими хлопьями, засыпая дома, засыпая деревья, карнизы, крыши, скамейки; и вдруг, ненадолго, обрывался; и тут же, совершенно отчетливо, как будто проведенные кем-то, какой-то, уверенной и осторожной рукою, проступали все линии, контуры: крыш, карнизов, домов; и в другие дни, я помню, все это вдруг расплывалось, текло, чернело и таяло; внезапные капли, на ветках деревьев, стеклянным блеском вспыхивали под каким-нибудь, например, фонарем…; я же встречался, как сказано, с Верой; с Алексеем Ивановичем; и лишь совсем редко — с Максом: с Максом, истинным героем моей, в ту пору, в ту зиму, в том городе еще бесконечно-далекой от осуществления, но уже втайне, и все решительнее, помышлявшей об осуществлении истории.

Зима, как сказано, это самое глубокое время года; все прочие времена поверхностны рядом с ней.

Уже был, значит, август: начало всего; уже был, значит, город: огромный, невероятный, таинственный; и уже (так думаю я теперь…) — уже нечто театральное, уже некий театр — вообще и какой-то — но уже втайне присутствовал, может быть, в моих планах и помыслах. Я еще сам не знал, может быть, что мне с ним делать; я уже, наверное, понимал, что обойтись мне без него не удастся.

То была лишь некая мысль — некая мысль о некоем, значит, театре — мысль, подобно облаку или, скажем, туману, сгущавшаяся во мне самом. Я закрывал глаза; я видел — вдали, в ночной и призрачной перспективе — театр: некий зал и некую сцену: зал, отчасти похожий, пожалуй, на зал того деревенского — того пригородного, если угодно, кино, куда мы ходили некогда с Максом, куда мы зашли в последний раз в августе, — зал, как будто перенесенный оттуда, из августа, из до-августа — в город, в сплетение улиц, путаницу переулков, вместе с черными окнами, фанерными креслами… И что-то, казалось мне, что-то должно было случиться там, на этой сцене, в этом театре: как-то связанное, разумеется, с моей, уже упорно стремившейся к осуществлению историей, с ее, истории, дальним замыслом, нарастающим ритмом: но я еще сам не знал, конечно же, что.

Я искал соответствий; я очень часто ходил в театр в ту зиму (обычно, я помню, с Верой: она же и не подозревала, конечно, о моих тайных намерениях: что, в свою очередь, втайне меня забавляло…); я посмотрел, в самых разных театрах (их весьма много в том городе: огромном, невероятном…), самые разные, совсем непохожие друг на друга, то более, то менее удачные, конечно, спектакли; я не находил соответствий.

Всякий раз была какая-то пьеса — о чем-то; и значит (так думал я — в антракте, к примеру…) — и значит, какая-то жизнь, выведенная — зачем-то — на сцену; мне же виделось что-то простое и чистое, отрешенно-призрачное, почти абстрактное, может быть. То была лишь некая мысль, как сказано; она двигалась: я видел ее движение; в совершенно пустом, пленительно-абстрактном пространстве набрасывала она: некий зал и некую сцену, ряды кресел и — что же? И я открывал глаза, среди ночи, или вдруг останавливался, по дороге из театра домой, и с удивлением посмотрев на меня, Вера — вновь и вновь я брал ее за руку — вновь и вновь спрашивала меня — что случилось.

— Нет, ничего…

Ничего и не случалось — там, на сцене, в театре. Ничего и не было больше, так думаю я теперь, был только театр, как сказано, белые стены, фанерные кресла, и город, по которому мы возвращались домой, и — август, август, конечно.

Ничего больше не было; а между тем, уже все, так думаю я теперь, почти все уже отсылало, уже обращало меня к моим планам и помыслам, к этой, если угодно, уже стоявшей передо мною задаче: и вечера, и ночи, и сугробы, и снег, и мелкие капли на ветках деревьев, и разводы розоватого дыма над городом, — и все соответствия, которые находил я, внезапные совпадения: с чем-то, уже написанным, — и даже несовпадения, и даже несоответствия, — решения, для меня неприемлемые, —

возможности, для меня невозможные, — и даже, так думаю я теперь, — и даже те неописуемые, если угодно, дома, проспекты и улицы, по которым и мимо которых ходил я, разумеется, изо дня в день, — та неописуемая, если угодно, жизнь — не-жизнь, если угодно, — к которой я был тоже, конечно — как и Макс, к примеру — причастен, в которой я тоже, конечно, участвовал, — и которая, ни к чему не призывая меня, уже словно бросала мне вызов: самой своей неописуемой невозможностью.

— И не только здесь, думал я — платя, например, свою дань, не только здесь, в самой этой жизни, приходится мне с нею — считаться, но и там, должно быть, на тех, еще не написанных мною страницах, предстоит мне посчитаться с ней — как-то…

И хотя я еще сам не знал, конечно же, как, уже сами эти, все снова и снова возвращавшиеся ко мне мысли, так думаю я теперь, уже сами по себе были, еще неуверенным, но уже, конечно, ответом — ответом на ее вызов, и втайне поднимая меня над нею, как ничто другое, я помню, помогали мне ее — вынести…

— Она есть, думал я, ее как бы нет, вот в чем дело… и то, что не поддается описанию, описывать, конечно, не следует… Но и просто-напросто вычеркнуть ее, думал я, но и взять ее, просто-напросто, в скобки я тоже, разумеется, не могу… И тогда — что же?..

И я опять останавливался — по дороге домой, заплатив свою дань; и затем встречался где-нибудь с Верой, у выхода из метро, или шел к Алексею Ивановичу, в глубь переулков…

И все это (думаю я теперь…) — все это вновь получило, может быть, некую — настоятельность, неизбежность, когда — смущаясь: конечно, волнуясь: конечно — я действительно рассказал о моих — (я же и говорил с ним, я помню: смущаясь, волнуясь, но и с тайной надеждой на какие-то, важнейшие, указания: и как если бы он, Алексей Иванович — именно он и только он, может быть, — способен был придать этим мыслям, еще совсем смутным, этим помыслам, еще безнадежно расплывчатым, ту неизбежность, ту настоятельность, — ту отчетливость и ту безусловность, — которых, своими собственными силами, достичь они не могли, я не мог…) — когда, следовательно, я рассказал Алексею Ивановичу о моих, уже отчасти, впрочем, знакомых ему, еще безнадежно-расплывчатых (так, во всяком случае, казалось мне, покуда я говорил…) помыслах, надеждах и планах: о Максе, об августе и даже, кажется, о театре; Алексей же Иванович (*я ждал чего-то подобного*: сказал он, я помню, — *вот как*? — *конечно*…) — Алексей же Иванович, внимательно и даже очень внимательно (чем я немало был удивлен и за что я до сих пор ему благодарен…), выслушав мой рассказ (вполне

путаный…), спросил меня, между прочим, читал ли я — мир названий разбился — и выяснив, что нет, не читал, подошел к книжному шкафу, открыл его, нашел, вынул и протянул мне тот самый — в белой с черными полосами обложке — уже давным-давно появившийся на этих, моих страницах, в моем собственном романе — роман: тот самый роман, разумеется, который впоследствии, много позже, мы, Макс и я, обнаружили, как сказано (или вернее: как рассказано мною…) в некоей, вдруг запахнувшейся за нами аллее, на некоей, уже давным-давно упомянутой мною скамейке…; и это (так думаю я теперь…) — и это тоже было одно из моих — незабываемых чтений. Я привез его, как уже говорилось, с собою; я снова читаю его с разных мест, с середины, с начала; я вспоминаю, конечно, ту далекую и очень далекую, зимнюю и снежную ночь, когда, простившись с Алексеем Ивановичем (он проводил меня — он почти всякий раз провожал меня: до метро…) — возвратившись домой, выпив чаю и еще не вполне, разумеется, успокоившись после только что сделанных мною, впервые сделанных мною признаний, я открыл его, уже лежа в постели, и прочитал первую — вот она — и вторую, и третью, быть может, страницу, и дальше читать не смог, и заснул, и на другой день, и на третий, я помню, никак не мог вчитаться в него, в этот — так думаю я теперь — со всех сторон обозримый, открытый — как дворец на холме — но может быть именно потому требующий терпения, времени (как если бы его нужно было обойти кругом, целиком, заглянуть внутрь, вновь отойти, и посмотреть на него, к примеру, с другого какого-нибудь холма, и снова приблизиться, и войти в него, наконец, неважно через какую, боковую ли, парадную дверь…) — в этот роман, следовательно, создающий свои предпосылки; и не мог понять поначалу, что, собственно, в нем происходит и происходит ли (думал я…) вообще что-нибудь; и вдруг вошел в него, совпал с его ритмом; и за один, я помню, бесконечно-долго тянувшийся и очень быстро, разумеется, пролетевший, неожиданно-ясный, за окном и на снегу соседней крыши блестевший, солнечный день — я был свободен от неописуемого, я, кажется, и не выходил в тот день из дому — прочитал его почти весь; за ночь дочитал до конца; и на следующий день вновь стал читать его, с разных мест, с начала и с середины.

Там все иначе, конечно; то, что мы зовем действием, происходит там в совсем ином, разумеется, теперь уже почти невообразимом более мире — мире (так думал я, отрываясь от чтения…), — превращенном, конечно, в слова и фразы, страницы и главы, преображенном и, значит, не совпадающем с самим же собою, — но вполне точном, совершенно отчетливом, — вмещающем в себя имена и названия, даты событий и сами

события — события, о которых я мог бы — что я пару раз и делал, я помню, — справиться, скажем просто, в энциклопедии, — вбирающем их в себя и преображающем их вместе с собою, — сплошном и целостном, точном и стройном — еще более стройном, наверное, еще более целостном, может быть, чем он, действительно, был — преображенном и, значит, вновь, но уже в ином смысле и куда большей мере, чем могло быть в действительности, совпадающем с самим же собою, — и вместе с тем изменяющемся — совсем не так, думал я, как будет меняться, наверное, в моем романе, мой мир — но все-таки изменяющемся, от главы к главе и от страницы к странице — вместе с героем; он же, как будто открывая для себя этот мир, осваиваясь — и время от времени теряясь в нем, разумеется, блуждая и заблуждаясь, видит его, тем не менее, все яснее — и все более ясным, почти так же — поначалу лишь изредка, в каких-то, может быть, лишь при повторном чтении отмечаемых читателем эпизодах, затем все чаще и под конец совсем часто — почти так же видит его, т. е. мир, как, и причем с самого начала, видит его — а вместе с ним и мы видим — незримо, или почти незримо, не вступая или почти не вступая в действие — у меня это будет иначе — иначе ли? вот вопрос — присутствующий в этом романе, его, романа, — теперь и здесь остающийся, конечно, неназванным — лишь там, следовательно, лишь на тех, его собственных, значит, страницах, пускай изредка, но все-таки появляющийся, может быть, автор…; Алексей Иванович, когда, через несколько дней, я снова дошел до него и сказал ему все это, посмотрев на меня, улыбнулся — внезапной, конечно, улыбкой. И в этом медленном, неуклонном приближении — к уже втайне присутствующему, заранее заданному, так сказал я, я помню, в движении этом видится мне — безусловность, и в самом деле, так думаю я теперь, сравнимая, может быть, с безусловностью — лишь чуть-чуть, скажем, колеблемых ветром деревьев, в каком-нибудь парке, неподвижных холмов.

22

Алексей Иванович жил, как сказано, в старой части города; я, как сказано, тоже; но там, в том городе (огромном, таинственном, невероятном…) — там все расстояния огромны (невероятны, таинственны…); и выходя из дому — обычно уже под вечер — я еще долго плутал по улицам, в тяжелых и снежных сумерках, прежде чем, свернув, наконец, в переулок, дойти, наконец, до зеленой краской выкрашенного забора, войти,

наконец, в почти сливавшуюся с забором калитку. Калитка же, всякий раз, захлопывалась за мною с каким-то, отчасти знакомым, ржавым скрипом пружины: скрипом, к которому я так и не смог привыкнуть, который, всякий раз, на мгновение, отбрасывал меня куда-то, в невозвратимое…; и я проходил через двор, поднимался по лестнице и сворачивал, по коридору, налево, как если бы…: но Алексей Иванович уже смотрел на меня своими удивленно-спокойными (и тоже, как будто, отсылавшими куда-то…) глазами, — и с внезапной (всегда внезапной…) улыбкой впускал меня внутрь, в прихожую, — и мы сворачивали, еще раз, налево, — потом направо, по коридору, — и оказывались, наконец, в его, Алексея Ивановича, с тремя, я помню, большими, во двор выходившими окнами, комнате: комнате, которая, вопреки уже сгустившейся по углам темноте, казалась мне как будто охваченной, освещенной снаружи падавшим снегом: деревья и ветви их за окном, стол и стулья, диван у стены, — все это приобретало постепенно тот особенный, тревожно-прозрачный оттенок, какой сообщают предметам надвигающиеся на них, вплотную подступившие сумерки, — снежный отблеск, как будто стиравший границу между *внутри* и *снаружи*, между небом, двором и комнатой; Алексей же Иванович обыкновенно до самой тьмы, до тех самых пор, когда комната уже и вовсе расплывалась в снегу, не зажигал света и никогда не задергивал штор.

Он сидел всегда на одном и том же месте, на стуле, между двумя окнами, спиною, следовательно, к двору и деревьям, я же садился обыкновенно у противоположной стены, на диван, и — мы оба молчали — оглядывал комнату, освещенную снегом: комнату (думаю я теперь…), в которой не было ничего, почти ничего лишнего — точно так же, как ничего лишнего не было (казалось мне…) в нем самом, Алексее Ивановиче, в его движениях, жестах, словах, — и в которой предметы — стол, стулья, платяной шкаф и книжный — казались мне таким же точным выражением чего-то — чего же? — каким казались мне движения и жесты, взгляд и улыбка самого Алексея Ивановича: Алексея Ивановича, молча сидевшего на своем стуле, между двумя окнами, сливаясь с сумерками, исчезая в снегу…

В самом деле, еще и еще раз, его глаза отсылали куда-то, его улыбка намекала на что-то; его имя не подходило ему точно так же, как не подошло бы ему никакое другое; и если (так думал я, может быть, — так, во всяком случае, думаю я теперь…) — если наши слова и поступки, наши действия и весь наш облик обыкновенно соответствуют и вместе с тем не соответствуют, обыкновенно выражают и вместе с тем искажают все то, что, в свою очередь, обыкновенно раскрывается и вместе с тем скрывается в них, — то он, Алексей Иванович (казалось мне — кажется мне теперь…) — каждый раз заново,

каждым жестом и каждым движением, достигал, добивался какого-то, вполне удивительного — каждый раз, все снова и снова удивлявшего меня соответствия между тем, что он делал, и — чем же? — все, что он делал, короче, казалось мне продолжением, завершением или, быть может, развитием чего-то (думал я…) непрерывного, никак не названного, — какой-то, может быть, мысли: мысли, которая уже не была, разумеется, мыслью о чем-то, — которая могла быть мыслью о чем угодно, — о самой себе, — ни о чем, — и которая, в отличие от всех прочих (во множественном числе…) мыслей, заканчиваясь, не обрывалась, но чудесным образом переходила в жест и движение, взгляд и улыбку, продолжаясь — додумывая в них себя же саму. Выражалась она, разумеется, и в том, что он говорил, как говорил: не менее, но и не более, пожалуй, отчетливо, чем — в жестах, улыбке; и о чем бы ни говорили мы с ним — тем более если он говорил со мною — что тоже случалось — о вещах, мне, к сожалению, недоступных (он же, Алексей Иванович, занимался — заметим в скобках — чем-то — в конце концов я даже понял, кажется, чем — в области, если угодно, естественных и даже точных, если угодно, наук; я был однажды в его — роман это сумма запретов — в его, все-таки, лаборатории: поразившей меня, я помню, обилием каких-то колб, проводов, странной формы и неведомого назначения приборов, запахом, тревожным и едким…) — о чем бы ни говорили мы с ним — и даже, так думаю я теперь, и даже, время от времени, когда мы говорили с ним об иных, для меня, во всяком случае, очень и очень важных вещах, о каких-нибудь, например, до знакомства с ним самим мне не знакомых или, может быть, лишь по названию знакомых мне книгах, о том романе, к примеру, в белой с черными полосами обложке, который он, Алексей Иванович, посоветовал мне прочесть в ответ на мои признания, — об этом, во всех отношениях удивительном романе, не правда ли? (так или примерно так он сказал мне, я помню, когда, через несколько дней, я снова пришел к нему…) который не только, не просто — вы совершенно правы — сам создает свои предпосылки, но который (так или примерно так он сказал…) создает их — в себе же самом, по ходу дела и на ходу, от одной страницы к другой…, — как бы то ни было и о чем бы ни говорили мы с ним, я следил, я помню, не только — и временами даже не столько — за тем, что, собственно, он говорил, но прежде всего и в первую очередь за этим (казалось мне…) непрерывным, не знающим остановки, то вдруг ускорявшимся, перескакивавшим с одного на другое, опускавшим промежуточные звенья, очевидные связи, то, напротив, неспешным, подробным, возвращавшимся к одному и тому же, повторявшим, уточнявшим и как бы очищавшим, по ходу дела, себя самое, движением некоей мысли: мысли (так думал я в свою очередь…), по сравнению с которой и рядом с

которой все, что он говорил, или, вернее, все то, о чем мы с ним говорили, оказывалось, в конце концов, лишь неким частным примером, отдельным случаем, — мысли, иными словами, по сравнению с которой все, почти все оказывалось — или, если угодно, казалось мне, покуда я говорил с ним — отчасти — да, отчасти как будто — случайным.

И только изредка, еще и еще раз, но весьма, весьма редко, я замечал в нем какую-то, напряженную, печальную, неожиданную — как если бы он сталкивался вдруг с неким препятствием и не знал, что с ним делать, — мне тоже, всякий раз, сообщавшуюся на мгновение, — и тут же, впрочем, преодолеваемую им скованность, меня тоже, соответственно, отпускавшую…

— Да, вы правы, конечно, — так или примерно так он сказал мне, я помню, когда, прочитав роман, в белой с черными полосами обложке, я снова пришел к нему, — он сам, в себе же самом, создает свои предпосылки, этот, во всех отношениях удивительный, не правда ли? — так сказал он, — роман. Он проводит свои границы, полагает свои пределы. Он тут же их переходит. Он очерчивает пространство, в котором он движется, в котором он мог бы двигаться… которое, двигаясь, тут же он и взрывает. И вы заметили, я полагаю, сколь многое в нем — отсутствует, сколь много в нем — под запретом. Простые решения исключены, простые ходы отвергнуты. Роман вообще, сказал он, — это — сумма запретов… В данном случае это, как ни в каком другом, очевидно.

— Вот-вот, — сказал я, — в том-то и дело. Роман — это сумма запретов…

— Но он же и снимает запреты. Он движется — и двигаясь, расширяет сферу — дозволенного.

— А между тем, — сказал я, — ему, — я имел в виду автора, я назвал его, разумеется, — ему, — здесь неназванному, — в известном смысле ему было легче. Он жил в мире, — так, примерно так я сказал, — который как будто сам собою… нет, не сам собою, конечно… с трудом и усилием, может быть… но все же гораздо легче, или так мне, во всяком случае, кажется, превращался во что-то иное, в слова и фразы, к примеру, в эпитеты, например, и сравненья, в сплошном и целостном мире, — сказал я. — А что делать с этим призрачным, с этим распавшимся миром, вокруг нас? Ведь все, в общем, распалось, разбилось…

— Простейшие слова утратили свое значение…

— Простейшие понятия не совпадают сами с собою…

— Названия ничего не в силах назвать…

— Явления ничего не являют…

— Формы — бесформенны…

Мы оба рассмеялись, конечно.

— Так вот… что же, что же делать с этим — распавшимся миром? В слова и фразы он не войдет, эпитетам не поддастся, сравнения разломает. Его как бы нет, нет и слов для него. И нельзя, конечно, писать о нем так, как будто все с ним — в порядке. Но изобразить его? показать его?.. как же?

— Вообще, показать его можно, — улыбка: внезапная, — ну… с помощью каких-нибудь… разобранных образов.

— Можно, конечно. Но что это значит? Не значит ли это, — сказал я, — не значит ли это, пускай отчасти, поспособствовать распаду, нас окружающему? Не значит ли это самому сделаться его — проявлением? его орудием, может быть? Я не хочу этого. Я хотел бы отойти от него — на возможно большее расстояние.

— Что же, я понимаю вас. Жажда некоей строгости вами владеет, некоей стройности. Вы собираетесь, следовательно, от всего этого — отказаться? Сказать — не показывая?

— Да… вот. Сказать… не показывая.

— Это будет очень трудно сделать, я думаю. Да и понимаете ли вы сами, от чего таким образом вы — отказываетесь?

— От чего же? — спросил я.

— От всего, — сказал он. — Или почти от всего. Как, в самом деле, собираетесь вы отделить одно от другого? еще дозволенное от уже, к примеру, запретного? действительное от призрачного? отрицание от утверждения? Они сливаются друг с другом, они проникают друг в друга. Так, — он опять улыбнулся: внезапной, конечно, улыбкой, он смотрел на меня по-прежнему: своими спокойно-удивленными, и как будто отсылавшими куда-то, к чему-то глазами, — так — простите мне это сравнение из совсем иной области — так капля какого-нибудь красителя — чернил, например, скажем просто — так капля чернил, например, попадая в стакан с водою, в конце концов окрашивает собой всю воду в стакане. Всю воду, — сказал он. — И что же в таком случае у вас — остается?

— Лишь то, по-видимому, что я сумею отвоевать — у запретного…

— Лишь то, очевидно, что вы сами же в свой роман и введете. Вам придется, следовательно, начать как бы — сначала. Отказаться от мира, чтобы снова им овладеть. Мне это нравится. Ведь и наша мысль, — так он, я помню, сказал, — начинается, в общем, с отказа — с отказа от…

— От чего же? — снова спросил я.

— От всего, что не является ею… Да, мне это нравится, — снова сказал он.

— Спасибо, — сказал я. — Но… что же?.. вы полагаете…, — я очень плохо, конечно, представлял себе все это: тогда, когда-то, той, снежной зимою, — вы полагаете, я должен буду сказать обо всем этом… прямо и сразу?

— Это вы сами решите. Впрочем… полагаю, что нет.

— Почему?

— Ну, — сказал он, — ведь на самом деле мы никогда не начинаем сначала. Мы застаем себя — вдруг, посреди и в середине… чего-то. Мы все время движемся — к своим же собственным предпосылкам. Мы всегда идем, как ни странно, к тому, из чего мы — исходим. На вашем месте, — он вдруг засмеялся, — на вашем месте я и это учел бы… в романе.

Я тоже засмеялся, конечно.

И вот так, думаю я теперь, вот так, в этот и в другие, например, вечера, в его, Алексея Ивановича, в снегу и в сумерках расплывавшейся комнате, или, скажем, простившись с ним, возвращаясь домой, или вновь, допустим, возвращаясь — к нему, через несколько дней, опять у него, вот так и подходил я, все ближе — вот так, вернее, он, Алексей Иванович, — и как будто вовсе того не желая, нимало о том не заботясь — все ближе и ближе подводил меня — к моим предпосылкам. Он сидел всегда на одном и том же месте, как сказано, на стуле, между двумя окнами; он вдруг вставал, я помню; он делал пару шагов по комнате, расплывавшейся по-прежнему в сумерках; он снова садился. Он говорил со мной о моих планах и устремлениях так же, почти так же, быть может, как он говорил со мною о любом другом, для меня постороннем предмете; он как будто впускал их, ненадолго, в систему и целое своих собственных мыслей; странно-преображенными, чудесно-очищенными возвращались они ко мне. Он смотрел на меня своими удивительно-спокойными, своими спокойно-удивленными, если угодно, глазами, и что-то, во мне самом, успокаивалось, что-то, во мне самом, прояснялось. И когда он зажигал, наконец, свет (штор же, как сказано, он не задергивал никогда…) — тогда, я помню, — то ли потому, что свет фонаря проникал во двор с улицы, то ли еще по какой-то, неведомой мне причине — так или иначе, двор и деревья, забор и калитка не исчезали, как обычно бывает, в той тьме, которую порождает как будто сам, зажженный в комнате свет, но свет, зажженный в комнате, освещал как будто и их, и на всех предметах, на стенах, на стульях, лежал все тот же, снежный и сумеречный, одновременно тревожный и мягкий отблеск, лишь усиленный, как ни странно, зажженным в комнате светом…

— И значит — Макс? Кто же — Макс?

— Я сам не знаю, — так говорил я. — Его так зовут, вот и все. Мы знакомы с ним с детства. Мы встретились в августе… как будто впервые. Мы и теперь видимся… последнее время реже… неважно. И если будет август, то будет, конечно, и он. Но что еще будет, этого я не знаю.

И я этого, в самом деле, не знал. Ведь ничего и не было больше, так думаю я теперь, ничего еще не было.

— И еще, — сказал я однажды, — и еще там буду я сам… нет, не я, не совсем я, конечно… некий автор, как бы то ни было, отчасти совпадающий, отчасти же не совпадающий, разумеется, с тем, кто вот сейчас, Алексей Иванович, сидит перед вами…

Он опять засмеялся, я помню.

— Рад знакомству, — сказал он.

— Интересно лишь, — сказал я: тоже, конечно, смеясь, — интересно лишь, смогу ли я ввести в сам роман какую-нибудь… в каком-нибудь разговоре… с кем-нибудь… реплику… подобную моей предыдущей.

— Да, интересно, конечно. Вообще, — сказал он, я помню, — вообще… подойти, в самом романе, к границе, отделяющей роман от — не-романа… влекущая, конечно, возможность.

— Мы ведь с вами и говорили недавно… если помните… о неких границах, о неких пределах… о выходе за эти пределы, о переходе этих границ… в связи с тем, другим романом, — сказал я.

— Помню… кажется, — так он ответил. — Впрочем… *эту* границу перейти вы, конечно, не сможете. Там, — он взмахнул рукою, как будто указывая куда-то, в неопределенную даль, — там… в вашем романе, следовательно… как и во всяком романе… там все будет, конечно, *внутри*… или ничего не будет, — сказал он.

И как бы то ни было, там — в жизни — говоря ли с Алексеем Ивановичем, простившись ли с ним, возвратившись домой — все снова и снова подходил я к неким границам — и переходил их, конечно, — с такой легкостью, какая теперь мне уже, наверное, недоступна.

В самом деле, еще и еще раз, в его присутствии и в разговоре с ним все, почти все, и даже самое важное для меня, казалось — оказывалось — отчасти — отчасти как будто случайным…

— С известной точки зрения все случайно, — сказал он мне как-то, еще в самом начале нашего с ним знакомства. — Кроме… самой этой точки зрения, конечно.

И я искал ее в себе, эту точку зрения… конечно; я наблюдал за ним, как уже говорилось; я втайне повторял его жесты, уверенные и простые; я старался усвоить себе ту привычку к вниманию, которую угадывал я за ними; я очень многому у него научился. И я уже втайне связывал все это — с моей, еще бесконечно-далекой от осуществления историей, с ее, истории, тайным замыслом, нарастающим ритмом; я уже понимал, может быть, или втайне, быть может, догадывался, что и там, на тех, еще почти невообразимых страницах, пойдет речь — о чем-то подобном…

И все это, так думаю я теперь, все это, приближая меня к моей, еще раз и если угодно, истории, вместе с тем и в то же самое время как будто отделяло меня от нее…; и я вспоминаю теперь какие-то, еще и еще какие-то, в ту далекую зиму, бессонные или почти бессонные ночи, когда я вдруг снова видел ее целиком, как некое целое — с еще неразличимыми, конечно, частями — и как я уже не вижу, почти не вижу или, может быть, лишь очень и очень редко вижу ее теперь… откуда-то издалека и где-то вдали… как нечто замкнутое, в себе же самом, уже завершенное, уже завершившееся… уже написанное, быть может… совершенно отчетливо.

Я как будто поднимался над нею; я знал, в такие минуты, что я напишу ее; я понимал, что я мог бы… да, мог бы и не писать ее, как ни странно… что я именно потому и должен ее написать.

Я видел, короче, ее неизбежность, видел и ее, странным образом, необязательность. Ее вполне могло бы не быть; мне, в такие минуты, это было почти безразлично.

То были новые для меня самого, мне самому не совсем понятные, может быть, меня самого чуть-чуть пугавшие, может быть, ощущения…; а между тем, этот всякий раз неожиданно совершаемый мною — сам собою, может быть, всякий раз неожиданно, совершавшийся выход: за ее, мои же пределы, казался мне — и, значит, оказывался — тоже, если угодно, — самой… и самой тайной, быть может, — последней, может быть, и самой последней из всех ее, моих предпосылок…

И конечно, мне уже очень хотелось писать; и внезапное беспокойство, и нетерпение охватывало меня временами.

— Мы поднимаемся на гору; мы вновь спускаемся, — так я думал, — в долину…

А я ведь ничего не знал, как уже говорилось; и — что же? — думал я — что, собственно, будет происходить там? и что мне делать, к примеру, с театром? и — как ни

пытался я еще что-то продумать, придумать, я — спускаясь в долину — всякий раз убеждался, что я еще ничего, ничего, конечно, не знаю.

— Ну что ж, подождите, — говорил мне Алексей, я помню, Иванович. — Подождите. Может быть, — с внезапной улыбкой, — может быть, сама жизнь что-нибудь вам подскажет…

— Вот отрадная мысль, — сказал я.

— Да, мысль, конечно, отрадная. Впрочем… всякая мысль отрадна, даже печальная мысль, — сказал он. — Отсутствие мысли — вот что безрадостно.

И на это мне нечего было ответить; и я подумал, я помню, что — вот, он, Алексей Иванович, тоже знает все это… отсутствие мысли… удивительным образом. А впрочем, подумал я, кому же и знать это, как не ему?..

И — как бы то ни было — уже совсем поздно вечером мы выходили обычно на улицу; Алексей Иванович провожал меня до метро — и почти всякий раз, я помню, предлагал мне — еще немного пройтись; мы сворачивали на бульвар: нет, не тот самый, с его бесконечно-прямой, в бесконечную даль уходящей аллеей — на тот, другой, загибавшийся, в уступах и лестницах, справа и слева: дома, с одной стороны, стояли — и до сих пор стоят, наверное, — над, с другой же под ним, внизу: крыши их оказываются с ним почти вровень: чистым снегом отсвечивают за деревьями; пройдя его целиком — молча и медленно — Алексей Иванович как будто обдумывал каждый свой шаг — на углу уже много раз упомянутого мною проспекта прощались: если, в другие дни, я сам не шел провожать его, обратно, в глубь переулков… И была уже, в общем, ночь; почти ночь; кружились, в пустоте, в темноте, одинокие большие снежинки; фонарь качался под ветром; свет его дрожал на снегу; совсем неподвижной, как будто вообще неспособной к движению казалась приткнувшаяся где-нибудь на ночь, уткнувшаяся капотом в сугроб, с тяжелым, в три слоя, наростом снега на крыше, машина; и так ясно читались, я помню, и такой, вдруг, печальной радостью отзывались во мне следы и знаки ушедшей куда-то, уснувшей, уже почти невообразимой более жизни, лист газеты, спичечный коробок, красная, вязаная, с крошечными, на внешней стороне ее, ромбиками, кем-то потерянная, кем-то найденная, должно быть, перчатка, положенная, зачем-то, на тумбу…; и теперь уже окончательно простившись с Алексеем Ивановичем, я снова бежал к метро, и еще успевал, может быть — к последнему вагону последнего поезда.

И конечно, я писал уже что-то — не в силах ждать и спускаясь в долину — что-то, еще вполне, разумеется, приблизительное, предварительное…, но уже что-то, к

примеру, об августе, когда мы встретились с Максом, как будто впервые, о падении капель, дрожании листьев, мелком дожде, тихой мороси… Эти записи у меня сохранились; я привез их, конечно, с собою. Они беспомощны; в них все уже есть. Все? В них есть уже, во всяком случае, тот… еще неуверенный, но тот же самый, все-таки, ритм, который мне так важно не потерять теперь, здесь, на этих — и о котором я почти не думал, я помню, — который, следовательно, сам собою складывался — и сложился, значит, на тех, давным-давно переписанных, все снова и снова перечитываемых мною страницах…; они же, удивительным образом — не только и даже не столько, быть может, об августе говорят они мне теперь — о той зиме, далекой и снежной, о тех вечерах, может быть, о тех, каких-то, от принудительно-обязательного свободных, может быть, днях, когда я писал их — там, в той, покинутой мною, теперь и здесь отчасти повторившейся комнате. А между тем, как и всякое писание, быть может, это, самое раннее, уже не самое раннее, отделяло меня, разумеется, от моего, тогдашнего, настоящего; я писал о прошлом, я думал о будущем; я пытался представить себе, как это будет, когда-нибудь — и когда же, когда это будет? — когда я сумею справиться с ним, наконец, с этим августом, упорно мне не дававшимся. Он не давался мне, разумеется; очертанья его дрожали, контуры расплывались. Но уже, во всяком случае, Макс — истинный герой моей истории: если это история — Макс, истинный герой моей истории, уже шел мне навстречу откуда-то, с каждым шагом все ближе, уже падал, сорвавшись с дерева лист, мокрый, первый и желтый, кружился, падал, ложился на землю, уже поезд, пролетая сквозь шелест веток, раскрывал, распахивал невероятное, со всеми его деревьями, домами, дорогами, станциями, полустанками, разъездами, блаженной тревоги исполненное пространство… И все стихало вокруг, всякий раз, и уже как будто сгущалось, у меня за спиною, то, в себе самом затаившееся безмолвие, откуда и приходят, наверное, откуда и приходили ко мне, сбиваясь и путаясь, какие-то, еще вполне, разумеется, приблизительные, случайные, беспечно-неточные, но уже, конечно, слова, фразы, эпитеты…; и отрываясь от этих фраз, этих слов, сознавая случайность их, не в силах найти иные, я смотрел, конечно, в окно, и там, в окне, вечером, в узкой прорези неплотно задернутых штор — там была, разумеется, тень лампы, призрак стола, лист бумаги, ручка в руке…; и вновь, и снова, из темноты, смотрел на меня, как в августе, некто, упорно и пристально, стоял, смотрел на меня — и вновь, как только я гасил свет, отступал, уходил — и еще долго, наверное, так думал я, улыбаясь, всю ночь, может быть, бродил где-то там, по теперь уже совсем другим улицам, переулкам, пустынным и замершим… И на другой какой-нибудь, от

ненавистно-неописуемого свободный, может быть, день вновь занимал я, так скажем, свою, еще вполне предварительную, опять-таки и конечно, позицию — в той комнате, покинутой мною — в той, так думаю я теперь, совсем маленькой в огромном пространстве, едва различимой, но до сих пор как будто светящейся точке, вокруг которой и располагались для меня, разумеется, все улицы, все переулки, ожидания и встречи, планы и помыслы, — и пытался, в самом деле, провести, вокруг нее, какие-то линии, и наметить какие-то повороты, и все, конечно, зачеркивал, и снова смотрел в окно, — и очерк крыш за окном, и снег, и какая-нибудь, взлетающая с клумбы ворона, и взмах ее крыльев, тяжелый, черный, дрожащий…: все это словно бросается мне навстречу оттуда, из глубины той далекой, ранней, не существующей больше зимы…

Но и это были, конечно, только мгновения, только предчувствия…; и когда мгновения эти заканчивались, я, стряхнув безмолвие и как завесу, как некий занавес, прорвав обступившую меня тишину (но все-таки, значит, пронося, сохраняя — и значит, все-таки сохранив, пронеся, сквозь эту и прочие зимы, тот август, те ночи, то утро…) — прорвав тишину и отбросив предчувствия, я вновь, следовательно, возвращался в свое, тогдашнее, настоящее; и встречался, может быть, с Верой — или еще, быть может, с какими-то, не взятыми мною на эти страницы, персонажами моей жизни, тогдашней; или шел, может быть, к Алексею Ивановичу, в глубь переулков; и мы говорили с ним, может быть, о чем-то совсем ином, о его, Алексея Ивановича, естественно-научных, к примеру, занятиях, о каких-нибудь — мир названий разбился — с моими собственными устремлениями никак не связанных книгах; и уже совсем поздно вечером выходили, обычно, на улицу; и как-то… я помню, да, я помню, конечно… как-то, в какой-то, похожий, в общем, на все прочие вечер — мы уже дошли до метро — я вдруг увидел, у входа на станцию — Макса: Макса, прощавшегося, как мне показалось, с какими-то — нет, я не знал их — с какими-то, значит, неизвестными мне персонажами его, Максовой, соответственно, жизни (с каким-то молодым человеком в меховой рыжей шапке, с двумя девушками в блестящих, синих, одинаковых куртках — еще с кем-то? — да, может быть…). Я окликнул его; он посмотрел на меня, на Алексея Ивановича, опять на меня, и довольно небрежно, как мне показалось, легким кивком головы, простившись со своими знакомыми (каковые, в свою очередь, быстро, все разом, посмотрели на нас — и тут же скрылись в освещенном провале метро…) — быстро, решительно, чуть-чуть размахивая руками, но при всем том, вот что странно, не подавая виду, что он узнал меня, не выражая ни удивления, ни, скажем, радости — пошел в нашу сторону.

— Вот нежданная встреча, — сказал он.

Я познакомил его с Алексеем Ивановичем.

— Очень приятно. Я уже слышал о вас.

Я смутился, я помню; я не знал, что мне делать.

— Вот как? Я тоже слышал о вас, — сказал Алексей Иванович.

И — и мы уже шли, втроем, по бульвару; Макс, шагая рядом со мною и обращаясь только ко мне, но я помню, время от времени посматривая на Алексея Ивановича (Алексей Иванович тоже наблюдал за ним потихоньку: я это видел…) — Макс, обращаясь ко мне и с каким-то, непривычным для меня возбуждением, то ускоряя, то вновь замедляя шаги, то снимая, то вновь надевая перчатки, чуть-чуть размахивая руками, чуть-чуть подергивая, почему-то, плечом, — Макс, короче, шагая рядом со мною, стал рассказывать мне — нам? — о своих новых, как выяснилось, знакомых, с которыми он только что, как я мог заметить, простился (завтра, впрочем, они опять должны встретиться…) — и с которыми я провел — вполне, в общем, весело — последние три… да, три, кажется, дня… и три, соответственно, ночи. Что они делали? Так, вообще… была большая компания… у того, высокого, в шапке… потом ездили еще на дачу к нему… сегодня утром вернулись… зашли еще в гости… здесь рядом… немного выпили… вот. А между тем, я уже видел, вдали, ту самую, и точно так же заметенную снегом скамейку, возле которой мы стояли когда-то — в почти такую же, зимнюю ночь — уже… да, уже больше года назад. Он тоже видел ее; он замедлил, в очередной раз, шаги; посмотрел на меня: и вдруг, оборвав свой рассказ, дернув, в очередной раз, плечом, подошел к ней, поставил на сиденье ногу и — как некогда, точно так же — взялся рукою: за ту же самую ветку. Мы улыбнулись друг другу; все стало просто. Алексей Иванович, своими спокойно-удивленными, как обычно, глазами, посмотрел, в свою очередь, на меня, на Макса и опять на меня: как будто спрашивая и в то же время не спрашивая, что это значит.

— Здесь, — сказал я, — когда-то, мы говорили с Максом…

— О чем же?

— Вот именно, — сказал вдруг Макс, — о чем же? о чем же? Если бы удалось понять, по крайней мере, о чем…

И он опять посмотрел на меня… и опять на Алексея Ивановича, и опять на меня; вопрос и вызов были в его глазах, вдруг засмеявшихся. А что, в самом деле… почему бы и нет?..

— А в самом деле, Алексей Иванович, — сказал я, — мне давно хотелось спросить вас… знакомо ли вам это…

— Это, — Макс, выпустив ветку — снег осыпался с нее на скамью — повернулся к Алексею Ивановичу, — этот выход… вот: на всеобщее обозрение… эта невозможность остаться в одиночестве, наедине с самим же собою…

— Ведь мы всегда, почти всегда с кем-нибудь говорим… наша мысль ускользает от нас самих…

Я ждал улыбки: внезапной; я не дождался ее.

— Да, — вполне просто ответил Алексей Иванович, — все это мне знакомо. И что же?

— Ну: вот, — сказал Макс, — ведь с этим нельзя, никак нельзя согласиться.

— Приходится.

— Нет… так не может… так не должно быть…

Он чуть-чуть подчеркивал, может быть, свое возбуждение, как будто оправдывая им неожиданность этого разговора и в то же время предлагая мне, Алексею Ивановичу не принимать его слишком всерьез.

— Так не может, и не должно быть… и значит, должны быть какие-то… Все это очень странно, конечно.

Все это было и вправду весьма, весьма странно. Алексей Иванович, по-прежнему не улыбаясь, дотронулся, в свою очередь, до той же, теперь уже черной, мокрой, с внезапными каплями, ветки.

— Странно: да… ну и что же? В конце концов, все и так достаточно странно, не правда ли?

— Да, правда, — Макс рассмеялся.

— Продолжайте, — сказал Алексей Иванович, — мне это даже нравится. Не так уж важно, в самом деле, что мы с вами в первый раз видим друг друга… и, может быть, никогда больше не встретимся… а может быть, и встретимся… все равно. Я слышал о вас, вы слышали обо мне. То, что вы говорите, весьма для меня интересно.

— Только не думайте, что я… пьян, — сказал Макс. — Я не пьян… почти нет.

— Я вижу. И — следовательно…

— И следовательно, должны быть какие-то, совсем иные возможности. Это должно быть — легко, это должно быть, собственно — жизнью…

— Постойте… что именно?

— Вообще… вообще то, что дается нам с трудом и усилием… искомая ясность, вожделенная собранность…

Я дождался, наконец — внезапной, очень внезапной — улыбки.

— Должно быть… должно быть… Нет, я так не думаю.

— Почему же?

— А почему, собственно, это — должно быть — легко?

— Ну… хотя бы потому, что это — бывает — легко…

Я дождался еще одной — еще более внезапной — улыбки.

— Бывает: конечно. Но ведь только так… вдруг… Они не длятся, эти лучшие наши мгновения.

— Вот именно, — сказал Макс, — не длятся. Но они должны длиться, вот в чем все дело.

— Почему?

— Почему — что?

— Почему — должны — длиться? Разве это мы с вами решаем. Да, бывают, конечно, минуты, когда все вдруг получается само собой, совершенно просто…

— Как вдох или выдох…

— Как вдох или выдох. Но бывают и совсем другие минуты… часы, дни… за победой следует поражение… Это так — и с этим ничего, наверное, не поделаешь… как ни стараешься.

— Вот так жизнь и проходит, — сказал Макс.

— Да, пожалуй, вот так она и проходит.

— В раздоре с самой же собою, в усилиях, бессмысленных и бесплодных…

— Этого мы не знаем, — ответил Алексей Иванович, — ни вы, ни я… и никто не знает, наверное. Может быть — бессмысленных, а может быть, и не совсем. Вообще, некая ясность возрастает… с течением времени.

— Вот как?

— Конечно. Ведь все повторяется… за победой следует поражение… за поражением снова победа… и мы сталкиваемся все с теми же трудностями… наталкиваемся на те же препятствия… преодолеваем их, все снова и снова… и в конце концов, узнаем себя же самих, овладеваем своими возможностями… к чему-то, наоборот, привыкаем… с чем-то, напротив, смиряемся… Вы этого не понимаете, вы это поймете. Вы еще очень молоды… не обижайтесь… вы хотите всего сразу… вам вольно, разумеется, воображать себе какое-то… легкое будущее…

— Ах… да… вот… будущее… легкое будущее…

— Простите?

— Нет… так… Вы правы, конечно.

Он вновь дотронулся до ветки рукою; провел по ней; посмотрел на нее; на свою руку; на Алексея Ивановича.

— Вы тоже правы, — сказал Алексей Иванович.

— Простите? — сказал Макс в свою очередь.

— Вы тоже правы, конечно. Конечно, они должны… или нет, должны были бы длиться, эти наши безусловные мгновенья… конечно. И не так уж трудно, в общем, представить себе жизнь, из них состоящую… совпадающую с самой же собою. Но на самом деле… на самом деле, мы лишь приближаемся… к искомому, мы никогда, наверное, его не достигнем. Это не значит, однако, что не надо… стараться.

— Почему? — спросил Макс (в свою очередь…).

— Как — почему? Вы хотите ясности? вы ищете собранности? Вы *уже* хотите ее, вы *уже* ее ищете… И что бы вы ни воображали себе, к чему бы вы ни стремились, ничто, никто не избавит вас от усилия, от обязательности усилия… вот сейчас, в настоящем.

— Да, да, я знаю, вы правы…

И вдруг, я помню, с внезапным, горестным вызовом:

— Нет, это все не так, все неправильно. И… речь вообще идет не о том.

— О чем же?

— Вот именно — о чем же? о чем же?

Он замолчал, я помню, закурил сигарету.

— Хорошо, допустим, я согласен с вами, вы правы… ничто, никто… от усилия… Но этот выход — на всеобщее обозрение… но эта невозможность остаться в одиночестве… но этот раздор с самим же собою… вот с чем нельзя, никак нельзя согласиться. И что бы вы ни говорили мне… так не может и не должно быть… и в общем… да… что же?.. к чему все это?.. простите меня… мне не надо было… и…, — отбросив, я помню, не докуренную им сигарету, — и… да… пойдемте… уже поздно… и холодно… и поговорим лучше о чем-нибудь…

— Постороннем? — с внезапной улыбкой.

— Все равно о чем, — сказал Макс.

И мы уже ни о чем, конечно, не говорили; и свернув с бульвара, еще немного проводили Алексея Ивановича, в глубь переулков; и прощаясь с нами, он, Алексей Иванович, в последний раз посмотрел, я помню, на Макса; и сказал ему: до свиданья;

удачи вам…; и Макс, отведя глаза, ничего не ответил; и потом сказал: спасибо, да, до свиданья; простите меня, еще раз…; и мы пошли обратно; и свернули, я помню, еще, и еще в один переулок; и была уже ночь; снова ночь; кружились, в пустоте, в темноте, одинокие большие снежинки; фонарь качался под ветром; свет его дрожал на снегу…; и я думал, конечно, об этом, так странно начавшемся, так неожиданно оборвавшемся разговоре; и, конечно, о Максе, смущенно, горестно, или так мне казалось, молчавшем, шагавшем рядом со мною; и об Алексее, конечно, Ивановиче, уже дошедшем, наверное, до дому; и о той, так думал я, может быть, последовательности ежедневно возобновляемых — повторяемых, так я думал, усилий, которую с самого начала угадывал я за жестами его и словами; которой, в словах и жестах его, почти не было видно; в которой он только что, так я думал, признался.

— Любопытный персонаж, этот твой… Алексей Иванович.

— О да, конечно.

— Я глупо вел себя, — сказал Макс.

— Нет, почему же?

— Глупо, глупо, — сказал он. — К чему все это, в самом деле? Просто… я так давно не говорил ни с кем… да… всерьез…

— Вот именно. И с кем же еще говорить обо всем этом? Если вообще с кем-нибудь, то с ним, Алексеем Ивановичем.

— Мне тоже так показалось… Не с тем же… в шапке, — сказал он.

— Как, кстати, зовут его?

— Тебе это действительно хочется знать?

— Да нет, какая мне разница?..

— Андреем его зовут.

— Ну а ты-то, Макс, как ты, на самом деле…

— Живешь? — закончил он за меня. — Я не живу, — сказал он.

— Что называть жизнью? — сказал я, улыбнувшись, надеясь, что и он улыбнется.

— Да что бы ни называть так, — ответил он — не улыбнувшись. — Я очень рад тебя видеть.

— Я тоже, — сказал я.

Мы вышли, наконец, на проспект, уже много раз упомянутый, теперь, ночью, почти, конечно, пустынный; Макс, вдруг как будто встряхнувшись, как будто, подумал я и думаю я теперь, махнув рукою на что-то, в себе, взмахнул ей, рукою, и остановив, я помню, вильнувшее в нашу сторону, заскрипевшее тормозами такси, с какой-то

неожиданно-решительною интонацией сказал шоферу два адреса: сначала… потом…, открыл заднюю дверцу, сказал мне, что он сядет первым: ты выйдешь раньше…, и уже в машине, я помню, спросил меня, что я читаю… поговорим, действительно, о чем-нибудь постороннем. Я назвал, разумеется, тот, здесь не названный, в белой с черными полосами обложке, роман, который перечитывал я снова и снова; нет, я не читал его: сказал он.

— Удивительное сочинение, — сказал я.

— Вот как? Дай мне его при случае.

— Хорошо, конечно. Мне самому дал его, кстати…

— Кто?

— Алексей Иванович.

— Да… Алексей Иванович…, — сказал он, я помню — и вдруг, проведя рукой по лицу, отвернулся, и весь конец пути мы молчали, и за окном, в которое он смотрел, упорно и горестно, в ночной и призрачной перспективе сменялись, разумеется, улицы, переулки, сугробы, стены, внезапные повороты. И проводив машину глазами, я еще немного постоял, один, в тишине — и затем прошел, разумеется, мимо трех с одной, трех с другой стороны, бледно-зеленой краскою выкрашенных домов, прошел под аркой, прошел через двор — и еще очень долго, я помню, не мог заснуть в эту ночь, и зажигал свет, и вставал, и подходил к столу, и перечитывал, быть может, какие-то, еще вполне предварительные, но уже написанные мною страницы, и шел на кухню, и пил чай, и снова ложился, и лишь под утро заснул наконец.

23

— Мне кажется, он близок к отчаянию, — сказал мне Алексей Иванович, когда, снова встретившись с ним, я заговорил с ним о Максе.

— Да… может быть…

И в самом деле (так думаю я теперь: теперь и здесь, поворачивая обратно…) — он, Макс (истинный герой моей истории: если это история…) — он и в самом деле был, вернее: бывал — в иные дни, часы и минуты — весьма и весьма близок: к отчаянию; почти вплотную подходил он к его, отчаяния, все более отчетливым, все яснее проступавшим границам; — и тут же вновь, конечно, отскакивал от этих границ, отбегал: куда-нибудь в сторону; — вблизи ли, издалека, видел их: постоянно.

Он жил все той же, как я мог убедиться, случайной, легкой, беззаботно-рассеянной жизнью: жизнью, еще и еще раз, уводившей его все дальше от того, к чему он по-прежнему — по-прежнему, конечно, стремился, — но и от всего того, разумеется, с чем он, Макс, — нет, не пытался по-прежнему справиться, — от искомой собранности, от самой возможности: остановиться, помедлить, — но и от ощущения бессилия, невозможности: помедлить, остановиться, — жизнью (так думаю я теперь…) — уводившей его, среди прочего, и от той, принудительно-обязательной, подавляюще-безусловной, решительно-неописуемой, — от той, тоже, если угодно, жизни, — не-жизни, если угодно, — к которой он был причастен, конечно, по-прежнему, как был к ней причастен и я (я: живущий теперь, здесь, поворачивая обратно…) — и, на свой лад, Алексей, к примеру, Иванович, — и, на свой, скажем, Вера, — к которой, короче, все мы были причастны, в которой все мы участвовали и которой он, Макс, по-прежнему, каждое, почти каждое утро, платил свою, если угодно, дань: в тоске и в спешке, с от-вращением, ненавистью, мучительным — все более мучительным чувством зави-симости. Да, каждое, почти каждое утро, по-прежнему, посещал он, конечно, свое — скажем так — учебное — так сказать — заведение, где его ничему, разумеется, не научили и которое, еще и еще раз, он рассматривал, в первую очередь, как простое средство спасения от несравненно более страшного. В самом деле, он, Макс (изнывавший — как и я — на каких-то, вполне бессмысленных лекциях, на каких-то — роман полагает, роман же и снимает запреты — чудовищных в своей бессмысленности собраниях, куда почти насильно заставляли его ходить…) — он не мог, разумеется, все это просто-напросто *бросить*, не мог и допустить, разумеется, чтобы его просто-напросто *выгнали* (что, кстати, вполне могло с ним случиться: почти вдохновенно, хотя и с тайным, конечно, по его собственному убежденью постыдным, но все-таки не покидавшим его страхом — не выгонят ли его, в самом деле — *прогуливал* он так называемые занятия; все чаще и чаще, уже доехав, к примеру, утром, до учебного своего заведения, вдруг останавливался, закуривал сигарету, смотрел на часы, поворачивал обратно, ехал куда-нибудь в гости…): — и в том, и в другом случае, как бы то ни было (мне очень жаль, конечно, вот этой — почти рвущейся от нарушенных запретов страницы…) — и в том, и в другом случае его забрали бы, разумеется, *в армию*: что, в свою очередь, представляет собою одно из самых мучительных, опасных и унизительных испытаний, предлагаемых — навязываемых нам этой жизнью, решительно, еще и еще раз, решительно неописуемой. — И все-таки она, эта жизнь (так думаю я теперь…) — со всеми ее явлениями (ничего не являющими…), названиями (не

называющими — ничего…), со всеми ее формами (вполне, в общем, бесформенными…) — и со всеми ее, вернее, нашими, с нею связанными, волнениями, опасениями, ожиданиями, — она и стремится, конечно, — она бессильна, однако, завладеть нами полностью, без остатка. Она продолжается — в нас; она проникает куда-то внутрь; она разыгрывается — внутри. И все-таки, поучаствовав в ней, заплатив свою дань, отбыв повинность, отсидев в ней, к примеру, столько-то часов, столько-то лекций (шесть часов, три лекции, например…) — прогуляв половину, — мы вольны распорядиться собой: как нам вздумается — отдавшись, к примеру, какой-нибудь, совсем иной, намеренно и нарочито случайной, откровенно внешней, легкой и рассеянной жизни: жизни, которая ничего от нас не требует, не внушает нам ни надежды, ни страха, — в которой мы можем участвовать, можем и не участвовать, — и которая, ни от чего нас, разумеется, не избавляя, по крайней мере позволяет нам, пусть ненадолго, забыть о нашей зависимости, бессмысленных обязанностях, призрачных принужденьях, — забыть и обо всем остальном, — о том, к чему мы стремимся, — о том, с чем не в силах мы справиться, — (и это, так думаю я теперь, и это есть, может быть, самый простой, не самый, конечно, удачный, но, временами, единственный доступный нам выход…).

Вот так же и он, Макс: каждый, почти каждый день встречался он с кем-нибудь; вместе с кем-то ехал к кому-то; из гостей в гости; как можно позже возвращался домой; как можно реже оставался один.

Я (живущий теперь здесь, поворачивая обратно…) — я знал, как сказано — нет, конечно, не всех — все с новыми и новыми людьми сводила его эта жизнь — но все же некоторых из его тогдашних знакомых, из его, если угодно, тогдашней (говоря запретным для меня языком…) — тогдашней его *компании* — я тоже, как сказано, знал. Там был, я помню, некий Миша, и некий Петя, и некая — неизбежная в таких случаях — Лена: нет, конечно, я не возьму их на эти страницы: им здесь нечего делать. И были, значит, бесконечные поездки по городу: от одних знакомых к другим; было некое место, где *все всегда собирались*, некая — (я не бывал там; я видел, впрочем, однажды — вполне, впрочем, посредственные, как мне показалось, картины ее владельца; видел, мельком, и его самого…) — на чердаке одного большого и сравнительно старого дома расположенная мастерская, куда можно было прийти без звонка и где, в табачном дыму, сменялись, почти непрерывно, все те же, появлялись, почти непрерывно, все новые и новые лица; были более или менее крепкие, скажем,

напитки; иные, более или менее опасные опыты; бессонные ночи; безнадежные сумерки; рассвет, встающий за окнами; усталость, тревожная дрожь.

И некие, разумеется, девушки возникали вдруг в его жизни; разочаровывали; вновь исчезали.

И в этом движении, кружении город, в котором он жил по-прежнему, и улицы, по которым он бродил, когда-то, один, и переулки, проходы, бульвары, где он, Макс, совершал когда-то свои, если угодно, открытия, — все это превращалось — почти превратилось, наконец: в адреса и маршруты, маршруты и адреса: в расстояния, отделявшие одно место, куда он мог бы пойти, от других, куда он тоже спешил попасть: в простой фон, следовательно, на котором, уже почти не замечая его, разыгрывалась теперь его жизнь, в тоске и спешке убегавшая от себя же самой: — и как если бы (так думаю я теперь: теперь и здесь, в этой маленькой, заваленной снегом, за дюной притаившейся деревушке…) — как если бы, убегая, двигался он в каком-то, странно легком и странно податливом, лишенном складок, изгибов, щелей и трещин пространстве, — пространстве (думаю я…) отчасти похожем, пожалуй, на то, в котором, обращенная к кому-то другому, движется, ускользая от нас самих, наша — уже, конечно, не мысль: уже не мысль, создающая, тем не менее, некий, если угодно, фон, на котором она и разыгрывается: некую улицу, по которой мы как бы идем, некую комнату, в которой мы как бы находимся… Внутреннее сделалось внешним, короче; внешнее же, как ни странно, проще, доступнее и даже, в известном смысле, ближе к нам, чем все то, что мы зовем внутренним; заменяя его собою, присутствие — рядом, напротив — на улице, в комнате — другого человека, других людей, пускай ненадолго, пускай лишь по видимости, избавляет нас, как уже говорилось, от того иного, призрачного присутствия, от которого, оставаясь одни, избавиться мы не в силах…

И только, может быть, изредка, вдруг, видел он — действительно видел он — эти улицы, комнаты; вдруг, выпадая из жизни, под утро, с тревожной и горестной ясностью, видел — снег за окном, рассвет, встающий за окнами, стаканы, пепельницу на столе, свою собственную руку на скатерти, Лену, уснувшую на диване, Петю, задремавшего в кресле; вдруг, в мгновенном промельке, из окна такси, по дороге куда-то, видел — повороты улиц, деревья, углы и стены домов, безмолвные сугробы, снежинки, отсветы фонарей на снегу…; они же, возникнув вдруг перед ним, в мгновенном промельке, в непрерывном кружении, вновь, и причем без всяких усилий с его стороны, возвращали его, разумеется, в тот совсем иной мир, в то совсем иное, живое, блаженной тревоги исполненное пространство, где каждое дерево о чем-то

свидетельствует и все сугробы призывают к чему-то. И значит, все-таки были… да, были, конечно же, эти краткие… нет, не длившиеся, конечно, по-прежнему, — но все-таки были — и чем дальше шло время, тем чаще (как если бы, думаю я теперь, что-то, очень медленно, исподволь, в нем самом пробуждалось, готовилось, может быть, пробудиться…) — были все-таки, еще и еще раз, эти краткие, отрицавшие его жизнь, но вместе с тем, пусть ненадолго, всякий раз как будто примирявшие его с жизнью мгновения: отстраненности, радостной и печальной. И были, конечно, какие-то, тихие, долгие вечера, когда он, Макс, оставшись дома, в своей (при условии, разумеется, тщательно задернутых штор…) ни с чем не соотнесенной, плывущей над городом комнате, читал, предположим, что-нибудь: тот самый роман, например, — в белой с черными полосами обложке — который мне (живущему теперь здесь…) посоветовал прочесть Алексей Иванович, я же дал его, действительно, Максу, — и который впоследствии, много позже обнаружили мы, как сказано (как — рассказано…) в некоей, вдруг запахнувшейся за нами аллее, на некоей, как уже говорилось, скамейке: этот вполне удивительный, еще и еще раз, с его медленным, неуклонным (так думаю я теперь — и так думал он, может быть, отрываясь от чтения, вновь принимаясь читать…) — неуклонным, медленным, — включающим в себя, разумеется, и некие отступленья, паденья, — заблужденья, блужданья, — в известном смысле даже как бы предполагающим их, — а значит, и примиряющим… да, конечно, примиряющим с ними, — движением, приближением к чему-то: одновременно искомому и уже втайне присутствующему, заранее заданному…,— этот роман, следовательно, столь многое определивший в моих собственных планах и помыслах (ему, Максу, заметим в скобках, в ту пору еще неизвестных…). Он, Макс, как бы то ни было (он сам, впоследствии, говорил мне об этом…) читал его, как и я, со все возраставшим ощущением близости, приятия и признанья; несколько (так он впоследствии выразился…) вполне счастливых дней он в нем — прожил.

Он же и вообще очень много читал в эту зиму — посреди всей своей, случайной и рассеянной жизни; чтение, подобно самой этой жизни, отвлекало его, разумеется, от всего того, с чем он боялся столкнуться; и вместе с тем как будто поднимало его над нею; от нее самой отвлекало его.

Но бывали — бывали, конечно, и совсем другие минуты, часы — совсем другие, например, вечера: часы и минуты столь острого отвращения к своей жизни, к себе самому, мучительной и временами столь острой тоски, что он, Макс, уже не чувствовал в себе ни сил от нее — убежать, ни готовности убегать от нее по-прежнему.

— Нет, хватит, хватит… так не может более продолжаться…

Он оставался дома, один; брал книгу — и тут же ее откладывал; закуривал одну, и другую, и сразу же третью, например, сигарету; вставал; подходил к окну; снова садился; снова вставал; выходил, быть может, на улицу; переезжал на троллейбусе через мост; сворачивал в один переулок, в другой, в третий; выходил, не глядя вокруг, на бульвар; из какой-нибудь телефонной кабины, телефонного автомата звонил, быть может, кому-нибудь; набрав номер, вешал, может быть, трубку; вновь садился в троллейбус; и вновь, и вновь возвращался домой.

И все как будто разваливалось, выпадало из рук, рассыпалось на части — и только, может быть, ночью, когда он ложился спать, гасил свет, вновь, пусть ненадолго, успокаивалось, собиралось; некие мысли, с горестной ясностью, оживали в нем — и словно кружили по комнате, в темноте, в тишине, то приближаясь, то вновь отдаляясь, то опять приближаясь ко все отчетливее проступавшим границам — отчаяния.

— Да, хватит, хватит… и тогда что же?.. вот именно…

— Начать все сначала… продумать свои предпосылки… И значит?.. и значит, вновь пойти на столкновенье с собою… на обостренье… конечно.

Он и шел, в такие минуты, на столкновенье с собою.

— И нужна, значит — решимость… готовность — к еще не изведанному…

Он чувствовал — он вдруг снова не чувствовал в себе этой решимости.

— Ах, конечно, конечно… так думал он, может быть… конечно мы держимся за нашу… легкую жизнь… сколь бы мало она нас ни радовала… Кто знает, в самом деле, что там… за этой завесой… что будет, если мы разорвем ее… Там, может быть, не только деревья, снег, блаженная отрешенность… Там, может быть, беда и отчаяние, боль и страдание… Там, может быть, и то, и другое… там, может быть, решается — что… Там все, быть может, решается…

Он хотел — он боялся этих решений. Он понимал, что ему не избежать их; он откладывал их, вдруг засыпая, на потом, на когда-нибудь.

И потому на другой день все опять начиналось сначала; и вчерашняя безнадежность уже не казалась ему такой безнадежной; и заплатив свою дань, и покончив с неописуемым, снова ехал он к кому-нибудь в гости; и вместе с кем-нибудь еще, быть может, к кому-то; и все опять было просто, легко, и покуда длилось, даже, в сущности, весело.

24

И так, значит, жил он: все той же, случайной, легкой, рассеянной, беззаботной, но и безрадостной — в сущности — жизнью; и как-то, в какой-то, все еще зимний, но уже с первыми проблесками медленно приближающейся весны день, эта жизнь (все время сводившая его: с кем-нибудь…) вдруг и совсем неожиданно свела (или, вернее: снова свела…) его — с Фридрихом: с Фридрихом, о котором он и вовсе не думал, наверное, возвращаясь (по уже тающему снегу…) в свое неописуемо-неописанное жилище (точно так же, как он не думал, почти не думал о нем всю эту зиму — теперь как будто кончавшуюся…) — поднимаясь на лифте и открывая дверь, услышав звонок и подходя к телефону, — и который, оказавшись вдруг на том конце провода, быстрым, решительным, каким-то уже весенне-веселым голосом, сообщил ему, что — вот, он, Фридрих, сейчас в гостях у — он назвал имя — у одного из их общих, как только что выяснилось — (у одного из тех случайных знакомых, которых было так много теперь в его, т. е. Максовой, случайной по-прежнему жизни и которые, думаю я, так и остались, вместе с самой этой жизнью, по ту сторону моей истории: если это история…), — что он сейчас передаст ему трубку, — но что, пока суть да дело (в трубке, за краем голоса, слышались еще голоса, шум, звон, как будто, стаканов…), он, Фридрих, — он, впрочем, уже уходит отсюда, сегодня вечером он должен быть непременно в театре — как бы то ни было и пока суть да дело, он, Фридрих, решил позвонить ему сам — и вот, значит, звонит…

Макс же и вправду почти не думал о Фридрихе — всю эту зиму: и точно так же, как он не думал, почти не думал, всю эту зиму, о театре, на маленькой площади; но говоря теперь с Фридрихом, отвечая на его расспросы (куда вы пропали? что вы делаете? как вы живете?..) он, Макс, — или так показалось ему — услышал вдруг в его голосе что-то такое, что заставило его насторожиться, прислушаться…, что-то легкое, скользящее, быстрое — и вдруг, к концу фразы, чуть-чуть замедленное, затихающе-плавное (как если бы тот, Фридрих, сам вслушивался в свой голос, в слова и фразы, произносимые им…) — влекущее, ускользающее, — что-то такое, быть может, чего он, Макс, тогда, когда-то, той далекой, очень далекой и вот, значит, снова к нему, Максу, возвращавшейся осенью, в этом голосе, наверное, не расслышал и что теперь, вдруг — невидимое, но, как ни странно, тем более отчетливое, легко различимое — поманило его: как манит нас, скажем, некая, вдруг открывшаяся перед нами возможность. Возможность — какая же? Возможность — чего же? Этого он не знал; но говоря теперь с

Фридрихом, отвечая на его расспросы (в том смысле, примерно, что он, Макс, ничего особенного не делает и что жизнь его, в общем и целом, не изменилась…) вдруг, удивляясь, почувствовал, как — вопреки расстоянию, незримости — как и ему, Максу, сообщается, удивительным образом, что-то от этой скользящей легкости, ускользающей плавности, — что-то веселое, быстрое, — и что он, Макс, — что и он, Макс, невольно заговорил — нет, не с той же, не с той же, конечно, но все же, пожалуй, с какой-то — неожиданной для него самого интонацией.

— Ну, ну, понятно, — сказал в ответ Фридрих — и, в свою очередь, стал рассказывать, что он, Фридрих, занят в двух новых спектаклях (один из которых, во всяком случае, он очень советует ему посмотреть…) — что есть и еще некие, совсем новые в его жизни занятия, — но что, в общем и целом, жизнь его тоже не изменилась, — и в театре все в общем по-прежнему, — и что было бы совсем неплохо увидеться.

— Да, с радостью, — сказал Макс, и сказал это, действительно — с радостью. Они условились встретиться назавтра; но когда он, Макс, поговорив, в самом деле, с их общим, как оказалось, приятелем (каковой, перечислив своих гостей, предложил ему — тоже приехать; Макс отказался…) — когда он, Макс, повесив трубку, вошел в свою комнату (телефон, *я очень хорошо это помню*, стоял в прихожей, под зеркалом…) — задернул шторы, закурил сигарету — мгновенное, вдруг вспыхнувшее (вновь вспыхнувшее…) в нем влечение: к чему-то, как-то связанному с театром, — или еще, быть может, к чему-то (он сам не знал, конечно, к чему…) — тут же, наверное, обернулось — внезапной горечью, тревожной печалью: и как если бы (думаю я теперь…) — как если бы Фридрихов голос в трубке и эта простая фраза (о двух новых спектаклях…) — фраза, которую он все повторял и повторял про себя (в двух новых спектаклях; в двух новых спектаклях…) — как если бы эта фраза, этим голосом сказанная, вдруг, в мгновенной вспышке влечения, печали и горечи, показала ему, приоткрыла и позволила ему заглянуть в какую-то, совсем иную, наверное, жизнь: жизнь (так думал он, может быть…) — жизнь, которая была *где-то здесь*, совсем рядом, но (веселая, быстрая; желанная, недоступная…) как будто проходила мимо, помимо него: влекла, ускользала.

И как это все чаще и чаще случалось с ним, он вновь почувствовал — невозможность: своей собственной, настоящей, безнадежно-безрадостной жизни: этой простой замены, завесы, отделявшей — в тот вечер уже не отделявшей его: от беды и отчаяния.

Они встретились в старой части города, в конце бульвара, в конце — той самой, уже не раз упомянутой мною аллеи, особенно любимой им, то есть Максом, за ее совершенную прямизну, бесконечную протяженность, волшебное ощущение перспективы, глубины, отдаления. Уже таял снег, уже чернели и оседали сугробы, и очертанья деревьев, с их черными, мокрыми, дрожащими на ветру ветками, проступили вдруг удивительно четко в прозрачном, еще холодном, но уже влажном и тонком воздухе…; Макс, ожидая Фридриха — и может быть именно потому, что он ждал его здесь, — Макс, много раз, конечно, проходивший с тех пор мимо этого места, по этой аллее, думал, должно быть, о том, как они шли здесь с Фридрихом, после репетиции… уже больше года назад, в начале той, прошлой зимы…, и как он шел здесь вместе с Сергеем Сергеевичем, режиссером и устроителем, в конце осени, после спектакля…, и о том, как часто ходил он по этой аллее, один, как медленно, медленно шел он по ней иногда, все приближаясь и приближаясь — к тому, собственно, месту (подумал он…) — к тому просвету: между деревьями, где он теперь стоял и откуда, в прозрачном воздухе, в волнующем отдалении, он уже видел, может быть, Фридриха, быстрой, легкой походкой, но все-таки очень медленно, так же медленно к нему приближавшегося. И в эти несколько, предположим, минут, покуда Фридрих шел к нему, приближаясь, — в это краткое, заранее ограниченное и вдруг, снова: чудесно-растянутое, осязаемо-длительное мгновение — Макс, в конце бульвара, в снегу — и уже не чувствуя, в общем, ни вчерашней горечи, ни даже, пожалуй, печали, ни даже влечения к чему-то иному, но словно вдруг помирившись: с самим же собою, смирившись: и даже со своей нынешней, настоящей, безнадежно-безрадостной жизнью — и вместе с тем (как это все чаще и чаще случалось с ним…) выпадая из нее, поднимаясь над нею — и как будто пытаясь измерить, увидеть — откуда-то — с тех пор, с той осени прошедшее время: — Макс, короче, в конце бульвара, в снегу, смотрел, должно быть, вокруг, вдаль, на эти, значит, сугробы, скамейки — ему казалось, он вообще их не видел с тех пор — деревья, с их мокрыми ветками — так же, почти так же, быть может, как он смотрел на все это — той, еще раз, бесконечно-далекой и вот, значит, снова, снова к нему, Максу, возвращавшейся осенью — откуда-то, издалека — то ли из прошлого, то ли из будущего, то ли — непонятно откуда. И все, что было с тех пор, и прошлая, и вот эта (теперь кончавшаяся…) зима, и все его блужданья, убеганья, паденья…, случайные встречи и поездки по городу…, все это, вдруг словно отступив от него, Макса, в мгновенную, удивительную, никаким временем не измеримую, конечно же, даль…, все это тоже, вдруг, увиделось ему, быть может, как

некое… да, как некое (думал он…) однажды начавшееся и не знающее остановки движение…, движение, приближение к чему-то — еще, конечно, неведомому, но уже втайне, быть может, присутствующему, когда-то, втайне, уже, быть может, его поманившему…, приближение, движение (так думал он, может быть…) — которое началось, разумеется, вовсе не в ту осень (с ее неистовым ветром…) — и даже не в тот август (начало всего…) — которое началось еще раньше, когда-то — и которое (думал он…) — сквозь все изменения, отступления, внезапные повороты — разочарованья и даже отчаянье — которое вело его, разумеется, неизвестно куда, но все же именно туда, куда надо… туда, куда надо.

— И все правильно… все так и должно быть…

Был, как сказано и как накануне, зимний, но уже с первыми проблесками весны день. Совершенно ясно видел он Фридриха, все ближе и ближе к нему подходившего; видел деревья, сугробы; дома и крыши их за деревьями. И если была в нем некая, все же, печаль, то уже неотделимая, может быть, от приятия и признанья, от готовности и доверия к этому, всю жизнь его охватывавшему движению — к самой этой жизни, быть может, в которую — еще чуть-чуть, должно быть, помедлив — в которую и возвратился он, наконец.

В самом деле, Фридрих был уже совсем близко, уже улыбался ему, подходя; и он, Макс, с готовностью и доверием возвращаясь в настоящее, — в жизнь, — но тут же, через несколько, еще замедленных, собранных, как будто изнутри освещенных шагов, — тут же утратив, конечно, и это ощущение осязаемой длительности, и эту отчетливость мысли, уверенность взгляда (как если бы что-то дернулось, сорвалось, повернулось: и внутри, и снаружи; и время вновь потекло незаметно, бесшумно, поспешно…) — Макс, в свою очередь двинувшись ему навстречу, тут же, следовательно, — через несколько, все более быстрых, убывающе-ясных шагов — вновь оказался в том совсем ином мире, где присутствие другого отделяет нас от нас самих (точно так же, как оно отделяет нас от, к примеру, деревьев, сугробов, скамеек…) и где, разговаривая, отвечая и спрашивая, здороваясь и прощаясь, мы словно теряем себя из виду (и точно так же, еще раз, как мы теряем из виду деревья, скамейки, сугробы…). Зато он, Макс, здороваясь с Фридрихом, отвечая и спрашивая, шагая с ним рядом и глядя на него сбоку (они не пошли по бульвару, но перейдя на другую сторону улицы, свернули по ней направо, потом налево, в один из тех узких и сравнительно тихих переулков, по которым сам я так часто ходил когда-то, в той жизни, в том городе…) — он тут же, однако, почувствовал, как ему вновь сообщается

что-то веселое, быстрое…, что-то от той ускользающей, плавной, вдруг замедленной легкости, которую он услышал вчера в его голосе и с которой сегодня, сейчас — перебирая их общих знакомых (каковых оказалось довольно много…) — и как будто следя за своими движениями — как будто показывая их ему, т. е. Максу, — и вместе с тем чуть-чуть смеясь над ними, быть может, — Фридрих, улыбаясь ему и смеясь над собою, перепрыгивал через первые лужи, скользил по последнему снегу: — и как если бы (думаю я теперь…) — как если бы вновь возвратившись в тот мир (со всеми его адресами, маршрутами, знакомствами, встречами…), где он, Макс, прожил… да, почти целый год, — как если бы он обнаружил вдруг, что мир этот странным образом изменился за время его отсутствия, — и как если бы Фридрих, появившись в нем, привнес в него какое-то новое, и необыкновенно приятное качество, до сих пор несвойственное ему.

— Сергей Сергеевич, кстати, передавал вам привет. Я видел его, сегодня утром, на репетиции.

— Вот как?.. Спасибо.

Все дальше и дальше шли они по этому тихому, узкому, наизусть знакомому мне переулку, и пройдя его, наконец, свернув направо и тут же, опять, налево, пошли, значит, по той, уже не раз упомянутой мною улице, которая, спускаясь немного под гору (к красной, кирпичной — с далекими куполами за нею — стене…), вела — и привела их, в итоге, к тому, уже не раз упомянутому мною проходу: между трех, с одной, и трех, с другой стороны, очень старых, бледно-зеленой краской выкрашенных домов, — за которым был, значит, некий переулок, некий двор, некий дом. Они не зашли ко мне; и проходя мимо этого места, этих домов (я же так ясно вижу — отсюда, теперь — их фронтоны, кариатиды, их окна, вдруг вспыхнувшие на солнце, и какое-нибудь, уже весеннее облако, проплывающее над ними…) — Макс, отделенный от себя самого, увидевший и все-таки не увидевший ни фронтонов, ни окон (и вообще, должно быть, не заметивший облака…) — если он и подумал о чем-нибудь, о нашей последней, к примеру, забытой и не описанной мною, или, может быть, о нашей последней, описанной мною встрече (другой бульвар; Алексей Иванович; ночь…) — или об августе, скажем, начале всего — то эта мысль (возможность мысли…) прошла и пропала, должно быть, так же быстро (легко и весело…) — как он сам, Макс, прошел, вместе с Фридрихом, мимо этих домов, кариатид и фронтонов: — и возникнув, и промелькнув, вновь потерялась, наверное, в тех веселых (быстрых и легких…) вопросах, ответах и репликах, обмениваясь которыми уходили они все дальше и дальше — мимо красной,

кирпичной (с далекими куполами за нею…) стены — налево, направо: — и чтобы вновь возвратиться сюда, и чтобы зайти ко мне, наконец — недели, кажется, через две.

(Вот так, думаю я теперь, вот так мы и кружим в пространстве, сближаясь и расходясь, проходя мимо и не оглядываясь…) — и вот так, по весенним, уже текущим и тающим улицам, уходят они все дальше и дальше от этой, давным-давно покинутой мною точки (совсем маленькой в огромном, неизмеримом, так странно изменившемся с тех пор пространстве…) — от этой точки, еще раз, вокруг которой, когда-то, располагались для меня все улицы, все переулки (ожидания и встречи, планы и помыслы…) — и которая, вопреки расстоянию, отдалению, забвению, до сих пор как будто бросает свой тихий, дрожащий и гаснущий отсвет на ближайший к ней переулок, ближайшую улицу, дома и проход между ними…; — вот так, выйдя из света, пройдя через отсвет, уходят они все дальше: исчезая, теряясь: среди каких-то, уже неразличимых отсюда домов (мокрых деревьев, первых луж, последнего снега…) — исчезая, теряясь: в какой-то, теперь и отсюда уже почти невозможной, невообразимой более жизни.

Куда они шли, собственно? Они зашли, наверное, в то (Фридриху, как выяснилось, тоже отлично известное: странно даже, сказал он Максу, что они до сих пор ни разу не встретились там…) — в то место, следовательно, где все всегда собирались (в ту, уже упомянутую мною однажды и, кстати, совсем недалеко от моего собственного дома расположенную мастерскую, где я ни разу, как сказано, не бывал, Макс же был, наверное, накануне или, может быть, два дня назад, — и где каждый говорил обычно лишь с тем, с кем хотел говорить. Они и говорили друг с другом: о спектакле, который Фридрих вновь посоветовал Максу — через два дня, например — посмотреть, о других пьесах того же — отказавшись от имен и названий — очень и очень старого автора…); выйдя оттуда, взяли такси, поехали к Фридриху — был уже вечер — домой: на уже упомянутую мною, опять-таки — давным-давно уже мной упомянутую — не самую дальнюю, но все же, конечно, не-описуемую — и теперь уже почти не заметенную снегом окраину. Были только отдельные, уже, с исподу и по краям, почерневшие, оседающие сугробы: у самих стен, у входа в подъезд, в крошечном садике — с тремя скамейками, клумбой и сломанными, как показалось Максу, качелями — отделявшем тот дом, где жил Фридрих, от соседнего и совершенно такого же; в подъезде, на лестнице стоял все тот же, затхлый, грустный, отчетливый, тяжелый, тягостный запах.

Но все это — безнадежное, жалкое — тут же, как и в прошлый раз, кончилось, когда — входите, входите — Фридрих впустил его внутрь, зажег свет, закрыл на ключ

дверь; и осматриваясь в уже знакомой ему, очень тесной прихожей, входя в комнату, где — опишем ее, наконец, — я, впоследствии, очень часто бывал в ней — где, как и в тот раз, все вещи — кресло, низенький столик, стоячая лампа с большим абажуром, высокое, узкое зеркало — были сдвинуты в один, дальний угол, ближе к окну, отчего, странным образом, комната одновременно казалась и не казалась пустой, но как будто заполненная — и все-таки не заполненная — чем-то, уже словно не нуждавшимся в вещах и предметах, создавала, как и в тот раз, чуть-чуть, пожалуй, тревожное и все-таки радостное (подумал Макс…) ощущение простора, пространства…, — Макс, короче, осматриваясь, вспоминая, вновь, как и в тот раз (но в тот раз — думаю я теперь, или так думал он, может быть, — все это было в скобках, на заднем плане или, может быть, на полях…) — вновь, короче, почувствовал себя — где-то совсем далеко от этой безнадежной окраины, в каком-то совсем ином, с этой окраиной никак не связанном месте; и у противоположной, свободной от вещей и предметов, но, по-прежнему, обклеенной множеством мелких рисунков, фотографий стены (он узнал, снова, Лизу; Сергея Сергеевича; самого Фридриха — в разных ролях…) — у противоположной, свободной стены, на полу, стояла все та же… да, все та же, конечно, высокая, с узким и длинным горлышком ваза, и в ней все те же, наверное, желтые, сухие цветы — в пленительном одиночестве; и если некий запах все-таки проникал сюда с лестницы, то, во всяком случае, странно преображаясь, меняя свою природу, он казался здесь тем — уже, для Макса, неотделимым от воспоминаний о театре (на маленькой площади…) запахом: пыли, старого дерева, — как будто перенесенным сюда, через весь город, с маленькой площади, — и при том, что никакой пыли, старого дерева здесь, разумеется, не было. И только в упор смотревшие окна соседнего дома (все зажженные, все одинаковые…) мучительно напоминали об окружавшей их безнадежности…

— Задерните, задерните, пожалуйста, шторы…

Что Фридрих и сделал (окна исчезли…); затем, покружив по комнате, погасив верхний свет, включив большую, стоячую, и поставив на пол, у свободной стены, еще одну, совсем маленькую, непонятно откуда им, Фридрихом, извлеченную лампу (тень вазы спрыгнула на пол; другая тень ее побежала вверх по стене…), заявил, что сейчас приготовит чай — или, может быть, кофе?

— Нет, чай, с удовольствием.

И заглянув, с позволения Фридриха — да, можно, конечно — в другую, маленькую — в прошлый раз он не бывал там — тонкой, не доходившей до потолка перегородкой от этой, большой комнаты отделенную комнату (там стояла, собственно, только кровать; телефон: на

скомканном одеяле…) — обнаружив, возле кровати, сложенные просто-напросто в стопку, самые разные, отчасти связанные, конечно, отчасти же никак не связанные с театром, ему, Максу, отчасти знакомые, отчасти нет, книги (выбор их казался случайным…) — перебирая их, он услышал сначала звонок, потом Фридрихов голос из кухни — кто бы это мог быть? — потом другие, мужской (незнакомый…) и женский (неузнанный…), из прихожей, из большой комнаты, голоса: Мария Львовна — он остановился в дверях — он узнал ее, хотя и не сразу — в театре, на сцене казалась она моложе — Мария Львовна — давным-давно уже мной упомянутая — посмотрела на него темно-карими, одновременно внимательными и смеющимися глазами: — с радостью, как некогда Фридриха (как и Фридриха, я, впоследствии, очень хорошо ее знал…) — с радостью, наконец, я впускаю ее на эти страницы: а вместе с ней и ее — на мгновение — в моей истории он вряд ли снова появится — я сам с ним не был знаком — ее — как выразился впоследствии Макс — наверное друга и во всяком случае спутника — имя его мне известно — Евгения: там, в той жизни, покинутой мною, называемого, разумеется, Женей. К театру он не имел отношенья; Макс, впоследствии, рассказывая мне о нем, сожалел, что ему, т. е. Максу, не пришлось познакомиться с ним поближе (человек весьма примечательный: сказал он, я помню…); тогда же, в тот вечер, у Фридриха, он, Макс, занят был, в первую очередь, Марией Львовной: Марией Львовной, которую он уже видел, как сказано, в театре, на сцене и которая там, на сцене, как, впрочем, и здесь, в жизни — а впрочем, здесь, в жизни, казалась она одновременно и моложе и старше своих — тридцати, предположим, лет. Она могла бы поспорить с Фридрихом в скользящей легкости жестов, движений (чем они, собственно, и занимались: так думаю я теперь…); в движениях, в походке ее было, вместе с тем, что-то хрупкое, детское; что-то мягкое, печально-нежное в чертах лица, складке губ, рисунке бровей. Ничего расплывчатого, однако, в лице ее не было; ничего наигранно-детского не было в ней самой. Все было четко, точно в этом лице; в одну сторону, и как-то очень решительно, стремились темно-каштановые — под цвет глаз — волосы, волнистой линией пересекали лоб, загибались, внезапным локоном падали на правую щеку; тревожные тени появлялись вдруг под глазами. Некое (так думаю я теперь — и так думал, может быть, Макс, наблюдая за нею в тот вечер…) — некое повелительное превосходство сквозило во всем ее облике; Фридрих — подвигая ее кресло, подавая ей кофе — обращался к ней — с легкой, впрочем, улыбкой, почтительно, но может быть, немного слишком почтительно, слишком подчеркнуто (как будто чуть-чуть посмеиваясь, опять-таки, над ней, над собою; она отвечала ему в том же духе…) — на *вы*; на *вы* — скажем сразу — обращались к ней — и собственно, только к ней: из актеров — в театре, на маленькой площади — все. И сразу же, теперь, здесь,

поворачивая обратно, отмечаю я на этих страницах — совсем особенный, всегда тот же, какой-то (думаю я — думал Макс, наблюдая за нею…) — какой-то, пожалуй, лиловый и фиолетовый запах ее духов: напоминавший мне и напомнивший ему, Максу (мы говорили с ним об этом впоследствии…), не столько эти цвета — тем менее: эти цветы — сколько само звучание этих слов: лиловый и — фиолетовый: не очень сильный, но как будто со всех сторон окружавший ее.

А между тем, был приготовлен: Фридрихом, и выпит, действительно, чай (кофе: Марией Львовной…); она жила, как выяснилось, почти по соседству.

— Я надеюсь, мы не помешали вам…

— Ну что вы, Мария Львовна… вы же знаете, — (взмахнув вдруг рукою…) — я всегда, всегда… всегда рад вас видеть… И вы так давно не заходили ко мне…

— Очень давно… дня четыре, я полагаю.

— И даже пять, — сказал Фридрих. — А вы узнали Марию Львовну? — (повернувшись вдруг к Максу…).

— Конечно, — (Макс: повернувшись к Марии Львовне…). — Я вас видел когда-то на сцене.

— Ах вот как…

— Макс вообще очень часто ходил к нам в театр, — сказал Фридрих, — когда-то… в прошлом году. Я даже думал, он останется — в студии.

— Ах (снова…) вот как, — Мария Львовна, глядя на Макса (он сидел спиной к лампе, к окну…), повела в воздухе вытянутой ладонью, отстраняя его от света (он, конечно, послушался, отстранился…). — Да, я, кажется, помню… вы были однажды на репетиции… и у Сергея Сергеевича я видела вас…

— Вот-вот, — сказал Фридрих. — А потом он вдруг куда-то пропал… Так куда вы пропали все-таки? — (к Максу…).

— Я сам не знаю, — (с мгновенным вздохом; тут же все вспомнив…). — Я сам не знаю куда.

— Во всяком случае, больше не пропадайте.

— Постараюсь, — Макс улыбнулся.

— Ну и что же, Фридрих, — сказала Мария Львовна, — как твои — нет, нет — ваши — кинематографические — если позволите — увлечения?..

— Неплохо, — ответил Фридрих (закурив сигарету — и, как некогда, почти полный круг описав в воздухе спичкой…). — Завтра, кстати, мне надо ехать на съемки… с утра.

Я вам не рассказывал, Макс? Я теперь снимаюсь в кино… в одной картине — впрочем, довольно посредственной.

— Откуда вы знаете? — спросил вдруг — если угодно: Евгений (Женя: если угодно…).

— Откуда я знаю — что?

— Что — в посредственной.

— Ну, это сразу понятно.

— Зачем же вы согласились?

— С чего-то надо было начать… Я давно хотел этого.

— А вы снимались когда-нибудь? — спросил Макс у Марии Львовны.

— Нет, никогда.

— А хотели бы?

— Не знаю… Все вообще хотят сниматься… вот и Фридрих… и другие тоже хотят. А я не знаю… наверное, нет.

— Не верьте ей, — сказал Фридрих.

— Фридрих, Фридрих, — сказала Мария Львовна.

— А что? — сказал Фридрих. — Кино дает такие возможности…

— Добиться успеха?..

— Вот именно.

— Ну, в этом смысле… в этом смысле, конечно.

— А вы смотрели, кстати…? — спросил Евгений (Женя: если угодно…). —

Мир названий разбился. —

— Смотрел… кажется.

— И что вы думаете?

— Так себе, — сказал Фридрих.

(Я же думаю, разумеется, о расширении сферы дозволенного: теперь, здесь, на этих страницах…)

— Все это так себе, — сказал Фридрих. — Вообще мало, очень мало хороших фильмов… на свете.

— Как и хороших спектаклей, — сказала Мария Львовна.

— Хороших книг, — сказал (Женя…) Евгений.

— Людей, вещей, — сказал Фридрих. — Все ужасно, все отвратительно…

— Ну а вы, — спросила Мария Львовна, повернувшись к нему, у Макса, — что вы думаете об этом?

— О чем? — спросил Макс.

— Так… вообще.

— Вообще я не знаю. Хороших фильмов, во всяком случае, мало.

— Вот-вот, — сказал Фридрих.

— Хотя даже в не очень хороших…, — сказал Евгений (Женя…)...

— Бывают… бывают… о конечно… удачные эпизоды…

— Фридрих, Фридрих, — сказала Мария Львовна.

— Не обязательно эпизоды, — сказал (опять-таки: Женя…) Евгений.

— Тогда… что же?

— Ах, все равно… какие-нибудь… какие-нибудь, к примеру, деревья…

— Простите?

— Ну да… какие-нибудь деревья… у какой-нибудь тихой реки… вот что бывает иногда… даже в очень плохих фильмах… вполне восхитительно.

— Бывает, — сказал Макс. — Конечно. Конечно.

— Извольте объясниться, — сказал Фридрих (гася сигарету…).

— Ну да, — сказал Макс, — какие-нибудь деревья… или какие-нибудь облака над деревьями… сквозь листья и ветви… И причем, — (Мария Львовна смотрела на него — темно-карими, еще и еще раз, внимательными, смеющимися глазами…), — и причем деревья, причем облака, увиденные — вернее: показанные — так, с такой… да, если угодно, с такой отстраненностью, с какой мы очень и очень редко… с какой мы лишь в лучшие наши мгновенья их видим… За это многое можно простить.

Мария Львовна… да, Мария Львовна по-прежнему смотрела на него — темно-карими, чуть-чуть, по-прежнему, смеющимися глазами; он чувствовал на себе этот взгляд; он радовался ему.

— И мне кажется, я понимаю, как это делается… как задерживается на чем-нибудь камера… или, может быть, медленно, медленно переходит с одного на другое… скользит по предметам… как подбирается освещение… шумы и звуки… музыка, наконец, свой собственный ритм сообщающая тому, что мы видим… Но как бы то ни было и как бы это ни делалось, мы видим, видим все это… облака ли, деревья… задерживаемся, вместе с камерой, медлим… почти невольно, без всяких усилий.

И (думаю я теперь…) — и сама возможность говорить обо всем этом так (с такой отстраненностью…) — как будто (подумал он…) прикрывая — совсем иным — единственно-важное, — возможность эта сама вдруг показалась ему восхитительной, внезапной, чудесной; и он по-прежнему чувствовал на себе темно-карий, внимательный,

смеющийся взгляд… соглашавшийся с ним; и вдруг вспомнил, может быть, то мгновение, на бульваре, сегодня, когда он ждал Фридриха… помирившись с собою; и вдруг опять, может быть… отстраняясь, выпадая из жизни, посмотрел — и увидел, действительно, Фридриха, сидевшего, обхватив руками колено, на низенькой, из кухни принесенной им табуретке; увидел комнату, фотографии; тень вазы, сухие цветы; Евгения (Женю…) с чашкою недопитого и уже давным-давно, по всей вероятности, остывшего чаю в руке; Марию Львовну, еще раз; прядь волос; волнистую линию.

— Ах да… я знаю это, — сказала Мария Львовна, — этот… как вы говорите… отстраненный взгляд на вещи… конечно. И так бывает, правда? когда вы выходите, например, из кино, и вдруг совсем иначе, — она посмотрела почему-то на Фридриха, — совсем иначе видите улицу, прохожих, машины… как будто все это еще там, в той картине, которую только что вы смотрели. Да, я знаю это. И это… чудесное чувство.

— Я тоже знаю его, — сказал Фридрих. — Да, чувство… вполне чудесное. Хотя долго оно, конечно, не длится.

— А оно должно было бы, — сказал — или не сказал, может быть, Макс, — должно было бы, наверное, длиться. А впрочем…

А впрочем, ему совсем не хотелось возвращаться — всерьез — ко всем своим — нерешенностям… Он и не мог бы возвратиться к ним, разумеется.

— Зато я смотрел недавно…

И еще немного задержавшись на этом — так думаю я теперь — теперь, здесь, для меня, отчасти, конечно, запретном — как и все прочие — уже не совсем запретном, быть может, — и в общем — думаю я теперь — скорее отрадном явлении жизни — кино, следовательно, — разговор их — так скажем — пошел, разумеется, дальше, и перешел, может быть, на какие-то, совсем иные предметы, и Мария Львовна, в конце концов, спросила у Макса, чем, собственно, он занимается — (и ему пришлось, конечно, ответить…) — и в конце концов поднялась, и сказала Фридриху, что — как Фридрих, наверное, догадался — они — то есть она и Евгений — были в совсем другом месте и зашли к нему, собственно, по дороге домой… от метро — (вот так всегда, так всегда: сказал Фридрих…) — и что в общем… уже довольно поздно… и… они уходят, короче.

— А мы проводим вас, — сказал Фридрих. — Проводим их? — (к Максу…).

Уже был вечер; уже была, почти, ночь; Фридрих, когда они вышли на улицу, быстро-быстро, заматывая шарф на ходу, подошел, почти подбежал вдруг к сломанным, как действительно оказалось, наклонившимся, почти падающим качелям, сгреб ладонями снег, еще лежавший на их сиденье — простой доске, собственно, укрепленной на двух

металлических, вполне погнутых — одна из них зацепилась за перекладину — трубах, — и — они завернули за угол его, т. е. Фридрихова, с уже почти погасшими окнами, дома — обогнули другой дом, совершенно такой же — и скрутив, наконец, снежок, подбросив, снова поймав его — снова подбросив, снова поймав — вдруг, разбежавшись, улыбнувшись Марии Львовне, — и с каким-то вдруг изменившимся, с каким-то (подумал Макс…) вдруг почти мальчишеским выражением лица, — широким, плавным, как будто (подумал Макс…), как будто… да, изнутри освещенным, поначалу замедленным, понемногу ускоряющимся движением руки, смеясь над собою, бросил его, наконец — в еще вполне зимнее, разумеется, лишенное признаков — в почти таком же, и таком же крошечном садике — с почти такими же, и на сей раз как будто не сломанными качелями — дерево.

— Последний снежок, — сказал он. — В этом году…

Макс же, посмотрев, разумеется, на белую отметину, черный ствол и черные ветви, вдруг, поднимая голову — и с таким чувством, наверное, как будто он вообще не видел ее, ни в этом, ни в прошлом году, например, — вдруг, поднимая голову, увидел — среди черных ветвей — да, луну, луну, разумеется, почти полную, в тающем небе, легко и тихо плывущую над домами, вполне одинаковыми, над какими-то — они пошли дальше — вдруг, за одним из домов, открывшимися пустырями, оврагами — снова домами — безразличную к ним, не знающую о них.

— Вот мы и пришли, — сказала Мария Львовна. — Я надеюсь увидеть вас — (к Максу…) — в театре…

— Конечно… конечно.

Уже был вечер; уже была, почти, ночь.

Ну что же, — сказал Макс, когда, простившись с Марией Львовной, Евгением, они, Макс и Фридрих, дошли снова до Фридрихова, с теперь уже совсем, почти совсем погасшими окнами, дома. — Ну что же, я пойду, пожалуй… к метро.

— Зачем, собственно? — ответил — или, вернее, спросил его Фридрих. — Зачем, собственно? Оставайтесь. Можете и переночевать у меня. Положу вас в большой комнате… на матрасе.

Макс согласился.

Но они еще долго не ложились, наверное, спать, и вновь пили чай, и вновь говорили, наверное, о театре (на маленькой площади…) — и о Марии Львовне, конечно (без нее и не было бы никакого театра…; хотя — рассмеявшись — хотя есть, конечно, и другие… неплохие актеры…) — и о Сергее, должно быть, Сергеевиче, и о занятиях — в так называемой студии…; и лишь когда Фридрих, убрав со стола, принес, в самом деле, непонятно

откуда извлеченный им, Фридрихом, довольно старый, как показалось Максу, с вылезающим, с одного краю, куском ваты, матрас, и положил его на пол, и очень быстро — нет, нет, я сам: сказал он — застелил его, вполне чистою, простынею, и взбил подушку, непонятно откуда им извлеченную, и по-прежнему отклоняя Максову помощь, заправил одеяло в пододеяльник, — Макс, оставшись один, раздевшись, погасив свет и лежа под одеялом, вновь увидел, в окне, за шторами и в прорези штор, обведенную светлым кругом, в — отсюда, из комнаты, как будто потемневшем, почерневшем, сгустившемся, совсем ночном небе — луну, — луну, разумеется, тихо и безразлично плывущую — над крышей соседнего дома. И свет ее был, разумеется, в комнате; и странно, в узком зеркале, отражались сдвинутые в один угол предметы, кресла, и столик, и край матраса, на котором он, Макс, лежал; и внезапное облако, до сих пор невидимое, вдруг вошло в ее круг; и совершенно ясно проступили вдруг зеленоватые очертанья его; засветились и вспыхнули; и все вдруг погасло, исчезло, и луна, и облако, и отражение, в зеркале, кресел; и вдруг опять появилось; и когда появилось, и Фридрих, в то же мгновение, спросил его, из-за перегородки, спит ли он, Макс, и чиркнул спичкой, закуривая — последнюю — так он сказал — сигарету…:

— Мне кажется, вы следите за каждым вашим движением…

— Что, что?

— Мне кажется, вы следите за каждым вашим движением…

Молчание; ночь.

— Нет, не думаю, — ответил вдруг Фридрих. — За каждым уследить невозможно. Да и не нужно.

— Почему? — спросил Макс.

— Нужно уметь… иногда… забываться.

Ах, конечно, конечно… Но если бы можно было забываться тогда, когда ты этого хочешь… А впрочем…

А впрочем, ему и хотелось — забыться. Он закрыл, снова открыл, посмотрел в окно — и снова закрыл глаза. Ему совсем не хотелось думать обо всех своих — нерешенностях.

— Но в общем вы правы, слежу, стараюсь следить…

Он спал уже — Макс.

25

И затем было утро; кофе; Фридрих, хотя и торопившийся, по его же собственному утвержденью, на съемки, очень долго принимал душ, брился, искал что-то в шкафу, менял рубашки, чистил ботинки, повязывал перед зеркалом шарф; в конце концов они вышли на улицу.

— Вы сейчас — куда?

— Не знаю. Домой.

— Вам разве не надо ехать… учиться?

— Надо, но я не поеду.

— А, понятно… Ну, в таком случае, — они дошли до стоянки такси, — нам, кажется, не совсем по дороге. Впрочем, если хотите…

— Не беспокойтесь. Я доеду на метро. Вообще… я очень рад, что мы снова встретились с вами…

— Я тоже. Приходите в театр… вечером.

— Сегодня?

— Можете и сегодня. Я там буду. Но главное, приходите завтра. Договорились?

— Договорились.

И очевидным образом следя за своими движениями, Фридрих, взмахнув рукою, остановил проезжавшее мимо такси, перепрыгнул через черную снежную насыпь, еще лежавшую между тротуаром и мостовой, открыл заднюю дверь, обернулся, кивнул, соскользнул на сиденье; машина отъехала; Макс остался один.

То была, как сказано, не очень далекая, но все же, конечно, окраина: грязно-белые, вполне одинаковые, пятиэтажные, по большей части, дома, — узкие, вполне одинаковые проходы между домами, — ларьки, киоски возле метро. — И тут же, возле метро, начинался (и до сих пор, наверное, начинается…) — уже вполне, в общем, пригородный, довольно большой и совершенно пустынный в то утро — то ли парк, то ли лес: почти лес, полупарк: с петлявшими, расходившимися, в тропинки и просеки превращавшимися понемногу аллеями, — скамейками, как будто осевшими вместе со снегом, — черной землею среди черных деревьев, — облаками и ветками, отражавшимися в талой воде. — Он никогда не бывал здесь; он шел, все дальше и дальше, по аллее и просеке, ни о чем не думая, быстро и весело; он вышел вдруг на поляну, где, с двух сторон, стояли, если угодно, футбольные — деревянные, грубо сколоченные — ворота; он вспомнил вдруг, внезапно и радостно, совсем другую, точно такую же, в другом лесу, но с такими же точно воротами, давным-давно забытую им поляну; вдохнул влажный воздух; улыбнулся; остановился.

— Ах, конечно, конечно… там все было так же… и такие же ворота… и такие же, с краю, скамейки… А мы и забыли о ней, об этой поляне… не зашли туда… в тот раз…

И думая, значит, о нашей (давным-давно описанной мною…) первой, робкой и предварительной поездке — попытке: вернуться, — и все вдруг вспомнив, наверное, — и прошлую зиму: дни и недели, — и осень: удивительно-ветреную, — и август: дождливый и темный, — и еще, наверное, что-то, уже совсем сказочное, до августа… футбольное поле… летний вечер, ясный и тихий… мяч, летящий в ворота… вытоптанную траву у ворот…, — но вспомнив, вновь вспомнив, может быть, и вчерашний, такой близкий, еще почти осязаемый, и все-таки уже отдалившийся, тоже: в прошлое, в то же прошлое ушедший и скрывшийся день, — и как он ждал Фридриха, на бульваре, в одно мгновение, в одном мгновении увидев всю свою жизнь, помирившись с самим же собою, — и Марию Львовну, и запах ее духов, лиловый и фиолетовый, и разговор с нею, с Фридрихом, — вспомнив все это, по-прежнему улыбаясь, подошел к ближайшим воротам, дотянулся до перекладины, мокрой и скользкой:

— Нет, нет, — подумал он вдруг, — нет, нет… еще рано… еще подождем, пожалуй… с отчаянием…

И прислушиваясь к резкому крику ворон, круживших над черными кронами, всматриваясь в эти кроны, это кружение, темный воздух, пасмурный день, еще немного постоял, наверное, у ворот, еще немного побродил, должно быть, по парку, по аллеям и просекам, — снова вышел к метро, спустился по лестнице (окраинная тихая станция; без эскалатора…), сел в поезд. И все исчезло, конечно: и станция, и улицы, и ларьки, и киоски, и парк, и лес, и футбольное поле; ничего этого не было больше; был только поезд, вагон, темнота туннеля, шум, скрежет, ощущение скорости, движение, скольжение в пустоте. Он закрыл глаза; он вдруг словно провалился куда-то. И снова открыв их, вдруг… ах, вдруг, как будто впервые, увидел — непонятно откуда возникшие перед ним — далекие, призрачные очертания облаков, — реку, — последние льдины и первые баржи, — внезапный отблеск внезапного солнца, — и — между вдохом и выдохом — черные, крошечные, отражавшиеся в воде и склонившиеся над водою деревья…; почти сквозь слезы смотрел он на все это; поезд же, вылетев из туннеля на мост, переехав его, уже не спускался больше под землю, но еще долго и очень долго ехал среди каких-то складов, строек, заборов и пустырей; пятен снега, черной земли; и сидевшая в соседнем вагоне, за двойным рядом стекол, наискось от него, Макса, — и чем-то, пожалуй, на Марию Львовну похожая девушка вдруг ему улыбнулась; и он, Макс, улыбнулся, конечно, в

ответ; и вечером того же дня — или на другой день, быть может, — вновь, следовательно, оказался в театре: на маленькой площади.

Площадь не изменилась: угол одного дома, торец другого, стена, соответственно, третьего; и дома эти стояли на ней так же косо; и в окнах театра были те же, или такие же, раскрашенные объявления, афиши, и черно-белые фотографии; и те же ступеньки, и та же дверь, и тот же, перед дверью, навес (и даже снег с дождем, пролетавший и падавший в сумерках, ложившийся на мостовую, показался ему тем же самым, уже виденным — когда-то — дождем, тем же самым, уже виденным — некогда — снегом…); с тайным замиранием, ожившим влечением вошел он в фойе, в зал (все те же, черные, окна; все те же, фанерные, кресла…); обогнул сцену; прошел, как некогда, темное — и, как некогда, заваленное какими-то, неразличимыми в темноте предметами, фрагментами декораций — помещение за сценой; в коридоре на втором этаже встретил Лизу (тут же его узнавшую…); зашел вместе с нею в гримерную; встретил Марию Львовну; Фридриха; возобновил знакомство с Сергеем Сергеевичем (как выразился этот последний…); и — на другой день — посмотрел, наконец, тот самый — уже очень и очень скоро предстоит мне о нем говорить — уже много раз упомянутый мною спектакль (по уже упомянутой мною пьесе: тайный прообраз…) — тот самый спектакль, следовательно, который и видел я (я: живущий теперь здесь, поворачивая обратно…), впервые оказавшись в театре (на маленькой площади…), через… три, примерно, недели; и познакомился, наконец — после спектакля, в пятиугольной по-прежнему комнате Сергея Сергеевича — с восхитившим его своею игрою (как и меня — через три недели…) актером, игравшим — в этой пьесе — главную… да, пожалуй, главную роль.

— Очень приятно. Просто: Перов.

Макс, удивляясь, переспросил — и тут же вспомнил, наверное, свое знакомство с Фридрихом, полтора года назад.

— Перов. Просто: Перов. Так меня все называют, и вы называйте так же.

— Хорошо… попробую…

Тот рассмеялся; Макс тоже. — Побывал он, наконец, и на занятиях — в так называемой студии: один раз в большой пустой комнате на втором этаже (с зеркалами и железным, блестящим поручнем, тянувшимся вдоль стен, вдоль зеркал…), где Мария Львовна (она, как выяснилось, тоже вела их: как и — просто — Перов, как и — время от времени — Фридрих…) с оттенком мягкого превосходства в жестах и в голосе заставляла несколько — Максу, по большей части, совсем незнакомых и совсем

молодых, по большей части, людей (он узнал, впрочем, Юлю, уже упомянутую мною однажды…) — держась (или не держась…) за поручень — нагибаться, выгибаться, сгибаться в разные стороны, приседать, подпрыгивать, вытягивать ноги, кружиться на месте; — в другой раз в соседней, поменьше, но тоже почти пустой комнате, куда — совсем неожиданно — Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер, предложил ему, т. е. Максу, войти так, как если бы там никого не было, кроме… ну, вот хотя бы (сложив руки на груди, пошевелив пальцами…) Юли (уже упомянутой…) — как если бы он пришел к ней в гости, к примеру, — и сидя вместе с нею за (воображаемым…) столом на (отнюдь не воображаемых…) стульях — как бы выпить из как бы чашек как бы чай — или кофе: как вам будет угодно — разговаривая: о чем угодно, опять-таки: о погоде… если угодно: — что Макс и сделал, под — не очень доброжелательными, как ему показалось, взглядами всех остальных, мучительно ощущая собственную неловкость, преодолевая ее, не в силах преодолеть ее до конца. Побывал он и — как некогда — на репетиции: вновь, как некогда, почувствовав тревожную прелесть этого повторения: одних и тех же слов, жестов, сгущение времени; вновь, может быть, представляя себе — себя, выходящим на сцену из-за кулис… Вновь, короче, как некогда, если не каждый, то почти каждый день, бывал он в театре; оттуда — или, в другие дни, встречаясь с ним у него — или где-нибудь в городе — в конце бульвара, к примеру, — ехал, вместе с Фридрихом, куда-нибудь в гости, к их общим, все тем же — или к совсем новым, быть может, вместе с Фридрихом возникшим в его, то есть Максовой, жизни знакомым; по-прежнему, следовательно, если не каждый, то почти каждый день, возвращался он в эту случайную, беззаботно-рассеянную, беспорядочно-беспечную жизнь, странно, с появленьем в ней Фридриха, изменившуюся.

И когда они, Макс и Фридрих (через две, допустим, недели…), вновь оказались совсем неподалеку от неких, так скажем, бледно-зеленой краской выкрашенных домов — а значит, и еще от некоего дома: за ними — и он, Макс, помедлив, предложил вдруг Фридриху зайти — как он, наверное, выразился — к одному его, Максову, очень и очень давнему — так выразился он, должно быть, — приятелю, я, совсем их не ждавший или, вернее, ждавший совсем не их…: — и вот так (думаю я теперь, здесь, со своей стороны…) — вот так пути повествования (если это повествование…) снова — и снова сводят нас вместе… в том городе, на этих страницах.

Я совсем не ждал их в тот день; Вера должна была прийти ко мне. И когда, услышав звонок, я спросил — *кто там*? — и Максов голос ответил — *я,* — там, в обманчивой темноте подъезда, — там стоял Макс, и за ним, на лестнице — Вера: она стояла чуть-

чуть склонившись, локоть положив на перила, едва различимая в гулком, обманчивом сумраке; и как бывает в таких случаях, я тотчас же, и совершенно ясно, представил себе, как они столкнулись друг с другом в парадной, как шли друг за другом по лестнице и как, уже перед дверью, удивляясь, друг на друга смотрели; и сам я смотрел в растерянности на Макса, на Веру…: — но тут образ ее вдруг начал двоиться, и она, Вера, как будто выступив из собственных своих очертаний, оказалась кем-то совсем иным, совсем незнакомым, — и призрак ее исчез безвозвратно.

— Если мы не вовремя…, — начал Макс.

— Нет, нет, напротив…

Никакого сходства между Верой и Фридрихом не было; похожими (думаю я теперь…) — похожими были только глаза (глаза, которых там, в обманчивом сумраке, я видеть, конечно, не мог…): — и еще не совсем справившись с удивлением, или, вернее: еще даже не успев удивиться тому, что он, Макс, так давно не заходивший ко мне, вдруг, и так неожиданно, зашел ко мне — и не один, без звонка (*вот, познакомьтесь*: говорил он, представляя нас друг другу…) — я, уже в прихожей, еще в растерянности, смотрел, я помню, на Фридриха, — и он, Фридрих, очень долго разматывая свой шарф, осматриваясь, смотрел на меня — серыми, Вериными глазами. И в глазах его — в странном противоречии со всем его обликом, с легкостью, ловкостью его движений, с той небрежной тщательностью, которая чувствовалась в одежде его (на нем был клетчатый, если я правильно помню, пиджак, шерстяная рубашка под пиджаком, простая, белая под шерстяною; пиджак он, войдя в комнату, снял…) — в глазах его, как и у Веры, виделось (или, может быть, видится мне теперь…) — что-то очень и очень печальное, но вместе с тем, как и у Веры, что-то скрывающее, прикрывающее эту печаль, не пускающее ее наружу, непроницаемое…: глаза его, одним словом, глаза — и еще: движения рук его меня поразили. Что-то от серого ветра, серых туч, серой воды в реке виделось (или видится…) мне в этих глазах; руки же двигались непрерывно, и как только он начинал говорить, как будто кружили, кружились вокруг его слов, то падая вниз вместе с фразой, то взлетая вверх вместе с голосом: я, в ту первую встречу, следил за ними не отрываясь, не в силах от них оторваться — и как если бы (думаю я теперь…) — как если бы в этих плавных, круглых, то очень быстрых, то вдруг чудесно замедленных, завораживающих и нескончаемых движениях рук было больше смысла или был какой-то иной смысл, чем в том, что он говорил, — или так, может быть, как если бы истинный смысл его слов и речей выражался не столько в самих словах, сколько в этих движениях, кружениях, уже не

сопровождавших, следовательно, но как будто вбиравших в себя, преображавших собою: слова и фразы, взгляд и улыбку. И даже когда он молчал, руки его не исчезали, как обычно бывает — куда-то (уже невидимые, уже ненужные…) — но оставаясь по-прежнему тем центром, той точкой, в которую стягивалось, к которой стремилось все прочее и все остальное (все взгляды, все вещи, само безмолвие в комнате…), ложились, к примеру, на стол: и лежали на нем неподвижно, с отчетливо проступавшими вдруг запястьями, костяшками пальцев, странно-тихие — незабываемые.

Макс же, я помню, с каким-то, опять-таки, непривычным для меня выражением удовольствия от, в свою очередь, совершаемых им движений, сел, по своему обыкновению, на диван, в глубине комнаты, ногу закинул за ногу, закурил сигарету, потом спросил меня, не сварю ли я кофе, потом встал, подошел к окну — *ты позволишь*? — *пожалуйста* — распахнул его, высунулся наружу (влажный ветер, уже весенний, ворвался на мгновение в комнату; звук шагов: под аркой и во дворе; женский голос, быстрый и звонкий, окликавший кого-то по имени…) — снова закрыл его, и не отходя от окна, вдруг, я помню, заметив ее, извлек из-под других книг, лежавших возле окна на столе, ту, уже много раз упомянутую, так и не названную, — ту самую пьесу, в которой я видел, и вижу, как сказано, тайный, при всех несходствах, прообраз: моих собственных, еще и еще раз, теперь, здесь, все ближе и ближе подступающих к осуществлению помыслов, планов, надежд…

— Смотрите, Фридрих, — сказал он.

— Это одна из моих самых любимых пьес, — сказал я. — Может быть, самая любимая.

— Моя тоже, — сказал Макс. — Последние две недели…

И посмотрев на Фридриха, рассмеялся; Фридрих улыбнулся в ответ.

Театр, как сказано, некий театр уже втайне присутствовал в моих, еще бесконечно далеких от осуществления планах, надеждах и помыслах. Я еще сам не знал, может быть, что мне с ним делать; я понимал лишь, что обойтись мне без него не удастся. Я искал соответствий, указаний, намеков; я не находил их. И я вспоминаю теперь волнение, меня охватившее, когда, сообщив мне, что Фридрих (смотревший на меня — серыми, Вериными глазами…) играет в том самом театре (на маленькой площади…), о котором, если я помню, он, Макс, рассказывал мне когда-то (я помнил: конечно…) — Макс, стоя по-прежнему у окна и как бы между прочим, объясняя свой смех и Фридрихову улыбку, добавил, что — не далее, как две недели назад — он смотрел там

(на маленькой площади…) спектакль — по вот этой (он положил ее снова на стол…) — вот по этой, действительно, пьесе…

— Неужели она идет там? И — как же? — и — расскажите мне об этом спектакле…

— Самое лучшее просто-напросто посмотреть его, — сказал Фридрих.

— В таком случае, расскажите мне немного… о репетициях, например… как они проходят, когда начинаются…

— Зачем вам все это? — спросил Фридрих. — Просто так?.. или…?

Я признался ему в своем собственном (столь похожем — думаю я теперь — и столь, в общем, непохожем на Максово…) влечении к театру, в своих тайных поисках неких соответствий — с чем же? — вот именно — с каким-то, совсем иным, быть может, театром (так или примерно так я сказал…) — театром, которого, наверное, нет, и не может, наверное, быть, но который все же видится мне иногда…; Макс, я помню, посмотрел на меня с изумлением.

— Я не знал за тобой ничего подобного, — сказал он.

— О да, конечно. И я очень много ходил в театр последнее время; всю эту зиму. Я не нашел, увы, почти никаких соответствий. Бывает лучше, бывает хуже; чаще хуже, чем лучше. Но хочется, в самом деле, чего-то совсем иного… какого-то — совсем иного театра.

— Какого же? — спросил Фридрих (взмахнув рукою, посмотрев на меня…).

То была, как сказано, лишь некая мысль: мысль, подобно облаку или, скажем, туману сгущавшаяся во мне самом… Мне видится (сказал я…) что-то простое и строгое, отрешенно-чистое, почти абстрактное, может быть… В конце концов (так или примерно так я сказал…) — в конце концов, я хотел бы, наверное, чтобы все оставалось самим собою, сцена сценой, актеры актерами. Я понимаю, что это немыслимо, что сцена всегда что-то изображает, актеры играют кого-то. Но все это, с известной точки зрения, случайно…

— Мне кажется, я понимаю вас, — сказал Фридрих. — Вы хотите, значит, театра вполне театрального — (и на каждом из этих двух *а* — театр-а-льного, значит, те-а-тра — руки его взлетали, голос же падал так низко, что казалось, ему и вовсе не выбраться никогда на поверхность…). — Сергей Сергеевич… это наш режиссер…

— Я знаю.

— Да? Откуда?

Я кивнул в Максову сторону; Макс улыбнулся.

— Ага, понятно…

И тут опять, я помню, раздался звонок; пришла Вера; и когда я открыл ей дверь и возвратился вместе с ней в комнату, все, разумеется, изменилось, взгляды легли иначе, тени легли по-иному.

Уже смеркалось, я помню, за окнами; Макс, отойдя, наконец, от окна, снова сел на диван — как и Вера — и время от времени посматривая на ее четкий профиль, обращенный к нему, черные волосы, вдруг, и с каким-то, казалось мне, вопросительным выражением глаз смотрел на меня — я сидел, как и Фридрих, за круглым, посередине комнаты стоявшим столом — и потом вдруг словно указывал мне глазами на Фридриха, с каким-то, по-прежнему, вопросительным выражением в них, как будто спрашивая меня, что я думаю о новом его приятеле…; я же, поражаясь его сходству, переводил взгляд с серых, Вериных — на Фридриховы, тоже: серые, тоже: Верины — так я думал — глаза; Вера, в свою очередь завороженная — я это видел — движениями, кружениями его рук, смотрела, почти не отрываясь, на Фридриха — и только время от времени поворачивалась, в свою очередь, к Максу, сидевшему рядом с ней; Макс молчал; Вера тоже.

— Так вот, Сергей Сергеевич, наш режиссер, тоже любит поговорить о чем-то подобном. Театр — говорил он недавно — вчера, кажется — на репетиции — всякий театр — и в частности, значит, наш: на маленькой площади — сам стремится к этой чистоте, простоте, к этому — так, кажется, он говорил — раскрытию своей сущности и обнаженью своей природы…

— Он говорил так?

— Да, так говорил он.

— А что вы сами об этом думаете?

— Ничего, — сказал Фридрих — вдруг засмеявшись. — Я, сказать по правде, ничего об этом не думаю…

Но я все-таки еще попытался что-то — выспросить у Фридриха: о спектаклях и репетициях, о том, как они проходят, когда начинаются, о распределении ролей, об отношениях, скажем, между актерами, между актерами и режиссером, к примеру…, обо всей этой, следовательно (так думаю я теперь…) — мне, в ту пору, еще совершенно неведомой и уже ничего, или почти ничего общего, разумеется, не имевшей с моими абстрактными виденьями жизни, которой и был, конечно, театр — пускай отчасти — для Фридриха, не только для Фридриха, которую и мне (думал я…) тоже следовало, хотя бы отчасти, узнать… как ни жаль мне было абстрактных моих видений; Фридрих, пообещавший мне, между прочим, созвониться со мною перед ближайшим спектаклем

по — здесь не названной — он назвал ее, разумеется — пьесе (тайный прообраз…), — отвечал мне, я помню, вполне охотно, подробно, чуть-чуть забавляясь, может быть, моим любопытством, делая вид, может быть, что забавляется им.

— Кто это? — спросила Вера, когда мы остались вдвоем.

— Фридриха, — сказал я, — я вижу впервые.

— А… Макса?

— Макс, — сказал я, — это… долгая история.

И лишь совсем поздно вечером, или, вернее: ночью, когда где-то, за окнами, уже редела и таяла мгла, и, пробиваясь сквозь узкую прорезь штор, уже скользили по комнате первые серые полосы, отблески и мерцанья, — и предрассветные, резкие крики птиц уже врывались в смятенье и нежность кончавшейся ночи, — я, с откровенностью, для меня самого неожиданной, и с волшебным, пьянящим, тревожным и радостным чувством преодоления последних, до сих пор, до этого утра еще лежавших между нами границ, и с тайным, конечно же, сознанием того, что я делаю что-то недолжное, что-то запретное, но уже не в силах остановиться и останавливаться не желая, — я стал вдруг рассказывать Вере эту историю, бесконечно-долгую, бесконечно долго (или так мне казалось…); и рассказывая ей о том августе, когда мы впервые, как будто впервые встретились с Максом, и о том, как мы шли с ним навстречу друг другу (странно медленно, с каждым шагом все ближе…) — и втайне, с каким-то щемящим весельем вплетая в этот рассказ свои, еще приблизительные, но уже готовые, уже найденные мною формулы, определенья, эпитеты, — вместе с тем, и без всяких усилий, находил для всего этого еще какие-то, совсем иные, прекраснейшие (или так мне казалось…) слова и сравнения: тут же, впрочем, от меня ускользавшие; и все это, весь этот август, окутанный: падением капель, очарованный: дрожанием листьев, затерявшийся: в дожде и тумане, — и тот костер, который мы жгли с ним в лесу, — и последняя ночь, и забор, и мокрые доски, — все это, однажды бывшее, незабываемое, исподволь, постепенно превращалось в моем пересказе во что-то, еще только имеющее быть, из некоей данности — в некое, еще невыполнимое, конечно, задание: — я, следовательно (и с тайным, конечно же, сознанием того, что я делаю что-то недолжное, что-то запретное, но уже не в силах и не желая останавливаться, — и с пьянящим, тревожным и радостным чувством преодоления последних, еще лежавших между нами границ…) — я, значит, рассказывал ей, Вере, о моих, самых тайных и самых робких, еще бесконечно далеких от осуществления планах, надеждах и помыслах: и причем рассказывал о них так, как я еще никогда, никому, и даже Алексею Ивановичу, о них не рассказывал: с откровенностью (неожиданной для

меня самого…), бесконечно долго (или так мне казалось…). И тот город, в котором все мы жили тогда (и Макс, и я сам, и она, Вера, сжимавшая мою руку и закрыв глаза, слушавшая…) — этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, где старое так причудливо сплетается с новым, дозволенное с запретным, еще возможное с совершенно немыслимым, — и та, если угодно, жизнь (к которой все мы были причастны: и Макс, и я, и она, Вера — сжимавшая мою руку…) — эта жизнь, полупризрачная, втайне и даже откровенно сомнительная, неописуемая: все это (говорил я Вере…) — все это тоже будет в моей истории, — все это тоже будет в ней как-то (но я еще сам не знал, конечно же, как…) учтено и даже — отчасти — описано; и даже (думаю я теперь…) — и даже некий театр, вообще и какой-то, уже был в ту далекую ночь упомянут. И эта (говорил я…) история: она будет двигаться медленно, медленно, долго — так же медленно, как, знаешь, падает лист с дерева в безветренный день, — кружится, кружится: так медленно, как будто ему вообще не долететь никогда до земли…, — но она будет все-таки двигаться: кружась, возвращаясь, поворачивая обратно — двигаясь дальше; — и в ней, говорил я, — в ней будут, наверное, еще какие-то, еще неведомые мне персонажи, но тайный стержень ее пройдет, наверное, где-то посредине: между Максом и мною… То были старые мысли, много раз передуманные, много раз перепробованные — как будто впервые приходили они ко мне в ту далекую ночь: откуда-то: из предрассветной тишины за окном (вместе с криками птиц…), из безмолвия в комнате..., и поражая меня своей новизной, неожиданностью, неизбежностью, странно сплетались, загадочно смешивались с влечением — к ней, Вере; — и непроглядная темень ее волос, совсем рядом со мною, и плечо, утратившее в этом сером утреннем свете свою (пленявшую меня…) смуглоту, и что-то округлое, мягкое, вдруг появившееся в ее, обычно столь четком и даже резком профиле: все это, восхищая, волнуя, как будто входило, как будто вплывало в мою, только что и впервые рассказанную ей историю: уже неотделимое, может быть, от ее, истории, издалека нараставшего ритма, дальнего замысла; — и я никогда не забуду того чувства, которое я испытал, когда она, Вера, до сих пор лишь сжимавшая мою руку, вдруг снова прижалась ко мне: — и я чувствовал себя так, как будто я держу в руках и сжимаю в объятиях что-то, до сих пор от меня ускользавшее, что-то, до сих пор мне не дававшееся: саму мою историю, может быть (еще бесконечно далекую от осуществленья…).

После чего, странным образом, мы с Верой стали как бы отдаляться друг от друга, и хотя еще некоторое время встречались по-прежнему, и даже довольно часто, ничего похожего на блаженную близость этой ночи уже не было между нами; и в конце

концов, почти незаметно, не оставив во мне ни печали, ни сожаления, ни горечи, она, Вера, как будто выпала, выскользнула из моей жизни: и чтобы только теперь (здесь, поворачивая обратно…) снова ко мне возвратиться, и причем возвратиться ко мне вместе со всей (тогда не испытанной…) печалью, и горечью, и сожалением.

26

Уже год? — Да, уже почти год живу я здесь, в этой маленькой, и заваленной по-прежнему снегом, за дюной притаившейся деревушке.

Уже почти год — без одного какого-нибудь (еще зимнего…) месяца.

Уже год — и еще зима, здесь, без всяких сомнений.

Еще зима, уже год: и глядя, к примеру, в окно, вот сейчас, я вижу только снег, снег и снег, чуть-чуть поблескивающий на солнце; и каждое утро, проснувшись, растапливаю, почти докрасна, печку; и покончив с писанием, выхожу, разумеется, на море; и море, всю эту зиму то совсем замерзавшее, то, отчасти, оттаивавшее, теперь, как и должно быть в конце зимы — безусловно зимнем и более зимнем, чем ее, к примеру, начало, ее, например, середина…, — море, как и должно быть, лежит безмерной, неизмеримой, заметенной снегом и чуть-чуть поблескивающей на солнце, с легкими и едва заметными торосами, застывшими волнами, гладью; и я иду по ней, скольжу по ней, вдаль; и вдруг оборачиваясь, вижу берег, уже отступивший, вижу сосны над берегом, небо над соснами; возвращаюсь.

И только вдруг, может быть, всякий раз неожиданно, сквозь мороз и снег, сквозь сиянье и холод, силу и крепость, пробивается что-то иное… веселое, влажное, путаное… непонятно откуда.

И он кажется мне совсем далеким теперь, мой приезд сюда, год назад; и уже совсем далеким, бесконечно далеким — и даже более далеким, пожалуй, чем те, какие-то, в том городе, мною покинутом, холодные и не очень холодные, далекие и очень далекие зимы, — кажется мне то лето, которое мы прожили здесь вдвоем, вместе с Максом…: есть, как сказано, разные, есть совсем разные времена, и времена эти (так думаю я теперь…) — времена эти не просто переходят друг в друга, но (разделенные своей природой, своей окраской, звучанием, значением и смыслом…) так странно меняются местами, что более раннее оказывается вдруг ближе к нам, чем более позднее, позднейшее же отдаляется, отделяется от нас самих, отступает…

27

Фридрих, я помню, позвонил мне через несколько дней после нашего — только что описанного мною — знакомства.

— Спектакль будет завтра, — сказал он своим легким, быстрым, скользящим и ускользающим голосом (вслушиваясь в свой голос, не совпадая с ним, смеясь над словами…). — Билет я оставлю вам в кассе.

— Спасибо, — сказал я. — Я мог бы, впрочем, и сам…

— А, пустяки… Посм)отрите, — (смех, на том конце провода, вырвался, на мгновенье, наружу…) — посмьтрите, в самом деле, похож ли наш театр — на ваш… Объяснить вам, где мы находимся?..

Я же (так думаю я теперь…) — я, блуждая по городу, много раз, много лет, проходил, разумеется, где-то рядом и оказывался где-то поблизости; я, как сказано, — я знал этот город (огромный, невероятный, таинственный…); я даже любил его: временами…; но в нем (так думаю я теперь…) — в нем всегда остается что-то еще, что-то неведомое: — и как бы долго мы по нему ни ходили, как бы долго ни жили мы в нем, мы не знаем, и никогда не узнаем его — до конца. —

Она оказалась, в самом деле, очень маленькой, эта площадь (угол одного дома, торец другого, стена, соответственно, третьего…); сумерки окружали ее; фонарь раскачивался под ветром; и вот, следовательно, на повороте в некую улицу (улицу, как я понял впоследствии, которую я пересекал почти всякий раз — по пути к Алексею Ивановичу, но в которую я ни разу до сих пор не сворачивал…) — вот, следовательно, на углу и на повороте — уже давным-давно упомянутые мною ступени, и проржавевший по краю навес, и раскрашенные объявленья, афиши, и черно-белые, очень блеклые, фотографии…

Я помедлил у входа; ветер захлопнул за мною дверь.

— Еще рано, — сказала мне сидевшая в кассе девушка.

— Ничего, заходите, — сказала другая, взяв у меня билет.

Я вошел в фойе (еще темное…); вошел в зал (едва освещенный…): и войдя в него, замер, я помню: почти так же, быть может, как замираем мы перед каким-нибудь деревом, облаком или закатом…

Черные окна, белые стены, фанерные кресла (протяжный скрип, глухой стук…): да, все было так же, почти так же, быть может, как — там, тогда, в августе, как — до

августа, если угодно, — и значит, так же, почти так же, быть может, как в том театре, который виделся — или, скажем, мыслился — мне по ночам.

— Неужели, неужели я нашел его, наконец?..

И только колонны, мешавшие, подумал я, зрителям, мешали, конечно, и мне: в моем театре их не было. Не было — там — и никаких, разумеется, декораций; здесь тоже, впрочем, сцена была пустой: лишь в глубине ее, в полумраке, виднелось что-то синее, белое, голубое…

— Море? — Конечно.

И уже не было, за черными окнами, не было и не могло быть ни города, ни улиц, ни переулков, ни даже маленькой площади, ни фонаря, ни ступенек…; и сидя в кресле, в пустом зале, один, я пытался представить себе, что же все-таки будет происходить там, на той — или, быть может, на этой? — наконец, наконец-то — найденной мною сцене…; о каком-то, следовательно, совсем другом, еще невообразимом, всего лишь воображаемом, от моей истории, от ее ритма и замысла уже неотделимом спектакле, — о какой-то, совсем другой пьесе думал я, может быть: — но вместе с тем и об этой — со всех сторон (так думал я — и так думаю я теперь: прислушиваясь, открывая окно…) — со всех сторон окруженной и объятой, действительно, морем (оно присутствует в ней постоянно, отзывается в репликах, врывается в диалоги…) — об этой пьесе: тайный прообраз, которую предстояло мне — вот сейчас — увидеть, наконец, наяву.

— А вдруг они не справятся с нею? — так думал я, может быть: и как если бы, в самом деле, что-то важнейшее зависело от того, справятся они с ней — или нет.

И покуда я сидел так и думал, театр, очень медленно, стал наполняться: шумом, движением…; кто-то прошел; еще кто-то; вскочил на сцену; зажегся свет (и когда он зажегся, я помню, зал и сцена уменьшились, на мгновенье, в размерах…): — и некие люди, я помню, входили в зал и — скрип кресел — садились.

Я всматривался в их лица — но это (так думаю я теперь…) — но это была просто публика: такая же, как и во всех прочих театрах.

И было это единственное, всякий раз волнующее мгновение, когда все затихает, и вспыхивает на сцене, в зале же вновь гаснет свет, — и действие уже готово начаться, но еще медлит, медлит: неизвестно где, за кулисами, — и вот, и вот, наконец, начинается…; впервые в жизни я не был разочарован.

Я сидел, я помню, в пятом ряду: в каких-нибудь десяти шагах, предположим, от сцены; — а между тем (думаю я…) все, что происходило на ней, казалось одновременно близким и — далеким, отдалявшимся: как в некоей перспективе, увиденным — нет, не

мною, не только мною — но: еще кем-то, и даже самими актерами, может быть — откуда-то, издалека; они же, появляясь на сцене, двигались медленно, как будто чуть-чуть отставая (на полшага, к примеру…) от своих жестов, движений и слов, — но вместе с тем, удивительно четко проделывая, прорисовывая (в некоем, значит, пространстве…) все свои жесты, движения (взмах руки, наклон, поворот…) — и удивительно ясно проговаривая каждую фразу, каждое слово, как будто прислушиваясь: к фразам, словам…; и чем дальше шло время, чем дальше, следовательно: в глубь неких событий, пробирались, пробивались: спектакль и пьеса, тем сильнее делалось это ощущение дистанции; и взаимное расположение жестов и слов значило, по крайней мере, не меньше, чем их прямой смысл, прямое значение; и в чередовании сцен, тем был тот уверенный ритм, который так трудно найти, еще труднее, быть может, удержать, сохранить…

Фридрих играл в этой пьесе не самую главную, но все же весьма существенную, в системе целого, роль; и он был одновременно похож и все-таки, нет, совсем непохож на того Фридриха, которого знал я — и которого мне еще предстояло узнать в, если угодно, жизни. От изысканной сложности его жестов, движений и поз ничего, или почти ничего не осталось: но все его жесты были просты, сдержанны, и хотя я понимал, разумеется, что это не так, я, глядя на сцену, почти готов был поверить, что он сам, Фридрих почти не обращает на них внимания, но занят лишь неким действием, неким, мгновенно вспыхнувшим и словно изнутри осветившим все его жесты, движенья, простые и скромные, — неким чувством, следовательно: в равной мере захватившим и — (я, разумеется, еще не был с ней в ту пору знаком; она показалась мне, я помню, на сцене, совсем юной девушкой, девочкой — каковую она и играла; медленно, совсем-совсем медленно, с разных концов сцены, впервые друг друга увидев, шли они навстречу друг другу, с каждым шагом все ближе…) — Марию Львовну, конечно.

Как бы некий воздух, прозрачный и тонкий, легкий ветер, морской, окружал ее и окутывал; — но с еще большим вниманием, почти с восхищением следил я за игрою актера, исполнявшего роль — роль, которую я назвал бы, наверное, главной, если бы (так думаю я теперь…) — если бы в ней, в этой пьесе, вообще была главная роль, вообще были — роли; — мне же всегда казалось, и до сих пор кажется, что самое главное происходит в ней не между актерами или, вернее, их персонажами, но — но именно *между*: актерами, персонажами: и как если бы (думаю я — думал я, глядя на сцену…) — как если бы все это, актеры, персонажи и роли, — события, диалоги, — как если бы все это было чуть сдвинуто: в сторону, — смещено и размыто, — и что-то бесконечно более

важное проступало сквозь все это, за всем этим: — или так, может быть, как если бы главную роль в этой пьесе играл еще кто-то: не названный.

Но среди всех ее персонажей есть (вот что удивительно…) некто, чья роль почти совпадает, быть может, с главной, неназванной ролью; вот за ним-то, за актером, ее исполнявшим (Перовым: просто Перовым…), следил я — почти с восхищением.

И он, в самом деле, играл ее так, как (думал я: глядя на сцену…) — как только и можно ее играть: совсем просто, ни на чем не настаивая, но вместе с тем, каким-то оттенком интонации, едва уловимым, показывая, подчеркивая свое огромное, неоспоримое — все больше и больше восхищавшее меня — отличие: от всех прочих актеров… Он появлялся на сцене: сцена преображалась, — и все актеры двигались так, почти так, как будто он ими двигал, — и все события располагались вокруг него, как будто он придумывал их на ходу, — и во всех его жестах, словах была сдержанная уверенность, скрытая сила, — и чудной властью дышало его лицо: — и даже когда его не было на сцене, он, на сцене, все-таки был… (я же сидел, восхищаясь, в темном зале, затерянный: в темноте, и тайной дрожью пробегало по мне, я помню, предчувствие, быть может, каких-то, мне самому еще не совсем понятных в ту пору возможностей…). — Но и печаль этой роли, печаль этой пьесы превосходно ему удавалась.

А там, ближе к концу и в самом конце, там есть несколько мест (два небольших монолога и три, предположим, реплики…), в которых он — Перов: в данном случае — как будто сбрасывает с себя — как плащ — обличие своей роли, своего имени, — и его подлинная, его настоящая роль проступает вдруг, пускай на мгновение, со всей очевидностью, — и в его голосе слышится вдруг какой-то иной, приглушенный и призрачный, откуда-то, издалека, вплывающий в пьесу голос… Я помнил эти места наизусть; я ждал их почти с нетерпением; и когда он (Перов и просто Перов…) — когда он произносил их, я помню, голос его, в самом деле, становился вдруг призрачным, приглушенным, — и он смотрел не в зал, не на сцену, но всматриваясь во что-то — бесконечно-далекое, никому другому, быть может, не видимое, сам казался вдруг — и оказывался — бесконечно далеко, бесконечно-далеким: от зала и сцены, спектакля и пьесы, актеров и зрителей… И здесь — на прощанье, прощаясь — здесь слышалась мне, и теперь, когда я перечитываю ее, эту пьесу, снова слышится мне — ни с какой иной печалью не сравнимая, быть может, печаль: печаль (думаю я…), которой мне не пришлось еще испытать, но тайный отзвук которой уже, странным образом, доходит до меня откуда-то — из какого-то, может быть, бесконечно и невообразимо далекого, мне

самому еще неведомого, разумеется, будущего, с каждым днем и с каждой, написанной мною, страницей все ближе и ближе подступающего ко мне.

И потом, когда спектакль закончился, была, я до сих пор помню, весенняя, темная, тревожная ночь; влажный ветер, мокрые мостовые; и я возвращался домой, один, по пустынным улицам, пустым переулкам; и шел очень быстро, я помню, не останавливаясь и почти не глядя вокруг; и словно подхватывая, соединяя какие-то тонкие, еще не проведенные мною, лишь едва-едва намеченные, может быть, линии — и с внезапным чувством, что — вот, все сходится, все совпадает, — чувством (думаю я теперь…), которое, может быть, лишь теперь, здесь, поворачивая обратно, начинает себя понемногу оправдывать…, — вновь думал, разумеется, о моих, уже упорно стремившихся к осуществлению помыслах, надеждах и планах, — о каком-то, совсем другом, быть может, спектакле, — о какой-то, совсем другой пьесе, быть может.

— Да, конечно, конечно, — так думал я, может быть, — отказаться от всего случайного, всего приблизительного… И вместе с тем, — думал я, — и вместе с тем, сделать случайное — неизбежным, необязательное — безусловным, незримое — видимым, неощутимое — осязаемым… Но как же, как же и как это сделать?..

Я еще сам не знал, конечно же, как; но — как бы то ни было — театр был уже найден; и на другой день, я помню, свернув, по дороге к Алексею Ивановичу, в ту улицу, в которую я ни разу до сих пор не сворачивал, я вновь оказался на маленькой площади — теперь уже окончательно введя ее в систему и целое знакомых мне улиц, переулков и площадей; затем, все той же весною, посмотрел еще — и еще один, быть может, спектакль; и побывал у Фридриха за кулисами; и как-то раз, я помню, встретил его у Макса; и вышел с ним вместе на улицу; и вместе с ним поехал к нему…; и только следующей, еще нигде не отмеченной, еще ни разу не упомянутой, кажется, но уже втайне (так думаю я теперь…) уже давным-давно проступающей, быть может, на карте, для нас обоих, для меня и для Макса, хотя и для каждого, конечно, по-разному, важнейшей, быть может, зимою…: а впрочем (думаю я теперь…), о ней еще рано, пока, говорить.

28

Они виделись, если не каждый — нет, не каждый, конечно (Фридрих был слишком занят для этого…) — почти каждый день; встречались обычно в театре; вечером, после спектакля, вместе с Лизой, Марией Львовной, ехали обычно к кому-нибудь, к Фридриху, к Марии Львовне, редко к Перову (тот жил совсем далеко, на какой-то, уже почти неправдоподобной окраине, уже почти за городом…) — еще, быть может, к кому-то, из гостей в гости; в свободные дни, вечера кружили по городу, от одних (случайных, не взятых мною в историю…) к другим (столь же случайным…) знакомым.

— Ах, Фридрих, — говорил Макс, — к чему все это?..

— А что? — отвечал Фридрих. — Почему бы и нет?..

В самом деле, почему бы и нет? Возможности, его поманившие, начинали как будто осуществляться; жизнь, которой они жили теперь вдвоем и которой он, Макс, впервые, быть может, жил теперь ради нее самой, — эта по-прежнему, если угодно, случайная, рассеянная и легкая жизнь уже не казалась ему всего лишь заменой, всего лишь завесой; кружась по ней, вместе с Фридрихом, он тоже следил теперь, пытался следить — нет, не за всеми (за всеми уследить невозможно…) — за многими, разными своими движениями; как будто впервые открывал он их для себя; и словно показывая их — то ли Фридриху, то ли еще, быть может, кому-то — спускаясь, к примеру, в метро, выходя из подъезда на улицу, входя в комнату, садясь и вставая, закуривая или, наоборот, гася сигарету — видел все это: откуда-то, со стороны, какими-то — чужими, быть может, глазами, но все-таки видел: все ясней и яснее, — а значит, видел и комнату, в которую он входил, например, вместе с Фридрихом, видел улицу, по которой шел он вместе с Перовым, деревья, с каплями влаги на ветках, весенние, быстрые облака, — пускай исподволь, в скобках, на ходу, на бегу, — но все-таки, вместе со своими движениями, жестами, видел, — и значит — с внезапной радостью — и значит, все-таки был здесь, без всяких сомнений, на этой улице, в комнате, в этой, пускай случайной, но все-таки: жизни…; Фридрих же как будто наслаждался ее случайностью, легко и ловко, уверенно и изящно разыгрывая любую встречу, любой разговор, поездку в такси или свидание в метро: и как если бы случайность всех этих действий лишь подчеркивала, лишь оттеняла безусловность их — выполнения…; Макс, увлеченный и очарованный, наблюдая за ним и следя за собою, испытывал временами такое острое ощущение — жизни, — а значит, и радости, — какого он, может быть, никогда ранее не испытывал и которое, само по себе, случайным, разумеется, не было.

— Но помилуйте, Фридрих, на этих улицах, среди этих домов… И вы хотите жить здесь, как будто…

— Да, конечно, — отвечал Фридрих, — эти серые улицы, эти уродливые дома, эти люди и эти лица… о них мы вообще говорить не будем… Но в конце концов, какое мне дело?..

И повязав шарф таким причудливым и сложным узлом, какого он, Макс, опять-таки, никогда раньше не видел (и который он безуспешно пытался воспроизвести…), — вновь, вместе с Максом, отправлялся куда-то, куда-нибудь: по этим улицам, мимо этих домов…; однажды, в уже совершенно весенний, истомно-солнечный день, Макс, приехав к нему, войдя в его, Фридрихову, предметами и вещами заполненно-незаполненную по-прежнему комнату, обнаружил в ней, с чашкой кофе в одной и сигаретой в другой руке, в кресле и спиною к зеркалу — Лизу, с какой-то особенною приязнью, или так ему показалось, ему улыбнувшуюся.

— Прекрасный, прекрасный день, — сказал Фридрих, смеясь над словами. — Самое время пойти погулять…

— Погулять? — сказала Лиза.

— Ну да… погулять.

— Ты и так, по-моему, слишком много… гуляешь.

— Не в том смысле, — сказал Фридрих. — Пойдемте просто на улицу… погуляем… почему бы и нет?..

— Ну… если ты непременно этого хочешь…, — сказала Лиза.

— Непременно, — сказал Фридрих. — Я этого непременно, непременно и…

— Непременно…

— Хочу.

— Тогда пойдемте, — сказала Лиза.

Они пошли втроем в тот — теперь уже с первой травою, первыми листьями на еще, впрочем, сохранявших свои черные, четкие очертанья деревьях — почти пригородный — полупарк, полулес, где он, Макс, бродил когда-то один — в какое-то, от него, Макса, теперь уже, в свою очередь, отступившее, отдалившееся, хотя и не забытое им, разумеется, утро; Фридрих, несмотря на Максовы возражения, по-прежнему убежденный в том, что Макс *все читал*, заговорил с ним, чуть-чуть подчеркивая, конечно, наивность своих вопросов — объясните мне, что значит, собственно?.. — смеясь над собою, о разных, перескакивая с одного на другое — мир названий разбился, мир имен тоже — ему, Максу, отчасти, в самом деле, знакомых, отчасти, разумеется, нет, вполне умозрительных, скажем так, сочинениях, отвлеченных понятиях — обнаружив, со своей стороны, и некоторые, удивившие Макса, весьма расплывчатые, впрочем, познания в этой — как он сам

выразился — ему, то есть Фридриху, вполне чуждой области, и неожиданную готовность к расширению их; Макс, по мере сил отвечая на его вопросы, не совсем всерьез, но и не совсем — не всерьез отвечая на них, быть может, смотрел, конечно, вокруг — не узнавая ни той аллеи, в которую свернули они, ни деревьев, ни сменявших друг друга прогалин; они шли совсем не в ту сторону, в которую шел он тогда; поляна, с футбольными, значит, воротами, осталась у них где-то слева; он, Макс, так и не увидел ее; Лиза, не принимавшая никакого участия в их разговоре, вдруг, приблизившись, дотронулась своею рукою до Максовой.

— Вот и озеро, — сказала она.

— По-моему, это пруд, — сказал Фридрих.

— Это озеро.

— Да нет же, душа моя, это пруд.

— Хорошо, пускай пруд.

— Какой пруд? — спросил Макс.

— Вон… там… за теми березами…

Там оказался, в самом деле, пруд, за березами, мерцанья и блики среди белых стволов. Они спустились к воде; Макс, глядя на воду, чувствовал, рядом с собою, ее, Лизино, присутствие и дыханье; тягучий, медленный — отнюдь не лиловый и вовсе, скажем, не фиолетовый — запах духов ее странно смешивался с запахом первой травы, первых листьев, свежей берёсты. Он повернулся к ней; он увидел — прямо напротив — ее — светло-карие — со вдруг расширившимися, вдруг сузившимися зрачками — глаза; он вдохнул — он выдохнул вместе с нею.

— Ну что же, — сказал Фридрих, — пойдемте?

— Да, да, пойдемте, — сказала Лиза — и вновь дотронувшись своею рукою до Максовой, задержав его руку в своей, вдруг — отпустив ее, отступив, улыбнувшись, пошла одна, вслед за Фридрихом, чуть-чуть неуверенно — или так казалось ему, то есть Максу, — ступая по еще чуть-чуть вязкой, скользкой, чуть-чуть поблескивавшей на солнце тропинке, почти целиком огибавшей этот — не очень большой, с отчетливой линией берега — пруд, о существовании которого он, Макс, вообще не подозревал до сих пор…; он же, Макс, справляясь или не справляясь с волнением, его охватившим, закурив сигарету, погасив спичку и проследив за своими движениями, еще и еще раз посмотрел, наверное, на воду, на другой берег, с двумя, тоже, березами, отражавшимися в воде, на пологий скат сбегавшего к берегу косогора…, и затем

пошел, в свою очередь, вслед за ней, то есть Лизой, уже почти догнавшей, в свою очередь, Фридриха.

— Да, да, все дело в этом чувстве жизни… конечно.

И они уже были там, Лиза, Фридрих, на том берегу; отраженья их двигались вместе с ними; слов их он, Макс, не слышал; Фридрих, в ответ на что-то, сначала кивнув, затем покачав головой, рассмеялся.

И что-то как будто парило, медлило там, на том берегу, над березами, весенняя тонкая дымка, прозрачный пар, поднимавшийся от земли…; и когда они возвратились к Фридриху, выпили чаю, Фридрих, посмотрев на Лизу, затем на часы и схватившись вдруг за голову, объявил, что ему нужно при всех обстоятельствах, непременно и обязательно, зайти… здесь рядом… по делу, что он сам не знает, как мог он об этом забыть, но что он, Фридрих, вернется, по всей вероятности, через час, даже раньше, и что они, Макс и Лиза, могли бы подождать его здесь, у него… чему он, Фридрих, был бы в высшей степени рад.

— Конечно, мы подождем тебя, — сказала Лиза. — Правда? — (к Максу…).

— Конечно.

Уже был, опять, вечер; уже сгущались сумерки в комнате. Он подошел к окну, Макс; сиреневым, розовым отсвечивала, за окном, крыша соседнего дома.

— Все это выдумки. Никаких срочных дел у него, разумеется, нет. Просто… мне хотелось остаться вдвоем… с вами… с тобою.

— Я так и понял. Но… что он подумает?..

— А… пустяки. Мы с ним так давно знаем друг друга… и все друг о друге…

Она присела на подоконник; она тряхнула, как некогда, светлыми, с рыжеватым отливом, тут же рассыпавшимися по плечам волосами.

— И он не вернется… вообще… до утра.

На ней было темно-красное, шерстяное, очень плотно облегавшее ее платье; черные бусы.

И как будто выступив, в сумерках, из собственных своих очертаний, она… нет, он сам, на сей раз, взял ее за руку; и по-прежнему следя за своими движениями, показывая их — кому же? — себе самому и еще, быть может, кому-то — Макс, целуя ее и почти теряясь, наверное, в мгновенном, вдруг нахлынувшем на него изобилии: волос, губ и щек, — теряясь в нем и следя за ее, своими движениями — она высвободила свою руку, она обняла его, соскользнув с подоконника — Макс, еще раз, теряясь, вдруг, совсем неожиданно, все тут же вспомнив, как будто снова нашел в себе ту… как когда-то он называл

ее… ту, да: единственную, да: неподвижную точку, им, Максом, как будто забытую… ту точку, следовательно… между вдохом и выдохом… с которой, только с которой, он мог увидеть, и действительно видел… откуда же?.. он не знал откуда… издалека… но видел, видел, еще раз, свою, опять-таки, руку у нее за спиною, крутой изгиб ее бедер, ее колени, прижавшиеся к его, и… сквозь наплыв духов, волос, губ… вот, вот, так ясно, так ясно… крышу, да, соседнего дома, небо, гаснущее над крышею; уже не видел; вновь видел.

— И как же я мог забыть все это… как же я мог забыть?..

— Да, вот она, эта точка… во мне… и это чувство жизни… вот сейчас, вот сейчас…

Он находил ее всю ночь, среди ночи, всякий раз вдруг, эту точку; и посреди всех смятений, сплетений такая ясность бывала вдруг в нем, какой, казалось ему, он вообще никогда не испытывал; и как будто поднимаясь над самим же собою, видел он, ее и себя, откуда-то со стороны, откуда-то — сверху; он понял вдруг, что и она себя — видит, посреди всех сплетений; он сказал ей об этом; она опять, целуя его, улыбнулась.

— И я всегда хотел этого, с того дня, когда впервые увидел ее… в конце той осени… в начале зимы… А ведь это тоже выпадает из жизни… конечно. Но это и есть жизнь… и есть жизнь. Как странно… И вот уже светает там, за окном… уже утро. И я мог бы все понять сейчас… вот сейчас. Но я ни о чем не хочу думать… ни о чем, ни о чем…

— Все вздор, правда? Ничего больше нет…

— Ничего больше нет…

— Поцелуй меня… нет, вот здесь… да, вот здесь… и вот здесь… и я тоже хотела этого… с первого дня… да, конечно… А скажи мне…

— Что?

— Нет.

— Что, скажи?

— А скажи мне, что твои… другие девушки?..

— Ничего… вздор… нет уже никаких…

— Мы не сможем часто встречаться…

— Все равно, все равно… Есть только то, что есть… вот сейчас.

Он не мог встречаться с ней — у нее; обстоятельства ее жизни были ему известны. Потому встречались они у Фридриха, с очевидным удовольствием наблюдавшего за их отношениями, у каких-то ее, Лизиных — Макс не знал их раньше — подруг, не очень часто, но — или так казалось ему, т. е. Максу — с каждой встречей все ближе и ближе подходя к чему-то… искомому, узнавая друг друга.

Он не думал о будущем; ему было… все равно, в самом деле.

Тогда же, весною, состоялся у него следующий разговор с Сергеем Сергеевичем, режиссером и устроителем — в его, Сергея Сергеевича, пятиугольной, как уже много раз было сказано, комнате: где, однажды, после спектакля, собрались — почти все: по случаю (как выразился Сергей Сергеевич; нарушим запрет…) дня рождения Марии Львовны: Марии Львовны, которая, встретив Макса возле Фридриховой гримерной, не спросила — сказала ему (к немалой его, разумеется, радости…): вы тоже, конечно, останетесь. Он, конечно, остался; он был, как выяснилось и как сказал Фридрих, смеясь над словами, единственным из присутствующих, еще не видевшим — *нашего с просто Перовым* (сказал Фридрих…) коронного номера: повествовавшего, в лицах, о том, как на гастролях, в каком-то очень и очень далеком городе, Мария Львовна, по наущению Фридриха, пыталась заказать в ресторане — вполне немыслимое, вообще в природе не существующее и невозможное блюдо, якобы там подававшееся. Перов изображал Марию Львовну, Фридрих официанта. Все это уже видели; все снова смеялись; Мария Львовна, разумеется, тоже; затем, когда общий разговор, как обычно бывает, разбился на отдельные, пересекавшиеся друг с другом и друг друга прерывавшие разговоры, Макс, с рюмкой в руке, подсел к Сергею Сергеевичу.

— А что, — сказал тот, пошевелив, по своему обыкновению, пальцами, — отличный, отличный номер. Я был, кстати, при этом.

— Ну и как, — спросил Макс, — похоже?

— Нет, совсем не похоже. Но этого ведь и не требуется… А вы, — (посмотрев вдруг на Макса…) — вы с Фридрихом просто… друзья-приятели, как я погляжу…

— Да, мы часто с ним видимся.

— Не одобряю.

— Простите?

— Нет, — (рассмеявшись…) — нет, то есть вы можете, разумеется, жить, как вам вздумается. Но Фридрих… Фридрих, на мой взгляд и говоря между нами… он не слышит нас?.. нет… Фридрих, на мой взгляд, живет что-то уж слишком… рассеянной жизнью…

— У него это так хорошо получается…

— Не сомневаюсь. Боюсь, однако, что эта жизнь ни к чему хорошему не приведет…

— Она вообще никуда не ведет, — сказал Макс — в свою очередь рассмеявшись. — А впрочем… нет, я не знаю…

— Вот именно, — сказал Сергей Сергеевич. — Она никуда не ведет. И… и слишком много сил расходуется при этом… впустую. Что вы пьете?

— Коньяк.

— Ваше здоровье.

И это была уже не первая рюмка коньяку, выпитая Максом в тот вечер; и чуть-чуть, как некогда, подчеркивая свое возбуждение, смеясь над собою, заговорил он, как будто оправдывая ее, о том чувстве — жизни (а значит, и радости…), которое, с появлением в ней Фридриха (тем более Лизы: но этого он не сказал…) давала ему, еще раз, его, случайная по-прежнему жизнь: никуда, в самом деле, — никуда, может быть, не ведущая…

— Как же, — сказал Сергей Сергеевич, — определите вы это чувство?

— Разве его нужно… определять?..

— Нет, не нужно… Но можно попробовать.

— Ну, в таком случае, я сказал бы, что это прежде всего чувство… присутствия… вот сейчас, вот здесь, в этой комнате…

— Что ж, пожалуй, — сказал Сергей Сергеевич. — Но… как вы сами, наверное, понимаете… на сцене оно гораздо, несравнимо сильнее…

— Ах, конечно, конечно, — сказал Макс. — Я часто об этом думаю…

— Вот-вот, в том-то и дело. И потому мне представляется не совсем правильным… разменивать его… так скажем… по комнатам. Конечно, в молодости… пока сил много… желаний тоже… Но на самом деле…

— На самом деле?

— На самом деле, все это лишь отвлекает от… более важного.

— Значит, — сказал Макс — чуть-чуть подчеркивая по-прежнему свое возбуждение, — значит, важен, по-вашему, лишь некий результат жизни… а вовсе не она сама, например?..

— Я этого не говорил. Я не знаю… и никто не знает, наверное… что, действительно, важно. Как бы то ни было…

— Как бы то ни было, — сказала Мария Львовна, в свою очередь подходя к ним, — как бы то ни было и как ни жаль мне прерывать ваш в высшей степени примечательный разговор… который, прошу заметить, я слышала от начала и до конца… я вынуждена сообщить вам, что… все уже выпито… и потому мы едем сейчас продолжать нашу… рассеянную жизнь ко мне. Едете ли вы с нами?

— Нет, — сказал Сергей Сергеевич. — Конечно, не еду.

— Увы, так я и думала. А вы, конечно, поедете, — (к Максу; не спрашивая…).

— Поеду, конечно.

И он, конечно, поехал; и — как бы то ни было — он продолжал, разумеется, жить этой легкой, рассеянной, этой никуда не ведущей, может быть, жизнью — этой жизнью, однако, в которой он, Макс, — по-прежнему, в сущности, убегая — или, может быть (так казалось ему теперь…) с неведомой до сих пор легкостью перелетая и перескакивая через все то, с чем он по-прежнему… да, по-прежнему боялся столкнуться, — в которой он, Макс, убегая и перескакивая, вместе с тем и в то же самое время, втайне и удивительным образом, приближался, быть может, к чему-то… до сих пор отрицавшему его жизнь; вечером, возвращаясь домой, останавливая такси — или на другой день, к примеру, когда, заплатив свою дань и покончив с неописуемым, он вновь шел в театр или ехал, допустим, к Фридриху — выходя из метро или входя, к примеру, в подъезд: — входя, к примеру, в подъезд, открывая, допустим, дверь и по-прежнему, хотя никого вокруг не было, показывая — кому-то — это простое движение, разыгрывая его перед кем-то, и значит, глядя на него, на себя, откуда-то, со стороны, какими-то, чужими глазами — вновь и вновь, конечно же, — оборачиваясь, сжимая пальцами ручку — находил он, в самом себе, ту единственную, ту неподвижную точку, с которой, и только с которой… в чудесной паузе, в чарующем промежутке… между вдохом и выдохом… без всяких усилий… мог увидеть и видел он — маленький, отделявший тот дом, где жил Фридрих, от другого, и совершенно такого же, дворик — никаких сугробов там давным-давно уже не было — качели, сломанные по-прежнему, в тонком воздухе первые листья… И все опять казалось возможным; и взбегая по лестнице, думал он, что когда-нибудь… уже скоро… когда-нибудь, но, конечно, решит он… разрешит он свои нерешенности…; и нажимал, разумеется, на кнопку звонка; и там, за дверью, ждал его, может быть, Фридрих, может быть, Лиза, быстро-быстро его целовавшая, в мгновенном и тягучем наплыве: волос, губ и щек, прижимавшаяся к нему.

29

Была весна, как сказано.

— Что вы думаете делать летом? — спрашивал его Фридрих.

— Сам не знаю, а вы?

— Я тоже не знаю, посмотрим. Надо бы — поехать куда-нибудь…

И когда, в самом деле, весна превратилась в лето, и город наполнился вдруг совсем иными, летними звуками, и тень листвы легла на его тротуары, они, Макс и Фридрих, собрались, в самом деле, в дорогу, и он, Макс, впервые, следовательно — за сколько же лет? — покинул его, этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, — Москву, — этот город, еще и еще раз, где старое так причудливо сплетается с новым, дозволенное с запретным, еще возможное с совершенно немыслимым, — и где он, Макс, все эти годы, был как бы заперт, замкнут и заключен. В самом деле (думаю я теперь…): ведь ни того поселка, где мы встретились с ним когда-то (в августе, в начале всего…), ни вот этой, за дюной притаившейся деревушки, где я живу до сих пор, один, поворачивая обратно, — ничего этого (уже и еще…) не было в нашей жизни; был только город (огромный, невероятный, таинственный…): и блуждая по его улицам, его переулкам, шагая по его тротуарам и глядя на его мостовые, он, Макс, уже едва, уже с трудом мог представить себе, что — где-то там, за его пределами, есть какие-то деревни, поселки, — дороги, реки, мосты, — есть, может быть, еще какие-то, совсем другие, может быть, города… Ничего этого не было в нашей жизни (ни того поселка, ни этой деревни…) — но как если бы (думаю я теперь…) — как если бы в ней, в жизни, уже было, уже втайне присутствовало некое, еще не вполне, может быть, осознанное ею самой, но уже данное, уже заданное ей направление, они, Макс и Фридрих, они поехали не просто куда-то, куда-нибудь, но они, Макс и Фридрих, — они поехали, значит, сюда, к этому морю (чей шум, и грохот, и бормотание врываются — сейчас — в мою комнату…) — к этому морю, с его высокими дюнами, соснами, порывами ветра, криками чаек, плывущими вдаль облаками, — сюда, следовательно, к Балтийскому морю.

Они поехали, значит, сюда, к Балтийскому морю; — и впервые — за сколько же лет? — покинув тот город (огромный, невероятный, таинственный…), в котором, все эти годы, он был как бы заперт, замкнут и заключен, Макс, в поезде, на верхней полке, прислушиваясь, сквозь мгновенную, то надвигавшуюся, то вдруг снова отступавшую от него дремоту: к протяжным гудкам, далеким отзвукам, стуку колес, и к дребезжанью, дрожанью, колебанью чего-то — в купе, и к голосам — в коридоре, вдруг, и сам удивляясь этому чувству, почувствовал себя так — почти так, быть может, — как если бы он вдруг вырвался, убежал — и причем не только, и даже не столько, может быть, из Москвы, — но как если бы он, Макс, вдруг и совсем неожиданно, вырвался из всего того — из чего же? — из чего, как бы то ни было, он пытался, стремился и не мог — нет (думал он…), никак не мог вырваться все эти — под стук колес — сколько же,

сколько же? — лет, — как если бы он убежал, наконец, от того — от чего же? — от чего, как бы то ни было, все эти, все эти годы он не мог убежать, убегая…; и когда он посмотрел, перегнувшись, прижавшись к стеклу, в окно, там, за окном, — там было это огромное, забытое им — в том городе, из которого он убежал, уже невообразимое более — да, тоже, хотя и в совсем ином смысле, невероятное — со всеми его деревьями, домами, дорогами, — разъездами, станциями, — мостами и реками — таинственное, без конца расширяющееся, блаженной тревоги исполненное пространство: — и далекие, где-то, огни, и шлагбаум (будка, фары, флажок…), и какой-то, никому не ведомый полустанок, с одним-единственным, бессильно мерцающим фонарем, — все это, пролетая, теряясь, вбирало, впускало его в себя, распахивалось и тут же снова запахивалось за ним; — и он, Макс, в поезде, на верхней полке, то прижимаясь к стеклу, то вновь ложась навзничь, но по-прежнему прислушиваясь к чему-то: к далеким отзвукам, протяжным гудкам, — и уже не думая ни о каком сне, — и все-таки, под стук колес, засыпая, — и немедленно, под тот же стук, просыпаясь, — он ехал сквозь это огромное, как будто в нем самом, Максе, вновь распахнувшееся пространство, — мимо этих огней, полустанков, — и с чудесным, внезапным, его самого удивлявшим чувством освобождения — избавления, побега, свободы…

— Мы будем путешествовать, — сказал ему Фридрих.

— Отлично.

И решившись, действительно — путешествовать, они, Макс и Фридрих, за какие-нибудь две-три недели объехали несколько, совсем разных, ему, Максу, отчасти уже знакомых, отчасти же нет, с пленительной быстротою, почти сливаясь друг с другом, промелькнувших перед ним городов: из Риги поехали в Таллинн, из Таллинна в Тарту, из Тарту (есть, в самом деле, что-то пленительное в этих мелькающих, летящих названиях; им вряд ли суждено повториться; но я все-таки отмечаю их на карте, теперь…) — из Тарту, на попутных машинах и каким-то, как показалось Максу, очень сложным, окольным, по утверждению Фридриха как раз прямым путем, в Вильнюс, из Вильнюса в Клайпеду, из Клайпеды, наконец, опять, на автобусе, в Ригу; и почти в каждом городе у Фридриха были знакомые (знакомые знакомых…), пускавшие их ночевать; и все, вообще, получалось; поезда шли, автобусы ехали; в Тарту остановились они в гостинице; в Клайпеде сняли комнату; все было, в общем, удачно, удачно и весело…; и в этом мелькании городов, вокзалов, вагонов, — улиц и площадей, — в этой смене впечатлений, пейзажей, — во всем этом (думаю я — или так думал, может быть, Макс, выходя из очередного автобуса…) — во всем этом как будто

совпадало, сходилось их всегдашнее стремление: куда-то, к чему-то…, — стремление, в котором они, Макс и Фридрих, по-прежнему, но с невиданным прежде размахом, разлетом, перелетали и перескакивали через все то, с чем он, Макс, да, по-прежнему боялся столкнуться, — и (с другой стороны…) уже почти не покидавшее его, Макса, ощущение побега, свободы: и как если бы (так думал он, может быть…) — как если бы, убежав, ускользнув, не в силах остановиться и по-прежнему удивляясь, — как если бы он испытывал, проверял — примерял к себе — эту вдруг открывшуюся ему, Максу, свободу движений, податливость мира…: и были, значит, какие-то, булыжником мощенные улицы, черепичные крыши, старые башни; была некая девушка в Таллинне, с которой, оставив Фридриха у его, Фридриховых, знакомых, он бродил целый вечер по городу — и потом очень долго прощался на неожиданно налетевшем ветру; было холодное, раннее, с синевато-дымчатой поволокою утро, когда они приехали в Тарту, и внезапное, веселое чувство потерянности в незнакомом, ни Максу, ни Фридриху, городе, и долгие переговоры в гостинице, и солнце, встающее над холмами; и по пути в Вильнюс — разные, сменявшие друг друга машины, дороги, бегущие вдаль…; и то ощущение жизни (а значит, и радости…), которое, с появлением в ней Фридриха, давала ему, как сказано, его, случайная, по-прежнему, жизнь, здесь — в этом промельке городов, городков, — полей, пейзажей и перелесков, — достигало вдруг какой-то пронзительной, почти болезненной остроты: убегая, он словно ловил ее, догонял ее — жизнь — как машину на каком-нибудь пустынном шоссе: — и уже пролетев, она сбавляла ход, тормозила, — и они бежали к ней по обочине, — и совершенно ясно — вот, вот — на бегу, видел он и белый песок, и мелкие камни, и неподвижные сосны, и Фридриха, бегущего рядом с ним, и далекие, совсем далекие облака…; и Фридрих, улыбаясь, вращая руками, договаривался обычно с водителем; и в Вильнюсе, до которого они добрались, наконец, была особенно бурная ночь: у Фридриховых, снова, знакомых; и еще одна, столь же бурная; и в Клайпеде — порт, и гавань, и корабли; и затем — ночная, опять-таки — упоительно-утомительная: как выразился Фридрих — поездка: из Клайпеды в Ригу; гроза, когда они садились в автобус; и сразу же — солнце, вечернее; и разрывы вдруг вспыхнувших облаков; и розовые, и сизые отсветы на мокром асфальте…; и автобус шел как-то странно, по почти проселочным, временами, дорогам, кружась и петляя, и останавливаясь в каких-то, совсем маленьких, наверное, городках и поселках; и медленно, медленно проплывал за окнами вечер, закат, то вдруг подергиваясь грозою, дождем, то опять разгораясь; и в полях была уже ночь; и деревья стояли уже притихшие, замершие; и так близко подступило вдруг это

огромное, невероятное, затаившееся, ночное пространство; и в каком-то очередном поселке или, может быть, городе, где, минут на десять, остановился автобус, Макс, не выдержав, вышел на улицу, закурил сигарету; и вот (думал он…) — вот: какая-то станция, какой-то город, названия которого я не знаю, никогда не узнаю; и последние, и самые последние отсветы — уже непонятно чего, уже исчезающие; и отблески, уже, фонарей; и мелкие лужи; и поезд, проехавший где-то рядом; и небо, небо, еще прозрачное; и вот я стою здесь, один; и так пахнет дождем, так травою; и это все тот же, все тот же, вот, я снова слышу его, призыв.

И после всех переездов, вокзалов, поездов и автобусов, они, Макс и Фридрих, поселились, наконец, почти здесь, совсем близко отсюда (но он, Макс, еще не знал, разумеется, ни этого *почти*, ни этого *здесь*, ни этого *близко*…): в одном из тех, когда-то, втайне, уже упомянутых мною поселков, до которых (учитывая неизбежные ожидания…) я доезжаю теперь — часа, скажем, за два. В самом деле, автобус до ближайшей железнодорожной станции идет минут сорок пять, пятьдесят, иногда час — и дальше, на так называемой электричке, всего за тридцать, предположим, минут, можно доехать до той самой станции, на которой (приехав — с другой стороны, и двигаясь, значит — в мою сторону…) они, Макс и Фридрих, и сошли, должно быть, когда-то.

Все в целом являет собою ряд переходящих друг в друга поселков, как будто зажатых между морем и железной дорогой (между морем и, за железной дорогой, рекою…): не город, но все же и не деревня. Сейчас здесь пусто, тихо (начало весны, сходит снег…) — и эта станция (с ее перроном, скамейками и навесом…), и эти (двухэтажные, по большей части…) дома, и эти кафе на центральной улице (по большей части пустующие…), и эти киоски, ларьки (почти сплошь заколоченные…) — все это выглядит, разумеется, совсем иначе, чем выглядело тогда, тем далеким, почти жарким, когда они приехали, летом. Тогда здесь был *курорт*.

Они поселились на самой шумной, центральной, самой — курортной улице, в небольшом, двухэтажном, с совсем крошечной башенкой над вторым этажом и застекленной верандой (в которой они и жили…) зеленой краской выкрашенном доме, впрочем, отделенном от нее, т. е. улицы, маленьким садиком всего из пяти — или, если считать еще и вон то, чуть-чуть поодаль, — всего из шести деревьев; Макс, просыпаясь, слышал, за окном, за деревьями, далекие голоса, чей-то смех, крик, стук каблуков по каменным плитам улицы, — и когда Фридрих, отдернув шторы, распахивал настежь окно, все это, смех, стук, крик, врывалось, вместе с солнечным

светом, в комнату, — и дальше, целыми днями, было солнце, жара, — песок, пляж, — яркий свет, резкие тени…

Просыпались они довольно поздно; проснувшись, шли к морю, и прежде чем выйти на берег, пили кофе в каком-нибудь кафе на их, центральной, или, скажем, на отходящей от нее и к морю ведущей улице: — и обыкновенно (думаю я…) — обыкновенно в том самом кафе, в том круглом, дощатом павильоне над берегом (сейчас, весною, конечно же, запертом…), где он, Макс, впоследствии, много позже, должен был встретиться и действительно встретился — с Алексеем Ивановичем: — он, Макс, еще ничего не знал, разумеется, об этой, еще не состоявшейся, еще не описанной, но уже, следовательно, вот сейчас и только что упомянутой, занесенной на карту встрече, — и сидя, вместе с Фридрихом, в этом круглом кафе, и глядя, к примеру, в окно, на уже охваченную, переполненную солнцем улицу, не только не думал — об Алексее Ивановиче, но как будто вообще ни о чем не думал. И было, странным образом, — было что-то очень приятное в этой бездумности (втайне задумчивой…) — и Фридрих, сидя напротив, брал чашку, и поворачивался на стуле, и клал руку на столик так медленно, с такой замедленной тщательностью и нескрываемым удовольствием проделывая все эти простые движения, и рука его, наискось перерезанная тенью оконной рамы, лежала так неподвижно, и ее собственная тень так резко обозначалась на белой, блестящей от солнца поверхности столика, — и так медленно проплывали за окнами охваченные, обведенные солнцем тени прохожих, — и шум прибоя, плеск волн, далекие голоса так тихо вплывали в раскрытую дверь, — и не выдерживая этого блеска, сиянья, мерцанья так медленно закрывались глаза, что он, Макс, и в самом деле закрыв их, откидывался, ни о чем не думая, на спинку стула, — и просто сидел так, на стуле, в кафе, чувствуя, может быть, как в нем самом затихает и замедляется что-то, тянется, тянется, медлит, почти останавливается… — он и сам не знал, может быть, что это было… — и вновь открывая глаза, видел, напротив, Фридриха (уже встающего…), видел чашку (с остатками кофе…), и блеск солнца на белой поверхности столика, и пятна солнца на дощатом полу, — и так же медленно проплывали за окнами тени прохожих, и так же тихо вплывали в раскрытую дверь: шум прибоя, плеск волн, далекие голоса…

Он сам не знал, может быть, что это было, но и на море было то же; и то, как медленно, скинув сандалии, опускался Фридрих на уже теплый, уже прогретый солнцем песок, — и он сам, Макс, с той же медлительностью, с той же замедленностью ложился с ним рядом, — и прикосновение песка к подошвам, к ладоням, — и запах

зажженной Фридрихом сигареты, — и скинутая рубашка, — и жар солнца, пробегавший по спине, по плечам, — и шум прибоя, плеск волн, — и тихие, по спине, по плечам пробегавшие дуновения ветра, — и даже шум, голоса, крики, по-прежнему, если уткнуться лицом в песок, казавшиеся бесконечно далекими: — все это доставляло ему, Максу, какое-то, для него самого неожиданное, до сих пор почти неведомое ему, томительное и тягучее наслаждение; и если (так думаю я теперь, выходя, в свою очередь на море…) — если все это было лишь тем же самым, теперь, с появлением в ней Фридриха, уже не покидавшим его, Макса, ощущением жизни (а так оно и было, думаю я…) — то само это ощущение, само это чувство, исподволь и почти незаметно, приобретало, быть может, какой-то, до сих пор почти неведомый Максу оттенок: и как если бы, после всех блужданий, метаний, тоски и спешки, случайных встреч, — и после всех переездов, вокзалов, поездов и автобусов, — жизнь, после всех блужданий и всех переездов оказавшись вдруг здесь, у этого моря, — как если бы она (жизнь…) вдруг чудесно замедлила, почти до полной остановки, свой ход (еще недавно столь поспешный и столь беспорядочный…) — и уже ни к чему не стремясь, ничего не желая, вытянулась, под ярким солнцем, на жарком песке, с тягучим и томительным наслаждением ощущая себя саму.

— Странно, странно все это, — думал он, пересыпая руками песок; и подняв голову, повернувшись, видел смутные, зыбкие, у самой воды, солнечной дымкой обведенные тени, — видел Фридриха, идущего к морю, входящего в воду, — видел чайку, летящую против ветра, — и протяжный, долгий взмах ее крыльев, — и за всем этим, — и как бы над всем этим: мерцающее, огромное, прозрачно-синее, призрачно-голубое, с белыми гребнями волн и далекой, у самого горизонта, белой, дымчатой волной облаков, — переполняющее, в ни с чем не соизмеримую даль уводящее взгляд пространство; и глаза его закрывались, и он лежал так, в солнечной тихой дремоте, ни о чем не думая, на жарком песке, — и шум прибоя, плеск волн, далекие голоса, наплывая: откуда-то, уносили его: куда-то, — и что-то, вместе с волнами, в нем самом, опускалось, поднималось, опускалось опять, — и медлило, и тянулось, и почти, и почти останавливалось…

И когда Фридрих снова ложился с ним рядом, и говорил ему — по звуку голоса улыбаясь — что, во всяком случае, он, Фридрих, целый день здесь лежать не намерен, и что если (они перешли, наконец, на ты…) — *если ты хочешь купаться: купайся,* — Макс, скинув дремоту, но все с той же замедленностью и все с тем же ощущением: солнца, жизни, жары, отзывавшемся в каждом его движении, шел, действительно, к

морю, — и медленно, медленно входил, все глубже и глубже, во все более и более холодную воду, — и вдруг отталкивался ногами, выбрасывал руки, — и был пронзительный холод, веселая дрожь, — и сильными, резкими взмахами, согреваясь, плыл он: все дальше и дальше, заплывал за буйки, — согревшись, поворачивал к берегу, — совсем далекими, маленькими казались ему отсюда скамейки, кабинки, люди на берегу, сосны над берегом, — почти не двигаясь приближался он к ним, — вода держала, прибой нес его, — солнце, мгновенными бликами, пробегало вдруг по воде, — блаженная легкость была в нем.

И он искал, конечно, по-прежнему, и находил, конечно, по-прежнему, ту единственную и неподвижную точку, с которой, только с которой, он мог увидеть, и видел, и море, и облака, и свои же, показывая их кому-то, движения; впервые и как будто впервые открывал он их — произвольность, их совершенную независимость от его, Максова, на них обращенного взгляда.

Сами собою получались они у него, срывались и падали… откуда-то… с той неподвижной точки, быть может, с которой он на них смотрел.

— Сами собою… сами собою…

И уходя вместе с Фридрихом с пляжа, поднимаясь по лестнице, и — все с той же медлительностью, все с той же замедленностью — перекидывая через плечо еще влажное, еще пахнущее водой полотенце, он вдруг останавливался, конечно, и обернувшись, видел вновь пляж, внизу, кабинки, тени их на песке, и… Фридрих звал его… улицу, кафе и клумбы… как будто впервые… и уже на улице, бросив их на теплый асфальт, надевал, конечно, сандалии, и вновь, и вновь перекидывал через плечо полотенце… И что-то, значит, сошлось, наконец: так думаю я теперь; что-то, значит, совпало, сошлось: совсем, совсем неожиданно.

Что-то, значит, совпало, сошлось…; и хотя их — случайная жизнь продолжалась, конечно, по-прежнему, и Фридриховы, к примеру, знакомые, у которых они ночевали в Риге, три недели назад (Хельга и Ингмар; назовем их так; имена их нужны мне…) — Фридриховы, значит, знакомые (Хельга и Ингмар…) навещали их здесь, и все вместе, уже под вечер, отправлялись они в какой-нибудь — говоря языком этой жизни — *бар*, и в баре, после двух-трех *коктейлей*, под шум голосов и ту особого рода музыку, которая играет обычно в барах, кафе — с ее очень простым, но может быть именно потому чудесно усиливающим ощущение жизни ритмом — он вступал в беседу с какой-нибудь — как выражался Фридрих — прелестной и юной особой; и влекущая близость ее, и запах ее духов, и этот простой ритм, которому они отдавались вдвоем, и какие-то, сами собою

находившиеся слова, простые и легкие, и простое, легкое, быстрое, но словно изнутри освещенное, изнутри увиденное движение, которым он подносил спичку к ее, своей сигарете, и такое же легкое, быстрое, внезапным трепетом отзывавшееся в нем, на мгновение, когда, закуривая, она брала его руку в свои…: все это… да, все это продолжалось, конечно, по-прежнему; но как только они выходили из бара — шли, допустим, на станцию: провожать Фридриховых знакомых (Хельгу и Ингмара…) — все это (думаю я…) тут же и вновь совпадало — с чем-то совсем иным (обыкновенно отрицающим — жизнь…); и само это ощущение — жизни, еще раз, меняя свою окраску, оттенок, тут же и вновь оборачивалось какими-то, совсем иными, почти забытыми чувствами, мыслями; и была уже ночь; светила луна; смутные тени возникали среди деревьев; отчетливо, гулко звучали — по каменным плитам улицы — далекие, близкие, его собственные — среди прочих — шаги; и отставая от всех, от Фридриха, от Ингмара и от Хельги, он смотрел им вслед почти так же, наверное, как смотрел бы им вслед вон тот, вон на той скамейке сидящий молодой человек — и как если бы он сам, Макс, уходил вместе с ними все дальше… от себя самого, почти теряясь, почти исчезая…; и все это было так странно; так таинственно, призрачно блестели под фонарем, шелестели под ветром листья какой-нибудь липы; ветви вяза скрывали на мгновенье луну; и в такие минуты все опять казалось возможным; и он вновь чувствовал в себе какую-то, почти забытую им готовность — к каким-то: безоглядным решениям… И в другие дни, вечера они не шли ни в бар, ни, допустим, в кино — вновь выходили на море, шли вдоль моря (уже вечернего, гаснущего…) — и причем обыкновенно *в мою сторону*, все дальше и дальше (но он, Макс, глядя вдаль и шагая вдоль моря, еще не знал, конечно же, не знал и не мог знать, что — вон там, за тем, дальним мысом, до которого они, Макс и Фридрих, ни разу, конечно, не доходили, есть еще одна бухта, и в глубине ее, почти посредине между вот этим, далеким, дальним, но все-таки видимым и еще одним, уже невидимым, неведомым ему, Максу, мысом — некая, очень маленькая, за дюной притаившаяся деревушка, та самая, куда он приехал впоследствии, много позже, в начале июня, — куда и я, теперь, могу, наконец, возвратиться…) — шли, следовательно, все дальше и дальше (в мою сторону, к дальнему мысу…); и где-то рядом с мысом, огромный шар солнца, медленно-медленно падая за воду, в воду, еще отбрасывал — в полнеба, в полморя — протяжные, долгие, по облакам, по воде бежавшие отблески, — и в конце концов расплывался, закатывался, превращаясь, в итоге, в красную, розовую, сужавшуюся, бледневшую, но еще долго, еще бесконечно долго медлившую над морем, над мысом полоску — заката; и чем дальше они шли, тем пустыннее делался пляж: то ли потому, что все уходили с него понемногу, то ли потому,

что они сами, Фридрих и Макс, уходили все дальше и дальше от людных мест, курортных поселков; и в конце концов только редкие, совсем смутные тени, выплывая из сумерек, расплывались во мраке; и вдруг обернувшись, остановившись, видели они, снова, луну, уже встающую над морем, в другой части неба; и тихий свет ее, бежавший к ним по воде; и садились, наконец, на песок; и под шум волн, приходивших из темноты, мерцавших, падавших, вновь отступавших, с безмолвным блеском в серых глазах, с внезапной печалью, проступавшей в них, в них и в голосе, но чуть-чуть, по-прежнему, посмеиваясь над словами, смеясь над собою:

— Да… что же? — говорил, может быть, Фридрих. — Чего мы хотим, к чему мы стремимся?.. Сидеть вот так, на песке… да?.. вот так и сидеть…

Да, вот так и сидеть… И чего же я, в самом деле, хотел, к чему я стремился?.. Ничего больше нет, думал Макс, вот это море, вот эта луна…

И поднимая голову, вновь и вновь видел он это море, эту луну, успокаиваясь… и как будто уже навсегда успокаиваясь, все забывая…; Фридрих же, опять и вслух рассмеявшись, вдруг клал руку ему на плечо; опираясь, вставал; шел к воде; внезапным трепетом, в свою очередь, отзывалось в нем это краткое, легкое, быстрое, раза два или три повторившееся, может быть, прикосновенье.

30

Они прожили так дней десять, две недели, быть может; Фридрих, поначалу с нескрываемым удовольствием предававшийся этой жизни, вдруг явно начал скучать, и ссылаясь на какие-то, с театром связанные дела, предстоявшие театру гастроли, заявил, что пора возвращаться в Москву; Макс, предполагавший возвратиться с ним вместе, решил вдруг, что он, пожалуй, останется и поживет здесь еще немного — один.

И говоря Фридриху, что он, пожалуй, останется, провожая его на станцию и стоя рядом с ним на перроне, он, Макс, то ли вообще не думал о том, как он будет жить здесь — один, то ли представлял себе эту жизнь совершенно такой же, какой она была до сих пор, вместе с Фридрихом; но как только Фридрих, со своей всегдашней легкостью вскочив в подошедшую электричку, в последний раз кивнул ему из окна, и электричка, набирая скорость, отъехала, и он, Макс, остался вдруг совсем один — на вдруг совершенно опустевшем перроне, что-то, удивительным образом, изменилось, и в нем, и вокруг; и все это: этот перрон, эта станция, навес и скамейки, — и желтоватый отсвет

песка между шпалами, — и блеск солнца на подернутой рябью реке, — и газетный киоск перед станцией, — и чайка, с протяжным криком взлетевшая с крыши киоска: — все это увиделось ему как-то совсем иначе, с какой-то как будто — другой стороны, внезапно, горько и радостно.

Он вышел на море; он возвратился домой. Он не знал, чем заняться; он вновь вышел из дому.

Был ветер с моря; были большие, белые, то освещенные солнцем, то, наоборот, скрывавшие его облака; огромная тень их ложилась вдруг на деревья, крыши, клумбы, скамейки; и вдруг как будто соскальзывала с них, исчезала; и вновь, и вновь появлялось откуда-то солнце…

И все уже было иначе; все совпадения кончились; и хотя он, Макс, сидя, к примеру, в том круглом, дощатом кафе, где он так часто бывал вместе с Фридрихом, за тем же столиком и на том же месте, быть может, точно так же, и с той же замедленностью сознающих себя движений, брал в руки чашку, с остатками кофе, и ставил ее на блюдце, и смотрел, конечно, в окно, на вдруг потемневшую, опять просветлевшую улицу, и прислушивался к шуму прибоя, голосам, вплывавшим в открытую дверь…, все это уже как будто говорило ему о чем-то совсем ином, обращало к иному. Впервые — за сколько же лет? — он остался один; он подумал вдруг, что не выдержит одиночества.

— А впрочем…

Он заплатил за кофе; он снова вышел на улицу. Он зашел, уже вечером, в бар; странным, почти невозможным показалось ему сидеть за столиком одному; за стойкой свободных мест не было; он пошел домой, наконец.

И на другой день все было так же — иначе; и лежать на песке было холодно; слишком сильным был ветер; и сидя на какой-нибудь скамейке, над берегом, читая, может быть, что-нибудь — мир названий разбился — отрываясь от чтения, вновь и вновь смотрел он, наверное, на море, с белыми гребнями волн, и вновь, и вновь думал, да, начинал думать, обо всех своих — нерешенностях… И все, конечно же, возвратилось — возвращалось к нему понемногу; и как будто собирая что-то, в себе, вспоминал он, может быть, прошлую, позапрошлую, может быть, зиму, конец ее и начало, осень, ветер, блужданья по городу…; и пошел домой, и вновь вышел на море; и в конце концов, почти незаметно, та веселая, легкая и беззаботная жизнь, которой они жили здесь, вдвоем, вместе с Фридрихом, — жизнь эта, в конце концов, от него отступила: как если бы ее никогда и не было вовсе: или так, может быть, как если бы Фридрих, уехав, увез с собою саму возможность ее.

— А впрочем, хватит, хватит, может быть, убегать…

А впрочем, убегать было некуда. Он остался, еще раз, один; он был вынужден, хотел он того или нет, вновь столкнуться с самим же собою.

Он хотел этого: или так казалось ему.

— Да, хватит, хватит, действительно, убегать…

— И тогда — что же? Вот именно… Да, начать все сначала, продумать свои предпосылки…

Был ветер с моря, как сказано; были большие, белые, освещенные солнцем, скрывавшие его облака; огромная тень их ложилась вдруг на деревья, клумбы, крыши домов; и тогда все это вдруг темнело, стихало…; и дождь налетал вдруг порывами; и потом опять появлялось откуда-то солнце; и капли дождя на деревьях, на ветках и клумбах, загорались, вспыхивали и гасли; и совершенно ясно, в пронзительном, из-за облака хлынувшем свете, проступали все очертанья, всех деревьев, всех веток…

А между тем и как только он остался один, все то, так думаю я теперь, от чего он до сих пор убегал, тут же — и как будто заполняя собою некое, вновь, как только он остался один, в нем самом, Максе, освободившееся пространство — тут же, вновь, к нему подступило; оставшись один, вовсе не был он, разумеется, — то был, то не был он, в самом деле, — один; и шагая, к примеру, вдоль моря, уже, допустим, вечернего, гаснущего, то — терял, разумеется, то вновь находил свою мысль; она же, ускользая от него самого, вновь и вновь превращалась, конечно же, в мысль — для кого-то другого, ему уже неподвластную…

И он вновь, как некогда, принуждал себя, конечно, к усилию; и продлить его… нет, продлить его не мог, в общем, по-прежнему.

И значит… и значит, все было… как же?.. иначе?.. нет, так же, так же, конечно… как тогда, когда-то, давно… и как если бы, возвратившись к себе самому, он застал себя на том же месте, в той точке, где он себя — оставил.

Все было так же; ничего, конечно, не изменилось.

А ничего и не могло измениться… Должно измениться?.. Да, должно измениться…

И вот теперь уже думал он, продумывая свои предпосылки, об Алексее, конечно, Ивановиче, и вспоминал тот разговор, разумеется, который вели они, в моем, так скажем, присутствии, ночью и на бульваре, полгода назад.

— И что если он был прав, в самом деле… и я лишь воображаю себе какое-то… легкое будущее… оно же никогда не наступит…

— Есть ведь только то, что есть… вот сейчас… вот это море, уже вечернее… вот это облако, гаснущее… и вот эта, вот эта, между морем, облаком летящая чайка…

— И ничто, никто… как сказал он в ту ночь?.. ничто, никто не избавит вас от усилия… вот сейчас, вот здесь, в настоящем…

— Вы хотите всего сразу… Ну что же…

И уходя все дальше и дальше от людных мест, курортных поселков, опять и вдруг успокаиваясь, садился он, как пару дней назад, вместе с Фридрихом, на песок, и смотрел, и вновь смотрел, разумеется, на море, еще озаренное последними, розовыми, по облакам, по воде пробегавшими отблесками, с внезапной надеждой.

— Да, действительно, успокоиться, так думал он, может быть, успокоиться, и смириться, и принять, и взять на себя этот… труд жизни, эту последовательность усилий, ежедневно возобновляемых…

— И то, что не получается сегодня, получится, может быть, завтра… И вот так, может быть, постепенно… так, может быть, понемногу… приближаясь к искомому…

Так думал он, следовательно…; и поднимая голову, пересыпая руками песок, вновь и вновь видел луну, в те дни как раз достигшую, может быть, своей законченной полноты и совершенной округлости, и тихий свет ее, бежавший к нему по воде, и возле дальнего мыса, в другой части неба, переходы, провалы последних, еще розовых, еще красных, вдруг сизых, зеленоватых, вечерних, застывших, замирающих облаков…; и ему так хотелось, конечно… ответить, и так упорно и так настойчиво звучал этот тайный, безмолвный, безмерный, ко всей его жизни обращенный призыв, что он, Макс, закурив, может быть, сигарету, не выдерживая волнения… но радостного, но исполненного надежды, вставал; шел обратно; и вновь думал, наверное, что — вот, это только сейчас, вот сейчас…, и чего бы он ни хотел, к чему бы он ни стремился, ничто, никто, в самом деле, не избавит его от усилия…, от этой, так думал он, может быть, перед ним, перед ним, Максом, не перед кем-нибудь, перед ним стоящей задачи.

— Ее нельзя решить… раз навсегда. Ее надо решать все снова и снова… каждый раз заново. И это не может быть легко… это трудно. Пусть так…

— И надо каждый раз начинать все сначала… каждый день начинать все сначала… Ничего еще не потеряно… нет… ничего еще не потеряно…

И с этими мыслями засыпал он, возвратившись домой; с ними же просыпался; начинал все сначала.

И что-то вдруг получалось у него, может быть: здесь; само собою, может быть, получалось вдруг у него; и вновь и вновь принуждая себя к усилию, продлевал, но все-

таки продлевал он, в себе самом, искомую ясность, вожделенную собранность; и отдельные мгновенья, пусть краткие, отрезки временами, пускай небольшие, складывались, может быть, в некое, обнадеживающее и отрадное целое; и ему казалось, наверное, что и завтра все будет так же, может быть, лучше; и вот так, может быть, постепенно… так, может быть, понемногу…

И затем вдруг ничего, конечно, не получалось; все, вдруг, разваливалось; мысли путались; взгляд, не в силах ни на чем задержаться, перескакивал с одного на другое; внимание ослабевало; и как ни пытался он восстановить, в самом себе, вчерашнюю, скажем, ясность, повторить — вчерашнюю собранность, он не только не мог повторить их, но сами эти попытки, сами эти старания уводили его, казалось, все дальше и дальше от искомого, вдруг недоступного.

— Постепенно и понемногу?.. Как бы не так…, — думал он.

— И что-то, значит, неправильно… в чем-то я ошибаюсь… И значит… и значит, должны быть все же какие-то… совсем иные возможности… И… и нужна, конечно, решимость — прежде всего… готовность — к еще не изведанному…

Он чувствовал — он вдруг опять, может быть, не чувствовал в себе этой решимости. Он хотел — он боялся этих решений.

— И никто, никто не знает, конечно, чем все это обернется…

И внезапное, может быть, беспокойство охватывало его, и как бы предчувствие чего-то… мучительного: и как если бы (думаю я теперь…) та, уже давным-давно проступающая на карте, еще не отмеченная, уже упомянутая, для нас обоих, пожалуй, важнейшая, для него, Макса, из всех зим мучительнейшая зима, — зима, о которой он еще ничего, конечно, не знал, о которой он вообще, конечно, не думал, — как если бы, уже надвигаясь, уже — начинаясь, зима, мучительнейшая из всех, уже втайне бросала свой отсвет — свою, точней скажем, тень — на это, еще никакой зимы, конечно, не предвещавшее, еще длившееся — здесь, почти здесь, у этого моря — лишь втайне, может быть, совсем втайне, может быть, клонившееся к осени лето…

И вновь, может быть, хотелось ему — бежать; уехать, к примеру, в Москву, почему бы и нет?..; и с неожиданным для него самого сожалением думал он о той жизни, которой жил в последнее время; о Лизе; о Фридрихе; однажды, через неделю, вновь дошел он до станции, где, в кассе, можно было (и до сих пор можно…) купить билет не только на электричку, но, при наличии свободных мест (говоря языком, для меня, конечно, запретным…) на любой поезд в любом направлении; и занял очередь в эту кассу (там всегда была очередь…); и соскучившись стоять в ней, вышел, вновь, на перрон;

посмотрел на реку, за железной дорогой, луга на том берегу; и ни о чем не думая, не зная, что делать, пошел снова прочь, снова к морю, в тот день серому, пасмурному, с тихим и едва заметным сиянием, пробивавшимся из-за нависших над ним облаков; и стоя у самой воды, под шум волн, набегавших на берег, крик чаек, взлетавших с него, решил, что все-таки нет… нет, он останется.

Он останется — он остался; и хотя уже надвигалась, как сказано, начиналась, быть может, зима, мучительнейшая из зим, еще — еще никакой зимы, разумеется, не было; еще было, все-таки, лето, все-таки море, песок, и сосны, и ветер; и какие-то более ясные, и какие-то более темные дни; и облака, и огромная тень их; и дождь, и капли на ветках; и тот особенный, одновременно прозрачный и пронзительный свет, какой только здесь, наверное, и бывает, и в котором все это вдруг вспыхивало, вдруг, на мгновение, загоралось…

И он опять, и опять успокаивался, и вновь говорил себе, должно быть, что, нет, ничего еще не потеряно, что сегодня не получающееся завтра получится…, и с оживавшими в нем надеждами, лишь изредка его покидавшими, вновь и вновь принуждал себя, конечно, к усилию… как тогда, как когда-то.

Но и что-то еще (так думаю я теперь…) — но и что-то совсем иное, опять-таки, тоже было, пожалуй, и вновь было, наверное, в этих — тоже, если угодно: днях, вновь: неделях.

Уже давным-давно уехал, как сказано, Фридрих; уже все совпадения кончились.

А между тем, оставшись — и вновь оставшись один, Макс, выходя на море, сидя в кафе, и по-прежнему… да, по-прежнему, в общем, следя за своими движениями, и даже показывая их, быть может, кому-то, себе самому…, — Макс, выходя на море и сидя в кафе, по-прежнему — или, может быть, снова, — вдруг, снова, по-прежнему чувствовал и находил в себе ту бездумную, втайне задумчивую, затихающую замедленность, которую он открыл в себе здесь…; и в этой замедленности как будто вдруг отставал — на полшага, к примеру, — от всего, что он видел, всего, что он слышал…; от себя самого…; и ветер с моря, шум волн, свет и тени, дождь, налетавший порывами: все это вдруг так тихо и медленно, так просто и скромно входило, вплывало в его бездумность, втайне задумчивую, и так, в иные минуты, легко было, отставая, ответить…, что он, Макс, — беря в руки чашку и поворачиваясь на стуле, — скидывая сандалии и садясь на песок, — вновь и вновь спрашивал себя, наверное, что это… что это было… и как будто прислушивался к чему-то, в себе, сам не зная и по-прежнему не зная к чему…; и хотя все было — так же, еще раз, и мысль его, конечно, дробилась, и

путалась, и распадалась, разумеется, на какие-то, вполне случайные мысли, ему уже неподвластные, и он собирал их, ловил ее, догонял и одергивал…, — он, Макс, вместе с тем, в то же время, — или сразу после, спохватываясь, — он вдруг смотрел, быть может, на все это… неизменившееся… на эту путаницу мыслей, случайных, на свои же усилия… так же, почти так же, быть может, как смотрел он на, скажем, сосны, очертания облаков… откуда-то издалека… откуда-то: со стороны.

Со стороны и откуда-то: и значит, так же (думаю я теперь…) почти так же, быть может, как посмотрел и увидел он, на бульваре, однажды, ожидая Фридриха, всю свою жизнь: то ли из прошлого, то ли из будущего, то ли — непонятно откуда.

Да, еще раз, она ускользала от него, его мысль, и дробилась, и путалась, он же ловил ее, и догонял, и одергивал, и пытался, и вновь пытался продлить, в самом себе, искомую ясность, вожделенную собранность…; но: откуда-то, непонятно откуда, смотрел он на все это… на свои же усилия, свои же старания… и как если бы все это к нему, Максу, уже почти никакого отношения не имело… или так, может быть, как если бы он, Макс, отставая от себя на полшага, отошел вдруг — на полшага в сторону — от своей же собственной жизни.

Смирение… почти безразличие.

И внезапный ветер, морской, как будто пробивался сквозь этот зазор, эту щель…, и как бы предчувствие, еще раз, каких-то, совсем иных, в самом деле, влекущих, тайных возможностей.

Толпы людей на пляже, на улицах начали тяготить его; оставшись один, он искал одиночества.

А там, за железной дорогой, была, и есть, как уже говорилось, река, странно близко, в этом месте, подходящая к морю, вновь от него отходящая…; мостки и лодки, качавшиеся на воде, ударявшиеся о сваи…; луга на том берегу. Подолгу и очень подолгу сидел он на этих мостках, глядя на воду, читая что-нибудь, ничего не читая. Хмурой рябью подергивалась река; темнела и прояснялась; блики солнца пробегали по ней, по бортам лодок, по сваям; парило и медлило что-то, на другом берегу, над лугами. О чем-нибудь думал он, ни о чем не думал, быть может. И уже ни о чем, быть может, не думая, вновь и вновь всматривался в этот зазор, эту щель: между собой и собой же, в этот словно прохладный, прозрачный, все шире и шире раскрывавшийся в нем промежуток, отделявший его от его собственной жизни, от его же стараний, его же стремлений… даже надежд. Со стороны и откуда-то, со стороны и откуда-то… Ни о чем не думая, ни к чему не стремясь…

Все это тоже и само по себе оборачивалось, конечно: надеждой.

И потому он не уезжал отсюда; почти месяц прожил он здесь; раза два или три, выстаивая очередь (в кассу…), покупал, быть может, билет (в Москву и на поезд…); менял его; оставался.

31

Он съездил в Ригу к Хельге и Ингмару; они тоже навестили его: вместе — с кем же? вот именно — с кем же? Да, здесь, именно и почти здесь, в конце того лета, он, Макс, впервые познакомился — с Соней: с Соней (думаю я теперь: тоже здесь, именно здесь…) — с Соней, уже так давно появившейся — на этих страницах, уже так давно исчезнувшей… нет, вовсе, вовсе не исчезавшей — с этих страниц.

Они вышли все вместе на море; был уже вечер; Ингмар и Хельга обогнали их на пару шагов. Он спросил ее, чем она занимается; он сообщил ей свои собственные, вполне внешние обстоятельства. Ах, вот как, он тоже живет в Москве? Она тоже? Да, она тоже. И она уезжает в Москву, завтра вечером.

— Жаль, — сказал Макс.

Она улыбнулась; она посмотрела на море, протяжные отсветы, бегущие по воде, отражения облаков, далеких и гаснущих.

— Да, жаль, — сказала она.

Ингмар окликнул их.

И — все? Все. Он даже не спросил ее телефона в Москве; он проводил их на станцию, всех троих; он постоял еще немного, один, на опустевшем — и совершенно опустевшем перроне.

32

И когда он возвратился в Москву, Макс, — та, уже давным-давно проступающая, уже, если угодно, отмеченная на карте зима, медленно, очень медленно на него надвигаясь, как будто вбирая его, Макса, как будто впуская и втягивая его в себя — и как если бы (или это так кажется мне: теперь…) — как если бы она ждала его там, в Москве: — дождавшись, короче, его возвращения, зима, сразу же, хотя и очень медленно, началась.

А ведь между летом, с одной, и зимою, с другой стороны, бывает обычно — осень. Бывает: обычно. Но тогда, там (думаю я теперь…) никакой осени не было. Он возвратился в Москву, Макс, — и это было, сразу же: началом зимы, — введением в зиму; — и длилось это начало, это введение очень долго, целую, может быть (им, Максом, едва ли вообще замеченную и если отмечаемую мною, теперь, то лишь как простое введение, простое начало…) — целую, значит, осень.

— И когда он возвратился в Москву, Макс, в этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, тогда — что, собственно?

Лишь некая осень, простое введение, отделяет, его и меня, от этой, уже начавшейся, если угодно, зимы. — Там (думаю я…) — там все линии сходятся; — и по какой бы дороге я ни пошел, любая дорога (думаю я…) — любая дорога приведет меня к этой зиме (уже, если угодно, начавшейся…).

Он же, Макс, — он шел к ней по всем дорогам: одновременно и сразу.

Он шел к ней сразу по всем дорогам; — он возвратился, значит, в Москву, в этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город, — в этот город, где старое так причудливо сплетается с новым, дозволенное с запретным, еще возможное с совершенно немыслимым, — и приехав с вокзала домой, в свое решительно неописуемое, из всего неописуемого самое неописуемое жилище, — занеся чемодан в комнату (и тут же задернув, наверное, шторы…) он, Макс: — а впрочем, думаю я, пойдем, для начала, по вот этой, к примеру, дороге…: он, Макс, в тот же день, например, позвонил, разумеется, Фридриху.

Он позвонил Фридриху и встретился с ним: в конце бульвара, к примеру. Он был рад этой встрече, — и Фридрих, появившись, как некогда, из глубины — бесконечно прямой, в бесконечную даль уходящей, уже начавшей, быть может, желтеть, но еще переполненной, разумеется, сумраком, тенью листвы и пятнами солнца аллеи, — Фридрих, приблизившись, улыбнулся и взял его под руку, — и он, Макс, снова, в то же мгновение, почувствовал, в себе и вокруг, что-то веселое, быстрое, легкое, — и они, Фридрих и Макс, снова, как прежде, поехали, должно быть, к каким-то (так и оставшимся, следовательно, по ту сторону моей истории: если это история…) персонажам их жизни, — и эта жизнь (здесь, думаю я, здесь, у этого моря, так легко, почти незаметно от него отступившая: как если бы ее никогда и не было вовсе…) — эта случайная жизнь вновь, следовательно, его обступила, и он, Макс, уже готов был ей снова отдаться: и как если бы, в свою очередь, никакого моря, никакого лета и вовсе не было — никогда…

Оно было, однако, это море — и это лето (и этот песок, эти сосны, этот свет, пронзительный и прозрачный…). Все это было, однако; — и после всего этого (после этого лета, после этого моря — и всех надежд, и всех мыслей, оживших в нем здесь…) та — случайная жизнь, которой, еще весною, он жил в Москве, вместе с Фридрихом, уже не только, или почти, не давала ему ни прежней радости, ни прежнего ощущения — жизни, но как будто вообще не удавалась, не давалась ему; он стремился к иному; уже через несколько дней он почувствовал ее — невозможность.

— Нет, хватит, хватит… так не может более продолжаться…

И когда он возвратился в Москву, Макс, — Москва (этот огромный, таинственный, невероятный, самый странный на свете город…) — Москва поразила и ужаснула его, должно быть, как будто он очень давно — как будто он никогда ее раньше не видел.

Был — когда он вернулся — был, наверное, совсем еще летний (лишь с первым намеком на осень…), еще совсем по-летнему жаркий и душный день; он сошел с поезда, взял такси — и вот: улицы, мостовые, дома, и раскаленный на солнце асфальт, и машины, и шум, и грохот, и — нет, нет, я не описываю…: все это вдруг надвинулось на него (откуда-то…) — и он, Макс, с еще почти мучительной ясностью помнивший: море — и сосны, и ветер, и облака, — почти с ужасом смотрел, должно быть, вокруг.

И когда машина взлетела на мост, Макс, ужасаясь, увидел, наконец, свое собственное, из всего неописуемого самое неописуемое жилище, темной громадой нависавшее над рекою…

Он занес чемодан в комнату — и тут же задернул, наверное, шторы.

— И мне, думал он (задернув шторы, осматриваясь…) — и мне придется здесь — жить?..

Он позвонил Фридриху, — и встретился с ним, — и они, Фридрих и Макс, снова, как прежде, поехали, должно быть, куда-то, к кому-то…; — но если (так думаю я теперь…) — если он, Макс, втайне надеялся и втайне рассчитывал, что, с течением времени, он просто-напросто привыкнет ко всему этому: к этому городу, этим улицам, этому дому и этим домам, — то он, Макс, конечно же , ошибался, и чем дальше шло время, тем острее чувствовал он — невозможность: невозможность, опять-таки: этих улиц, этого города.

— А ведь там (думаю я теперь…) — там, в этом городе (огромном, невероятном, таинственном…) — там были ведь и какие-то старые, какие-то, еще все-таки — возможные улицы, переулки: дома, проходы, дворы…; и я: я сам жил когда-то на такой

улице, в таком дворе, в таком доме. Но он, Макс (возвратившись в Москву…) — он как будто не замечал ничего этого; он видел лишь новое, ужасное, неописуемое.

Он видел лишь новое, ужасное, неописуемое; — и он не только не мог привыкнуть — он, на самом деле, и не хотел привыкать к этому городу, дому, домам; слишком ясно помнил он море (сосны, ветер и облака…); и шагая по какой-нибудь новой, да, неописуемой улице, среди шума, и грохота, и машин, и прохожих, и — нет, нет, я не описываю… — пытался, наверное, и разумеется, вполне безуспешно пытался снова вызвать в себе то ощущение: отстраненной замедленности, которое открылось ему, как сказано, здесь, этим летом, у этого моря. Но ни о какой замедленности, ни о какой отстраненности, не могло быть, конечно, и речи; было лишь возбужденье, усталость, спешка, торопь и оторопь…; и — и вновь, конечно же, как только он возвратился в Москву, — вновь, конечно же, подступило к нему все то, от чего он, еще весной, например, убегал, вся эта, как писал я когда-то, его собственная и все-таки чуждая ему самому, как бы внутренняя и все-таки внешняя жизнь — не-жизнь, если угодно.

Она подступила к нему — она обрушилась на него; он пытался — он не мог собрать свои мысли; он был — он не был, конечно, один; и не глядя вокруг, не в силах остановиться, все быстрей и быстрее, по какой-нибудь новой, ревущей и призрачной улице, среди шума и грохота, обращаясь к кому-то… — нет, нет, я не описываю…

Он сам не знал, разумеется, что ему делать.

— Бросить все (вдруг спохватываясь…) — уехать… уехать куда-нибудь…

Он не мог, однако, уехать. — Уже была, как сказано, осень, и он, Макс, снова, каждое утро, должен был платить свою дань: ненавистно-неописуемому.

— И когда он возвратился в Москву, наконец, та, принудительно-обязательная, подавляюще-безусловная, втайне и даже откровенно сомнительная, — та, тоже, если угодно, жизнь, — не-жизнь, если угодно, — к которой, как сказано, все мы были когда-то причастны, в которой все мы участвовали, — жизнь эта поразила и ужаснула его, должно быть, как будто он очень давно, — как будто он никогда не жил ею раньше, — или так, может быть, как будто он просто-напросто забыл о ней, забыл ее: здесь, у этого моря. Он же и в самом деле забыл ее: здесь; он, Макс, целое лето вообще о ней, должно быть, не думал; и когда (возвратившись в Москву…) — когда он, Макс, на следующий, к примеру, день отправился в свое учебное, вновь скажем так, заведение, с его бессмысленными и вполне бессмысленными собраньями, лекциями…: но нет, нет и нет, я не могу, не должен и не буду ее описывать, эту жизнь, решительно

неописуемую… Она надвигается, она охватывает; не участвовать в ней мы не можем; и хотя реальность ее сомнительна, реальность ее, в то же время, несомненна — как боль. Она и обрушилась на него как некая боль; он не мог не участвовать — не мог… нет, не мог больше и участвовать в ней.

А ведь он, Макс, — еще весной, например, — он, как сказано, убегал от нее — и от нее, среди прочего — в откровенно-внешнее, необязательно-легкое.

Но и эта, случайная, жизнь не удавалась, как сказано, не давалась ему теперь; завеса, почти на каждом шагу, разрывалась; что-то тяжелое, трудное, горькое, все ясней и отчетливей, проступало за нею; и он не только не перескакивал через это *что-то*, легко и уверенно, — он, Макс, почти на каждом шагу спотыкался — останавливался: в тоске и испуге.

И все это, внешнее, внутреннее, подавляюще-безусловное, откровенно-случайное, — все это складывалось как будто, — уже сложилось, — в некое целое, со всех сторон, изнутри и снаружи, его обступавшее…

— Выйти и вырваться, думал он, выйти и вырваться…

Но как же вырваться? как же выйти? что делать?

— Жизнь (думаю я теперь…) — жизнь (но уже в каком-то ином, в каком-то — подлинном, может быть, смысле…) — жизнь вновь нашла свою тему… она же и не теряла ее… жизнь, как бы то ни было, вновь столкнулась с самой же собою; и как ни пытался он, по привычке, просто жить дальше, что-то не получалось, что-то как будто разваливалось; через две, три недели он оставил свои попытки.

Да он вовсе и не хотел этого… просто жить дальше; он стремился к иному; он скорее готов был отдаться: боли, беде и отчаянию, чем жить дальше так, как он жил до сих пор.

В беде и отчаянии была, по крайней мере, некая достоверность, несомненность и убедительность. Страдать и мучаться значило все-таки: жить.

Он был готов к этому (или так казалось ему…); со всей решительностью шел он на обострение, на столкновение: с внешним и внутренним, сомнительным и случайным, с не-жизнью, с жизнью, с самим же собой.

Все это словно бросало ему некий вызов: отчаяние было его ответом.

И уже почти не встречаясь более с Фридрихом, не встречаясь — или, может быть, лишь однажды встретившись, после своего возвращения, с Лизой, удивленной и разочарованной его — мрачным видом, как она выразилась, — и уж тем более не встречаясь ни с кем из прочих (не взятых мною на эти страницы…) персонажей его

прошлогодней, случайной, и теперь уже без всяких сомнений закончившейся, или, вернее: им, Максом, законченной, завершенной и оборванной жизни, — все решительнее углублялся он, все глубже и глубже проваливался: в свою собственную, в свою подлинную, если угодно, жизнь, — в зиму, уже, если угодно, начавшуюся.

Все реже и реже выходил он на улицу; платил свою дань — возвращался домой.

И надо было делать что-то, надо было что-то, немедленно, делать; и — вновь, и вновь вспоминал он, разумеется, море, ветер, облака и надежды — уже, в общем, покинувшие его.

Они покинули его, разумеется; никакой замедленности, никакой отстраненности уже, как сказано, не было; ни о каком спокойствии не могло быть, конечно, и речи; и то, что здесь, у этого моря, еще казалось ему возможным, там, в шуме и грохоте, оказывалось — совершенно немыслимым.

— Постепенно и понемногу? Как бы не так…, думал он.

— А ведь и это все то же, — так он однажды подумал: заплатив свою дань и возвращаясь домой, — да, все то же стремленье к какому-то… легкому?.. к какому-то, во всяком случае, замечательному, превосходному, — так подумал он, — будущему… в котором все совпадет, все сойдется, которое… никогда не наступит…

Он остановился, конечно; он провел рукой по лицу; как некогда и как будто впервые, посмотрел, увидел он знакомый ему переулок; дома и окна; желтые листья.

— Да, все то же, все то же… одно и то же стремление…

И что-то, значит, неправильно… в чем-то я ошибаюсь…

И хотя он еще пытался, быть может, что-то как-то собрать, что-то как-то — наладить, ничего, конечно, не получалось, все, конечно, разваливалось; чем дальше шло время, тем яснее видел он невозможность: невозможность, еще раз: что-то наладить, что-то как-то собрать.

Он принуждал себя, конечно, к усилию (что, собственно, ему оставалось?..); он не верил в него, разумеется.

— Нет, думал он… вновь думал он, это все-таки должно быть… да, должно быть легко и получаться само собою, все это… трудное…

— Должно быть… должно быть…

— Ну а если не получается… тогда: что же?..

Беда и отчаяние.

— Нет… нет, думал он, все не так… И все мои построения неверны, и все мои мысли ведут не туда… никуда не ведут…

И так прошел месяц, — два месяца, — опали листья и выпал снег; — и когда он выпал, однажды, Макс (все реже и реже выходивший, как сказано, из дому…) — Макс, уже вечером, в сумерках, вышел, однажды, на улицу, — переехал, на троллейбусе, через мост, — и пошел куда-то, почти не глядя и почти не думая, может быть, куда он идет. И что-то странное было в тот день на улицах, в городе, что-то особенно тягостное, возбужденное, тревожное, зыбкое…; но он, Макс, отдавшись своим собственным, тревожным, и зыбким, и тягостным мыслям, — и тому беспокойству (так думаю я теперь…) — которое, может быть, и заставляло его идти (все дальше и дальше, куда-то…) — почти не смотрел, быть может, вокруг, — и только исподволь, краем глаза, не задумываясь, проходя мимо, замечал, может быть, что-то особенное, очень странное: на улицах, в городе — и как бы некий оттенок, лежавший в тот день: на стенах домов, на снегу, на машинах, на лицах, на стеклах… Он пошел переулками (и там, в переулках, — там было тише, — падал, крупными хлопьями, снег, — таял, не долетев до земли, — последние желтые листья еще лежали, может быть, по краям мостовой…) — прошел, не заглянув в нее, маленькую, в снегу и в сумерках исчезавшую площадь, — дошел до бульвара: — но та, любимая им, бесконечно-прямая аллея уже расплылась: в снегу, в сумерках, в талой воде, — и что-то странное было вокруг, — что-то тревожное, зыбкое, — и он сам не знал, куда он идет, — и шел все быстрее, по широкой, главной аллее, по талому снегу, по лужам, — и с каждым шагом беспокойство его возрастало, — и он шел так, как будто пытался, действительно, выйти: откуда-то, — и он не мог, конечно же, выйти…

Что-то путалось, что-то кружилось; что-то вдруг вспыхивало, что-то вдруг гасло; и он шел все быстрей, все быстрее, то — обращаясь к кому-то, говоря — кому-то — что вот, он хочет лишь выйти и вырваться, выйти и вырваться…, и что он не хочет, не хочет, не хочет ни с кем говорить…, — не в силах не говорить, бросая вызов, обращаясь к кому-то, — то вдруг оставаясь один — наедине со своим беспокойством, тревогой (болью, бедой и отчаянием…); и пройдя бульвар целиком, вышел, наконец, на широкую, шумную, в самый центр города ведущую улицу (и здесь совсем было странно, и на всем, на мостовой, тротуарах, на машинах, на лицах, на стеклах, лежал некий отсвет, тревожный и зыбкий…) — пересек ее, свернул в переулок, — налево, направо и еще раз налево, — и прошел, может быть, совсем рядом с тем домом, где сам я когда-то жил, — и лишь увидев, сквозь снег, сумерки (сквозь боль, беду и отчаяние…): кирпичную кладку стены, и арку, и башенку, свернув в эту арку, — пройдя первый, большой двор, — второй, поменьше, — и оказавшись, значит, в том самом, совсем маленьком дворике (с

его крытой галереей и покосившейся лестницей…), куда мы заходили так часто вместе с Верой, прошлой зимою (и который, не помню уже при каких обстоятельствах, я показал, в свою очередь, Максу…), — сел на скамейку (ту самую…): и здесь, может быть, успокоился.

Успокоился? — Нет; но что-то вдруг словно прояснилось в нем; сумятица, смута и путаница отступили от него на мгновение.

— Все не так, — снова подумал он. — Все не так, все неправильно…

Здесь было тихо, совсем тихо, в этом маленьком дворике; падал, крупными хлопьями, снег; таял, не долетев до земли; светилось, над галереей, окно; и укрывшись здесь, под навесом, от снега и холода, от ветра и сырости, Макс, с той внезапной, тревожной, — с той всегда новою ясностью, которая приходит к нам всякий раз неожиданно, всякий раз как будто впервые, — и по сравнению с которой все кажется смутой, сумятицей, — Макс, укрывшись и замерев, почувствовал вдруг, что — вот сейчас, вот сейчас — что-то, быть может, решится…

— Все не так, все неправильно… И все мои построения неверны, и все мои мысли никуда не ведут…

— Я думал, я знаю, чего хочу. Я не знаю, я не могу этого знать…

— И нужна, конечно, решимость — прежде всего, готовность — к еще неизведанному…

— Должно возникнуть что-то совсем иное… все должно измениться. Но я, здесь и отсюда, замкнутый, запертый в этой жизни, я не знаю, и не могу, и не должен знать, что это будет…

Он встал; опять сел; закурил сигарету.

— Идти, не зная, куда идешь… Но важно идти, вот что важно…

— Выйти и вырваться, — думал он, — выйти и вырваться… А я как будто сам загоняю себя во что-то…

— Вот именно… я сам загоняю себя во что-то…

— Я заставляю себя, я принуждаю себя к усилию… И как если бы я обязан был… думать, смотреть. Но я не обязан… я хочу этого… я не знаю, чего я хочу…

— Искомая ясность? вожделенная собранность? Нет, это все не так, все неправильно… И я должен понять все это, разобраться во всем этом, разобрать… да… разрушить что-то в себе…

— Разобрать и разрушить… неправильное, никуда не ведущее…

И покуда он сидел так и думал, совсем, должно быть, стемнело; падал снег, горело окно; и какие-то тени двигались там, за окном; кто-то выглянул на галерею; открылась и снова закрылась дверь; — а он все сидел и сидел так, на скамейке, под навесом, укрывшись, — курил: одну сигарету и сразу за ней другую: — и как будто пытаясь что-то продлить, что-то, быть может, додумать, — и уже понимая, быть может, что, когда он встанет, уйдет, и сумятица, и смута, и путаница снова его охватят, — и что это, увы, не конец, а скорее начало: боли, беды и отчаяния.

— Ну что же, пускай беда, пусть отчаяние… Все должно измениться, что-то совсем иное — возникнуть. И это будет мучительно; я знаю; пусть так…

— Вот, — думал он, — вот, мысль уже слабеет, и путается, и повторяет себя саму… Но я еще сижу здесь, на этой скамейке, под навесом, укрывшись… и все-таки есть… есть, конечно, какие-то, совсем иные возможности… источники жизни… Найти их… искать их… пускай в беде, пусть в отчаянии…

И как бы (думаю я теперь…) — и как бы ни пытались мы что-то продлить, мы не властны, увы, продлить: что бы то ни было, дальше некоего, заранее отмеренного, может быть, срока; и закуривая: четвертую или пятую, может быть, сигарету, он вдруг снова почувствовал: прежнее беспокойство, тревогу, и как бы нарастание: боли, беды…; что-то, действительно, спуталось; что-то, в самом деле, смешалось; и он встал, опять сел, опять встал: и в последний раз посмотрев на галерею и лестницу, навес и скамейку, пошел, следовательно: куда же? Домой?

— Да, домой… куда же еще?.. Идти больше некуда, вот в чем все дело…

— А как бы хотелось вернуться и вправду: домой…

Что он имел в виду? Он и сам не знал, может быть…

Уже все кружилось, все путалось; уже было совсем темно; горели, сквозь снег, фонари; и какой-то, очень странный, оттенок, какой-то отблеск, тревожный и зыбкий, лежал по-прежнему: на стенах домов, на снегу, на машинах, на лицах, на стеклах; и чем дальше он шел, тем более возбужденными, шумными были улицы — и тем сильнее делалось ощущение чего-то особенного, уже готового, быть может, случиться. И когда он, Макс, в тоске и спешке, в беде и отчаянии, не глядя вокруг (и вновь пройдя, может быть, совсем рядом с тем домом, где сам я когда-то жил…) — когда он снова вышел на широкую, шумную, в самый центр города ведущую улицу: — там, на этой улице, — там вовсе не оказалось, к примеру, машин, но прямо по мостовой шли какие-то люди, что-то кричали и что-то несли, и что-то вспыхивало, загоралось, светилось, и это было — как некий толчок, внезапно его разбудивший.

— Город (думаю я…) — город справлял в тот день один из своих — неописуемых: разумеется — праздников; он вспомнил об этом: только сейчас. И вспомнив, стоял в растерянности, на тротуаре; и мимо шли люди, люди, толпы людей; и что-то кричали, что-то несли; и что-то вспыхивало, что-то светилось; и призрачным блеском отсвечивала мостовая, люди, лица, толпы людей, снег, снежная слякоть.

— Перейти эту улицу… как можно скорее…

Но перейти ее оказалось совсем не просто. Кто-то толкнул его, кто-то окрикнул, задел плечом, схватил за руку: и бесконечно далеким, недостижимым казался ему — противоположный, спасительный тротуар.

Он взглянул вверх: неба не было.

Был только разорванный флагами мрак, — и снег, и снежная слякоть, — и толпы лиц, и толпы людей, — и резкие крики, и красные отсветы…; и когда он, Макс, вышел — вместе с толпою — на совсем и совсем широкую, безмерной ширью перед ним лежавшую площадь: — там совсем было странно, совсем было страшно; и длинные, косые полосы света кромсали и резали мрак, снег; флаги и лица; и пронзительно острым, ужасным было вдруг охватившее его чувство бессилия: перед этой толпой, этой площадью — этим городом, этой жизнью…

Но он все-таки вырвался из этой толпы, убежал с этой площади; и вскочив, может быть, в уже отходивший троллейбус, — и вновь, наконец, возвратившись домой, — закрыв дверь и задернув шторы: нет, нет — думал он — так не может, не может, не может более продолжаться.

Так не может более продолжаться…; и после долгой, мучительной, наполовину бессонной, наверное, ночи, он, Макс, — на следующий день — не встал с постели и не пошел: никуда; почти до вечера пролежал он: лицом к стене, отдавшись: боли, отчаянию; и лишь через два, через три, через пять, может быть, дней, вновь (с тайной дрожью и не очень веря в успех…) — рано утром и по уже зимним, заснеженным улицам, отправился…: нет, он вовсе не намерен был больше платить свою дань, но весьма решительно и вопреки всем препятствиям и всем возражениям, выговорив себе — у ненавистно-неописуемого — целый год свободы (что, в конечном счете, оказалось совсем не так трудно, как он ожидал…) — вновь, теперь уже окончательно, возвратился домой, — вошел в комнату, закрыл дверь, задернул шторы, помедлил…: осень (думаю я…) — осень, введение, кончилась, зима же, действительно, началась.

33

И вот так (думаю я теперь…) — вот так, раскачиваясь: между выходом в мир и уходом в себя, — то устремляясь вперед, то поворачивая обратно, — вот так и движется наша жизнь: куда-то…

Зима началась, следовательно; — но если (так думаю я теперь…) — если предыдущая зима была теплой, темной и снежной, а за два года до этого — ясной, крепкой, морозной, — эта была: какой же? Он, Макс, почти не заметил ее, быть может; но и я (теперь, здесь, поворачивая…) — как я ни всматриваюсь, как ни напрягаю я зрение — я вижу лишь отдельные дни, совсем непохожие друг на друга. Она была пасмурной, солнечной, — холодной и теплой одновременно; была пурга, была слякоть; был мороз, была оттепель; — и как ни пытаюсь я составить из всего этого нечто целое, некую зиму — все это кружится, кружится предо мною, наплывает, расплывается, исчезает… Она была никакой, одним словом; — но это вовсе, конечно, не значит, что ее — не было. Она была, без всяких сомнений; и она была долгой, мучительно долгой, эта зима; она тянулась, и длилась, и медлила; — и он, Макс, уже почти не верил, быть может, что она когда-нибудь — кончится.

А впрочем (думаю я…) — сколько же времени она, собственно, длилась? Она (так думаю я теперь…) — странным, и удивительным, и даже, отчасти, пугающим меня образом, совпала — для него, Макса, — с зимою: в самом простом, самом обычном, календарном понимании этого слова. Пошел снег: зима началась; — и потом, когда снег перестал — и растаял: зима, сразу же и во всех смыслах, кончилась; и он, Макс, как будто вдруг вышел и выскочил из нее: во что-то иное, на нее, зиму, совсем, совсем непохожее…

И значит (думаю я теперь…) — речь идет, значит, о каких-нибудь четырех, или, допустим, четырех с половиною месяцах. — Но для него, Макса, эти четыре (с половиною, предположим…) месяца — эта зима, следовательно: для него она длилась не просто долго — мучительно долго; он не знал, разумеется, не знал и не мог знать, как и чем она кончится; конца ей, во всяком случае, не было видно; он, Макс, уже почти не верил в него, быть может: и как если бы (так думаю я теперь…) — как если бы, отдавшись ей, этой зиме, он шел вместе с нею — как если бы она вела его не куда-то вперед (к некоей, скажем, весне…) — но как если бы она уводила его куда-то в сторону, все дальше и дальше: по каким-то (думаю я…) — по каким-то своим, тайным,

и зимним, и темным, и запутанным, и опасным, и затерянным, в снегу, в темноте исчезавшим, терявшимся тропам…

Я очень часто виделся с Максом в ту зиму: чаще, быть может, чем когда-либо раньше, когда-либо позже.

И всякий раз, когда я видел его, — всякий раз, когда я приходил к нему, например, — поднимался на лифте, нажимал на кнопку звонка (и всякий раз, очень долго, он, Макс, не открывал мне, я помню, дверь: и в этом ожидании, перед дверью, было что-то томительное, тревожное, странное…) — всякий раз, когда я входил, наконец, к нему в комнату, меня тут же — как некий запах, как некое чувство — охватывало, я помню, нечто, сотканное (казалось мне…) из беды и отчаяния, беспокойства, табачного дыма, бессонницы, тайных усилий.

Я сам не знал, разумеется, что мне со всем этим делать; я приходил к нему, разумеется, из какой-то, совсем иной, своей собственной жизни; я приносил ее, конечно, с собою; она оказывалась — здесь, в его комнате — чем-то решительно неуместным, невозможным, ненужным; раза два или три я попытался, я помню, заговорить с ним о моих собственных обстоятельствах, планах (связанных, к примеру, с театром: на маленькой площади…); он не отвечал мне; смотрел в сторону; мне делалось стыдно; мы оба молчали. Но и заговорить с ним — о нем я тоже, разумеется, не решался; решился — однажды; он посмотрел на меня с упреком; ничего не ответил. И только изредка, как будто не в силах более сдерживаться, он сам вдруг начинал говорить, и говорил в таких случаях очень быстро, шагая по комнате, останавливаясь: у окна, вновь принимаясь ходить: и обращаясь как будто не ко мне, — к кому-то другому, — к себе самому, — ни к кому…; и это было самое, пожалуй, мучительное; молчание было легче.

Но я все-таки заходил к нему: раз в неделю, в десять дней, например; и просидев у него, Макса — в табачном дыму, в отчаянии — полчаса, час, вновь — почти с облегчением и в то же время с чувством бессилия, почти унизительным, — вновь, следовательно, возвращался в свою — совсем иную, разумеется, жизнь; к своим собственным планам, обстоятельствам, помыслам.

Мне тоже (так думаю я теперь…) — мне тоже виделось некое заострение; обострение; столкновение: с чем-то; скрещение неких линий; неких, может быть, тем.

Театр, как сказано, некий — нет, теперь уже вполне определенный: на маленькой площади, — театр, следовательно (на маленькой площади…), уже втайне присутствовал

в моих, еще бесконечно-далеких от осуществления, но уже, с неведомым прежде упорством, стремившихся к осуществлению планах, надеждах и помыслах. Я не знал по-прежнему, что мне с ним делать; я понимал, по-прежнему, что обойтись мне без него не удастся; я вспоминаю теперь, вновь вспоминаю теперь, какие-то — да, опять какие-то ночи, отчасти бессонные, когда я вдруг видел его, театр, видел зал, видел сцену, фанерные кресла, черные окна, удивительно ясно… И что-то (казалось мне…) — да, что-то, уже неотделимое от моей, уже упорно стремившейся к осуществлению истории, — от ритма ее и замысла, — что-то должно было случиться там, на этой сцене, в этом театре… но я еще сам не знал, опять-таки, что.

Я еще сам не знал что; я видел лишь — удивительно ясно — скрещение неких линий; неких, может быть, тем; и некое заострение; и некое, решительное, взаимодействие.

И я по-прежнему ходил, конечно, в театр, наяву, на маленькой площади (и всякий раз, когда я входил в этот зал, его волшебное сходство с тем, ночным, моим залом поражало меня, я помню; и фанерное кресло скрипело подо мною — протяжным, долгим, пронзительным скрипом; и были — наяву, в самом деле — черные окна, белые стены; и это единственное, всякий раз волнующее мгновение, когда гаснет свет, и все затихает, и нечто уже готово начаться, но еще медлит — неизвестно где, за кулисами; и мне всякий раз казалось, я помню, что — вот сейчас, вот сейчас — кто-то, из моей истории, выйдет, быть может, на сцену…); я ходил, значит, в театр; я посмотрел, еще и еще раз, тот, первый спектакль (тайный прообраз…); посмотрел, в конце концов, и все остальные, более или менее удачные, совсем разные, конечно, спектакли (я уже не находил в них — почти никаких соответствий; отмечу лишь, мимоходом, некую — лишенную, впрочем, тех, так пленявших меня в первом спектакле, темнот, потаенных глубин — построенную, однако, на том же самом, лишь более очевидном, а потому и не столь таинственном, несовпадении актера с ролью — легко и уверенно сыгранную комедию: ту самую комедию, собственно, которой репетицию видел некогда Макс…); я ходил, значит, в театр, еще раз; я виделся, и даже довольно часто виделся, с Фридрихом (почти всякий раз я ждал его, после спектакля, в уже пустом, уже темном зале, один; и мы выходили вместе на улицу, шли ко мне, или ехали, допустим, к нему, или еще, быть может, к кому-то: я тоже, следовательно — но, впрочем, скорее в скобках — я тоже, пускай лишь в скобках, отчасти, жил той случайной, веселой и легкой жизнью, которую он, Макс, осенью, в начале зимы, так резко и так решительно — так мучительно — оборвал…); я виделся, значит, с Фридрихом; я познакомился с Перовым (просто Перовым…); с Лизой (спросившей меня о Максе…), с Марией Львовной (как-то, после спектакля, предложившей мне проводить ее до дому;

лиловый и фиолетовый запах ее духов мешался, я помню, с запахом снега, мороза…); — и вдруг отрываясь от всего этого — от всей этой, если угодно, жизни — вновь отдавался своим, пленительно-чистым, ночным и абстрактным видениям, гасил свет, лежал в темноте.

— Да, отказаться от всего случайного, необязательного… от всякой жизни: на сцене…

— Но вместе с тем, еще и еще раз, сделать случайное — неизбежным, неощутимое — осязаемым…

Они возвращаются — они уже не могут ко мне возвратиться, эти ночи, отчасти бессонные. Одну из них, как бы то ни было, решающую, может быть, ночь, я все-таки вижу, отсюда: почти так же ясно, быть может, как, в ту ночь, увидел я некий выход: на всеобщее обозрение.

— Разыграть то, что разыгрывается само по себе… какая возможность…

— И значит, все остается само собою… сцена сценой, актеры актерами… И все, что происходит, происходит вот здесь, вот сейчас… не отсылая никого, никуда…

— И кажется, что это еще не спектакль, вообще не спектакль…

Я лежал в темноте, в тишине, прислушиваясь, замерев. Я видел, как обычно, театр: белые стены, черные окна, фанерные кресла…; и вот: медленно, мучительно медленно, из-за кулис, на всеобщее обозрение…

— Да, медленно, мучительно медленно, с трудом и усилием проделывая каждый свой шаг, еще раздумывая, еще не решаясь, выходит он, из-за кулис, из темноты, тишины и укрытости — на беспощадно освещенную сцену, на всеобщее обозрение…; он идет по ней, очень медленно; он останавливается, наконец, перед рампой; он начинает, наконец, говорить.

— Вот я стою здесь, стою перед вами. Я смотрю в зал, я говорю. Я еще сам не знаю, что я скажу. Я стою здесь — один…

Он говорит — с трудом и усилием подбирая слова, еще раздумывая, еще не решаясь.

— Я стою здесь — один, один на сцене, один перед залом. Я смотрю в зал, я говорю…

И — что же, что же он говорит? (Я лежал по-прежнему в темноте…) Он говорит, что здесь, как не трудно догадаться, театр, что он сам, как не трудно догадаться, актер.

— Но я отказываюсь, так говорит он, я отказываюсь играть… Я сорвал, быть может, спектакль… мне все равно…

И он говорит все быстрее; он начинает ходить, все быстрее, по сцене.

— Мы должны были играть здесь… какую-то пьесу… неважно какую. Но я отказываюсь, отказываюсь, отказываюсь играть… Я хочу сказать вам… я должен сказать вам… нет, я еще сам не знаю, что я скажу…

Все быстрей и быстрее он ходит; все быстрей и быстрей говорит он.

— Сегодня, один-единственный раз, я обращаюсь к вам — от своего собственного лица. Я не играю, я хожу здесь по сцене… Я предпочел бы стоять, но я уже не в силах остановиться…

— Что делать с этой тревогой, возбужденьем, волненьем?.. Это налетает, как ветер, и как ветер уносит куда-то… И вот мы говорим, говорим, не в силах остановиться… ходим по сцене, не останавливаясь, все быстрей и быстрее…

— Мне очень страшно сейчас… очень страшно сейчас… Но я все-таки здесь, на сцене… здесь, перед залом… И я не уйду отсюда, пока не скажу вам…

И — что же он скажет? что же он говорит?

— А ведь мы всегда говорим… всегда с кем-нибудь говорим…

— Но я должен остановиться… я должен стоять, должен выстоять… я должен сказать вам…

И он замедляет, в самом деле, шаги; он делает, быть может, последний, добавочный, неловкий и неуверенный шаг; почти спотыкается; он вновь стоит неподвижно, в мучительном напряженье.

— Сегодня, один-единственный раз, это будет — на сцене и наяву… вот на этой сцене, вот здесь… Сегодня, один-единственный раз, я действительно к вам обращаюсь…

Была глубокая зимняя ночь, одна из тех бесконечно глубоких (всегда: зимних…) ночей, когда — все линии сходятся; я лежал в темноте, прислушиваясь, замерев; я видел, с удивительной ясностью, театр, белые стены; и если где-то там, за черными окнами, был засыпанный снегом, заваленный сугробами город, дома и улицы, переулки и фонари: здесь, во всяком случае, ничего этого не было, быть не могло; здесь была лишь беспощадно освещенная сцена, зал, непроницаемо темный; и вот — один: на сцене, один: перед залом — герой моей пьесы.

Он должен: стоять; должен: выстоять; он не выдерживает напряжения. Он вновь начинает ходить, все быстрей и быстрее — и вновь говорит о том, сбиваясь и путаясь, что — вот, сегодня, один-единственный раз, он действительно обращается к публике…

— Я хочу сказать… я не хочу говорить…

Он повторяется, он бормочет.

— Я сам не знаю, чего я хочу…

И вдруг опять останавливается; и — совершенно ясно, совершенно отчетливо:

— Я хочу сказать, что я не хочу говорить.

— Я хочу сказать, что я не хочу говорить. Я хочу — выйти отсюда.

Он смотрит куда-то вдаль, поверх публики; он сам вслушивается в свои же слова.

— Я хочу выйти отсюда, сойти со сцены, уйти из театра. Вот чего я хочу.

И здесь: молчание, пауза; и (думал я: видел я: в темноте…) и на сцене появляется кто-то еще. Режиссер? — Разумеется.

На сцене появляется режиссер; так же медленно выходит он — на сцену — из-за кулис; он становится перед рампой; обращается к публике; приносит ей свои извинения.

— Все это, говорит он, для меня… и для всех нас… полнейшая, полнейшая неожиданность.

Я зажег свет; я вновь погасил его. Он должен сделать что-то…; он идет в глубину сцены; берет стул; возвращается…

Вот как? — Там стоит, значит, стул? — Два стула, быть может…

Он берет один из них; выносит на авансцену; садится; ногу закидывает, наверное, за ногу; руки складывает, например, на груди.

— Ну и что же делать теперь? — говорит он, обращаясь к актеру. — Спектакль вы сорвали… но играть все-таки надо…

Тот молчит; стоит неподвижно.

— Вы не хотите сесть? — говорит ему режиссер.

— А… что?..

— Вы не хотите сесть? Вон там стоит второй стул; возьмите его и садитесь.

И — что же? — думал я (в темноте…). Поворот… да… смещение перспективы.

— Спектакль вы сорвали, — говорит режиссер, — но играть все-таки надо…

Они оба сидят теперь — в разных концах сцены.

— Вы думаете, вы — не играете? Как бы не так… Вы играете, играете… как и я играю… вот сейчас… себя самого.

Актер: Увы.

Режиссер: Знаете, сначала, когда вы вышли на сцену и обратились просто-напросто к публике… мы вновь и вновь приносим ей свои извинения… я, разумеется, испугался… все испугались. Но теперь я вижу: ничего страшного. Здесь нет ничего страшного. И знаете, почему?

— Почему же?

— Да потому что они думают: это мы так играем. И они правы, мы действительно играем… вот сейчас… себя же самих.

Актер (снова…): Увы.

— Они думают, это тоже спектакль, только — спектакль. Здесь все становится спектаклем. И что бы вы здесь ни делали…

Актер: Но я не хочу этого, я не согласен, я отказываюсь… играть. Я вышел на сцену… на всеобщее обозрение… (Встает, подходит к рампе…) И вот: вот я снова стою здесь, стою перед вами… Я не знаю, я все еще не знаю, что я скажу… Я хочу сказать, что я не хочу говорить… Я хочу лишь выйти отсюда… выйти отсюда…

Режиссер: Перестаньте, прошу вас. Садитесь, вот ваш стул.

Актер садится; режиссер, конечно, встает.

— Садитесь и послушайте, что я скажу вам… Вы хотите выйти отсюда?

Я опять зажег свет; я вновь погасил его.

— Вы хотите выйти отсюда? — Так выходите.

— Что?

— Как: что? Вы хотите выйти отсюда, сойти со сцены, уйти из театра? Так выходите, уходите, сходите…

Он указывает рукою на выход: в глубине зала.

— Нам будет жаль расставаться с вами… но, в конце концов, двери не заперты, никто вас не держит… Так что же вы? уходите, решайтесь…

Тот, конечно, молчит, не решается, не уходит.

— Но подумайте, — говорит режиссер, — подумайте, что вас ждет там, за этой дверью.

— Там, за этой дверью?..

— Там, за этой дверью. Пустые улицы, и темные переулки, и снег, и ветер, и ночь… И вы будете идти там, один, и никому не будет до вас — никакого дела. И что еще может случиться с вами — там, за этой дверью — и какие беды подстерегают вас, и какое отчаяние вам угрожает. А здесь, посмотрите… Вот сцена, вот зал, и все сидят на своих местах… и вон тот, видите? у колонны, и вот этот, в третьем ряду… и все на вас смотрят… На вас, на вас, понимаете? И неужели вам это…

Актер (еще раз…): Увы.

— Вам это нравится, вам этого — хочется. И вот вы сами сидите здесь…

Актер встает.

— И вот вы стоите здесь… (я смеялся, один, в темноте…) подходите к рампе, начинаете говорить… И что бы вы здесь ни делали, что бы ни говорили…

Актер: Нет. Мне это вовсе не нравится, мне этого вовсе не хочется. Я не согласен, я отказываюсь играть…

И — что же? Исходное положение? Нет, напротив, смещение перспективы.

— Здесь все становится спектаклем, что бы вы здесь ни делали…

И — еще кто-то выходит на сцену? Да, еще кто-то…

И вот так, я помню, то возвращаясь назад, к уже увиденному, — вновь и вновь проигрывая, — переигрывая его, — меняя реплики, заменяя слова, — то продвигаясь дальше, проводя, в темноте, в тишине, еще какие-то, тонкие, переплетавшиеся, вновь расходившиеся, может быть, линии, — то открывая, то вновь закрывая глаза, — то зажигая, то вновь гася свет, — вот так, отдавшись ей, не заметив ее, пролежал я всю эту зимнюю, бесконечную, долгую, не знавшую завершения, и все-таки уже таявшую, уже, втайне, редевшую ночь; и в конце концов заснул, разумеется; и на другое утро, проснувшись, попробовал записать кое-что из — накануне ночью мною увиденного.

И значит, так думал я, может быть: на другое утро — или уже на другую, может быть, ночь: — в моем романе будет, значит, некий театр (на маленькой площади…) — и в этом театре будут играть, значит, некую пьесу (вот… я знал уже, в общем, какую…). Да, так это будет…; но (так думаю я теперь…) — но с тайной, как уже говорилось, весьма странной, как уже говорилось, отрадой я вспоминаю теперь, здесь, какие-то, отвергнутые мною возможности, возможные направления, по которым я не пошел, ложные решения неких задач, решения, которые я принимал, отбрасывал, вновь принимал, и продумывал, по мере сил, до конца, и думал, к примеру, что — вот, в моей истории будет, значит, некий театр (на маленькой площади…), и некая пьеса (я знал уже, в общем, какая…), и у этой пьесы некий, может быть, автор… почему бы и нет?.. и пытался представить себе этого автора, и давал ему имя, и сочинял, к примеру, какой-нибудь — вполне немыслимый на этих страницах — теперь немыслимый на этих страницах — несостоявшийся, следовательно, разговор между этим автором и — кем же? — и еще, быть может, каким-то, так и не появившимся — или, может быть, изменившимся на этих страницах персонажем моей истории (если это история…); и видел, и вновь видел улицу, по которой шли они как будто куда-то, переулок, в который сворачивали они… и как если бы сам я шел следом за ними, догоняя, не в силах догнать их… все дальше и дальше, в театр или из театра, быть может, — но, во

всяком случае, в каком-то, заведомо ложном, — в каком-то, невозможном, следовательно, направлении…

Нет, нет (думал я…) — здесь должно быть что-то иное; заострение; скрещение линий; я сам буду писать эту пьесу… в романе; нет, не я, не совсем я, конечно… автор романа, короче, отчасти совпадающий, отчасти же не совпадающий, разумеется, со мною… лежащим, вот сейчас, в темноте.

Зато в самой этой пьесе… какая возможность.

— Давайте… — говорит, например, режиссер.

И я опять смеялся, наверное, и вновь закрывая глаза, видел, может быть, еще некий выход: на сцену, еще некое: смещение перспективы…

Но возможна ли такая пьеса, думал я далее, и возможно ли представить себе, что ее действительно ставят: в театре, играют: на сцене?..

— Что думаете вы, — спросил я однажды у Фридриха (мы шли с ним, я очень хорошо это помню, по тому, второму, если угодно, загибавшемуся, в сугробах, сплетении веток терявшемуся бульвару…) — что думаете вы о вот такой пьесе, к примеру?..

— Какой же? — спросил он.

— А вот какой…, — сказал я.

Он засмеялся, я помню.

— Почему нет? — сказал он.

— Но можете ли вы представить себе… мне это нужно для неких… совсем иных замыслов, весьма отдаленных… можете ли вы представить себе, что такую пьесу действительно играют: на сцене, ставят: в театре… в вашем театре, к примеру… на маленькой площади?..

Он опять засмеялся, я помню.

— Я не знаю, — сказал он. — Почему нет, в самом деле?..

Фридрих же познакомил меня, наконец, и с Сергеем Сергеевичем (устроителем, режиссером…). Это было… да, в театре (на маленькой площади…), после — не самого, впрочем, удачного, и даже совсем неудачного (или так мне казалось…) спектакля; я (как обычно…) ждал его (Фридриха…) в уже пустом, уже темном зале, один, — и (как обычно…) оставшись один в этом зале (черные окна, белые стены, фанерные кресла…), уже не думая о только что виденном мною, совсем неудачном (или так мне казалось…) спектакле, пытался, глядя на сцену, представить себе — нет, теперь уже не что — как это будет происходить там, на сцене… как медленно, медленно выйдет он из-за кулис, на

всеобщее обозрение…; и когда он (т. е. Фридрих…) появился, наконец, из-за сцены, я встал — как обычно (и, как обычно, сиденье кресла ударилось, с протяжным скрипом, глухим стуком, о спинку…) — и только сделав два или три, может быть, шага, навстречу Фридриху, по проходу, увидел его, наконец: Сергея Сергеевича (устроителя, режиссера…). Он вышел, вместе с Фридрихом, из-за сцены, и пропуская его вперед, пошел, вслед за ним, в мою сторону…; и он был, в самом деле, высок, худощав…; и совершенно ясно я вспоминаю теперь то мгновенное чувство растерянности, удивленья, испуга, которое охватило меня, когда, остановившись прямо передо мною (Фридрих представил нас друг другу…), но глядя при этом куда-то мимо, вдаль, неизвестно куда, он, Сергей Сергеевич, сказал мне:

— Что же, — сказал он, — очень приятно. Вы пишете, значит, пьесу?.. Да, да, — сказал он (задержав на мне, на мгновение, взгляд — и тут же снова направив его: куда-то…) — Фридрих уже говорил мне. О чем же она?

Я смотрел, в растерянности, то на Фридриха, то на Сергея Сергеевича, то снова на Фридриха.

— Как бы то ни было, желаю вам всяческого успеха. Вы знакомы, кажется, с Максом?

— С Максом? Да, я знаком, разумеется, с Максом…

— Передавайте ему привет. Как он, кстати?

Я пожал, я помню, плечами (и что же, думаю я теперь, что же я мог ответить?..), и — и мы уже шли: по проходу, — прошли фойе, вышли на улицу, — и всю дорогу от театра к метро (мелькнул бульвар, промелькнула аллея…) Сергей Сергеевич говорил с Фридрихом — я не слышал, вернее: не слушал — я, во всяком случае, не помню уже о чем, — и лишь спускаясь в метро, прощаясь с нами обоими (он ехал в другую сторону, по другой линии…), он, Сергей Сергеевич, спросил меня снова о пьесе и вновь (сложив руки на груди, пошевелив пальцами…) пожелал мне — всяческого успеха.

— Но помилуйте, Фридрих, — мы стояли, вдвоем, на платформе, — никакой пьесы я не пишу…

— Вот как? Не пишете?..

Внезапный шум откуда-то, из туннеля, вылетевшего, налетевшего поезда заглушил, я помню, его смех, мои возражения.

— Ну что же… значит, не пишете.

Никакой пьесы я не писал; я даже не собирался писать ее. Писать ее (думал я…) будет… в моем романе… автор романа, отчасти совпадающий, отчасти не

совпадающий, еще и еще раз, со мною… выходившим на улицу из метро; я сам, следовательно, собирался лишь писать — о ней, здесь, когда-нибудь, на этих страницах (и мне виделись, разумеется, некие, вполне прельщавшие меня переходы: от фраз к репликам, от повествования к диалогу; превращение: одних слов — в другие слова; двойное преображение…). Ни о каком ином писании я вообще, конечно, не думал.

34

Есть некие (так думаю я теперь...) — уже в силу простой длительности связывающих нас отношений неслучайные персонажи моей, теперешней жизни (таковая, значит, тоже имеется? — да, как ни странно...) — некие, скажем так, весьма молодые и весьма приятные люди, каждое лето приезжающие сюда из Москвы.

Я познакомился с ними — Макс тоже — еще в то первое, если угодно, теперь уже в такую даль отступившее лето, которое мы прожили здесь вдвоем, вместе с Максом; я встретил их, неделю назад, на остановке автобуса; я вижусь с ними почти каждый день.

— И сколько же, — говорят они мне, — сколько можно здесь жить... одному?

— Все это неважно, — отвечаю я им. — О Максе-то вы знаете что-нибудь?

— Нет, — говорят они мне, — о Максе ничего мы не знаем...

Ничего, ничего...

А между тем, у них есть, тоже — велосипеды; и я езжу теперь вместе с ними, вместе с одним и одной из них, по шоссе и дорогам, по разным дорогам и разным шоссе, — точно так же, или почти так же, быть может, как мы ездили вместе с Максом, когда-то, в то первое, еще и еще раз, уже давным-давно отмеченное мною на карте и введенное в историю лето, теперь уже в такую даль, никаким временем не измеримую даль от меня отступившее...

35

Он возвратился, значит, домой (в конце осени, в начале зимы...), закрыл дверь — и лишь совсем редко, совсем ненадолго выходя, но все-таки выходя, конечно же, из дому,

прожил ее, эту зиму: в своей (при условии, разумеется, тщательно задернутых штор...) от всего отделенной, ни с чем не связанной, плывущей над городом комнате. Он вставал очень поздно, в час, в два, если не в три; и весь день проходил кое-как (в беде и отчаянии...) — но были (он сам рассказывал мне...) — но были зато очень долгие, бесконечные, бессонные ночи; они тянулись, и длились, и медлили; и пролетали: удивительно быстро; и в эти ночи что-то решалось; и обостренная болью, бедой и отчаянием некая мысль — или некие мысли, как будто кружили по комнате, в темноте; и только под утро, когда, за окном и за шторами, уже начинало, быть может, светать, и кричали птицы, и дворники сгребали лопатами снег, он, Макс, наконец, засыпал, забывался; и на следующий день опять вставал очень поздно, в отчаянии, в час, в два, если не в три.

Так — и в то же время: совсем не так это было.

Все разваливалось — или, вернее: уже развалилось.

Все разваливалось: уже развалилось. И хотя один день был, в общем, похож на другой, одна ночь повторяла другую, эти дни, эти ночи не только не складывались — для него, Макса — в некое целое (в некую зиму или в некую — жизнь...), но как будто распадались, дробились: на какие-то, совсем краткие, крошечные, минуты, мгновения, уже почти не связанные друг с другом; болезненным было каждое — почти каждое, может быть.

(Я, теперь и здесь, поворачивая обратно, я пытаюсь, конечно, я почти бессилен представить себе это — ощущение развала, эту — поскольку я все-таки представляю ее себе — скользящую зыбкость, обостренность и призрачность всех впечатлений, эту невозможность жить дальше, и даже, если угодно, эту невозможность: хотя бы дожить до вечера...; нет, конечно же, я не знаю, как это было...)

Все разваливалось — как бы то ни было — уже развалилось; выпадало из рук; рассыпалось на части. Он же, Макс, в беде и отчаянии, пытался то ли что-то собрать, то ли, может быть, что-то... еще что-то разрушить.

Он снова ходил к реке — как когда-то, два года назад. И все опять, конечно же, повторялось на этих, если угодно, прогулках; и были, значит, деревья, с обведенными снегом ветками, и сплошной лед на реке, и в другие дни льдины, с как будто обломанными краями, и черная вода между льдинами, и на том берегу пустыри, какие-то склады, и пятна снега на черной земле, и опять, и снова деревья, совсем крошечные, у самого берега, в своей затаившейся неподвижности, потаенном безмолвии как будто сулившие ему что-то...; и останавливаясь, думал он, что — вот, вот оно, вот сейчас...; и ничего больше нет...; и

опять шел; и вновь, конечно же, ускользая от него самого, и двигаясь, конечно, в каком-то, пустом, легком пространстве, его, Максова, ему уже неподвластная, к кому-то другому обращенная мысль, вновь и вновь, не удерживаясь в настоящем, соскальзывала, конечно, в какое-то, пустое, легкое будущее...

— Да... вот... будущее... легкое будущее...

И она так ускользала от него, его мысль, и с такой силой охватывала его эта как бы внутренняя, все-таки внешняя, его собственная, враждебная ему жизнь, с какой, может быть, еще никогда не охватывала: и как если бы (думаю я теперь...) — как если бы он расшевелил, растолкал ее, в беде и отчаянии; и он шел все быстрей, быстрее, не глядя вокруг; и бросая вызов, обращаясь к кому-то, вновь и вновь говорил и думал, что — нет, все не так, все неправильно; что он хочет лишь выйти и вырваться, выйти и вырваться...; и потом говорил уже о чем-то случайном, уже сам не зная о чем; и все, что он говорил, распадалось, может быть, на какие-то, уже почти не связанные друг с другом слова, отдельные фразы; все кружилось, все путалось; и он опять, и опять останавливался. И останавливаясь, видел вдруг — мост, быки и сваи его, отражавшиеся, быть может, в воде, среди льдин, и бесконечный, товарный, гудящий и грохочущий поезд, переезжающий через мост, и каждый вагон в отдельности, и последний, почти игрушечный, исчезающий, на том берегу, за деревьями. Почти сквозь слезы смотрел он на все это; и закуривал сигарету; и прикрывая ее рукою от ветра, от снега, подолгу, иногда очень подолгу стоял так, в конце набережной, в отчаянье и в снегу; и уже начинало, быть может, темнеть, начинало, быть может, смеркаться; и — что же? — нет... мы не выдерживаем настоящего, так думал он, может быть, мы перескакиваем через все это... через реку и мост... мы представляем себе — себя... завтра, через неделю, неважно... и точно так же, думал он, представляем себе какое-то... замечательное, превосходное будущее... оно же никогда не наступит...

— И я сам... я сам загоняю себя во что-то... в искомую ясность... вожделенную собранность...

Все снова и снова возвращался он к этим мыслям... все снова и снова, или так казалось ему, упиравшимся в какое-то... неразрешимое, во всяком случае неразрешавшееся противоречие.

— И это все то же, все то же, одно и то же стремление... к будущему, замечательно-превосходному... И все усилия бесполезны, все старания бессмысленны... Но если отказаться от них... тогда: что же?.. Тогда сумятица, и смута, и путаница... тогда все, как есть... беда и отчаяние...

— И значит, должно быть... должно быть что-то иное... ни с чем не сравнимое...

Но ничего... иного, разумеется, не было. Был только мост, река, льдины, сигарета, почти им докуренная...; отбросив, не докурив ее, шел он, быть может, обратно; и вновь, и уже вновь обращаясь к кому-то, думал, что — нет, так не может быть, и что все-таки должны быть, должны быть какие-то...; и все уже опять кружилось, вновь путалось. Но самым тяжелым (говорил он мне...) — самым тяжелым и самым мучительным были все-таки вечера, в его, Максовой, при условии, разумеется, тщательно задернутых штор, ни с чем не соотнесенной, плывущей над городом комнате.

Самым тяжелым были все-таки вечера; кое-как, никак проходили они; и он вставал, и садился; и пытался, быть может, читать; и в поисках каких-то ответов, не находя никаких, бросался, может быть, от одной книги к другой; и отбрасывал все; и шел, быть может, на кухню; и пил чай, и ужинал вместе с теми — впервые, кажется, я упоминаю о них — отнюдь не случайными персонажами его, Максовой, жизни, с которыми и жил он, собственно — как и я — в своем — в отличие от моего — никакому описанию не поддающемся, еще раз, жилище; и встревоженные, разумеется, его отчаянным видом, выражением глаз, они спрашивали его, разумеется, что с ним; и он говорил, все в порядке; и если они настаивали, просил, наконец, оставить его в покое; о покое же не могло быть, конечно, и речи; и вновь возвратившись к себе, закрыв дверь, падал он, может быть, на диван, не погасив света, не раздеваясь; и снова вставал; и закуривал одну, и другую, и еще одну, может быть, сигарету; и вновь пытался читать; и не мог; и снова ложился.

И только ночью, как сказано, — ночью, когда все затихало, — в нем самом, Максе, затихало, может быть, что-то; успокаивалось: ненадолго; и с той всегда новою, всегда неожиданной ясностью, по сравнению с которой все, почти все, и даже какая-нибудь предыдущая ясность, кажется смутой, сумятицей, видел он — все то же, все то же, неразрешимое, неразрешавшееся противоречие: между — чем же и чем же? — вот именно: чем же и чем же?

— И вот, значит, с одной стороны, стремление к какому-то... превосходному будущему... будущему, думал он, которое не только никогда не наступит, но которое... что же?..

— Ах, это все так понятно, так просто... Мы представляем себе какое-то... превосходное будущее, искомое состояние... ясность и собранность... Мы пытаемся совпасть с ним... конечно. Мы загоняем себя в него... мы принуждаем себя к нему. И как я думал, когда-то?.. Это должно быть жизнью... да, так я думал... это должно быть

жизнью, это внезапное, редкое, трудное, удающееся нам иногда... сама жизнь должна быть как в эти минуты... Вот-вот, в том-то и дело... Мы представляем себе, значит, какую-то... какую-то правильную... какую-то должную жизнь... Мы пытаемся приблизиться к ней... у нас ничего, конечно, не получается...

Он зажигал, наверное, свет; он снова гасил его.

— И вот, с одной стороны, стремление, значит, к будущему... к правильной жизни... к обязательно-должному... И с другой... что же?.. да, с другой, конечно, сумятица, путаница... случайные мысли... случайная жизнь... И мы в ней тоже стремимся к какому-то... и наша мысль, ускользая от нас самих, тоже, тоже соскальзывает, конечно, в какое-то... пустое, легкое будущее... И это, значит, все то же самое... все то же самое... И все, конечно, не так, все, все, конечно, неправильно... И я должен разобраться во всем этом... разобрать, разрушить что-то в себе...

— Разобрать и разрушить... разобрать и разрушить...

— А ведь мы... да, мы пытаемся что-то, все время, собрать... что-то как-то наладить... Мы ничего не можем наладить... ничего не можем собрать... И все усилия бесполезны... все старанья бессмысленны...

— Но и отказаться от них... отказаться от них невозможно... Отказаться от них... тогда: что же?.. Опять путаница, случайные мысли...

И он опять и снова сталкивался, значит, все с тем же, неразрешавшимся... неразрешимым, может быть, противоречием.

— Нет... все не так, все не так. И я отказываюсь... во всяком случае... от превосходного будущего... искомого состояния... Я не хочу ясности... мне не нужно... никакой больше собранности. Нет, я хочу их... вот в чем все дело... я хочу их по-прежнему... Я хочу мыслить, я не хочу заставлять себя мыслить... Все равно... все неправильно... И есть только то, что есть... вот сейчас... и... что же?.. и остается только принять все это... да, принять и взять на себя эту тяжесть жизни... этот труд настоящего... развал настоящего... беду и отчаяние... И нужна, конечно, готовность... прежде всего. И готовность к жизни есть готовность к боли... конечно. И может быть где-то там... по ту сторону всего этого... какой-то выход... когда-нибудь...

Но и это было лишь то же самое... то же самое, может быть, противоречие. И как бы то ни было, все ясней и яснее он видел его; и этими зимними, долгими, тянувшимися, бессонными, пролетавшими... на мои собственные, так думаю я теперь, отчасти бессонные ночи, отчасти, пожалуй, похожими, совсем непохожими, конечно, ночами, все снова и снова, как будто с разных сторон к нему приближаясь, продумывал и словно

пытался додумать его до конца, продумать его насквозь...; и вновь и вновь упираясь в неразрешимое, отступая, отчаиваясь, начиная сначала, мысль его, обостренная болью, открывала вдруг, в окружавшей его темноте, еще и еще, быть может, какие-то, иногда совсем смутные связи, внезапные, вдруг совершенно очевидные для него соответствия...; я же, теперь и здесь, отсюда и со своей стороны (я очень часто, как сказано, виделся с Максом в ту зиму: почти всегда у него, Макса, в его, бедой и отчаянием, табачным дымом и бессонницей как будто пропитавшейся комнате...; но лишь совсем редко, как сказано, он начинал вдруг со мной говорить: и говорил в таких случаях очень быстро, все быстрей и быстрее, расхаживая по комнате, непонятно к кому обращаясь...) — я вспоминаю теперь, здесь, один — теперь и здесь, на этих страницах, вполне запретный, разумеется, разговор, когда он, Макс (расхаживая по комнате и непонятно к кому обращаясь...), сказал мне, среди прочего, что... вот, неописуемое... вокруг нас... вся эта... как ты выражаешься... неописуемая и невозможная жизнь... принудительно-обязательная... разве не лежит в основе ее... (да... так он, я помню, сказал...) разве в самой основе ее не лежит все то же... все то же стремленье к какому-то... превосходному, замечательному, великолепному будущему?.. Разве нет?.. Да, конечно... Но и в нас то же самое... и в нас то же самое... Вот послушай, кстати... да, вот...

И сев к столу, прочитал мне, как некогда, некий, весьма решительный и очень резкий отрывок из некоего... мир названий разбился... вполне, опять-таки, умозрительного сочинения, на сей раз мне незнакомого. И мы еще довольно долго говорили, я помню, об этой... и в самом деле, так думаю я теперь... нарушая запрет... основанной на стремленье к какому-то... замечательно-превосходному, великолепно-невозможному будущему... и в стремлении к этому будущему... так, я помню, сказал я Максу в тот вечер... саму себя как будто отрицающей жизни... не-жизни, если угодно... к которой все мы были, еще раз, причастны, в которой все мы... нет, не соглашаясь с нею... участвовали.

— Порвать со всем этим, — сказал он, я помню, — преодолеть все это... в себе же самом.

И вдруг замолчал, я помню, закурил сигарету... и после долгой, долгой, очень долго тянувшейся паузы, посмотрев на меня:

— Ах, ведь это все так... в общем... понятно... так просто. Ну и что ж с того? — сказал он. — Понять не значит справиться... Понять еще ничего не значит. Вообще ничего...

И всякий раз почти с облегчением... но и с чувством бессилия, почти унизительным... выходил я, как уже говорилось, на улицу, садился в троллейбус, переезжал через мост...; он оставался, конечно; там; один; в своей комнате.

Он уже сам не знал, может быть, он ли выбрал отчаяние, оно ли само его — выбрало.

Он уже не мог бы от него убежать, даже если бы захотел.

Он не хотел убегать; упорствовал; не сдавался.

Он мог, конечно, теперь уже мог, конечно, уехать: сюда, скажем, к этому морю; он понимал, что это ничего не изменит; и думать о каких-то простейших вещах, о билете на поезд, или о том, чтобы созвониться с хозяевами той комнаты, которую он снимал вместе с Фридрихом, не мог; не хотел.

И еще что-то удерживало его: и как если бы (так думал он, может быть, подходя к окну, отдергивая, на мгновение, шторы...) — как если бы, бросив вызов, он должен был выдержать, выстоять... прямо напротив... пускай в беде, пусть в отчаянии.

Каждый день и по нескольку раз на дню казалось ему, что нет, он не выдержит.

И все же (так думаю я теперь...) — и все же были, конечно, какие-то, вдруг, просветы: в темноте, его окружавшей; и некие мысли, повороты мысли приносили иногда облегчение; некие книги вдруг отвлекали и в то же время с чем-то примиряли его; некая музыка утешала; и были, были, конечно же, эти краткие, всякий раз неожиданные мгновения, когда все успокаивалось, и в нем и вокруг, и все казалось возможным, и в затаившейся неподвижности замирало, все вещи в комнате, например, диван и кресла, пепельница на столе, спичечный коробок рядом с нею.

— Но жизнь не построишь на этих мгновениях...

— А впрочем, надо ли строить ее? вот вопрос...

И — и все опять, конечно же, начиналось сначала; все кружилось, все путалось; и не находя выхода, обостренная болью, мысль его вновь и вновь упиралась — в неразрешимое.

— Нет, жизнь не построишь на этих мгновениях... Ее вообще невозможно построить... устроить... В ней нельзя и не надо... устраиваться...

— Но тогда... что же?..

— Ничего... ничего...

И пытаясь то ли что-то собрать... все-таки что-то собрать, то ли что-то разрушить... еще что-то разрушить, — не выдерживая настоящего, отказываясь от будущего, — но и в тайной надежде, конечно же, если не найти там, в прошлом, какие-то, забытые им возможности, источники жизни, то по крайней мере, хотя бы отчасти, разрешить, так

думал он, неразрешимое, распутать запутанное и продумать свои предпосылки, — Макс, по-прежнему и как некогда, — шагая ли вдоль реки, стоя ли у окна, но чаще всего и с обостренной ясностью по ночам, — Макс, как некогда и по-прежнему, думал и вновь начал думать, конечно, о разных, самой природой своей, своей окраской, звучанием, значением и смыслом друг от друга отделенных, как сказано, временах: о прошлой, еще раз, о позапрошлой, к примеру, зиме, — и о нашей первой, робкой и предварительной поездке, попытке: вернуться, — и об осени: удивительно-ветреной, — и конечно, об августе: дождливом и темном, — и о том, разумеется, сказочном, призрачном, что мы тогда еще, в августе, помнили, а после как будто забыли, — о велосипедах, сломанных или нет, — о вечерних встречах возле кино...; все дальше и дальше, как некогда, уходил он по этим дорогам, отчасти уже знакомым ему, отчасти, может быть, впервые перед ним открывавшимся; и зажигая, вновь гася свет, вновь и вновь видел тот поселок, конечно, где мы жили каждое лето, в последний раз в августе, те улицы, дачные, ту станцию, магазин возле станции... И в лесу, в глуши и чащобе, стоял, конечно, все тот же, грибной, терпкий запах; и были те же кусты орешника, с мягкими мокрыми листьями; и тот же изгиб исчезавшей среди деревьев тропинки...

— Подумай, — сказал он мне как-то (в одну из наших — очень частых, как сказано, — в одну из тех, очень редких, как сказано, встреч, когда он действительно со мной говорил, расхаживая по комнате, останавливаясь, вновь принимаясь ходить...). — Подумай, тогда, когда-то... до августа... я жил девять месяцев здесь и три месяца там, каждый год, в том поселке... И вот что странно, — так, я помню, сказал он, — теперь, вспоминая все это, я только тот поселок и вижу... и одно какое-то... и другое какое-то лето... и как мы ездили, на велосипедах, куда-то... и куда-то, в другой раз, на поезде... А здесь... здесь ничего как будто и не было... Странно? Нет, напротив, понятно. Здесь, — подходя, в очередной раз, к окну, отдергивая, на мгновение, шторы, — здесь никаких и не может быть... воспоминаний. Им здесь не за что... ухватиться. Они скользят по этим камням... скользят... и падают... и разбиваются, — сказал он, — на части.

Он собирал их: так думаю я теперь. Почти насильно заставлял он себя вспоминать эти девять месяцев здесь — вернее: там, с моей точки зрения — там, в том, огромном, невероятном, покинутом мною городе: в этом городе, еще и еще раз, где были ведь, все-таки, вопреки всему и несмотря ни на что, какие-то, еще возможные улицы, еще дозволенные, например, переулки, проходы, арки, дворы: тогда, когда-то — и в отличие от меня — ему, Максу, почти, быть может, неведомые.

И вправду, он с самого начала — или еще: до начала — с рождения: скажем просто и нарушим запрет — жил в своем, из всего неописуемого самом неописуемом, еще раз, жилище, от старой, более или менее возможной части города отделенном, как уже говорилось, рекою...; он почти и не ездил за реку, тогда, когда-то, до августа.

— Была лишь эта комната, это окно... окрестные улицы, вполне одинаковые... девять месяцев в году, каждый день...

— Но подумай еще и о том, — сказал он в другой раз, — подумай еще и о том, что, когда исполняется нам семь лет, нас отдают...

Куда же? — снова нарушим...

— Отдают нас, разумеется, в школу... И значит, с семи лет начинаем мы платить свою дань... неописуемому, как ты выражаешься. И вот, вспомни, вспомни, как это было...

Я совсем не хочу вспоминать теперь, как это было.

— Вспомни... вспомни это ощущение бессмысленности... это непрерывное принуждение... это чувство бессилия...

Нет, нет, я совсем не хочу вспоминать теперь, как это было; я не иду с ним вместе — по *этим* дорогам.

— А нам ведь только семь лет, восемь лет... И мы совершенно беспомощны перед всем этим... всей этой, как ты выражаешься, жизнью... неописуемой. И конечно, мы боимся ее... как можем мы ее не бояться?.. И конечно, она проникает в нас... вместе с нашим страхом перед нею, — сказал он. — Она проникает в нас, она заполняет нас целиком... И вот так, вот так все начинается...

И он все снова и снова (так думаю я теперь...) — бросая вызов, в беде и отчаянии — вспоминал и заставлял себя вспоминать эту жизнь... неописуемую — и с ее, конечно, какими-то, для меня, теперь, здесь, запретными, конечно, подробностями...

Нет, нет, еще и еще раз, я не иду с ним вместе по этим дорогам...; он же, Макс (так думаю я теперь...), шел, конечно, по всем дорогам одновременно и сразу; не разбирая дороги...; и в эти долгие, бессонные, зимние, тянувшиеся и пролетавшие ночи, открывая, вновь закрывая глаза, зажигая, вновь гася свет, почти незаметно, должно быть, переходил от девяти месяцев — там, в том городе, к трем месяцам — тоже: там, в том поселке...; и значит, вновь и вновь видел те улицы, дачные, ту станцию, магазин возле станции...; и тот дом, разумеется, где жил он каждое лето, когда-то, и который его, Максовы — нарушим запрет, скажем просто — родители перестали снимать, когда он, Макс, закончил — нарушим еще один, уже нарушенный — школу, — этот не очень

большой, одноэтажный, как и все другие дома на той, нашей улице, деревянный, как и все прочие, дом, с его верандой, расположением комнат, знакомым ему наизусть, мне неведомым (лишь на веранде, кажется, и в августе, и в другие годы бывал я, заходя к нему, Максу; и я очень хорошо помню ее, эту его, Максову — маленькую, но с большим и очень большим, посередине ее, квадратным столом, и с очень странным, я помню, строением оконных рам, разделенных на очень маленькие, опять-таки, квадраты, прямоугольники стекол, с рассохшейся и отваливавшейся, по краям их, замазкой, известкой, — веранду...) — этот дом (так думаю я теперь...), который, и только который, казался ему, пожалуй, — а значит, и был для него... по-прежнему был для него, Макса, — домом: в том особенном, в том как бы превышающем саму нашу жизнь смысле, который мы и вкладываем обыкновенно в слова: дом, дома, домой..., и точно так же (думаю я теперь...) как, домом — в этом особенном смысле — был, и остается по-прежнему, для меня, тот, через три дома от Максова, дом, где, подобно ему, Максу, жил я каждое лето, в последний раз в августе, и который, в силу совсем иных, к моей истории не имеющих отношения, весьма печальных, в сущности, обстоятельств сделался мне недоступен...; я же, теперь и здесь, отсюда и со своей стороны, — я так же ясно вижу его, разумеется, как он, Макс, тогда и там, видел свой собственный..., так же ясно вижу его, разумеется, с его тремя комнатами, четвертой, проходной и добавочной, с его, тоже, верандой, порогами в коридоре и со всеми его... да, со всеми его, так знакомыми, как никакие другие никогда уже мне знакомы не будут, в разных комнатах и на веранде, столами и стульями, шкафами и полками, лампами, оконными рамами, подоконниками и ставнями, дверьми и ручками этих дверей, обивкой кресел, темнотой по углам.

Только этот дом и был домом...; и я вспоминаю теперь, здесь, отсюда и со своей стороны, как грустно было уезжать оттуда, в конце лета, к примеру; как весело, через год, возвращаться; и как странно приезжать зимою туда... вместе с кем-нибудь, конечно, из взрослых: как сказал бы я Максу... в какие-нибудь субботние, воскресные дни... на какие-нибудь, нарушим запрет, каникулы... на Новый год, нарушим еще один...; как совсем иначе выглядели не только улицы в поселке, другие дома, но даже и эти комнаты, все эти стулья... как будто заснувшие на зиму, просыпавшиеся при моем приближении...; и за окнами был, удивительным образом, снег... солнце, сверкавшее на снегу...; и каким-то застуженно-затаившимся запахом пахли предметы, обивка кресел, отсыревшие книги...

А ведь и там (думаю я теперь — и так думал, наверное, Макс, открывая, вновь закрывая глаза...) — а ведь и там, в том поселке... во всяком случае, летом... была и продолжалась, конечно, какая-то, на три месяца свободная от принудительно-обязательного, еще вполне детская, разумеется, жизнь; и каждое лето, из года в год, приезжали туда все те же... он вспоминал их... я тоже теперь вспоминаю... какие-то, тоже, дети, с которыми мы и ездили, на велосипедах, куда-то, куда-то, в другой раз, на поезде... ссорились, снова мирились.

— И где теперь все это? — думал он. — Вся эта... тоже — жизнь?..

— Ничего, ничего от нее не осталось...

А впрочем... а впрочем, она уже и тогда вдруг отступала от нас, отпускала нас, эта жизнь; и было, скажем, какое-то... за два?.. нет, за три, если не за четыре года до августа утро, совсем-совсем раннее... вновь и вновь он вспоминал его, лежа без сна, в темноте... раннее и совсем раннее утро, когда он, Макс, часов в пять, почему-то, в полшестого, быть может, проснувшись, тихо-тихо... все еще спали... вышел из дому и... через заднюю, в глухом заборе, калитку... в уже пронизанный вставшим за деревьями солнцем, блеском росы, пеньем птиц переполненный лес. Он был совершенно счастлив, он очень хорошо это помнил. Он шел, чуть вздрагивая от холода, все дальше, по мокрой траве; он остановился вдруг на краю уже много раз упомянутой мною поляны; он увидел, через поляну, уже много раз упомянутый мною дуб: с раздвоенным внизу стволом: два дуба, если угодно, сросшиеся у самого основания. И в том месте, где срастались они, можно было (и до сих пор... неужели до сих пор можно?..) сидеть: прислонясь к одному стволу, например, упираясь ногами в другой...; и я (теперь здесь живущий...) — я очень часто сидел там, я помню, читая что-нибудь, ничего не читая; он тоже; но: как будто впервые увидел он этот дуб, совершенно ясно, прямо напротив: и как если бы он не только не видел его никогда, но вообще никогда ничего. В уже чистом, прозрачном, отчетливо-синем небе чуть-чуть, со всеми своими листьями, колебалась его вершина, освещенная солнцем: две вершины, если угодно; и медленно, медленно поднимался над поляной туман; таял в воздухе, уже прояснявшемся; и вокруг пахло влагой, травою; и — что же? Он сам не знал, разумеется, что ему со всем этим делать; он помнил лишь: вспоминал лишь, все снова и снова, это внезапное, дотоле ему вообще неведомое, может быть, чувство: изумления, пробуждения..., понемногу, впрочем, ослабевавшее, вместе с ощущением счастья; исчезнувшее. И в конце концов он возвратился, должно быть, домой; и позавтракав, вновь вышел из дому; и зашел, должно быть, к какому-нибудь из каждое лето приезжавших в этот дачный, снова скажем, поселок детей...; и значит вновь, не

заметив этого, потерялся в той, какой-то, теперь уже почти невообразимой более жизни, со всех сторон окружавшей его.

Со всех сторон окружала его эта жизнь, лишь изредка, совсем редко от него отступавшая: меня тоже, конечно: и даже так, может быть, как никакая последующая не окружала ни его, ни меня; мы не принадлежим себе в детстве, сказал он мне однажды (в ту зиму...); мы почти совпадаем с нашей жизнью (сказал он...): со всеми ее отношениями, страстями и ссорами: владеющей нами.

Но все-таки были, были, конечно, какие-то, пускай совсем редкие, краткие, но все же, конечно, какие-то, выпадающие из жизни мгновения; и я сам вспоминаю теперь (отсюда и со своей стороны...), как я шел, к примеру, вместе с кем-то — из взрослых — по той, нашей улице... за год или, может быть, за два года до августа... но тоже в августе, вечером, холодным и поздним; и вот — уже было совсем темно, уже горели, я помню, сквозь тихую морось, редкие, тусклые фонари — вот (у меня развязался, я помню, ботинок...) — отстав от них, присев на корточки и уже натянув, уже завязав, должно быть, шнурок, но еще не вставая, поднял голову, и посмотрел им вслед: — вот, я помню, все дальше и дальше уходили они (по той, нашей улице...), и очертания их уже расплывались, исчезали, терялись, и я видел уже только две — или, может быть, три? — уже совсем смутные тени, и улицу, мокрый асфальт, забор, фонарь и отсвет его на асфальте...; и были, разумеется, какие-то всплески, какие-то шорохи...; и где-то совсем далеко лаяла, я помню, собака...; умолкала, вновь принималась лаять...; и лишь когда я остался один, и те, с кем я шел, исчезли, растаяли, расплылись в темноте, я встал, наконец, и посмотрел, еще раз, вокруг, удивляясь, конечно, не понимая, должно быть, что со мною и где я, на нашей ли, на какой-то другой улице... неизвестно какой... все равно..., и как будто вдруг оставленный, потерянный где-то, в каких-то складках ночи, влажного мрака, среди всплесков и шорохов, веток, капель, мокрой листвы...; и затем пошел, в свою очередь, побежал вслед за — взрослыми: догоняя: догнав их.

Да, были, были, еще раз, пусть краткие, но все же, конечно, какие-то, предвещавшие август мгновения...; и... и вот, значит, этот август, еще раз, это тоже краткое, крошечное, в дожде, тумане и холоде, между *уже* и *еще* затерянное, тоже, мгновение, о котором он все снова и снова думал, конечно же, Макс, своими зимними, бессонными, долгими, пролетавшими, тянувшимися ночами, вновь, как некогда, по разным и совсем разным дорогам, из более раннего, из более позднего к нему приближаясь..., — этот август, еще и еще раз (так думаю я теперь... вновь, теперь...) — когда, и в силу, конечно, каких-то, давным-давно забытых, исчезнувших, вполне случайных, пускай по

видимости, обстоятельств, все — отнюдь не случайные, так и не названные — персонажи моей тогдашней, от меня самого, вдруг, и как будто вдруг навсегда, отступившей и отдалившейся жизни — все взрослые: вновь скажем так — когда все они разъехались вдруг в какие-то разные, и теперь уже не существующие более стороны, я же остался, как и он, Макс, впервые, один, в том поселке, наизусть, и мне, и Максу знакомом: — да, краткое, крошечное (думал, в свою очередь, Макс...) — но все же на целый месяц, на целый месяц растянувшееся, еще раз, мгновение...

Теперь не длящееся тогда, значит, длилось?

Возможно ли это, думал Макс, возможно ли это?

Оно длилось, не длящееся; оно было лишь чем-то иным, думал он: чем же, чем же и чем же?

Оно потому и длилось, что было иным.

И он все снова и снова, как некогда, всматривался в этот август, дождливый и темный, в падение капель, дрожание листьев...

Еще и речи не было ни о какой, скажем, ясности; ни о какой, скажем, собранности еще и речи быть не могло.

И — что же? — и был, значит, дождь, туман, мокрые листья, мелкие капли...; и впервые в жизни оставшись один, предоставленный себе самому, бродил он, сам не зная зачем, как и я, по поселку и по лесу, по улицам и тропинкам, с уже почти не покидавшим его, меня тоже, временами, конечно, ослабевавшим, снова усиливавшимся чувством — пробуждения, изумления...

Одно дело видеть что-нибудь, думал он, другое дело стремиться: увидеть...

Само собою, вместе с дыханием...

А ведь все уже начиналось (думаю я теперь...) — начиналось, завязывалось, и уже где-то, в глубине этого августа, в блужданиях по лесу, в глуши и чащобе, уже как будто скрывалось, таилось, оживало и словно прокладывало себе дорогу какое-то, еще совсем, совсем смутное, но уже как будто разрывавшее этот август, взрывавшее его изнутри, совсем робкое, уже и все же: стремление: куда-то, к чему-то (и никто, конечно, не знает, и никогда не узнает, к чему...) — движение, уже начавшееся, едва различимое...; и я уже слышал, как сказано, этот безмолвный, неумолкающий, отчетливый, тихий призыв...; и уже думал, как сказано, об ответе...; и после всех блужданий были, как сказано, долгие, бесконечно долгие вечера...; и сидя там, в моей комнате, первой из трех и ближайшей к веранде, отрываясь от чтения и не решаясь ничего написать, я поднимал, как сказано, голову, и смотрел, конечно, в окно...; и оттуда, из темноты, смотрел на меня, как сказано,

некто, прежде неведомый, решительно незнакомый...; и очень долго, как сказано, шли мы навстречу друг другу, с каждым шагом все ближе...; и были, как сказано, темные, пасмурные, и вдруг один, чуть более светлый, и затем опять пасмурные, опять темные, совсем темные дни... И когда мы снова встретились с Максом — в Москве, все уже было иначе, но и совсем иначе (думал, может быть, Макс...) чем было, к примеру, до августа...; и встречаясь со мною, уже очень часто ездил он — за реку...; и хотя это чувство — пробуждения, понемногу ослабевая, исчезло, он был уже, я тоже, разбужен...; и через год, как сказано, мы оба закончили школу...; и сдав заключительные, нарушим снова запрет, сдав затем и вступительные, нарушим снова, экзамены, поехали, значит, в тот, давным-давно отмеченный мною на карте, утративший, к несчастью, название, но сохранивший названия город, куда мы снова поехали с ним, много позже, отсюда, куда он, Макс, в отличие от меня, без меня, еще раза два или три ездил в те, между августом и осенью годы, как будто выпадающие из моей, если угодно, истории... И — вновь, может быть, хотелось ему уехать: в этот город, лишенный названия, сюда к морю... неважно; и вдруг, может быть, успокаиваясь, под утро, видел он какие-то станции, полустанки, разъезды, поезда и ночи, сливавшиеся друг с другом...; засыпал; просыпался. И проснувшись, никуда, конечно, не ехал; и думать о простейших вещах, о билете на поезд, не мог; и бросая вызов, выстаивал, оставался, пускай в беде, пусть в отчаянии...; и уходя все дальше и дальше по уже знакомым ему дорогам, совсем незнакомым, вспоминал, к примеру, то — следующее, через два года после августа, лето, которое прожил он, как уже говорилось, в совсем другой, и очень далекой, среди полей, перелесков затерявшейся, как уже говорилось, деревне, в отрешенной глуши...; вспоминал, конечно же, осень, с ее блужданиями, прошлую зиму...; снова август... не разбирая дороги... тот поселок, ту станцию.

И какие-то совсем ранние впечатления вдруг пробивались, может быть, сквозь этот развал настоящего, распад настоящего...; тень листвы и свет солнца среди каких-то, темных, деревьев...

И затем опять оказывался он — на поверхности, лицом к лицу все с тем же, все с тем же, неразрешимым, неразрешавшимся противоречием, с самим же собою...; и вновь думал, конечно же, что — нет, все неправильно, что должны быть, должны быть какие-то, совсем иные возможности, все должно измениться, совсем иное возникнуть, но что он, Макс, здесь и отсюда, замкнутый, запертый в своей жизни, не знает, и не может, и не должен знать, что это, как это будет...

Так капля чернил, попадая в стакан с водою, окрашивает собой всю воду в стакане...; наши собственные стремления отделяют нас от искомого.

— И значит... и значит, остается лишь принять все это, — думал он: вновь и вновь, — принять и взять на себя эту тяжесть жизни, труд настоящего... И готовность к жизни есть готовность к боли... конечно. И может быть где-то там... по ту сторону всего этого... какой-то выход... когда-нибудь...

Но и это было лишь то же самое, то же самое, может быть, противоречие...; и это стремленье к какому-то, пускай неведомому, но все-таки — выходу, было лишь тем же самым, тем же самым, быть может, все тем же и все тем же стремлением — к замечательно-должному, к превосходному будущему...; ужасная мысль.

— И потому ничего, может быть, не возникнет... ничего никогда не изменится...

Ужасная, в самом деле, и почти ужасом, всякий раз, отзывавшаяся в нем, действительно, мысль. А между тем, он все снова и снова возвращался к ней, или она к нему, всякий раз неожиданно, вечером, ночью. И всякий раз как будто обрывалось в нем что-то; и...

— Никакого выхода вообще, может быть, нет..., думал он, вообще, может быть, нет... Никакого выхода, во всяком случае, не было.

36

Он вставал очень поздно, как сказано (в час, в два, если не в три...); проснувшись, подходил к окну, отдергивал шторы: и там, за окном: там была, разумеется, темная, неописуемая громада его, Максова, неописуемого жилища (он жил, как сказано, в боковом, или, вернее, в противоположном по отношению к главному зданию крыле...), но там был и снег, и небо, и деревья, сугробы, скамейки, заметенные снегом, — и если он, Макс (по очень длинному и очень узкому коридору...), шел, предположим, на кухню, оттуда, из кухни, было видно, конечно, другое крыло его, Максова, неописуемого (и вот, значит, все-таки, пускай отчасти, описанного мною...) жилища, — но вместе с тем, оттуда, из кухни, видна была и река, и лед на реке, и кусочек набережной, и снег на перилах, и черные силуэты деревьев, и крыши домов на другом берегу: — и после долгой, мучительной, наполовину бессонной, разумеется, ночи, все это так влекло и манило его, что он, Макс, наскоро выпив кофе, одевшись, выходил, в самом деле, на улицу: и прямо в какой-нибудь, темный, пасмурный день. Он шел, предположим, к реке, или еще — куда же? Ах (думаю я теперь...): ведь совсем рядом с его — неописуемым, еще и еще раз, жилищем, всего в каких-нибудь пятнадцати минутах ходьбы, находился (и до сих пор, надо думать, находится...) — тот самый вокзал, с

которого мы отправились некогда в некую, вполне и во всех смыслах предварительную поездку: вокзал, следовательно, с которого он, Макс, на простом пригородном поезде (на так называемой электричке...) мог бы, всего за сорок или сорок пять, допустим, минут, доехать до тех самых мест, того поселка, где жил он каждое лето, когда-то, где мы с ним встретились, в августе, о котором так часто думал он, по ночам. И каждый, почти каждый день, если он не шел, предположим, к реке, доходил он, действительно, до вокзала, на площади перед вокзалом покупал сигареты (за которыми — или так казалось ему — он сюда и ходил...) и — и только однажды, быть может, поднялся на перрон, увидел рельсы, убегавшие вдаль, шпалы, далекую насыпь, услышал шум поезда (гудок, отзвук, призыв...) и — и вновь возвратился — вновь, дворами и переулками (вполне, конечно, неописуемыми...) всякий раз возвращался домой, в свое, решительно неописуемое жилище, в беду и отчаяние.

И как-то (был пасмурный, темный, как будто дрожащий, исчезающий, тающий, неуверенный день...) — как-то, уже подойдя к дому, остановившись, на улице, у подъезда, вдруг с такой мучительной ясностью представил себе — еще один вечер: в своей, плывущей над городом комнате, — и такое отчаяние, и ощущение такой безысходности вдруг охватило его, что он, Макс, почти не думая, может быть, что он делает, куда, зачем он идет, спустился к реке, закурил сигарету, посмотрел на воду (совсем черную между белыми льдинами...) — и еще мгновение помедлив, забежав — но лишь на мгновенье — домой, набрал мой номер, быстрым, я помню, возбужденно-решительным голосом спросил меня, может ли он зайти ко мне... чуть попозже... и не может ли переночевать у меня... (можешь: конечно...) — повесил трубку (короткие, на моем конце провода, быстрые, резкие, обгонявшие друг друга гудки...) — и выбежав снова на улицу, переехав на троллейбусе через мост, пошел — в мою сторону.

Я ждал его: целый вечер; целый вечер, долгий и зимний, бродил он, значит, по улицам, переулкам, в снегу, в сумерках, в темноте.

— Я же (теперь, здесь, поворачивая обратно...) — я вспоминаю теперь эти зимние, эти ранние вечера, когда в пять пополудни уже начинает темнеть, и в шесть уже просто темно, но город и улицы еще живут своей жизнью; идут люди; горят фонари; машины летят сквозь снег; и совсем странной, загадочной, непонятной кажется эта жизнь (окруженная тьмой, заметенная снегом...): часам к семи, может быть, достигает она своего высшего напряжения, возбуждения и беспокойства (что-то вспыхивает, что-то грохочет; машины обгоняют друг друга; толпы людей чернеют на улицах...) — и лишь к восьми, к девяти, к половине десятого понемногу стихает, смолкает, уходит...

И прежде чем дойти до меня, Макс, не в силах остановиться, целый вечер, зимний и долгий, бродил, значит, где-то, по улицам, возбужденным и переполненным, переулкам, понемногу смирявшимся, — бродил по ним (думаю я...): со своим собственным, не стихавшим, не смирявшимся беспокойством, — ощущением безысходности, невыносимости жизни, — и в то же время: с внезапным, забытым ощущением побега, убегания, ускользания от чего-то, — с тревожным, горестным, втайне отрадным, отчасти знакомым ему, совсем ему незнакомым, ощущением — бездомности, как будто размывавшим, стиравшим, и в нем, и вокруг, какие-то, неизвестно кем проложенные границы, неизвестно кем проведенные линии. Он понимал, разумеется, что — назавтра, к примеру — переночевав у меня, он все-таки возвратится (будет вынужден — возвратиться...) в свое, еще и еще раз, решительно неописуемое жилище; он не думал, не хотел думать об этом; вновь и по-прежнему думал он о каком-то, совсем ином, безусловном и подлинном возвращении... И странным образом приближая его к чему-то... к самой возможности возвратиться... домой..., это чувство бездомности (тревожное, втайне отрадное...) уводило его все дальше, водило его по городу, и привело его, может быть, на такие улицы, в такие места, где он, Макс (или так казалось ему...), ни разу до сих пор не бывал; и как бы то ни было, знакомые ему или нет, эти места, эти улицы (дома, проходы, бульвары; деревья, решетки, скамейки...) раскрывались и разворачивались перед ним, Максом, в каком-то, неожиданном и непривычном порядке, — и словно отмеченные его бездомностью, одиночеством, лишенные центра, лишенные (думаю я теперь...) той неподвижной, той как бы светящейся точки, вокруг которой и располагаются обычно для нас все улицы, все переулки, маршруты и адреса, ожидания и встречи, — кружили, кружились вокруг, повторялись и путались, расплывались в сумерках, таяли в темноте, исчезали, вновь появлялись...; и он был, в самом деле, совсем один здесь, в этом городе, среди этих людей, машин, возбужденья, круженья; и что-то, казалось ему, могло, имело случиться; и он снова чувствовал в себе ту решимость, готовность к чему-то, еще неизведанному, которая (казалось ему...) как будто ослабла в нем, которую он, Макс, как будто утратил за последние дни, недели, последние... да, да, уже месяцы...; и он шел все дальше, все дальше, сворачивая направо, налево, из переулка в улицу, из улицы в переулок, — по грязно-снежному месиву, — по свежему, почти нерастоптанному, мокрому и мягкому снегу, — сквозь шум и грохот, — сквозь мгновенные паузы, полосы: тишины, — то очень быстро, то совсем медленно, — с внезапным волнением всматриваясь в странно близкие, в нижних окнах домов, за освещенными изнутри занавесками проплывавшие тени, с тайной надеждой

прислушиваясь к чьим-то шагам на снегу, голосам в незнакомом дворе, обрывкам музыки, вылетавшим в открытую форточку. Было сыро и от сырости холодно; ботинки его промокли; озноб бил его. Он закурил сигарету; посмотрел на погасшую спичку; он понял вдруг, что ничего... ничего не случится: — и пошел все-таки дальше, все дальше; и вдруг, в какой-то улице, совсем ему незнакомой, уже почти пустынной, тихой, увидел вдруг — Соню: Соню, о которой он почти не думал (казалось ему...) с того самого вечера... на море, — и которую он тут же вспомнил, тут же (показалось ему...) узнал, — а вместе с нею вспомнил, конечно, и тот... как давно это было... бедой и отчаянием от него, Макса, отделенный, оторванный вечер... облака, гаснущие над морем, над мысом... протяжные отсветы, бегущие по воде... Она шла ему навстречу; она свернула вдруг в переулок; он хотел окликнуть ее; не окликнул; свернул вслед за нею; обогнал ее; обернулся: она — нет, не Соня, с испуганным удивлением посмотрев на него, прошла мимо, и — быстро-быстро, в свою очередь, обернувшись — вошла, вбежала, в угловом доме, в подъезд. И он так ясно, с такой мучительной, отчаянной ясностью видел все это: и этот переулок, совсем ему незнакомый, и снег на краю тротуара, и мокрую от снега афишу, и дверь подъезда, в который она вошла, и — за дверью, за двойным рядом стекол — одной-единственной лампочкой тускло освещенную лестницу, перила, стоптанные ступени; и — что же? что же делать теперь? — и чувствуя уже только усталость, тревогу, — безнадежность жизни, тщетность усилий, — прошел еще какие-то переулки, дворы (незнакомые, знакомые, неузнаваемые...) — сел, быть может, в трамвай (уже вечерний, пустой, печально и призрачно скользивший по пустынным, заснеженным, печальным и призрачным улицам...) — и проехав, может быть, три — четыре, может быть, остановки — свернув, еще раз, налево — еще раз: направо — дошел, наконец, до меня, позвонил в дверь, стряхнул снег, снял пальто, ботинки...; лицо его показалось мне каким-то особенно горестным, погасшим, застывшим, взгляд: неподвижным, повернутым в сторону.

Мы поужинали, я помню, на кухне, вместе с — отнюдь не случайными, как уже говорилось, — вновь, следовательно, — и снова лишь на мгновение появляющимися (не появляющимися...) на этих страницах персонажами моей собственной (тогдашней: в известном смысле, и теперешней...) жизни; поужинав, ушли в мою комнату; он попросил еще чаю; выпил его; закурил сигарету; — и была уже ночь; горела лампа; он сидел, я помню, на диване, в углу, облокотившись на валик, ногу закинув за ногу и свободной рукою обхвативши колено; я же — за столом, под лампой, напротив; и когда я спросил его, не хочет ли он лечь спать, например, он, Макс, почти с упреком

посмотрел на меня (как если бы я напомнил ему о чем-то таком, о чем он не хотел бы и думать...); и — мне все равно: так он ответил; мне тоже; и так мы сидели, молча, за столом, на диване; и та, бесконечно-глубокая, ни с какой иной, дневной тишиною не сравнимая тишина, которая охватывает и обступает нас ночью, но которую, даже ночью, мы обычно не слышим: за нашими собственными, о чем-нибудь, мыслями, со всех сторон обступила нас в эту ночь; и мне казалось, я помню, почти невозможным, чтобы кто-то из нас прервал и нарушил ее: каким-нибудь словом, какой-нибудь фразой. Вдруг и совсем неожиданно Макс, целую зиму ни о чем подобном со мною не говоривший, спросил меня, бываю ли я в театре: на маленькой площади, вижусь ли с Сергеем Сергеевичем, с Фридрихом.

— Да, бываю. Да, вижусь. А что?

Почти минута прошла, может быть, прежде чем он ответил.

— Вообще... так... Значит, бываешь, видишься?

— Вижусь, бываю.

Опять пауза и снова молчание.

— И... что же? — (с трудом и усилием...). — Зачем... это...

— Мне нравится все это.

— А... да... нравится...

— И потом... мне это нужно для некоторых... замыслов, весьма отдаленных.

Я воспользовался его отчаянием (так думаю я теперь...); я сказал ему, впервые и наконец, то, что я уже очень (я понял это, лишь начав говорить...) — уже очень и очень давно хотел — должен был — ему, Максу, сказать, — чего, при иных обстоятельствах, я бы, наверное, сказать ему не решился.

— Уже очень и очень давно видится мне некий... роман. И в этом романе...

Мне казалось, он не слышит меня; он смотрел в сторону; он думал, казалось мне, о чем-то совсем другом.

— Так что же?

— И в этом романе будет, видимо, некий театр... и в этом театре будут играть, наверное, некую пьесу...

Опять молчание и снова, разумеется, пауза.

— Какую... какую пьесу?

— Пьесу... которую я и пытаюсь теперь... если не написать, то... по крайней мере...

Со всех сторон обступала нас тишина, со всех сторон была ночь. Он сидел не двигаясь, глядя в сторону, облокотившись на валик.

— А что еще там будет? — (совсем-совсем тихо...).

— А еще будет там август, — сказал я.

— Август?

— Да, август.

— Какой август?

— Ну, август, — (внезапная дрожь...) — август, когда мы с тобой встретились... там, в том поселке.

И я до сих пор помню, как медленно, медленно он повернулся ко мне, на диване.

— Нет, правда?

— Правда, конечно. И то утро... помнишь?.. когда мы шли с тобой навстречу друг другу... с каждым шагом все ближе...

— Оно тоже будет там?

— Разумеется.

— И значит...? — он вдруг улыбнулся: впервые за эту ночь.

— Во всяком случае, некто, шедший мне в то утро навстречу...

— И — кто же?..

— Я не знаю, — сказал я. — Я дам ему твое имя, я поселю его в твоем доме... если ты, конечно, позволишь.

Я вспомнил, наверное, — во всяком случае, теперь вспоминаю, — слова Алексея Ивановича о влекущей возможности подойти, в самом романе, к той границе, которая...

— Я подумаю, — так он ответил: почти... да, почти рассмеявшись. — В моем доме там, или в моем доме здесь?

— И здесь, и там, — сказал я.

— Там понятно, почему здесь?

— Мне нужна эта высшая степень... неописуемости.

— Ах вот как... неописуемости...

И вот так, следовательно, я признался ему в моих — вдруг, показалось мне, на один какой-то, но очень решительный шаг, приблизившихся к осуществлению помыслах. И он вдруг встал, я помню; и подошел к окну; и снова сел — нет, не на диван — за стол, прямо напротив; мы снова молчали. Где-то, совсем далеко, совершенно отчетливо, вскрикнула и прокричала, за шторами, уже почти утренняя, подумал я, птица; прокричала: пролетела, наверное.

— Как все это неожиданно, — сказал он, посмотрев на меня. — Но что-то есть в этом... что-то есть в этом, может быть... правильное. А впрочем... а впрочем, я не уверен, что я позволю тебе в самом деле...

— Но... Макс..., — сказал я.

Он ничего не ответил.

И в конце концов я постелил ему, я помню, постель в той, как называли ее неслучайные персонажи моей жизни, гостевой комнате, соседней с моею, где он, Макс, в другие зимы и при каких-то иных, теперь забытых мной обстоятельствах, уже не раз, собственно, ночевал; и сам, в свою очередь, сразу же, или почти сразу, заснул; и наутро, когда мы выпили кофе, предложил ему пойти... ну, хотя бы в кино; он отказался.

Взгляд его был снова погасшим, неподвижным, повернутым в сторону.

— Нет, — сказал он. — Я... я ухожу.

— Куда же ты идешь? — спросил я.

— Домой, — сказал он: почти незаметной, но все-таки замеченной мною, вполне горестною усмешкой подчеркнув это слово. — Домой... куда же еще?..

И я увидел его, в последний раз, из окна, во дворе; он остановился, я помню, не обернулся, закурил сигарету; прошел под аркой; исчез.

Было утро, такое же темное, пасмурное, каким был, накануне, день. Но когда он, Макс (истинный герой моей истории: вновь, простившись со мною, поступающий, если угодно, в мое распоряженье и веденье...) — когда он, Макс, на трамвае и потом на метро, доехал, наконец, до вокзала, поезда, электрички стояли там так же, совсем неподвижно, у заметенных снегом перронов, как стояли они когда-то, два года назад, в то совсем иное, морозное и ясное утро, когда мы отправились с ним: в некую, вполне предварительную поездку. И шагая, один, по заметенному — а впрочем, на сей раз, подтаявшим и уже растоптанным снегом перрону (до ближайшей электрички оставалось еще — минут, наверное, десять...) — Макс, удивительным образом, думал — совсем не об августе, и не о том сказочном, призрачном, что мы тогда еще помнили, а после забыли, — совсем не о том, следовательно, куда, к чему и во что он теперь, возвращаясь домой, возвращался, — или, во всяком случае, не только об этом, — но шагая один по перрону (заметенному, все-таки, снегом...) — и тоже, удивительным образом, как о чем-то совсем далеком, неправдоподобно-далеком, почти сказочном, призрачном, невозвратимом, думал он: о том первом, вполне предварительном возвращении: о той поездке, следовательно, в которую мы отправились с ним когда-то — вот с этого, заметенного снегом перрона, —

вот на этой же самой, может быть, электричке, — в какое-то, морозное и ясное утро, два года назад...; он, Макс, возвращаясь домой, он уже сам не знал, может быть, в какое прошлое он возвращается.

— Любое прошлое, — думал он (входя в вагон, садясь у окна...) — любое прошлое может быть — домом...

— Любое прошлое может быть домом. Настоящее — вот что трудно, вот что мучительно. И все-таки... и все-таки принять... и взять на себя этот... труд настоящего... эту тяжесть жизни... смутную тяжесть...

Так думал он, может быть; но когда, вдруг, для него, Макса, почти неожиданно, — почти незаметно, — плавно и тихо, — и как будто еще раздумывая, не остаться ли: у заметенного снегом перрона, — когда поезд вдруг тронулся с места, поехал, — когда проплыл, исчез и скрылся из виду перрон (вокзал, город...) — эти, уже столь привычные, уже почти наизусть знакомые ему мысли от него отступили: и точно так же, как отступила от него, вдруг, на мгновение, сама эта — тяжесть жизни, быть может, — отступила, осталась: там, где-то там, вместе с перроном, городом и вокзалом...; и он вздохнул, и вытянул ноги, и опять, может быть, улыбнулся: проплывавшим, поплывшим мимо деревьям. И медленно, совсем медленно шел этот поезд, как тогда, от станции к станции; и так же медленно, бесконечно опускался шлагбаум; и были снова заборы, какие-то склады, далекие крыши; и затем вдруг: лес, и поле, и перелесок; и уже совсем проселочная, с наезженными по снегу колеями, исчезавшая за перелеском дорога; и после города, где все текло, таяло и темнело, здесь, хотя и не было солнца, но здесь была та же, все та же, безусловная, белая, снежная, неизменная, та же, зима. И уже ни о чем, быть может, не думая, возвращаясь домой, смотрел он, всматриваясь, в окно; и как будто готовился, втайне, к тому, всегда неожиданному мгновенью, когда он останется, на платформе, один, когда поезд уйдет, когда звук его смолкнет вдали...; и когда появилась, помедлила, исчезла, за окном, предпоследняя станция, встал, вышел в тамбур; и в тамбуре закурил сигарету; и сквозь узкое, в подтеках и копоти, дверное оконце, увидел вдруг, да, магазин, за деревьями, и дорожку, к нему ведущую...; и — вот, вот; вот сейчас...; поезд остановился; двери открылись.

— Ну что же... вот, вот она, эта станция... и вот поезд, в самом деле, уходит, исчезает: за выступом леса... вот и звук его смолкает вдали... замирает... и вот, на той платформе, все та же... да, все та же, с ее навесом... назад и набок завалившаяся по-прежнему касса... и вот часы, с их минутною стрелкою... и перила, и ступени, и лестница...

Оно не обмануло его ожиданий, это всякий раз — неожиданное мгновение, всегда удивительное. И он стоял, один, на платформе, в снегу, выброшенный откуда-то, или брошенный, быть может, куда-то, в почти осязаемой, после шума, движенья, мельканья, со всех сторон обступившей его тишине; замерев; возвратившись.

Оно не обмануло его ожиданий; оно не могло лишь продлиться.

И были, значит, ступени лестницы, с косой, как некогда, наледью, и твердый наст узкой, от станции к магазину ведущей дорожки, и сугробы, и знакомые крыши...; и все это было, конечно, сейчас, вот сейчас, в его, тогдашнем и Максовом, мучительном — и вновь мучительном настоящем.

И подойдя к магазину, постоял он у одной двери — забитой, у другой — заколоченной, и пошел прочь — не оглядываясь.

— Ну да, вот они, эти улицы, и эти тропинки, протоптанные кем-то в снегу, и этот дымок в небе, все тот же... и вот здесь мы шли, здесь стояли... и вон там я ехал, на велосипеде, когда-то... Ну и — что же?.. и — что же?..

И прежнее беспокойство охватило его, быть может; и он вновь чувствовал только, почти только, отчаяние, тяжесть жизни, тщетность усилий.

(Я же — теперь и здесь, поворачивая обратно — я почти бессилен, как сказано, представить себе эти — поскольку я их все-таки представляю себе — внезапные переходы, непрерывные колебанья; эту скользящую зыбкость, обостренность, призрачность всех впечатлений; развал; ощущенье развала...)

— Ну да, вот они, эти улицы... эти крыши, эти заборы... И вот здесь мы шли... там я ехал... И — что же? что же?.. где теперь все это?..

— Да, где теперь все это?.. где теперь все это?.. И что же такое случилось со мною?.. и как же... как же я так запутался?..

И они как будто отталкивали его от себя... эти крыши, заборы, знакомые, неузнаваемые... как будто отбрасывали его в настоящее; и он уже сам не знал, может быть, зачем он сюда приехал; и шел все быстрее; и уже вновь, может быть, обращаясь к кому-то, говорил и думал, что — нет, все не так...; и лишь выйдя на ту, нашу улицу, остановился.

Она была все такой же, эта улица, заваленная сугробами.

— Ну да, да, вот она, эта улица... и... что же? что же?.. Ничего, ничего...

И — и такое беспокойство, и такое отчаяние охватило его, быть может, что он, Макс, остановившись, подумал вдруг, не повернуть ли обратно, не возвратиться ли, просто, в

Москву... к чему все это, в самом деле?.. и пошел все-таки дальше, и снова остановился, конечно: у той, конечно, калитки.

Он не открыл ее; он лишь дотронулся до нее, быть может, рукою.

Ну да, да... да, вот здесь жил он каждое лето, в последний раз в августе, вон в том доме, за вот этими ветками... И где же, где же, где теперь все это?.. Ничего, ничего не осталось...

А ведь только этот дом и был домом... только этот и был...

И тот, мой, дом прошел он, наверное, не взглянув на него; вошел в лес; свернул направо; помедлил.

(Я же — еще раз — я помню все это наизусть; я мог бы вычертить схему и план этих мест, со всеми тропинками, всеми просеками в лесу; совершенно ясно я вижу отсюда, как шел он в тот день...)

Он вошел, значит, в лес; он свернул, по тропинке, направо (сверни он налево, вновь, краем леса, вышел бы он, разумеется, к станции...); прошел вдоль последнего, замыкающего поселок забора; и — нет, не пошел дальше (как мы пошли с ним тогда, два года назад...); помедлил; повернул, вновь, направо; и значит, вновь, но уже с другой, лесной стороны, пройдя мимо того, моего дома, не взглянув на него, вновь, с лесной стороны, подошел к своему; вновь увидел его, или, вернее, лишь крышу его, за сплошным, на сей раз, забором; и свернув, наконец, налево, пошел, все дальше и дальше уходя от этих домов, по прямой просеке, вдруг загибавшейся, по узкой, посредине просеки проложенной кем-то тропинке, проваливаясь в снег, углубляясь в лес, оступаясь.

И все исчезло, конечно; и было тихо, совсем тихо вокруг; так тихо, как бывает, наверное, только зимою, в лесу; и неподвижно, безмолвно стояли вокруг деревья, сосны, ели, укрытые снегом...; зима, как сказано, это самое глубокое время года, все прочие времена поверхностны рядом с ней.

Все прочие времена поверхностны, зима же уводит куда-то, приближает к чему-то...; но уходя все дальше и дальше по этой прямой, загибавшейся, снова прямой, среди елей и сосен понемногу сужавшейся просеке, по которой не только в тот раз, два года назад, по которой он даже в августе, в начале всего, ни разу, или так казалось ему, не ходил, узнавая ее, но уже ни о каком прошлом не думая, почти не думая, может быть, — Макс, уходя все дальше и дальше, о прошлом не думая, ускоряя, вновь замедляя шаги, не в силах справиться с беспокойством и как будто совсем затерявшись, потерявшись в той путанице, зыбкости ощущений, которую мне так трудно представить себе теперь, здесь,

поворачивая обратно, — Макс, короче, еще раз, уже сам не понимал, может быть, что с ним, где он, куда он идет...; и лишь пройдя мимо двух, узнав их, все тех же, как будто преграждавших ему дорогу и тут же, как только он подошел к ним, влево, в сторону отступивших берез, выйдя, как и ожидал он, конечно, на покрытую ровной снежной гладью поляну, с двумя, опять-таки, с двух сторон ее, все теми же, футбольными и грубо сколоченными воротами, скамейками, почти скрытыми снегом, вдруг, может быть, успокоился.

Успокоился? — Нет; но что-то вдруг прояснилось в нем, печально и горестно; сумятица, смута и путаница вновь, как некогда, от него отступили.

Он сгреб снег с одной из скамеек; снял перчатки; положил их на сиденье; сел на них; закурил сигарету.

Он вспомнил ту, другую поляну, год назад, ночь у Фридриха; он снова забыл о ней.

— Как странно близко стоят теперь эти деревья, те кусты за воротами... Снег, может быть, приближает их... Нет, о чем же, о чем же я думал... прошлой, позапрошлой ночью?.. Да, все о том же... Принять, следовательно, принять и взять на себя эту тяжесть жизни, труд настоящего... И есть, значит, с одной стороны... А впрочем...

А впрочем, он лишь повторял про себя, не вникая в него, не совпадая с ним, этот, уже наизусть, как сказано, затверженный им ход мысли, никуда не ведущий.

О чем-то совсем ином, втайне и как бы по ту сторону самих своих мыслей, думал он, может быть.

— Да, о чем же, о чем же?..

И уже ни о чем, быть может, не думая, но с внезапным, вновь возвратившимся к нему, Максу, ощущением, что — вот, вот сейчас, что-то, быть может, решится, сидел он так, на скамейке; смотрел, ни о чем не думая, на обведенные снегом, странно близко подступившие к поляне деревья, кусты; и выкурил, быть может, одну, и другую, может быть, сигарету; и бросил окурок в снег; и закрыл, наконец, глаза; и словно вдруг провалился куда-то. И когда он снова открыл их, глаза, он, Макс, и даже не удивившись, увидел вдруг, через поляну, совсем близко и все же вдали, — три, медленно приближавшиеся фигурки, фигуры (три образа или три, может быть, тени...); и — с той легкостью, плавностью, с той бесшумной замедленностью, с какой возникает и появляется нечто во сне, в дремоте, в мгновенном провале куда-то, — три мальчика (со школьными ранцами...) вышли, на поляну, из-за деревьев, и глядя на него, Макса, остановились. Он не слышал их голосов; и если снег скрипел у них под ногами, снег, лежавший между ними и Максом, скрывал и скрадывал этот скрип, шум и шелест; и

было тихо, совсем тихо вокруг; и точно так же не слышал он, но видел, совершенно отчетливо, как, еще минуту помедлив, они бросили ранцы в снег и, уже не глядя на него, Макса, разошлись, почему-то, в разные стороны.

— Так о чем же, о чем же он думал... и позапрошлой, и прошлой ночью... и каждую ночь?.. Да, что-то, что-то... и даже все должно измениться... Но неужели он, Макс...

Ах вот как, они играли, значит, в снежки, эти три мальчика, так неожиданно, с такой бесшумной легкостью, плавностью возникшие перед ним, на поляне; снег, лежавший вокруг, заглушал и скрадывал их движения, шаги, голоса; но совершенно ясно, совсем близко и все же вдали, видел он, как, перебегая с места на место, они нагибались, загребали руками снег, поднимались, бросали...: и рассекая его, сквозь темный воздух, пасмурный день, пролетал, бесшумно и призрачно, белый, круглый, вытягивавшийся в полете снежок...

— Должно возникнуть что-то совсем иное, все должно измениться... И в конце концов, какое дело ему, Максу, до этих мальчиков, с их снежками и ранцами?..

А между тем, постепенно, бесшумно, они сходились все ближе и ближе, эти три мальчика, или, вернее, двое из них подходили все ближе к третьему: — и со все возраставшей поспешностью, — наклоняясь, сгребая руками снег, — смеясь, может быть, и заранее торжествуя победу, — все чаще и чаще, все быстрей и быстрее, бросали в него снежки: — и тот, третий мальчик, уже с трудом отбиваясь от них, отступая, все ниже сгибался и все чаще закрывал руками лицо...

— Но в конце концов, какое дело до этих мальчиков — ему, Максу?.. Он думал, значит... о чем же?.. Да, что-то, что-то должно, конечно, возникнуть...

Но как ни пытался он восстановить этот ход мысли, знакомый ему на-изусть, никуда не ведущий, он по-прежнему не совпадал с ним; и в конце концов оставил его; и вновь, может быть, не думая ни о чем, наблюдал, с бездумной рассеянностью, за тремя, в снежки игравшими мальчиками, до которых ему, Максу, никакого дела, конечно же, не было. Они, однако: они уже не играли больше в снежки, но двое из них, подойдя совсем близко к третьему, бросали в него, полными пригоршнями, снег; и тот, третий мальчик, уже не отбиваясь от них, но и не пытаясь, почему-то, бежать, стоял, согнувшись, закрывая руками лицо; и снег взлетал, рассыпался: белым, призрачным вихрем; и было тихо, совсем тихо вокруг; и только изредка, очень редко: то ли ветер шумел в вершинах деревьев, то ли шум и шелест взлетавшего снега доходил до него откуда-то — и какие-то, вдруг, далекие, совсем далекие голоса.

— Боже мой, Боже мой...

И в конце концов он упал, разумеется, в снег, или, может быть, те двое повалили его; и едва различимым, темным пятном лежал он, под снегом, в снегу; и склонившись, те двое что-то делали с ним; и он, Макс, не видел, не мог видеть, что; и на мгновение отходили, и вновь возвращались, склонялись и делали что-то; и было тихо, совсем тихо вокруг; и темный воздух, пасмурный день стоял, вокруг, неподвижно; и он, Макс: медленно, медленно, долго, странно долго, мучительно медленно шел он, через поляну. Он шел, не зная и не думая, может быть, куда, зачем он идет: странно долго, мучительно медленно; и было все так же тихо, совсем тихо вокруг; и только свои шаги на снегу слышал он, отчетливо и печально; и с каждым шагом менялись очертания деревьев, кустов; и с каждым шагом подходил он все ближе к ним, ближе и ближе; вдруг, совсем неожиданно, оказался он перед ними. Они не слышали его приближения, — и когда увидели его, наконец, вскочили на ноги, замерли: неподвижно, — и отбежав в сторону, схватив свои ранцы, пошли к лесу, то и дело оглядываясь, — и (с той бесшумной легкостью, плавностью, с какой появились, — с какой появляется, и исчезает нечто во сне, в дремоте, в провале...) исчезли, среди деревьев, в лесу.

Но тот, третий мальчик, лежал все так же, под снегом, не двигаясь, не шевелясь. И когда он встал, наконец, поднял голову и сдерживая, но все-таки сдерживая или почти сдерживая, может быть, слезы, посмотрел на него, Макса, — Макс (и с таким чувством, быть может, как будто он вот сейчас — вот сейчас, быть может, проснется...) увидел вдруг, прямо напротив: совсем детское, жалкое, робкое, несчастное, испуганное лицо...

— Боже мой, Боже мой...

— И чего ты боишься, кого ты боишься? Все пройдет, все исчезнет... и через пять, десять, пятнадцать лет где будет все это... и этот лес, и эта поляна... и те двое, с их ранцами... и боль, и страх, и обида?.. Ничего не будет, ничего не останется...

И совсем недолго, наверное, стояли они вот так, друг против друга; но (думаю я теперь...) — но измеренное такой глубокой печалью, какой он, Макс, еще никогда, может быть, не испытывал, вообще никогда не испытывал, это краткое, совсем краткое, быть может, мгновение — тянулось, и длилось, и медлило: почти бесконечно...; и всматриваясь в эти испуганные, удивленные, прямо напротив, глаза, он, Макс, уже как будто не мог от них оторваться; и совершенно ясно, прямо напротив, видел в них, в неподвижных зрачках, свое собственное, до боли и слез уменьшенное отражение; и тихо, совсем тихо было вокруг; и только ветер шумел, может быть, в вершинах деревьев; и они были совсем одни здесь, вдвоем, на поляне; и в конце концов, тот, мальчик, отвел, как будто с усилием, взгляд, поднял ранец, посмотрел, еще раз, на Макса, и — сначала медленно, потом все

быстрее, чуть вздрагивая и отряхивая снег на ходу — пошел, побежал за своими товарищами...

— Боже мой, Боже мой...

Еще никогда, может быть, не испытывал он такой глубокой, такой — безнадежной печали. Он дошел до скамейки, сел на прежнее место, опять встал, закурил сигарету — и уже не думая, почти не думая, может быть, об этих трех мальчиках, исчезнувших: навсегда, пошел, в свою очередь: к футбольным воротам.

— Да, — снова, с новой — всегда новою — ясностью, пронзительной и печальной..., — все должно измениться, что-то иное возникнуть, но он, Макс, здесь и отсюда, не знает, и не может, и не должен знать что...

— А вдруг ничего не возникнет? ничего не изменится?..

Что это — что это было?

Он подошел к воротам, дотянулся до перекладины, обернулся: поле, кусты и деревья, другие ворота, скамейки, следы на снегу... нет, не то, не так: что же, что это было?..

Это было так внезапно, так неожиданно...; ничего подобного он еще никогда, может быть, не испытывал.

Но это было не чувство — нет... печальное — да... бесконечно и безнадежно печальное... но все-таки не чувство, не ощущение... уверенность.

— А что если и вправду ничего не изменится? ничего не возникнет?..

Он еще спрашивал? Спрашивать было незачем, некого. Он был совершенно уверен в эту минуту... вдруг, с совершенной ясностью, пронзительной и печальной, увидел... но именно увидел он... стоя у ворот, глядя вдаль... что ничего никогда не возникнет, никогда ничего не изменится.

— И никакого выхода нет. Нет — и не надо. Нет — и не надо...

И значит, то, что он называл отчаянием, отчаянием и было, и не было. Лишь теперь, может быть, испытал он действительное отчаяние: отказ от чаяний, крушенье надежд.

И оно было печальным... да, печальным, конечно, по-прежнему; и что-то пугающее было в нем, может быть; но и втайне отрадным было оно, конечно; но и... облегчением оно тоже, разумеется, было.

— Ну вот и все... все равно...

Нет, так и такими он еще никогда не видел: ни кустов, ни деревьев. Они были сами по себе, он сам по себе. Все равно, все безразлично...

И вот теперь он вправду, наконец, успокоился. Теперь он был так спокоен, как еще никогда, казалось ему, не бывал.

— Ну вот и все, вот и все... вот так все кончается... вот и прекрасно...

И он стоял так, у ворот, и с по-прежнему, разумеется, удивлявшим его чувством облегченья, освобожденья, отчаяния, повторял про себя: вот и все, вот и все...; и потом пошел, проваливаясь в снег, к другим воротам, через поляну; и встал у них; и дотянулся рукою до перекладины, мокрой и скользкой; и увидел следы на снегу, свои и чужие; и снова вспомнил, наверное, ту, другую поляну, год назад, ночь у Фридриха; и то мгновение, когда он ждал его на бульваре, помирившись с собою; и то ощущение... правильности, вновь, может быть, к нему возвратившееся.

Все было правильно... просто потому, что уже никакого, никакого значения не имело.

— Вот так, вот так все кончается...

Все уже как будто закончилось; вообще, может быть, не начиналось.

— Вот и слава Богу... вот и прекрасно...

А впрочем... а впрочем, и этому мгновению не дано было, конечно, продлиться.

Он вполне поражен был открывшимся; он сам не знал, разумеется, что ему со всем этим делать.

— Да, вот... что же... что же делать теперь?..

И как только он спросил себя так, что-то, в нем самом, сорвалось, повернулось; и как будто падая, соскальзывая — откуда-то — вновь почувствовал он приближение, сгущение: того — недействительного, значит, отчаяния, в котором прожил он всю эту зиму; беды, путаницы, беспокойства...; и опять, может быть, спохватившись, дотянувшись до перекладины, поднялся над ним и вырвался из него; посмотрел, увидел, в последний раз, другие ворота, деревья, кроны их, следы на снегу...; и пошел, наконец, не оглядываясь — в ту же сторону (о чем он и вовсе, должно быть, не думал...), откуда сначала возникли (с бесшумной замедленностью...) и где снова (во сне и дремоте...) исчезли: три, со школьными ранцами, мальчика. Нет, нет, он не думал о них; он все еще пытался, может быть, думать о том, что открылось ему, и о том, что делать теперь...; и не мог; и что делать, не знал; и все опять, конечно, кружилось и вновь, разумеется, путалось: в беде, отчаянии: недействительном.

(Я же, еще и еще раз, я помню наизусть этот лес, со всеми его тропинками, и этот поселок, со всеми улицами его...)

Он и вышел, почти сразу, на улицу: на ту — самую длинную улицу в этом поселке, тянувшуюся вдоль леса (дома стояли, до сих пор, надо думать, стоят на ней только с

одной стороны...), которая — где-то там, — в ему, Максу, уже невидимом отдалении — пересекалась (пересекается...) с нашей — что значит: с нашей? — подумал он — с нашей, все-таки, улицей. И что же, направо, к станции?.. нет. Он повернул налево; он пошел, значит, так же, как мы шли с ним когда-то, в последний день в августе, уже давным-давно описанный мною. И в лесу... да, в лесу тогда был туман, всплески, шорохи, падение капель; и мы шли все дальше, дальше, под мелким дождем; и... где же, где же, где теперь все это?..; и... чем дальше он шел, тем сильнее делалось его беспокойство; и то ощущение — бездомности, которое испытывал он накануне, блуждая по городу, вновь, может быть, его охватило; и оказалось, на сей раз, только горестным, отнюдь не отрадным; и с какой-то как будто другой, не той стороны виделась ему эта улица, столь когда-то знакомая, и заборы, и крыши, и редкий дым над крышами, и машина, уткнувшаяся капотом в сугроб...: и как если бы все направления сместились, все линии спутались, — или так, может быть, как если бы он, Макс, уходил все дальше и дальше от той, уже, конечно, невидимой, давным-давно, конечно, утраченной, но по-прежнему светящейся точки, вокруг которой и располагались когда-то все улицы, все тропинки, которая, только которая, и была для него, разумеется, по-прежнему была для него, пускай несуществующим, но все-таки: домом. Он же и в самом деле уходил от нее все дальше; свернул, вновь, направо; налево; поселок кончился; улица превратилась в дорогу; дальше идти было некуда. И он увидел, разумеется, пруд, внизу, за деревьями, лед и кажется — прорубь; и еще немного постоял на этой — границе; и пошел, наконец, обратно — куда же?

— Ну вот... и пройти еще раз по той, нашей улице... и сесть в поезд, и возвратиться в Москву... в неописуемое... в отчаяние...

Ботинки его промокли; озноб бил его; он был, наконец, голоден. Он почти ничего не ел со вчерашнего вечера.

Но (думаю я теперь...) — но как если бы одна граница заставила его вспомнить другую, — и как если бы (раз уж он приехал сюда...) он должен был обойти его весь, целиком, этот замкнутый в себе мир (лес, поселок и станция...) — или просто-напросто повинуясь, быть может, отдавшись, быть может, тому беспокойству, которое и водило его по поселку и по лесу, по улицам и тропинкам, ощущению бездомности, не в силах остановиться: как бы то ни было, вновь дойдя до того места, где он вышел, только что (ему казалось уже давным-давно...) из лесу, он снова свернул в него (в лес...) и очень быстро (уже начинало темнеть...) пошел по одной из — столь когда-то знакомых, петлявших, и разбегавшихся, в разные стороны друг от друга убегавших тропинок. Где-

то слева, мелькнув за деревьями, осталась поляна (ворота, следы и скамейки...); был тот час, то мгновение суток, когда все замирает: как будто в ожидании чего-то, — и все очертания, все контуры делаются вдруг странно четкими, синеют, чернеют, — и смутные тени появляются на снегу, — и сам снег отсвечивает каким-то, тревожным, тающим, исчезающим светом...

Зимою, как сказано, — зимою сумерки подступают издалека и наступают внезапно; самый воздух делается понемногу прозрачнее, тоньше — и как будто ускользая от себя самого, вдруг, всякий раз неожиданно, оборачивается уже давным-давно таившейся за ним темнотою...

Вот в такой-то (думаю я теперь...) — вот в такой-то час, в такое мгновение, — и в этом же самом лесу, — он, Макс, впоследствии, остановился, закурил сигарету, и (с чего я и начал...) сказал мне, что — во всяком случае он, Макс, поворачивает — да, поворачивает обратно. Он ничего не знал об этом, конечно же; и свернув на ту тропинку, по которой мы шли с ним впоследствии, — и значит, на ту же, по которой мы шли с ним два года назад, — прошел мимо этого места, как и два года назад, не остановившись, даже не закурив; и значит, лишь я один, теперь и по-прежнему, вижу этот маленький, незаметный (легкий изгиб тропинки...), направленный в будущее, возвращающий в прошлое, важнейший для меня указатель...

А между тем (думаю я...) до всего этого, до этого — я поворачиваю обратно, оставался лишь один какой-нибудь год; и та зима, с которой я начал (до которой мне еще нужно добраться...), была, значит, следующей (в это трудно поверить, но это так...) — была следующей, значит, зимою.

Он ничего не знал о ней; он не думал о будущем; он шел, все дальше и дальше, все быстрей и быстрее, проваливаясь, наверное, в снег и уже почти не сопротивляясь, наверное, тому, почти невыносимому беспокойству, которое мне так трудно представить себе теперь, которое (думаю я...) и водило его, быть может, по поселку и по лесу, по улицам и тропинкам, от одной границы к другой. И он уже видел ее, эту другую границу, это (за отпрянувшими, как некогда, соснами...) поле; сливаясь с сумерками, с синевою, словно мерцавшей над ним, казалось оно огромным, бескрайним, необозримым; ветер кружил по нему, подбрасывая, закручивая мгновенные всполохи снега. И после углубленной неподвижности леса здесь было холодно, пусто; и — и что, собственно? Пойти назад, и сесть в поезд, и — и он уже шел, через поле, по узкой, то и дело заметаемой снегом тропинке; и уже, от снега и сумерек, отделялись дома, крыши, заборы; и он уже видел ее, ту, прекраснейшую из сосен, с ее, очень длинной, из общей

игры ветвей выбивавшейся веткой; и (думаю я теперь...) — и как же он был удивлен, и даже испуган, наверное, — или, может быть, даже не успел удивиться, — и даже не сразу понял, быть может, что он, собственно, видит: увидев, следовательно, в окнах крайнего дома: печальный и тихий, тихими, тусклыми пятнами на снегу и в сумерках медливший свет...

Он устал и был голоден; ботинки его промокли; озноб бил его; минут пять, может быть, стоял он возле ворот (они не были заперты, он приоткрыл их...), не зная, что ему делать, и не пойти ли назад, не сесть ли, действительно, в поезд...; и потом пошел все-таки к дому, к сосне, очень медленно, по твердой, отчетливо проступавшей под снегом дорожке; и были, как некогда, мелкие веточки на снегу, сосновые иглы; и пахло хвоей, смолою; и дом казался огромным, почерневшим от времени; и та, прекраснейшая из сосен, с ее нежным красноватым стволом и длинной, из общей игры ветвей выбивавшейся веткой, то появлялась, то снова, за другими соснами, исчезала; и синел, и таял, в сумерках, снег; и свет мелькал за деревьями; и потом вдруг погас; и кто-то, смутной тенью, оказался вдруг на террасе; и смотрел на него, Макса, по-видимому не узнавая его, удивляясь.

— Это я, — сказал Макс.

— Кто — я?

— Макс.

— Ах, конечно, конечно, — заговорил — Сергей Сергеевич (спускаясь к нему по ступенькам...). — Вот приятная неожиданность...

И по-прежнему с удивлением глядя на Макса, или так Максу казалось, Сергей Сергеевич сообщил ему, что, вообще-то, он, Сергей Сергеевич, собрался уже ехать в Москву, но что, с другой стороны...

— Я тоже еду в Москву, — сказал Макс.

В таком случае, они могли бы поехать вместе... на ближайшей или на следующей, например, электричке.

— У вас какой-то... замерзший вид... Давайте... выпьем чаю, потом поедем.

— О... да, — сказал Макс. — Спасибо, да, с удовольствием...

— Ну что ж, заходите...

В прихожей было темно, и пахло... да, пахло, разумеется, так же, как и пахнет обыкновенно в старых, почти нежилых домах: пылью, крошащимся деревом...; и это был, на сей раз, такой грустный, тяжелый и тягостный запах, и такое, с новой силой, отчаяние вдруг почему-то охватило его, то есть Макса, что он, Макс, хотя и попытался,

быть может, что-то сказать и как-то объяснить Сергею Сергеевичу если не цель, цели не было, то по крайней мере обстоятельства своего появления, ничего, в конце концов, сказать не сумел, сбился и спутался, снял пальто и не зная, что делать с ним, помедлив, положил его на какой-то, в темноте подвернувшийся стул.

— Наверх, — говорил Сергей Сергеевич. — Очень рад, в самом деле. Поднимайтесь, поднимайтесь наверх.

И образуя одно целое с этим запахом, тяжелым и грустным, скрип лестницы отзывался в нем, Максе, с каждой ступенькой как будто нараставшим ощущением безнадежности. Он сам не знал, разумеется, зачем он сюда пришел.

Наверху же, удивительным образом, все это кончилось; наверху оказалась большая и, хотя снаружи уже сгустились, уже надвинулись сумерки, все еще довольно светлая комната, с круглым, посредине, столом и круглой лампой, спускавшейся к столу с потолка. И он снова видел ее — в окне, ту, прекраснейшую из сосен; ветку, тянувшуюся к самому дому; и ему казалось, он слышит запах: хвои, смолы; и, во всяком случае, пахло здесь совершенно иначе: то ли, может быть, дымом, непонятно откуда, то ли, действительно, хвоей, смолою.

Он сел так, чтобы видеть ее, прекраснейшую из сосен, и дальше, за нею: синь сумерек, поле и снег...

— У вас замерзший вид... и уставший, — говорил Сергей Сергеевич (садясь напротив и всматриваясь, должно быть, в его, Максово, освещенное последними остатками света лицо...). — У вас, простите, странный какой-то вид...

— Я очень голоден, — сказал Макс.

— Вот те раз... Подождите, я приготовлю, действительно, чай. Зажечь вам свет?

— Нет, спасибо.

И он остался один, Макс; он видел, в окне: синь сумерек, сосну, ветку и снег; и хотя в комнате еще не совсем, должно быть, стемнело, сумерки уже наполняли ее; предметы дрожали, очертанья их расплывались; и где-то, по углам, у него за спиною, уже сгущалась, наверное, ночь. Он сам не знал, как сказано, зачем он сюда пришел; и неужели (так думал он, может быть...) — и неужели вот сейчас, когда Сергей Сергеевич возвратится, ему придется говорить с ним... о чем же?

— Вы пьете крепкий чай? — (голос; снизу...).

— Да, крепкий, — ответил он: и так тихо, что Сергей Сергеевич ничего, должно быть, не услышал в ответ.

А впрочем... какая разница? Да, крепкий... Все равно, все безразлично.

— Вот, пожалуйста, — сказал Сергей Сергеевич, вновь появляясь в комнате. — Значит, крепкий? Отлично. И вот, пожалуйста, хлеб, сыр... Не стесняйтесь, прошу вас.

И разумеется, когда он, Сергей Сергеевич, зажег, наконец, свет, все изменилось; и там, где только что была ветка, сосна, осталась лишь тень сосны и тень ветки, смутная тень; и призрак лампы; и две чашки на круглом столе; и его, Максово, отчаянное лицо; и еще некое, к нему, Максу, спиной повернутое отражение...

Сергей Сергеевич был, как сказано, высок, худощав; он говорил медленно, растягивая слова; руки складывая на груди; шевеля пальцами...

— Ну вот: теперь лучше? В таком случае: рассказывайте...

— О чем?

— Как о чем? О себе. Что вы делаете и куда вы снова пропали?..

Пропал... вот именно.

— Нет, нет, лучше вы расскажите.

— А что мне рассказывать? Мне рассказывать нечего. В театре? В театре все, в общем, по-прежнему. Новые спектакли? Нет, никаких.

— Почему?

— Не так просто, знаете ли, поставить новый спектакль... И потом... и потом хочется поставить что-нибудь... совсем неожиданное...

— Например... что же?

— Я сам не знаю, — (вдруг рассмеявшись...). — Я сам не знаю, в том-то и дело. А впрочем... а впрочем, я слышал недавно... от Фридриха... вы с ним видитесь?

— Нет.

— А... с Лизой? — (быстро-быстро, по своему обыкновению, посмотрев, должно быть, на Макса...).

— Нет, тоже нет. Я вообще... мало с кем вижусь в последнее время.

— Ну что же... Да, так вот, Фридрих рассказывал мне недавно об одной... совсем, якобы... неожиданной пьесе... еще, кажется, до конца не дописанной... Макс...

— Что?

— Вы слушаете меня?

— Разумеется. Я... просто... Можно я закурю?..

— Курите, конечно... Сигареты у вас есть?.. Вот вам пепельница...

Он смотрел в окно, конечно, по-прежнему; тень сосны и тень ветки уже почти исчезли там, за окном.

Пропал... да... вот именно.

— Ну а все-таки... вы-то, вы-то, Макс... что вы делаете?..

— Так... ничего.

— То есть как так... ничего? Совсем ничего?

— Нет... вот... Наступает, видите ли, такое, — сказал он — и тут же пожалел, наверное, что он это сказал, — такое... время, когда нам надо остановиться, и посмотреть назад, и все вспомнить...

— Но помилуйте, Макс, — так рано?

— Что значит: рано? — сказал Макс.

— Рано значит: рано, — сказал Сергей Сергеевич. — Ведь вы же еще совсем... совсем молоды. Это мне пристало... оглядываться, а вам бы надо идти, — он улыбнулся, конечно, — вперед, и ставить себе какие-то цели, и к чему-то стремиться... А впрочем, каждый решает сам, и вряд ли вы нуждаетесь в моих советах. Или у вас есть какие-то... особенные причины?

— Мне очень плохо, — сказал Макс.

— Я вижу.

И с этим *я вижу* что-то решилось; и это *я вижу* было сказано с такой, для него, Макса, неожиданною интонацией (с такой интонацией сочувствия и вместе с тем нежелания навязывать ему, Максу, это сочувствие...) — что он, Макс...

— Что же, что же?.. — подумал он вдруг. — И что если, вот сейчас, все ему рассказать?..

Он ничего никому не рассказывал; даже со мною, если вообще о чем-нибудь, говорил он только о прошлом, почти только о прошлом, запретном для меня или нет, далеком, очень далеком...; лишь теперь понял он, может быть, как, на самом деле, хотелось ему все, кому-нибудь, рассказать.

— Но если все рассказать ему, то... как же, с чего же?..

Он по-прежнему смотрел, конечно, в окно, и совсем-совсем неподвижными, еще более неподвижными, чем на скатерти, перед ним, казались ему, в окне, две чашки, пепельница, остатки сыра, лежавшие на тарелке; и его собственная рука, рядом с пепельницей, казалась ему такой же неподвижной, безмолвной, застывшей; и только тонкий, синий дымок уже почти докуренной им сигареты жил там, в окне, какой-то своей, отраженной, призрачной жизнью...

И посмотрев на Сергея Сергеевича, он увидел, что тот, Сергей Сергеевич, сидит и в свою очередь смотрит на него, Макса: неподвижно, безмолвно...; и очень медленно, очень тихо, так тихо, что Сергею Сергеевичу приходилось, прислушиваясь, почти

угадывать, быть может, какие-то, им, Максом, почти не сказанные слова, заговорил он о том единственном, о чем он только и мог говорить в эту зиму, о чем он ни с кем в эту зиму не говорил...

— О чем же, о чем же?..

— Да, о чем же, о чем же?.. И если бы удалось понять, по крайней мере, о чем... о чем идет речь. Но я и этого не понимаю... даже этого не понимаю.

— И в конце концов... это... невозможность жизни... вот что это такое... И потому что... с одной стороны...

И уже не глядя на Сергея Сергеевича, не глядя даже в окно, никуда, и говоря по-прежнему очень тихо, но: все быстрей и быстрее, сбиваясь и путаясь, перебивая себя самого, и затем уже почти, быть может, не путаясь, почти не сбиваясь, и лишь повторяя, быть может, какие-то, им, Максом, в его бессонные ночи, наизусть заученные определенья и формулы, и уже почти не думая, быть может, о том, понимает ли его Сергей Сергеевич или не понимает, не зная даже, слушает ли его этот последний, не поднимая глаз и не смея поднять их, но с тем (так думаю я теперь...) — с тем чувством падения куда-то (в какую-то, в нас самих, вдруг раскрывающуюся пустоту...), с каким мы признаемся кому-нибудь в чем-нибудь... тому, кто слушает наши признания, вообще, может быть, непонятном, для нас же единственно-важном... в чем-то таком, следовательно, что, как сами мы вдруг понимаем, должно, хотя бы однажды, быть сказано, хотя бы однажды, но все-таки прозвучать..., с этим как бы внутренним разведением рук, с этим: ах, все равно — и вниз головою..., он все, действительно, все рассказал Сергею Сергеевичу; и сказал, конечно, что — вот, с одной стороны, случайная жизнь, случайные мысли...; и что мы всегда, всегда с кем-нибудь говорим...; и с другой стремленье, конечно, к какому-то... превосходному будущему... к обязательно-должному...; принуждение, никуда не ведущее...; и что все, конечно, не так, все неправильно...; и что должен быть, должен быть, конечно, какой-то... выход... из всей этой путаницы...; и значит, должно возникнуть что-то иное, все должно измениться...; и ничего, наверное, не возникнет, никогда не изменится...; и — и так далее, повторяя заученное...; и вдруг, разумеется, замолчал, посредине какой-нибудь фразы; и сказал, что — да, вот так... да, вот так...; и (так думаю я теперь...) — и это было вовсе не то чувство пустоты и неловкости, которое мы всегда испытываем, признавшись кому-нибудь в чем-нибудь, но это было чувство такой неловкости, что он, Макс, замолчав, еще долго и очень долго не мог поднять глаза на Сергея Сергеевича, и охотней всего убежал бы, наверное, добежал бы до станции, и сел в поезд, и

возвратился в Москву, и — что, собственно?..; и вместе с тем чувство такой пустоты, как если бы не только в нем, Максе, но и вне его, и вокруг, и везде, и где бы то ни было, стало вдруг совершенно, стало вдруг осязаемо пусто, и все исчезло, и ничего, нигде больше не было...

И — как вывод из всего им только что сказанного — вновь, может быть, почувствовал он, в себе, в пустоте, то — действительное, значит, отчаяние, которое испытал он, час или два назад, на поляне, у футбольных ворот...

— Вот и все. Все равно...

И совсем странно, конечно же, непонятно откуда, совсем тихо и как будто издалека, звучал здесь, в пустоте и отчаянии, голос Сергея Сергеевича, говорившего, тем временем, что... поскольку он понял Макса... а ему кажется, что он все-таки понял его... да, в общем, что же?.. это пройдет. Это такое... тяжелое время... его нужно просто как-нибудь... пережить, переждать. Это пройдет... все изменится. Вы думаете нет? Изменится... конечно, изменится. И конечно, возникнет что-то... как вы говорите... иное. Ведь мы все время меняемся... особенно в молодости. Вспомните себя самого... год назад, два года назад... Разве вы не изменились с тех пор? Мы все время меняемся. Не отчаивайтесь, не теряйте надежды...

Он закурил, в свою очередь, сигарету; Макс взглянул на него, наконец, снова отвел глаза.

Да, что же, что же сказать? Жизнь вообще... неудовлетворительна, да и чего бы мы стоили, если бы с ней... согласились? Но в конце концов... что спасает нас от отчаяния? Лишь некая... да, лишь некая деятельность. Вы смеетесь?

Макс и не думал смеяться.

Вы смеетесь. Вам это кажется слишком простым, слишком... обыкновенным? Вы правы. И все же лишь некая деятельность спасает нас от отчаяния. Знаете, как бывает? Вот мы ставим, к примеру, спектакль, готовимся, репетируем... и получается то хуже, то лучше... и обязательно, всякий раз, наступает такое мгновение, когда кажется, что ничего не выйдет, ничего не получится... и всем уже все надоело... и все, вообще, плохо... все не так, все разваливается... Но в конечном счете... в конечном счете, все это не имеет никакого значения. И все это потом забывается... навсегда забывается.

— Значит, — сказал Макс (очень тихо по-прежнему... но вдруг, может быть, почти неожиданно для себя самого, в пустоте, улыбнувшись...). — Значит, важен все-таки лишь некий результат жизни, а вовсе не она сама, например?..

— Я этого не говорил. Я не знаю, никто не знает, наверное, что, действительно, важно. И потом... что такое... вообще... жизнь?

— Да, конечно, — сказал Макс (все так же тихо, вновь улыбнувшись...). — Жизнью ведь можно назвать все, что угодно, если угодно все...

— Вот в том-то и дело. Осуществление... задуманного и есть, может быть, в первую очередь... жизнь. Все прочее в известном смысле лишь средство для... осуществленья задуманного. Вы не нуждаетесь в моих советах, я знаю. И все же... как только вы найдете подходящую для себя деятельность...

— Это ничего не решит, — сказал Макс. — Это был бы лишь еще один способ бегства от... нерешенностей. Простите меня. Мне не надо было... вообще...

— Отчего же? Иногда бывает очень полезно все... кому-нибудь... рассказать. Пойдемте, уже совсем поздно.

— Да, пойдемте, пойдемте скорее...

— Я должен только убрать со стола.

Макс помог ему убрать со стола; в кухне, оказавшейся рядом с прихожей, стоял снова тот же, грустный, тягостный запах.

— Не боитесь идти через лес? — спросил его Сергей Сергеевич (надевая пальто...).

— Нет, — сказал Макс (из пустоты в пустоту; не попадая в рукав...).

— У меня есть, кстати, фонарь...

И этот фонарь осветил на мгновенье террасу, ступеньки, снег на перилах, птичьи следы на снегу; и потом Сергей Сергеевич передал его Максу, запер, на ключ, дверь; и Макс, прежде чем отдать его Сергею Сергеевичу, провел им, повернувшись к саду, слева направо, справа налево; и в последний раз, на прощание, увидел, разумеется, ту, прекраснейшую из сосен, кусок ствола и часть ветки...; и они пошли к воротам, открыли их, закрыли их за собою; и шли очень быстро, Сергей Сергеевич впереди, с фонарем, Макс, едва поспевая за ним; и быстро, очень быстро прошли через поле; и так же быстро пошли через лес; и мелькали, и снова терялись деревья, куски веток, части стволов; и где-то там, впереди, бежал по тропинке свет фонаря, но прямо перед ним, Максом, было темно, еще темнее, быть может, чем среди деревьев, вокруг; и он ступал в темноту, в пустоту, и проваливался, разумеется, в снег...; и лишь когда они оказались на той... да, на той, нашей улице, Сергей Сергеевич, погасив и спрятав фонарь, чуть-чуть, но все-таки замедлил, быть может, шаги.

— А кстати, Макс, вы ведь здесь жили когда-то... в этом поселке... или я что-то путаю?..

— Да, жил... нет, не путаете.

— Где именно? На какой улице?

— Вот здесь, вот на этой... Вон в том доме, за вот этими ветками...

Зима, как сказано, это самое глубокое время года; все прочие времена поверхностны рядом с ней.

И совсем замедлив шаги, почти остановившись под (другим, уличным, разумеется...) фонарем (тусклый свет его лежал на снегу...) Сергей Сергеевич, посмотрев вдруг на Макса:

— Мне кажется, я вас помню, — сказал он.

— Простите? — сказал Макс.

— Нет, я, конечно, помню вас... год назад, два года назад. Но мне кажется, я помню вас... тогда, когда-то, давно. Я видел вас... конечно, я видел вас. Когда-то, лет десять назад... или восемь. Я шел к станции... вот как сейчас мы идем... летом, вечером... не помню уже когда. Но... какой-то мальчик, на велосипеде... навстречу мне... и свернул вдруг вот в эту калитку... и она захлопнулась за ним... скрип пружины... Да, я помню вас... да, конечно.

— Не может быть, — сказал Макс. — Нет... не может быть, — сказал Макс.

И все вспомнил; все тут же, разумеется, вспомнил.

Было тихо и было темно; горели, как некогда, редкие тусклые фонари; желтоватый отсвет их лежал на снегу; тени домов, очертанья деревьев, притянутые на мгновение светом, исчезали, терялись; лаяла, вдалеке, собака; умолкала, вновь принималась лаять; у края облака, едва различимого, светилась, быть может, одна, одна-единственная, синяя, большая звезда... И все это словно входило в него, Макса, вплывало в него, в пустоту, непонятно откуда...; и все вспомнив, все, как сказано, вспомнив, шел он, вместе с Сергеем Сергеевичем, отставая от него на полшага: и уже как будто не к станции, но: куда-то, куда-то, куда-то...

И так же, из пустоты, появился, в пустоту въехал поезд.

И сидя в поезде, напротив Сергея Сергеевича, и глядя, конечно, в окно (с отражениями их лиц...) — Макс, под стук колес, закрывая, вновь открывая, вновь, может быть, закрывая глаза, — откидываясь на сиденье и снова глядя в окно, — борясь или уже не борясь, может быть, с подступавшей к нему, в тепле и вагоне, дремотой, отдаваясь усталости, как будто... да, как будто все еще шел там, по тем улицам, все дальше и дальше, налево, направо, налево...; и все было так же, конечно; так же, тот же, скрипел под ногами снег; так же, у края облака, светилась, та же, звезда; собака лаяла

вдалеке; и умолкала, и вновь принималась лаять; и хлопала дверь в тамбур; и стучали колеса; и мгновенный росчерк рассыпающихся огней проплывал, скрывался за лесом; и кто-то ехал ему навстречу, на велосипеде, когда-то; и три мальчика, бросив ранцы, играли, снова, в снежки; и сжатая сугробами улица заканчивалась где-то рядом, в двух шагах, за углом; и под стук колес, за углом, Сергей Сергеевич, пошевелив пальцами, сказал ему... что же?

— Знаете, Макс, — сказал ему Сергей Сергеевич (пошевелив пальцами...) — вам все-таки надо бы чем-то заняться. В конце концов...

— Да, но чем? — сказал Макс.

— В конце концов, это бездействие даже опасно. Чем? Все равно. Я, со своей стороны, могу предложить вам лишь какую-нибудь работу в театре.

— В театре? — сказал Макс. — Что же я могу делать в театре?

— Вы можете заниматься в студии. Вы же хотели этого.

— Хотел, — сказал Макс.

— Кроме того... вы помните Володю, моего помощника? У него слишком много обязанностей, он не справляется с ними. Вы могли бы быть... чем-то вроде моего... второго помощника. Подумайте, я говорю серьезно.

— Я подумаю, — сказал Макс. — Я не знаю. Сейчас...

Нет, нет, сейчас ни о чем подобном не могло быть, конечно, и речи. Но странное, думал он, странное, странное предложение; и так сразу... так сразу все изменилось; и закрывая, вновь закрывая глаза, по-прежнему видел он те улицы, дачные, фонари и сугробы..., и затем вдруг, за углом и за поворотом: театр...; и вспоминал ту осень, наверное, когда он впервые в нем оказался, и прошлую какую-нибудь весну, и Марию Львовну, и Перова, и Лизу, и занятия в студии, и спектакли, и репетиции..., и свое собственное влечение ко всему этому, ко всей этой жизни, почти им забытое...; и разве не хотелось ему, Максу, ответить просто-напросто: да, я согласен? Нет, вот этого ему не хотелось; и если чего-то хотелось ему, то, конечно же, только туда, домой, на те улицы. Он и шел по ним, наконец, снова шел по ним, все дальше и дальше, ни о чем не думая, почти засыпая.

На вокзале же оказалась толпа, растоптанный снег; быстро-быстро дошли они до метро; Сергей Сергеевич, пожав ему руку, скрылся, вместе с толпою, устремлявшейся в освещенный провал; Макс, оставшись один, посмотрел, конечно, вокруг и, не зная что делать, пошел все-таки домой, не домой, к своему, уже выраставшему за другими домами, над крышами, неописуемому, еще раз, жилищу.

37

Все тихо вокруг. Вот это дерево, с его парящей в воздухе кроной: то дерево, на которое он, Макс, смотрел когда-то, утром и вечером, из окна своей, как и оно, дерево, повисшей над землею мансарды: когда это было? Давным-давно, много позже: есть, как сказано, разные, совсем разные времена, и времена эти не просто переходят друг в друга, но (разделенные самой своей природой, своей окраской, звучанием...) так странно меняются местами, что более раннее оказывается вдруг ближе к нам, чем более позднее, позднейшее же, удивительным образом, отступает от нас самих: в бесконечную, никаким временем не измеримую даль...

Все тихо вокруг. Да, вот оно, это дерево; и вот: оно уже начинает понемногу желтеть; и первые желтые листья уже отделяются понемногу от его парящей по-прежнему кроны; и медленно, медленно опускаясь (так медленно, как будто им вообще не долететь никогда до земли...), кружатся в воздухе, ложатся на землю. И в этом медленном, но уже неуклонном падении листьев уже слышится — да: снова слышится осень, ее приход, ее приближение, и словно шаги ее: по лесам и дорогам. Осень же — и я не знаю сам почему — осень, с ее затаившейся ясностью, печальной и праздничной тишиною, всякий раз, на мгновение, возвращает — обращает меня к моей собственной жизни: теперь и здесь, здесь и теперь, на берегу моря, на краю, соответственно, мира. Она приходит, проходит, смахивая, как капли дождя с деревьев, стряхивая, как листья и вместе с листьями, остатки лета, собирая в ладонях, унося их с собою: приходит, проходит, по пути раздвигая предметы, раскрывая пространство, протяжным отзвуком наполняя округу...; а я живу по-прежнему здесь, здесь и теперь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке; и каждое утро, занимая свою позицию, всматриваюсь — отсюда — в те, какие-то, далекие и очень далекие времена — с их холодными и теплыми зимами, сугробами, домами и улицами, отчаянием, надеждами, бессонными ночами, внезапными встречами... — времена, однако, которые, сдвинувшись и снявшись со своих мест, подошли вдруг так странно близко ко мне (теперь и здесь, поворачивая обратно...) — что я уже с трудом различаю за ними то дождливое, позднее, на смену им пришедшее лето, когда он, Макс (истинный герой моей истории: если это история...) изменив — или, может быть, вновь найдя уже данное, уже заданное ему направление, впервые приехал сюда, в эту маленькую, еще и еще раз, за дюной притаившуюся деревушку, я же, последовав за ним и еще сам не зная, конечно, не

подозревая и не догадываясь, чем станет для меня эта деревушка, никому из нас дотоле неведомая, обнаружил его, Макса, в кресле, с брошенной на пол книгой, внимательно и отрешенно глядящим на расплывавшееся в тумане и в тумане уплывавшее дерево...

Когда это было? Давным-давно, много позже: есть, как сказано, разные, есть совсем разные времена...: и не только мой первый, еще предварительный, но (так думаю я теперь...) — но и мой, уже окончательный, второй приезд в эту маленькую, за дюной, еще и еще раз, притаившуюся деревушку, — та весна, следовательно, когда, повернув обратно, я приехал сюда один (и лед, как сказано, лежал еще у самого берега, и снег, как сказано, лежал еще в тех тенистых местах, где пляж переходит в дюну...), — та весна, иными словами, с которой, или, вернее: в которую, решительно, робко, волнуясь и радуясь, началось, наконец — я поворачиваю обратно — мое теперешнее, все еще длящееся, каждый день прерываемое и все же не знающее остановки движение (движение куда-то, приближение к чему-то...) — и этот приезд, и эта весна, и это начало — оно тоже (так думаю я теперь...), отдалившись, превратилось, если угодно, в некое, несравнимое, конечно же, с предыдущим, но и несопоставимое, как ни странно, с последующим (теперешним и все еще длящимся...) время, уже замкнутое в своих пределах, границах, с трудом различимое. В самом деле, прошло с тех пор и лето, и осень, и зима, и снова весна, и еще одно лето, уже почти закончившееся, быть может...; а я все жил и жил здесь, на берегу моря, на краю, как сказано, мира: и каждое утро, занимая свою позицию — сквозь более удачные, сквозь менее удачные дни — и даже сквозь совсем неудачные, — уходил все дальше и дальше, куда-то, по каким-то, как будто впервые открывавшимся предо мною дорогам, все более и более углубляясь в те далекие, ранние — со всеми их событиями, сугробами, домами и улицами, отчаянием, надеждами — времена: времена, еще и еще раз, подошедшие, в итоге, так странно близко ко мне, что я уже с трудом различаю за ними и некое, позднее, лето, и даже некую, совсем позднюю, еще почти осязаемую, но уже, как сказано, замкнувшуюся в своих пределах весну...

С трудом? Все яснее.

Да, все ясней и яснее — глядя, к примеру, в окно — вот сейчас — или выходя, предположим, из дому, блуждая по лесу, вдоль моря, по дюнам — все ясней и яснее я вижу их, и эту весну, и это лето, и, тем более, ту — я поворачиваю, еще раз, обратно — ту, сразу же и с первой страницы отмеченную мною на карте, — ту зиму, следовательно, с которой я — начал, и к которой, как сказано, мне предстоит еще, когда-нибудь, возвратиться. Все ясней и яснее я вижу их, и эту зиму, и это лето, и эту весну; но (так думаю я теперь,

блуждая по лесу, взбираясь на холм...) — но как будто с другой стороны, оттуда, из прошлого. Они дальше от меня теперешнего, чем от меня — и от Макса — тогдашних; и хотя до них еще идти и идти, писать и писать, уже медленно, исподволь — оттуда, из глубины тех далеких и очень далеких времен — выбираясь на свет, возвращаясь к началу — медленно, исподволь приближается к ним моя, если угодно, история.

Нет, нет, она не идет еще под гору; но я — в дни успеха, к примеру — я уже вижу ее насквозь: как лес, распахнутый осенью.

Почти насквозь я вижу ее: как лес, распахнутый осенью: как ландшафт, превращенный в ландкарту; и все линии сходятся: начинают сходиться; и только где-то, на каких-то скрещениях, за какими-то поворотами, еще сгущаются, подобно туману, некие, меня самого чарующие, конечно, неясности.

И блуждая по дюнам, вдоль моря и по лесу, — уходя, вместе с осенью, все дальше и дальше, по дорогам, тропинкам, — и вдруг останавливаясь: на склоне холма, например: того самого, где мы сидели некогда с Максом, глядя вдаль, вниз — когда это было? — в долину, с ее одиноким хутором и желтеющим, теперь уже совсем пожелтевшим, разумеется, полем, — или того, другого, к примеру, с которого в какой-нибудь солнечный, ясный, осенний, как будто настежь распахнутый день — за всеми прочими холмами, полями и перелесками — видна бывает, вдруг, тоненькая, едва различимая — чуть более светлая, чем лес, синеющий на горизонте, чуть более темная, чем небо, синеющее над лесом, — тоненькая, совсем-совсем тоненькая полоска воды: — присев на траву, на камень, закрывая, вновь открывая глаза, я думаю (стараюсь не думать, не могу не думать...) о том, как это будет, когда-нибудь — и когда же, когда это будет? — когда я дойду, наконец, допишу, наконец, до конца, и — что же? — начну все сначала, перепишу все сначала, и — что же, что же? — уеду отсюда... соберу вещи, книги... сложу рукопись в какую-нибудь папку... уеду.

Еще рано думать об этом, еще не следует думать об этом.

А между тем, он есть уже, уже втайне как будто присутствует, мой, когда-нибудь, отсюда отъезд; и я словно вижу его, после всех блужданий подходя, например, к остановке (столбик, скамейка...) — или провожая, допустим, все на ту же остановку, моих, каждое лето приезжающих сюда из Москвы, в конце каждого лета — в Москву — уезжающих, снова, знакомых...

38

И все-таки, все-таки: что же все-таки было тогда, в августе, в начале всего?

Ах (думаю я теперь...) ничего тогда не было.

Был, конечно, туман, и мелкий дождь, и тихая морось, и падение капель, и дрожание листьев, и это ощущение жизни, отпущенной, впервые, на волю, и этот призыв, впервые услышанный...

Но в общем... ничего тогда не было. Мелкий дождь, тихая морось...

39

И он ничего не сказал мне о своей встрече с Сергеем Сергеевичем; Сергей Сергеевич рассказал мне о ней.

Я же, тем временем, продвигался все дальше и дальше в своих, если угодно, видениях; все яснее видел я: первую сцену, исходное положение; все отчетливей: развитие действия, смещение перспективы; и кое-что из увиденного уже, конечно, записывал: совершенно так же, впрочем, как я уже записывал кое-что — об августе, дождливом и темном, об осени, удивительно-ветреной: никакой пьесы писать, как сказано, не собираясь, — тем менее предполагая увидеть ее когда-нибудь: поставленной, сыгранной: в театре, на сцене и наяву, — или, может быть, лишь втайне от себя самого помышляя о чем-то подобном: как помышляем мы, например, о какой-нибудь — волшебной, но всего лишь возможности, — не веря в такую возможность...; и все-таки уже записывал что-то, исправлял эти записи, переделывал и переписывал их. И как-то, я помню, в какой-то вечер, у меня дома, прочитал небольшие, совсем небольшие отрывки, сбиваясь и путаясь, Фридриху; и в другой раз — в присутствии Фридриха, Лизы — тоже путаясь и тоже сбиваясь, почти все — Сергею Сергеевичу, устроителю, режиссеру.

Это было, я помню, так. Мы вышли вчетвером из театра: Сергей Сергеевич впереди вместе с Лизой, мы с Фридрихом — на пару шагов отставая от них.

— Зайдем ко мне?

— С удовольствием.

— Меня вы не приглашаете? — (Сергей Сергеевич, обернувшись...)

— Приглашаю, конечно. Я просто не думал, что вы согласитесь.

— Отчего же?

— В таком случае, пригласите и меня, — (Лиза, закидывая шарф на плечо...).

И мы пошли ко мне, вчетвером, по пустынным улицам, пустым переулкам; был — я до сих пор помню — еще вполне зимний, холодный, но уже почти по-весеннему сырой и ветреный вечер; Сергей Сергеевич, поменявшись местами с Фридрихом, шел теперь рядом со мною.

— Между прочим, — сказал он мне, — не так давно видел я Макса: вашего, если я правильно понял, приятеля...

— Вы правильно поняли; но: где, как?

— Я был на даче; выхожу из дому; смотрю: кто-то идет по дорожке...

— Постойте, когда это было?

— На той неделе. В среду... кажется, в среду.

— Неужели в среду? — (я считал дни...).

— Да, а что?

— Нет, так... Я видел его во вторник... впрочем, в среду утром я тоже видел его.

Сергей Сергеевич, по своему обыкновению, быстро посмотрел на меня.

— С ним происходит что-то, — сказал он, — что-то... внушающее тревогу... Вам так не кажется?

Я посмотрел, в свою очередь, на Сергея Сергеевича.

— О да, конечно. Но... что же делать?

— С этим ничего, наверное, не поделаешь. Он должен это просто-напросто... пережить, переждать... Впрочем, там будет видно.

Что он имел в виду? Я знаю: теперь. Но тогда, я помню, в тот вечер, холодный и ветреный, слова его поразили меня; я молчал; Сергей Сергеевич тоже; Лиза и Фридрих, на пару шагов впереди нас, быстро-быстро говорили о чем-то друг с другом.

И когда мы дошли до меня, наконец (прошли мимо трех, с одной, и трех, с другой стороны, бледно-зеленой краской выкрашенных домов, пересекли двор и поднялись — два пролета — по лестнице...) — Сергей Сергеевич, усевшись на диване, в углу — и после двух-трех, неизбежных в таких случаях фраз (чай? кофе? коньяк, может быть? — мне, конечно, коньяк: сказала Лиза, — мне тоже: Фридрих, — а потом можно будет и кофе сварить: добавил он, смеясь над словами...) — Сергей Сергеевич, сложив руки на груди и словно переходя к делу, пошевелив пальцами, спросил меня, кончил ли я писать мою пьесу и не хочу ли я прочитать ему что-нибудь.

Я посмотрел, как некогда, на Фридриха, на Сергея Сергеевича, снова на Фридриха; Лиза вдруг рассмеялась, я помню; Фридрих улыбнулся; Сергей Сергеевич, шевеля по-прежнему пальцами, лишь делал вид, что — не улыбается.

Я еще не кончил писать эту пьесу, сказал я; я вообще не уверен, что я когда-нибудь закончу ее; она нужна мне не сама по себе, но в связи с некими, весьма и весьма отдаленными замыслами — о чем (сказал я, глядя на Фридриха: Фридрих улыбался по-прежнему...) — о чем Фридрих вам тоже, наверное, говорил...

Да, Фридрих говорил ему об этом, и все, что говорил ему Фридрих, показалось ему, Сергею Сергеевичу, весьма — скажем так — неожиданным, и — как бы то ни было — если я так откровенно рассказываю обо всем этом Фридриху, если я даже читаю ему некие куски и отрывки (Фридрих не скрывал своего удовольствия...) — то почему бы, собственно — ?

— Да, да, почитайте, — сказала Лиза. — Хотя бы начало...

— Вот, следовательно, вот я стою здесь, стою перед вами: — и с этим внутренним разведением рук, с этим: ах, все равно — и вниз головою, — и уже сам не понимая, быть может, зачем я вообще согласился читать, — (прекрасно понимая зачем...) — удивляясь себе самому, сбиваясь и путаясь, — и потом уже почти не путаясь, почти не сбиваясь — в конце концов, почему бы и нет? — и что если вдруг... — отгоняя от себя эти праздные, невозможные помыслы, — но думая, успевая подумать, я помню, о совсем иных, бесконечно-далеких и вот (думал я...) — вот: как будто разоблаченных мною помыслах, планах, — о Максе, об августе, — я прочитал, следовательно, первые сцены: в том виде, конечно, в каком они были тогда написаны — записаны мною.

— Я смотрю в зал, я говорю... Я еще сам не знаю, что я скажу... Я хочу сказать, что я не хочу говорить...

— Я хочу выйти отсюда, выйти отсюда...

— И дальше?

— И дальше на сцене появляется режиссер.

— Вот как? Весьма любопытно...

— Вы хотите выйти отсюда? Так выходите. Но подумайте, что вас ждет там, за этой дверью...

— Пустые улицы, и темные переулки, и снег, и ветер, и ночь...

— Нет, вы не знаете... и я не знаю... и никто не знает, наверное... что там, за этой дверью. Пустые улицы, темные переулки... Нет, вы не знаете, вы не можете этого

знать... Там, может быть, что-то совсем иное... Там может быть все, что угодно... все, что угодно... Ведь мы всегда здесь, внутри, где бы мы ни были...

— И здесь все становится спектаклем, где бы мы ни были и что бы мы ни делали — здесь...

— И — дальше?

— И дальше, — сказал я, — развитие действия, смещение перспективы. И сцена наполняется понемногу людьми. Некая актриса появляется, к примеру, на сцене. Сейчас мой выход, говорит она, например.

Режиссер (оборачиваясь...): Что такое?

— Сейчас мой выход.

— Какой — какой выход? Вы что, не видите — ? (показывает на актера...).

— Вижу, конечно. Весь театр собрался за кулисами.

— Так зачем же вы пожаловали?

— Сейчас мой выход. После вашей реплики: давайте..., я выхожу на сцену. Мы ведь так договаривались... на репетиции.

— В самом деле?

— Конечно.

— А затем и другой актер выходит на сцену.

Режиссер: Что такое?

— Мой выход, с вашего позволения.

— Ваш?

— Разумеется. И хотя я решительно не знаю, что мне здесь делать... но... в конце концов, вы же сами хотели, чтобы сцена наполнялась понемногу людьми...

— Хотел? Я? Ладно, принесите еще пару стульев, раз уж вы здесь.

— Второй актер уходит; возвращается вместе с третьим... или вместе со второй актрисой, — сказал я. — А между тем, тот, первый актер, герой моей пьесы, стоит в стороне, неподвижно, ни в чем не участвуя...

— Что же вы замолчали?

— Читать — дальше?

— Конечно, конечно, читайте. Все это очень интересно... совсем неожиданно. Я, правда, пока не понимаю, к чему вы, собственно, клоните...

— Я этого еще и сам, пожалуй, не понимаю.

Сергей Сергеевич рассмеялся; Фридрих закурил сигарету.

— Вообще... исходное положение понятно, — (пошевелив пальцами...). — Но дальше, дальше... начинается — что же?

— А дальше, — сказал я, — начинается самое, может быть, странное... Здесь, впрочем... еще несколько, еще не написанных, замедляющих действие, хотя и совсем кратких, видимо, сцен... появляются еще, быть может, актеры... и вот: давайте, говорит режиссер... вновь говорит режиссер... давайте... позовем автора.

Актер (то ли радостно, то ли испуганно, отрываясь от своих мыслей...): Автора? Он что — здесь?

Актриса (первая или вторая, неважно...): Какого, простите, автора?

Режиссер: Ну, автора... автора нашей пьесы. Пойдите (обращаясь к актеру...) позовите его.

Актер: Я?

Режиссер (обращаясь еще к кому-нибудь...): Или вы... все равно...

Автор (появляясь из-за кулис...): Никуда не надо ходить. Я уже здесь, я все слышал.

— И как только он выходит на сцену, — сказал я, — все изменяется... и должно быть сразу понятно, что он действительно — автор... что все это им — придумано... увидено, быть может, в какие-то, вполне бессонные ночи... и в движениях всех прочих актеров появляется что-то замедленное, чуть-чуть, во всяком случае, поначалу, совсем чуть-чуть скованное... как если бы это он ими двигал...

— И он подходит к одному актеру, к другому... Я благодарю вас всех, говорит он. Вы прекрасно играли, почти... почти не отклоняясь от текста. И (тайный трепет, перевернутая страница...) — и он достает этот текст из кармана... вот этот... разворачивает, перелистывает его... подходит, наконец, к режиссеру.

— Ну что же... все в порядке?

— Да, вроде бы... Теперь, однако, следует нам объясниться. (К публике...) Как вы уже поняли, мы с самого начала играли здесь некую пьесу...

Автор (показывая текст...): Вот эту.

Режиссер: Вот эту, написанную нашим... автором...

Актриса: Вот этим.

Режиссер: Вот этим. (Автор раскланивается...) И я лишь изображал, разумеется... (к автору...) что я изображал?

Автор (заглядывая в текст...): Растерянность, удивленье, негодованье.

Режиссер: Вот-вот, растерянность, удивленье, негодованье... На самом деле...

Автор (перебивая его...): И смею заверить вас, вам превосходно все это удалось.

Режиссер: Спасибо.

Автор (к первому актеру...): И вам, смею заверить вас...

— А между тем, тот, первый актер вновь оказывается в стороне от всех остальных, и вновь стоит неподвижно, ни в чем не участвуя.

— Вам тоже все удалось. Это было так неожиданно... (к режиссеру...) не правда ли? И хотя я в точности знал каждое ваше слово и каждую вашу реплику... я сам же и написал их... для вас... я почти готов был поверить, что вы и вправду выходите из некоей роли... отказываетесь играть... срываете, к примеру, спектакль. Зато теперь... (поворачиваясь опять к режиссеру...).

— Зато теперь, — говорит режиссер, — теперь вам тоже следует признать, наконец...

Актер: Что и я играл лишь некую роль... роль актера, выходящего из своей роли.

Режиссер: Совершенно верно. Роль актера, выходящего из своей роли.

Актер: Вот из этой-то роли я и хотел бы — выйти.

Режиссер: Как, вы опять начинаете?..

Автор: Все правильно. Именно так и сказано в тексте. Здесь все становится...

Актер (выходя на авансцену...): Здесь все становится спектаклем, что бы мы здесь ни делали. И вот я снова... да, вот я снова стою здесь, стою перед вами. Я смотрю в зал, я говорю. Я еще сам не знаю, что я скажу... но что бы я ни сказал, это тоже будет лишь некая роль... лишь некая речь, обращенная к публике. Ведь мы всегда говорим, всегда с кем-нибудь говорим... и даже если мы говорим, что мы — не хотим говорить, это тоже лишь некая речь... среди прочих речей... обращенных к кому-то... Но я (он вновь начинает ходить по сцене, сначала медленно, потом все быстрее...) — но я отказываюсь... Я хочу сказать... нет, я не хочу говорить... Я не хочу говорить, что я (пауза...) — не хочу говорить. Я отказываюсь играть... я не хочу — отказываться играть... Ведь это тоже лишь некая роль... всего лишь некая роль...

— А что же все остальные?

— Сидят или стоят... неподвижно... как будто в недоумении...

— И я хочу выйти отсюда... выйти отсюда... выйти и вырваться... Но выйти отсюда значит выйти из этой роли... актера, выходящего из своей роли...

Режиссер (подходит к нему; тот останавливается...): Однако ж вы согласились играть эту роль... актера, выходящего из своей роли... И вы не просто согласились играть ее... но вы, вспомните, вспомните, вы так стремились, так хотели ее играть, и так старались... на репетициях...

— Я должен был сыграть ее... хотя бы однажды... вот здесь, на сцене и наяву... Точно так же, впрочем, как я должен был, хотя бы однажды, сыграть ту роль, которую я играю сейчас...

Режиссер (к автору...): Позвольте, это тоже есть в тексте?

Автор: Конечно. И это, признаюсь вам, одна из моих самых любимых реплик...

Режиссер (к актеру...): И значит, сейчас вы играете...

Автор (отвечает за него...): Роль актера, выходящего из своей роли... актера, выходящего из своей роли...

Актриса (подходя к ним...): Нет, позвольте, что-то я здесь запуталась... в падежах.

Автор (берет ее под руку и как будто прогуливаясь с нею по сцене...): Ну как же; это очень просто; я объясню вам. Мы выходим из одной роли — мы попадаем в другую; выходим из другой — попадаем в третью; выходим из третьей — и так далее, и так далее, и так далее... Мы пытаемся не играть — это тоже игра. Мы пытаемся не играть в то, что мы не играем, — но и это тоже игра. Мы всегда играем, во что бы мы ни играли. Мы всегда здесь, внутри, где бы мы ни были. А там... (указывает на дверь...).

Актриса (отстраняясь, с видом, отсутствующим и вдохновенным...): Никакого *там* вообще, может быть, нет. (Вновь принимаясь ходить, по сцене, под руку с автором...): Это очень странная реплика, совсем непонятная. Но вы ведь так написали, не правда ли?

Автор: Да, правда. И я поручил ее вам... просто так. Кто-то должен был произнести ее...

Актер (вновь выходя на авансцену...): Ах, да... вот... вы правы... Никакого *там* вообще, может быть, нет... вообще, может быть, нет... И вот я снова, снова и снова стою здесь, всегда здесь, перед залом... И что бы я ни говорил, что бы я ни сказал, это всегда будет лишь некая роль, лишь некая речь, обращенная к публике. А я хочу выйти отсюда... выйти отсюда... я действительно хочу выйти отсюда... Я играю сейчас... разумеется. Я произношу лишь некий текст... вами (с внезапным вызовом, к автору...), вами, вами написанный... мне все равно... все безразлично... Я хочу лишь выйти отсюда... я никогда, наверное, не выйду отсюда... Я всегда буду здесь, на сцене, в одной из этих ролей... А там... вы правы... никакого *там* вообще, может быть, нет...

И все? — Все. Да, вот до этого места дочитал я, я помню, в тот вечер (в ту — уже ночь...), и дальше читать отказался (дальше читать было нечего...), и поднял глаза от рукописи... волнуясь и радуясь.

— Ну как? — спросил Фридрих.

— Смешно и непонятно, — сказала Лиза.

— Вполне понятно, — сказал Сергей Сергеевич. — Понятно исходное положение, понятно теперь и дальнейшее. Но должно быть еще понятнее... и еще чуть-чуть, пожалуй, смешнее.

Он попросил у Фридриха сигарету, он посмотрел на меня.

— Переделайте кое-что... скажите прямо о том, на что вы лишь намекаете... разработайте комические эффекты... сделайте некоторые уступки зрителю... в конце концов не знающему ваших... скрытых предпосылок. И немного растяните все это... добавьте что-нибудь... какие-нибудь побочные... понятные всем мотивы. Тогда можно будет подумать о постановке.

— Но неужели, — сказал я, — неужели вы всерьез полагаете, что такая пьеса может быть поставлена, сыграна?

— Почему нет? — ответил он в свою очередь. — В конце концов возможность... или невозможность чего-либо проверяется только на опыте. Я хотел бы... попробовать. Почему нет, в самом деле? И я уже давно ищу чего-то подобного. Театр ведь сам... (к Лизе, Фридриху...) о чем мы уже не раз говорили... сам стремится к разоблачению своей сущности, обнаженью своей природы. Так что заканчивайте, заканчивайте скорей вашу пьесу... и переделайте, чуть-чуть, но все-таки упростите ее. Кто знает... может быть, что-нибудь и получится... у нас с вами.

И потом была, разумеется, ночь; и я стоял, один, у окна; и влажным блеском отсвечивал, я помню, асфальт; и земля, с прошлогодними, из-под осевшего снега проступившими листьями, казалась уже совсем, по-весеннему, черной; и вспыхнули, на мгновение, осветили двор, стену, и снова погасли фары какой-то, среди темных улиц, пустых переулков заблудившейся, должно быть, машины; и очень долго не мог я, я помню, заснуть: как будто (думаю я теперь...) — не желая возвращаться, не имея сил возвратиться в ту (мою собственную, теперь уже не существующую более...) жизнь, — в ту жизнь, следовательно, в которой были ночи и дни, засыпания и пробуждения, свидания и встречи, улицы, переулки..., — и в которой (думаю я...) — в которой мои, как бы иначе, в иную сторону направленные усилия, — отвергнутые возможности и принятые решения, — диалоги, фразы и реплики, — тайные помыслы и далекие планы, — в которой все это тоже было, или, если угодно, оказывалось: некоей — для меня, конечно, важнейшей, — но все же лишь некоей частью: самой этой жизни, — и словно уравнивалось в правах: с засыпанием и пробуждением, утром и вечером, погашенной лампой, задернутой шторой...

Как бы то ни было, я писал... да, теперь уже писал ее, пьесу, писал ее дальше, переписывал и переделывал ее, разумеется, не без сожаления, конечно, но все-таки упрощая ее, приспосабливая ее для театра, и вводя в нее, в самом деле, добавочные, к моей истории не имеющие отношения мотивы, растягивавшие и замедлявшие действие...; и еще несколько раз встречался, я помню, с Сергеем Сергеевичем; и еще раза два (в театре, после спектакля; у меня дома...) читал ему некие куски и отрывки; и он всякий раз говорил со мной так, как будто он и в самом деле собирался ставить ее, эту пьесу, в театре; я же еще упорствовал, и пытался убедить его, уверить себя, что ни о какой постановке и речи не может быть.

— Давайте, — сказал он мне как-то (в начале весны; мы шли, я помню, по улице; был — я помню — один из тех печальных, сумрачных, пасмурных, почти совершенных в своей печали, тихой моросью и задумчивой влагой окутанных дней, какие только в начале весны и бывают...). — Давайте перестанем хитрить друг с другом. Мне нужна ваша пьеса, а вам... говоря словами вашего режиссера... вам же этого хочется...

Мне этого очень, конечно, хотелось.

— Конечно. Конечно. Но... поймите меня правильно...

— Мне кажется, я понимаю вас. Вам жаль ваших видений. Вы хотели бы раз и навсегда отделить их от всякой... как вы выражаетесь... жизни. Но, во-первых, они не утратят своей абстрактности; за это я вам ручаюсь. А во-вторых... подумайте, подумайте, какая возможность... разыграть вовне и осуществить наяву ваши... как, опять-таки, вы выражаетесь... я, кстати, ничего еще не знаю о них... дальние замыслы, тайные помыслы. Незримое сделать видимым, неощутимое — осязаемым. Ведь и сама ваша пьеса об этом.

— Не только пьеса, — сказал — или, может быть, не сказал я.

И я все чаще и чаще думал о ней, разумеется, об этой (так думал я, может быть...) единственной и ни с чем не сравнимой возможности, — об этом совмещении неких противоположностей, — об этом осуществлении, в самой жизни, иначе направленного, — об этом, если угодно, обратном воздействии некоего отрицания на некое утверждение...; чем чаще я думал о ней, тем более удивительной казалась мне такая возможность; я смеялся, вдруг, сам с собою.

С Максом же (истинным героем моей истории: если это история...) — с Максом же (по крайней мере: зимою...) я уже не заговаривал и не пытался заговорить о моих... да, все более удивительных помыслах; мы виделись с ним по-прежнему; я приходил к нему; там, в его комнате, плывущей над городом, ни о чем подобном не могло быть, конечно, и речи.

40

Еще месяц, еще полтора месяца, может быть, прожил он в своей комнате, плывущей над городом, в беде и отчаянии: оно же, как выяснилось, отчаянием и было и не было, — еще месяц, следовательно (еще полтора месяца, может быть...), прожил он с тайной надеждой, в тайной надежде на что-то... совсем иное, имеющее возникнуть — не возникавшее; лишь изредка, может быть, всякий раз неожиданно, на повороте какой-нибудь мысли, по-ночному отчетливой, в глубине привычных противоречий, ощущал он в себе как бы отзвук того действительного отчаяния, того безразличия к своей жизни и к себе самому, которое испытал он однажды и которое, отзываясь в нем, по-прежнему, пусть ненадолго, примиряло его с его собственной жизнью (уже не имевшей значения...), с ним же самим, Максом (почти исчезавшим: в мгновенной — как вдох или выдох — всякий раз неожиданно раскрывавшейся в нем пустоте...), — и тут же вновь, разумеется, покидало его; и все опять начиналось сначала; все кружилось, все путалось; вновь прояснялось; и были, значит, по-прежнему, эти бесконечные, бессонные, удивительно быстро пролетавшие ночи; эти темные, кое-как проходившие дни; эти мучительные, тревожные, бесконечно долго тянувшиеся вечера — в один из которых, не выдержав, с тоской и горечью, с тайной... совсем тайной, может быть, радостью принимая свое поражение, Макс (через месяц, через полтора месяца, может быть...) подошел, наконец, к телефону (в прихожей, под зеркалом...) — и еще минуту помедлив, с внезапной решимостью — не решаясь, решившись — позвонил, наконец, Сергею Сергеевичу, устроителю, режиссеру: если (сказал он...) — если предложение ваше все еще в силе...: вот так (думаю я теперь...) — вот так, раскачиваясь (между выходом в мир и уходом в себя...), то устремляясь вперед, то поворачивая обратно, — вот так и движется наша жизнь — куда-то.

— А я знал, что вы позвоните. Да, предложение мое все еще в силе. Приходите в театр... ну, скажем, завтра, часов в десять.

— Утра?

— Разумеется.

— Хорошо, — сказал Макс, — я приду.

И повесив трубку, увидел, в зеркале, над телефоном, свое собственное, ничуть не изменившееся лицо; и этот последний вечер прошел, наверное: почти как обычно; и эта последняя ночь прошла, пролетела: почти так же, наверное, как проходили, как

пролетали все его ночи; и только под утро, когда, за окном и за шторами, уже почти рассвело, и кричали птицы, и дворники уже сгребали лопатами — последний, может быть, снег, он заснул — и тут же проснулся; и уже надо было вставать; и с той мучительной скованностью: в движеньях и в мыслях, какая почти всегда бывает после бессонной, полубессонной ночи, и сменяется, почти всегда, возбуждением, столь же мучительным, он встал, в самом деле, оделся, и выпил кофе на кухне, и посмотрел на часы, и подумал, что он опаздывает, — но все-таки еще постоял у окна: как обычно, и в последний раз, на реке, увидел, быть может, последние, навсегда уплывавшие льдины.

— Ну вот и все... все равно...

Он спешил, он опаздывал; уже на улице закурил он, наверное, сигарету; с внезапной, забытой легкостью догнал подошедший троллейбус; переехал через мост; свернул в переулок; вновь посмотрел на часы.

Был весенний, влажный, в просветах и проблесках (лужах, облаках, отражениях, сквозняках и скважинах...) день; стекла машин, окна домов загорались, вспыхивали на солнце; тяжелые капли, стекая с карнизов, с гулким отзвуком падали на асфальт.

Уже очень и очень давно не выходил он так рано на улицу; уже очень и очень давно — никуда не опаздывал, никуда не спешил.

Площадь? — Нет, площадь не изменилась: угол одного дома, торец, стена третьего; и в окнах театра — те же (такие же...) раскрашенные объявления, черно-белые фотографии; и так же пусто в фойе, темно в зале; и те же черные окна, фанерные кресла; и так же — как некогда — в коридоре, на втором этаже, встретил он Лизу (он чуть-чуть страшился этой встречи, пожалуй; Лиза же, улыбнувшись, приблизившись, выступив из собственных своих очертаний, нежно и весело пожала ему руку, подержала ее в своей — *я все уже знаю* — выпустила, тряхнула волосами, исчезла...); и в пятиугольной — как некогда — комнате Сергея Сергеевича обнаружил он, помимо самого Сергея Сергеевича (сидевшего за столом...) — Марию Львовну (стоявшую у окна, внимательными и смеющимися глазами посмотревшую на него...); и тут же почувствовал, разумеется, лиловый, фиолетовый запах ее духов; и тотчас же, вслед за ним, Максом, вошел в комнату Фридрих (всплеснувший руками, раскрывший объятия...).

— Неужели Макс?

— Да, действительно, Макс, — сказала Мария Львовна, вновь, как некогда, вытянутой ладонью поворачивая его к свету. — А ведь обещали не пропадать больше, помните?

— Помню, помню, конечно...

И он все это, действительно, помнил, и вновь все это — вспоминал. Но лишь теперь, может быть, — с возвращением: сказала Мария Львовна — лишь теперь, может быть, почувствовал он, как давно это было, как давно и как долго не бывал он — в театре; лишь теперь, может быть, возвращаясь — уже возвратившись — в театр, а значит, и в некую (так думаю я теперь, в свою очередь...) — ему, Максу, отчасти уже знакомую, тут же и со всех сторон его, Макса, обступившую жизнь (вошел Перов; вошла, вслед за ним, Лиза; Юля; еще, может быть, кто-то — из уже виденных, им, т. е. Максом, на сцене и на занятиях — в так называемой студии — совсем молодых, по большей части, людей: упомянем, сразу же, некоего Диму, некую Аню: я — живущий теперь здесь, поворачивая обратно — знал их, кажется, всех, но, разумеется, не так хорошо, как знал их — как узнал их, в конце концов, Макс...) — лишь теперь, может быть, вновь, как некогда, отдаваясь (почти отдаваясь...) ей, этой жизни, и значит, вновь, как некогда, теряя (почти теряя...) себя из виду (на половину одиннадцатого назначена была репетиция — нет, не на сцене, здесь, в пятиугольной комнате, у Сергея Сергеевича...) — и все-таки еще не совсем совпадая с ней, может быть, — вдруг, посреди репетиции (в которой он, разумеется, не участвовал...), выпадая из нее, все вспоминая, — лишь теперь, может быть, увидел он, каким долгим было отчаяние, как долго длилась беда: нет, думал он, нет, не четыре, и даже не четыре с половиною месяца...: лишь теперь, следовательно, увидел, — измерил, — измерял он, сидя на репетиции, глубину и резкость разрыва — со всем предшествующим и всем предыдущим: с той весной, например — прошлой? — неужели прошлой? — да, прошлой весною, когда он, Макс, если не каждый, то почти каждый день бывал здесь, в театре, с той осенью, когда он впервые здесь оказался...

Он узнавал — он не узнавал этой жизни, столь, когда-то, знакомой; слишком далеко он был — еще вчера вечером; он отвык от нее — от всякой жизни, быть может.

Что же, он очень быстро снова привык к ней; вдруг, в конце репетиции, вошел — в пятиугольную комнату — Володя (помощник Сергея Сергеевича, уже, некогда, упомянутый мною: молодой человек — я почти не знал его — с беспокойным глазами и короткими усиками...), каковому Сергей Сергеевич и поручил Макса (он так и выразился: поручаю вам Макса: сказал он...); тот же, т. е. Володя, предложил ему, т. е. Максу, в первую очередь — пообедать: что они и сделали (вместе с Юлей: репетиция кончилась...) — в том самом... да, в том самом кафе, у метро, где он, Макс, обедал некогда с Фридрихом.

— Работы у тебя будет немного... ничего, что я говорю тебе *ты*?

— Пожалуйста, как угодно.

— Ну вот... подменишь меня при случае... просто все заняты, а ты ведь пока свободен...

— Да, до осени.

— Я тоже буду говорить тебе *ты*, — сказала Юля, вдруг рассмеявшись. — У нас вообще так принято.

— Как угодно, пожалуйста.

— В таком случае, — (опять рассмеявшись...) — передай мне, будь так любезен, меню.

— А помните... помнишь, — сказал ей Макс, — как мы разыгрывали с тобой одну сцену... год назад... прошлой весною... как если бы я пришел к тебе в гости...

— Конечно, помню.

— Я очень плохо играл, разумеется.

— Нет, отчего же?.. для первого раза это было неплохо. А еще я помню тот вечер, когда ты целый час говорил о чем-то с Сергеем Сергеевичем...

— Я тоже помню, — ответил Макс.

Глубина, резкость разрыва.

— А еще... (опять и опять рассмеявшись...), а еще я знаю, как ты путешествовал... вместе с Фридрихом... он сам мне рассказывал...

— Вы с Фридрихом вообще... приятели? — спросил вдруг Володя.

— Пожалуй... можно сказать и так... Хотя, последнее время, мы редко с ним виделись...

— Что ж, теперь будете видеться...

— Каждый день, — сказала Юля. — Идемте?

— Идемте.

И не позволив Максу — *нет, нет, платим в складчину* — заплатить, Володя (первый помощник...) познакомил его (они возвратились в театр...) с еще ни разу не появлявшимися на этих страницах — директором, администратором (нарушим запрет...); вечером, перед началом спектакля — с осветителем, машинистом сцены; еще неким молодым человеком (я не могу вспомнить теперь, как называется его амплуа...), отвечавшим, во время спектакля, за музыку — и прочие звуки (шумы...), записанные, конечно, на пленку; и объяснил, вернее: показал ему, Максу, что значит, собственно, *вести спектакль* (его, сказал он — при случае, значит, и Максова — основная обязанность...): следить, иными словами, чтобы все шло по плану, заранее

разработанному, актеры вовремя выходили на сцену, свет вовремя загорался...; и пару раз посылал его поторопить Марию Львовну, задержавшуюся в гримерной...; и на другой день были занятия — в студии (вел их, скажем, Перов...); и вечером, на другой день, он, Макс, вновь, как некогда, оказался у Фридриха; и вновь, вместе с Фридрихом, поехал, быть может, к каким-то, вновь, следовательно, возникшим в его, Максовой, жизни, его и Фридриховым знакомым; и на другой, опять-таки, день снова были занятия; и снова спектакль...; и только где-то (или так казалось ему...) — за всем этим, по ту сторону всей этой жизни, вновь, как некогда, захватившей и закружившей его, и даже (так думаю я теперь...) — сделавшейся — наконец — его собственной, пускай лишь на какое-то время... он понимал, что не навсегда... его собственной, все-таки, жизнью, — за всем движением, кружением, — по ту сторону репетиций, занятий, спектаклей, — сиянья, блеска весны, — все (казалось ему...) было так же, все (казалось ему...) было тем же: бедой и отчаянием: от которых он, значит, снова теперь убегал, от которых нельзя убежать, убегая, — и которые, время от времени, вновь, конечно же, настигали его, ночью, после всех занятий, возбужденья, круженья, в его, Максовой, например, как будто сохранившей их, за плотно закрытыми шторами, как будто пропитавшейся ими — как неким запахом, табачным дымом — плывущей над городом комнате.

Но и то иное, то — действительное, если угодно, отчаяние, которое испытал он однажды, по-прежнему в нем отзывалось: в глубине — всякий раз неожиданно его настигавших, всякий раз по-новому раскрывавшихся, привычно-непривычных противоречий, на повороте какой-нибудь, вдруг оживавшей, ночной и по-ночному отчетливой мысли: вдруг, посреди самой жизни его, в театре и на занятиях, на сцене и в студии. И это было самое, может быть, странное, единственное, к чему он не был готов.

И вправду (так думаю я теперь...) — все прочее было отчасти уже знакомо, отчасти, может быть, нет... так или иначе, все прочее можно было предвидеть. Он выполнял, разумеется, Володины (и не только Володины...) поручения; перед началом спектакля принимал (говоря театральным языком...) декорации; проверял, все ли на месте, все ли готовы; звонил Фридриху, если тот, к примеру, опаздывал; сообщал — Марии Львовне, к примеру, — об изменениях в расписании репетиций; вместе с администратором ездил однажды в одну, за отпечатанными афишами, — за отпечатанными билетами, в другой раз, в другую, соответственно, типографию. Это было (как он и предполагал...) скорее скучно, иногда утомительно; во всяком случае, это помогало ему — убежать, ускользнуть; заполняло время, отнимая его. Но и некое ощущение жизни, вовлеченности в некую жизнь, увлекавшую его за собою, давала ему (как и

предполагал он...) эта, если угодно, деятельность: то же самое ощущение жизни, быть может, которое испытывал он когда-то, прошлой весной, летом, — и снова, с еще большей силой, остротой и отчетливостью (как если бы оно собиралось и накапливалось в нем: целую зиму...) испытывал, конечно, теперь, встречаясь, как некогда, с Фридрихом, отправляясь, вместе с ним, куда-нибудь в гости.

Он все, разумеется, вспомнил; вновь, как некогда, показывая их кому-то, следил он за своими движениями, жестами: чему, среди прочего, учился он теперь и на занятиях: с Перовым, с Марией Львовной.

Они начали, конечно, с простейшего.

— Как вы ходите, как вы садитесь, — говорил ему (просто...) Перов. — Вы должны чувствовать, как вы идете... и если вам нужно сделать четыре, допустим, шага, вы должны знать, что вы их сделали ровно четыре, не больше, не меньше. Вы должны видеть их... откуда-то, изнутри.

— Или извне...

Перов смеялся: наверное.

— Или извне. Ну, давайте, еще раз, попробуйте...

И — еще и еще раз — заставлял его, Макса, вместе с Юлей, Аней, Володей (уже привыкшими к упражнениям такого рода...) ходить — по сцене или просто по комнате — то быстро, то медленно, то широким шагом, то мелкими, дробными шагами, шажками, на пятках, на цыпочках; бегать, падать (на специально подложенные матрасы: маты, как их называют...), ползти по ним, вскакивать, снова падать, навзничь, ничком.

И он действительно видел — откуда-то — свои движенья, шаги, все яснее; здесь, на сцене, это было, в общем, нетрудно.

— И вы должны ходить не просто — ногами, — (все смеялись: конечно...) — но вы должны чувствовать при этом и руки, и спину... и все остальное. И если у вас заболит, к примеру, спина, ничего страшного тоже не будет.

И у него болела, в самом деле, спина (и руки — и все остальное...), и когда Перов объявлял, наконец, перерыв, он падал — на маты (и Юля падала рядом с ним, и Аня рядом с Володей...), закрывал глаза, лежал неподвижно, ни о чем не думая, куда-то как будто проваливаясь, с томительным наслаждением ощущая себя самого.

Ему нравилось все это; гимнастика, предписанная ему Марией Львовной, занятия, вместе с нею — говоря театральным, опять-таки, быть может, запретным для меня языком — у станка (у того блестящего, иными словами, уже некогда упомянутого

мною, железного поручня...) развили в нем некую, его самого удивлявшую гибкость, уверенность и свободу в движениях; вновь и по-новому открывал он их — произвольность, их волшебную независимость от его, Максова, на них обращенного взгляда. Сами собою получались они у него, срывались и падали... откуда-то, с той неподвижной точки, быть может, снова им найденной, с которой он на них и смотрел; Перов же, все чаще и чаще, заставлял его ходить, двигаться как-то иначе — носками внутрь, к примеру, — или чуть-чуть, скажем, подпрыгивая, — чуть-чуть, например, приседая, — к кому-то как будто подкрадываясь, — на кого-то как будто посматривая, — оборачиваясь: как будто в испуге...; он понял вдруг, что все можно делать — иначе, иначе вставать, иначе садиться...; чем дальше шло время, с тем большим — во всяком случае, удовольствием испытывал он, — проверял, — примерял к себе эти — возможности, понемногу ему раскрывавшиеся; вечером, выходя из театра, каким-нибудь, к примеру, широким, до сих пор несвойственным ему жестом запахивал пальто, плащ; доставал сигареты, резким, внезапным толчком указательного пальца выбивал из пачки одну; садясь в троллейбус, медленно, медленно снимал, допустим, перчатки — или очень быстро их сдергивал; доехав до дому, с размаху распахивал дверь; вызывал лифт, не пальцем, но всей ладонью нажимая, допустим, на кнопку; ночью, если все уже спали, выходил в прихожую (зеркало, телефон...), поднимал одну руку, другую, тыльной стороной ладони проводил, например, по лицу, вдруг, вывернув руку, обхватывал пальцами подбородок, сжимал его, отпускал.

— Ты очень изменился, — сказала ему (через месяц, через полтора месяца, может быть...) Лиза (они вышли, после спектакля, на улицу...). — Тогда, осенью, ты выглядел... просто ужасно.

— А теперь?

— Теперь другое дело.

— Как раньше?

— Лучше.

И улыбнувшись, приблизившись, вновь выступила из собственных своих очертаний; и он, Макс, целуя ее, теряясь — как некогда — в этом внезапном, одновременно прохладном и душном, рыжевато-розовом изобилии: волос, губ, щек, — вместе с тем, и все с тем же, но еще как будто обострившимся ощущением жизни, видел — откуда-то изнутри — свою собственную руку у нее за спиною, крутой изгиб ее бедер, и вдруг — сквозь волосы — небо, гаснущее над крышами, весеннюю, вечернюю улицу, двор, в который свернули они.

Он не мог по-прежнему встречаться с ней — у нее (она была замужем: скажем просто, нарушим запрет...); он мог бы — он не хотел встречаться с ней у себя, в своей, плывущей над городом, бедой, отчаянием пропитанной комнате; вновь, как некогда, встречались они у Фридриха, у каких-то ее, Лизиных, — я, конечно, не знал их — подруг; как будто сверху, издалека, с отрешенным — и безразличным вниманием наблюдал он за ней, за собою... почти исчезая: в мгновенной — как вдох или выдох — вновь и вновь раскрывавшейся в нем пустоте.

И это было, значит, все то же... так думал он, может быть... все то же, вдруг, действительное отчаяние, успокоение, которое испытал он однажды и которое, к его собственному удивлению (единственное, к чему он не был готов...), отзывалось в нем не только, например, по ночам, но и посреди самой жизни его, дневной жизни его, на сцене и в студии, на занятиях — и прежде всего, пожалуй, на тех, которые вел Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер: предлагавший, допустим, Ане, Диме (всех имен я не помню...), Юле и Максу разыграть в лицах какой-нибудь, иногда совсем краткий отрывок из какой-нибудь (мир названий разбился...) им всем знакомой, более или менее, книги, из какого-нибудь, скажем, романа (Макс, впоследствии, говорил мне какого, каких...): причем он, Макс, — как и все они, разумеется — поначалу должен был вести себя так, как он, именно он, вел бы себя в заданной ему (и говоря запретным для меня языком...) ситуации, затем так, как, по его мнению, вел бы себя доставшийся ему персонаж: и в том, и в другом случае играл он, конечно, кого-то: кого-то другого.

Он придумывал свои реплики на ходу; он повторял их дома, один, перед зеркалом; менял их; заучивал их наизусть. Они тоже, вдруг, получались у него — сами собою, как и движения, жесты его — его персонажа — наизусть им заученные; вновь и вновь находил он, в самом себе, ту единственную, ту неподвижную точку, с которой они — срывались, с которой вдруг — падали. Присутствие... других смущало его, разумеется... Юли, Ани и Димы; вполне мучительно, временами, ощущал он свою собственную неловкость; преодолевал ее; преодолеть ее, в полной мере, не мог...; и вдруг забывал о ней; забывал и обо всех остальных... об Ане и Диме; совпадал со своим персонажем; поднимался над ним; над собою.

И когда это случалось с ним... вдруг, тогда ощущение его собственного... его собственного, конечно, присутствия... вот сейчас, вот здесь, вот на этой, не очень ярко, но все-таки освещенной, разумеется, сцене, перед залом, не совсем, но скорее все-таки темным... это радостное, чуть-чуть тревожное, восхитительное ощущение — присутствия, о котором говорил он когда-то с Сергеем Сергеевичем, прошлой весною... и

в общем, значит, все то же, здесь, на сцене, как и говорил ему Сергей Сергеевич, лишь более острое и более отчетливое ощущение — жизни..., ощущение это, еще усиливаясь и еще обостряясь, заполняя его целиком и как будто выплескиваясь через край, оборачивалось чем-то совсем иным... ускользанием, исчезновением.

Он был вполне здесь, исчезая.

— Вот, — говорил Сергей Сергеевич, — вот. Так и играйте.

Но ни к тому весеннему, ни к тому зимнему, еще недавнему, уже отступившему разговору они, Макс и Сергей Сергеевич, больше не возвращались. Лишь однажды, выходя вместе с ним из театра и быстро-быстро, по своему обыкновению, посмотрев на него:

— Ну и... что же? — спросил его этот последний. — Вам по-прежнему кажется, что вы... убегаете?

— Я уже сам не знаю, — ответил Макс. — Я сам не знаю, — так он ответил.

41

Зимою, как сказано, мы очень часто виделись с Максом: чаще, быть может, чем когда-либо раньше, когда-либо позже. Но едва лишь зима закончилась (в один, как сказано, день...) — мы перестали с ним видеться. Я позвонил ему, я помню, в начале весны; я уже знал (от Фридриха...) о принятом им решении; я спросил его, как он живет и нет ли в его жизни чего-нибудь нового; да, сказал он, кое-что есть; я уже знаю, сказал я; тогда (сквозь смех в трубке...) — тогда зачем спрашивать? — так он ответил. И кажется, еще один раз я говорил с ним по телефону; и он, Макс, — каким-то вдруг ускользающим голосом — сообщил мне, что он очень занят, что он должен сейчас уходить, и вернется домой очень поздно, но что, при всех обстоятельствах, он сам позвонит мне — в ближайшее время...

— Хорошо, — сказал я. — Впрочем, мы увидимся с тобою в театре...

— В театре?

— Конечно.

— Ах да, в самом деле...

— Вот именно.

Так и случилось; но в первый раз я увидел его лишь мельком; он не заметил меня. Я обещал зайти в театр — за Фридрихом; и уже сворачивая из переулка на площадь

(ясный день; яркое солнце; редкие, легкие, белые, весенние облака...) — вдруг, у входа в театр, увидел его: Макса. Он взбежал по ступенькам, открыл дверь — и скрылся за нею. Я ускорил шаги; вошел внутрь; прошел фойе; вошел в зал — и снова увидел его; возле сцены, исчезающим за кулисами. Я пошел вслед за ним, по проходу: но там, в том темном, всегда темном, как сказано, помещении за сценой его уже не было; и тут Перов, я помню, окликнул меня, и тут же появился, я помню, Фридрих: и мы, в тот день, так и не встретились с Максом.

Мы встретились с ним лишь в самом конце весны; я — нет, я еще не дописывал пьесу — еще несколько раз предстояло мне ее переписывать — как бы то ни было, я уже дошел, вчерне и предварительным образом, до конца, до — финала, и медлил, и колебался, и не знал, что мне делать с ним.

Он должен был выйти — конечно же, герой моей пьесы: это мне было ясно, к этому все сводилось и этим кончалось все.

Вы хотите выйти отсюда? — Так выходите...

И совершенно ясно, опять-таки, — так же ясно, как я видел, закрывая глаза, театр (зал и сцену, кресла и окна...) — видел я, как он шел, по проходу, очень медленно, шаг за шагом, один, и дверь, как будто сама собой, открывалась, и еще мгновенье помедлив, исчезал он, за дверью, и публика, следившая за его движением, вновь оборачивалась, и смотрела на сцену, где все остальные, как будто сбросив с себя свои роли, уже раскланивались — и спектакль заканчивался.

С волшебной ясностью видел я все это; но этой последней, самой последней сцене должно было предшествовать нечто, упорно мне не дававшееся: некое (так думал я, может быть...) — еще некое смещение акцентов, изменение перспективы: или, может быть (так говорил я — так сказал я однажды Сергею Сергеевичу: в его, Сергея Сергеевича, пятиугольной, разумеется, комнате, где мы остались однажды вдвоем, перед началом спектакля: того самого: тайный прообраз...) — или, может быть, появление какой-то иной, совсем иной точки зрения, опять-таки, которая, в заданных нами

условиях...

— Вами, — он рассмеялся, я помню. — Вами — условиях...

— Хорошо, мною... которая, в заданных мною условиях, появиться, наверное, и не может. Она взрывает их, эти условия.

— А между тем, — сказал он, смеясь, — это лишь условия ее появленья, не так ли?

— Конечно.

А между тем, прозвенел, я помню, и первый, и второй, и третий звонок: нет, нет, ответил Сергей Сергеевич, ему вовсе не обязательно быть там, в зале... все это уже много раз сыграно... обойдутся и без него...

— Впрочем, сегодня, — сказал он, — сегодня Макс, ваш приятель, должен выйти на сцену... в массовке.

— Нет, правда?

— Правда. Хотите взглянуть? Я тоже. Пойдемте.

И мы спустились по лестнице — спектакль уже начался — и встали за второй кулисой, я помню, — и за второй же кулисой, но с другой стороны, увидел я Макса: в отлично знакомом мне, на других актерах уже много раз виденном мною, на нем, Максе, совершенно для меня неожиданном, морском и старинном костюме (камзоле...); и в одной из сцен первого акта — там, где море, думаю я теперь (оно же, как сказано, присутствует в ней постоянно, в этой пьесе, так и не названной...) — вдруг словно вырывается на первый план, захлестывает сцену, актеров (события, диалоги...), — он, Макс, вместе с другими, в таких же камзолах (костюмах...) участниками, если угодно, массовки, выбежал, в самом деле, на сцену — и вдруг заметив меня, тут же, я помню, остановился: в растерянности, отнюдь не противоречившей, впрочем, смыслу всей сцены (всей пьесы...), — и лишь после минутного колебания присоединился ко всем остальным, изображавшим одновременно и матросов и море, и волны и ветер, крушение кораблей, надежд и стремлений, бурю и шторм, беду и отчаяние — тоже, впрочем, увиденное как будто откуда-то, издалека, с отстраненностью, присущей всему спектаклю (всей пьесе...).

Он кивнул мне, я помню, вполне весело, заходя за кулисы.

— Дождись меня после спектакля, — сказал он.

Сергей Сергеевич положил руку ему на плечо.

— Ну как, все в порядке?

— Это я должен спросить у вас.

— Все в порядке.

И второе действие я посмотрел, я помню, из зала; и в самом конце его (действия...), в одном из тех, всякий раз по-новому меня волновавших (волнующих...), волшебных и наизусть знакомых мне мест, когда Перов (просто Перов...) вдруг словно сбрасывает с себя — как плащ — обличие своей роли, и в пьесу (в спектакль...) вплывает вдруг (неизвестно откуда...) иной, приглушенный и призрачный, уже почти замирающий голос, и все другие актеры (Фридрих рядом с Марией Львовной, держа ее за руку...) стоят почти неподвижно, и почти неподвижно, на заднем плане, лежит спокойно-без-

мерное, ясное и тихое море, и корабли и матросы вновь готовы к отплытию (куда-то, уже не совсем понятно, совсем неважно куда...), — он, Макс, вновь появился на сцене: я с трудом мог отличить его от других, в таком же гриме и в таких же костюмах, участников, снова скажем, массовки; двигался он уверенно, точно и просто проделывая свои, заранее, конечно же, отработанные движения; и все это было — где-то там, совсем далеко, в отдалении, никакими, к примеру, шагами, никакими метрами не измеримом.

И я вспоминаю теперь, как я ждал его после спектакля, в пустом и темном зале, один, впервые — или так кажется мне теперь — думая, решившись подумать о том, что... вот, если Сергей Сергеевич и в самом деле будет ставить мою пьесу (еще не дописанную...) в театре, на сцене и наяву, и если, с другой стороны, Макс... Макс... отбрасывая эти праздные мысли, невозможные помыслы, почти пугающие, слишком влекущие...; и когда он вышел, наконец, из-за сцены, когда мы вышли, вдвоем, из театра, была, я помню, уже почти летняя, теплая и ясная ночь, и только мгновенный, порывами налетавший, откуда-то, ветер еще напоминал, может быть, о весне.

— Ты очень волновался?

— Да, очень.

— Это было совсем незаметно.

— Вот как? Тем лучше...

Куда мы шли, собственно? Мы шли как будто ко мне; мы не свернули, однако, в проход (между трех домов, с одной стороны, и трех, таких же, с другой...); мы пошли дальше, по улице, вниз; свернули налево, направо; прошли мимо арки, стены и башенки — и вышли, наконец, на бульвар: поднимавшийся в гору и тоже, как тот, второй, чуть-чуть загибавшийся. Там же (так думаю я теперь...) — там, в том, огромном, таинственном, невероятном, самом странном на свете и, увы, лишенном названий городе, там было — и есть, по всей вероятности — несколько, друг на друга совсем непохожих, хотя и переходящих друг в друга бульваров; Макс, шагая рядом со мною, то и дело посматривал на меня, улыбался, вновь отворачивался, следил, очевидным образом, за своей походкой, движеньями рук.

Уже были первые тонкие листья на деревьях (липах и вязах...): чуть-чуть дрожавшие на еще весеннем ветру, странно, в отсвете фонарей, менявшие свою окраску, свои очертания...

— Теперь рассказывай...

— О чем?

— О пьесе, конечно.

— Нет, нет, — сказал я, — когда-нибудь ты сам ее прочитаешь.

— Вообще, — он опять улыбнулся, — я кое-что уже слышал о ней... и от Сергея Сергеевича, и от Фридриха, и от... Лизы...

Я же, я помню, весьма часто ходил по этому — третьему, если угодно, бульвару; впервые, кажется, я шел по нему вместе с Максом. Оттуда, сверху (если пройти его до конца...), виден был — нет, не весь, разумеется (да и откуда, хотел бы я знать, можно увидеть его весь, целиком, этот город: огромный, невероятный, таинственный?..) — огромная, опять-таки и тем не менее, часть его видна была сверху, оттуда: и крыши, и улицы, и купола, и тот, первый бульвар (с его бесконечно прямой, в бесконечную даль уходящей аллеей...), и даже тот, второй (загибавшийся...), и даже (в какой-нибудь ясный и солнечный день...): далекие, совсем далекие фрагменты неописуемого: его, Максово, например, решительно неописуемое жилище, возвышавшееся надо всем остальным...

— Так это, значит, та самая пьеса, о которой ты говорил мне когда-то, зимою... помнишь, когда я ночевал у тебя?..

— Конечно, помню. Конечно, та самая.

Но (мы прошли бульвар целиком; я обернулся...) — но была, как сказано, ночь, почти летняя; и там, внизу, были только огни, и какие-то вспышки, и далекие отсветы — сквозь деревья и листья — едва различимые...

— Все это очень странно.

— Очень, очень странно, — сказал я.

— А кстати, — (указывая куда-то рукою...) — вон тот двор, знаешь ли ты его?

— Вон тот, — (всматриваясь...) — Нет; кажется, нет.

— Как, ты не знаешь его? В таком случае мы зайдем туда. Там есть, знаешь ли и как это ни странно, фонтан...

И в самом деле (мы свернули с бульвара; город исчез...): это был, хотя и не очень, но все же, скорее, маленький двор, с тремя, я помню, деревьями, кленами, скамейкой и круглым, посредине, фонтаном. Фонтан не бил в эту ночь; он был полон, однако, водою: и странно, опять-таки, — странно, я помню, в далеком отсвете далеких огней, фонарей, — и двух, я помню, еще, сквозь закрытые шторы, тускло светившихся окон, — блестела, и колебалась, и мгновенными бликами вспыхивала эта вода: почти черная, в глубине, почти прозрачная — сверху...

Он сел на скамейку; я тоже.

— Между прочим, — спросил он вдруг, — видишься ли ты... с Алексеем Ивановичем?

— Да. А что?

— Просто так. Передавай ему привет от меня... если он меня помнит. Тебе не кажется, что... Перов немного похож на него?

— Перов?

— Ну да, Перов... просто Перов, как он сам себя и как все его называют.

— Перов — на Алексея Ивановича?

— Нет, он, конечно, совсем на него не похож. Но какое-то... какое-то есть все-таки сходство.

— Я не знаю. Я никогда не думал об этом.

— Подумай как-нибудь... на досуге.

— Ну а ты-то, Макс, — сказал я, — как ты и что ты?

— А что я? — сказал он. — Вот... занятия... студия... и... сделай то, съезди туда...

— И тебе нравится все это?

— Пожалуй. Сам театр... вот что мне нравится. И если когда-нибудь я действительно буду играть в нем... А впрочем..., — он вдруг встал, я помню, подошел к фонтану, заглянул в него, возвратился, закурил сигарету, — а впрочем, все это... никакого значения не имеет.

Молчание, пауза. Одно окно, я помню, погасло, другое, в конце паузы, тоже.

— Да, все это... никакого не имеет значения. Можно играть в театре... можно и не играть в нем. Заниматься в студии... или не заниматься. Мы думаем, это важно, — сказал он... впервые, как я теперь понимаю, заговорив со мной, вообще с кем-нибудь, о своих, отчасти новых, ощущеньях и мыслях. — На самом деле, это неважно. Смотри...

— Да, вот она...

И вправду, покуда мы сидели так, на скамейке, луна, поднявшаяся где-то там, за деревьями, — над крышами и домами, — у нас за спиною, — возникла вдруг перед нами: в фонтане, в воде, — наполовину скрытая ветками, — вдруг, когда ветер отдернул их, вполне круглая, — чуть-чуть колебавшаяся, вместе с водою, — мерцавшая на поверхности, — тихим отблеском проникавшая в глубину.

— Вот так вот, — сказал он.

— И тем не менее... что ты думаешь делать летом? — спросил я.

Он засмеялся, я помню.

— Не знаю, — сказал он. — Мы едем... вообще... на гастроли.

— Куда?

— По разным городам... вокруг Москвы, — сказал он.

— А вот я бы поехал куда-нибудь... к морю.

— Дописывать пьесу?

— Вот именно.

— Если хочешь... я могу созвониться с хозяевами той комнаты, которую я снимал вместе с Фридрихом... в прошлом году.

— Отличная мысль, — сказал я.

— Хорошо, я позвоню им, — сказал он. — Что может быть проще...

И потом мы еще долго сидели, я помню, так, на скамейке, глядя, разумеется, на воду, на луну в воде и над нами, то почти исчезавшую, то опять появляющуюся среди веток, первой листвы, дрожавшую вместе с водою, ясными бликами по ней пробегавшую. И он вновь сказал мне, я помню, что все это, в общем, неважно и что мы слишком много значения придаем, вообще, нашей жизни. На самом деле...

Мы вышли на бульвар; мы поймали такси.

И еще раза два мы встречались с ним, я помню, в театре; и где-то в середине июня, он, Макс, созвонившись, в самом деле, с хозяевами той комнаты, которую снимал он, вместе с Фридрихом, в прошлом году, уехал, действительно, на гастроли, вместе со всем, разумеется, или почти всем театром, по разным, действительно, вокруг Москвы расположенным городам, ему, Максу, дотоле неведомым и вполне поразившим его, как он сам рассказывал мне впоследствии, своей унылой заброшенностью, затаившейся и неподвижной печалью. Но именно там, на гастролях, подменяя Фридриха (отпросившегося и отправившегося на очередные съемки — к другому, в моей истории невозможному морю: откуда, через две недели, возвратился он загорелый, южный, неузнаваемый...) — именно там, на гастролях, подменяя Фридриха, он, Макс, один-единственный раз сыграл его, Фридрихову, не самую главную, как уже говорилось, но все же весьма существенную в системе целого роль — в том, первом, конечно, уже много и много раз упомянутом мною спектакле, — между делом и на всякий случай им, Максом, разученную; справляясь с волнением, не в силах с ним справиться, но все-таки, и даже, по утверждению Сергея Сергеевича, совсем неплохо, во всяком случае, для первого раза, сыграл ее, эту роль: чудесным образом, пускай лишь на сцене, приблизившую его, или так ему показалось, к морским ветром, духами, лиловыми, фиолетовыми, окутанной, окруженной Марии Львовне, медленно, очень медленно шедшей ему навстречу, недосягаемой...

42

И вот так я впервые оказался здесь, почти здесь, у этого моря. Я сошел с электрички на той самой станции (река, скамейки, навес...), на которой он, Макс, сошел некогда с Фридрихом и до которой, как уже говорилось, я доезжаю теперь за два, примерно, часа; я поселился, значит, на той же, самой шумной, центральной, самой курортной, если угодно, улице, в том же — с застекленной верандой и маленькой башенкой — доме, уже отчасти описанном мною; я пил кофе, прежде чем выйти на море, в том же самом, круглом, дощатом павильоне над берегом, где он, Макс, впоследствии — уже скоро: думаю я теперь — должен был встретиться и действительно встретился — с Алексеем Ивановичем: с Алексеем Ивановичем, который, кстати, когда я уезжал из Москвы, сказал мне, что он, Алексей Иванович, прекрасно знает эти места, но что самое лучшее, так он сказал, начинается за курортом (в собственном смысле слова...), если проехать его, пересесть в автобус и ехать просто-напросто дальше, вдоль берега...

— Я бывал там когда-то, — сказал он, — в одной, очень маленькой, притаившейся за дюною деревушке. Поезжайте туда; посмотрите...

Что я и сделал, на второй или на третий день по приезде; менее всего предполагал я, конечно, что я буду сидеть когда-нибудь здесь — вот здесь, вот сейчас — и всматриваясь отсюда, теперь, следить за своим же собственным приближением — на автобусе, в некое, я очень хорошо это помню, прохладное, но солнечное и ясное утро — к этой точке (в которой я сейчас нахожусь...), к этой, очень маленькой, как уже много раз было сказано, притаившейся, как уже много раз говорилось, за дюной, в ту пору, в то лето еще неведомой мне деревушке — до которой, впрочем, я тогда не доехал. Я сошел с автобуса, как я теперь понимаю, примерно в двенадцати, тринадцати километрах отсюда, за две деревни до этой; вышел на берег — после пляжа, курорта совсем пустынным показавшийся мне: там были, я помню, какие-то лодки, вытащенные на песок; какие-то дети, возившиеся у лодок; две девушки, шедшие мне навстречу (одна из них мне улыбнулась; шепнула что-то другой...); и больше никого там, кажется, не было. И я испытывал, наверное, то смутное беспокойство, ту рассеянную тревогу, которую мы почти всегда испытываем в незнакомых, безлюдных местах; и значит, лишь походя, как бы в скобках, не решаясь отдаться ей, отметил про себя пленительную пустынность этого берега, тонкой линией загибавшегося вдали;

шум волн, почти сливавшийся с тишиною; далекий очерк отражавшихся в воде облаков...; и потом еще очень долго, я помню, часа полтора, может быть, сидел, дожидаясь автобуса, на остановке (тоже: столбик, тоже: скамейка; шоссе, сосны, песок...), вдруг успокоившись, втайне радуясь окружавшей меня неизвестности.

(Здесь зима теперь, разумеется, давным-давно зима, здесь; и много снега, но льдин почти нет; и совсем рано, конечно, встает теперь, здесь — луна, уже днем, белым кругом; и понемногу желтеет, густеет, и набирает силу, и наполняется светом; и совершенно отчетливо виден отблеск ее на воде, мерцающий, ярко-желтый среди сизо-зеленого; там же, с другой стороны и у дальнего мыса, все еще красное, розовое, в совсем других, ускользающих отблесках, и облака, и берег, и снег, и редкие льдины... Утром же, вот сейчас, иней лежит на водорослях, забытых вчерашним прибоем, — и вдруг вспыхивает на солнце, вдруг, сколько хватает глаз, тонкой линией, повторяющей линию берега, загорается... гаснет. И здесь нет никого, разумеется, на этом берегу, никого, никого...)

Недели три, кажется, прожил я там, в том, курортном, снова скажем, поселке, дописывая, действительно, пьесу, в совершенном, до тех пор неведомом мне одиночестве, теперь так знакомом, и лишь обостренном, разумеется, той, еще раз, курортной, беззаботно-легкою жизнью, которой жил там некогда Макс, вместе с Фридрихом, которой он перестал вдруг жить, год назад, и которая по-прежнему, вернее снова, разыгрывалась, конечно, вокруг, на пляже, на улицах. Я не участвовал в ней; я выходил, я помню, на море, каждое утро, и выпив кофе, в кафе, садился на какую-нибудь скамейку над берегом, открывал тетрадь, до сих пор у меня сохранившуюся, и прислушиваясь к шуму прибоя, голосам с пляжа, крикам чаек, круживших над ним, не слыша их, снова слыша, записывал уже как будто сами собой приходившие ко мне реплики, конец пьесы, уже видимый мне насквозь.

— Да, все это, все это... никакого значения не имеет... И вот я стою здесь, на сцене... здесь, перед залом... и что бы я ни сказал здесь... все равно, все равно...

— На самом деле?.. неважно...

И я поднимал, разумеется, голову, и смотрел, разумеется, на море, кабинки, пляж, облака..., и уже думал, может быть, вновь думал, может быть, о другом, совсем другом, конечно, писании, или уже ни о чем... ни о чем не думал, быть может.

43

Я закончил пьесу; возвратился в Москву; возвратившись, отпечатал текст на машинке; один экземпляр отдал Сергею Сергеевичу (театр тоже, к тому времени, возвратился с гастролей...); другой — Максу; третий (она сама, я помню, позвонила мне, попросила меня об этом...) Марии Львовне; четвертый, кажется, Фридриху.

Я же, сочиняя пьесу, думал о вполне определенных актерах. Перов, например, должен был играть автора: конечно, сказал мне Сергей Сергеевич (мы сидели, я помню, в его, Сергея Сергеевича, пятиугольной, как уже много раз было сказано, комнате...) — конечно; без всяких сомнений.

— Конечно и без всяких сомнений, — сказал он. — Автора должен играть Перов. Больше некому.

— Я и видел его в этой роли, — сказал я. — Я рад, что наши мнения совпадают.

— Значит, решено?

— Решено.

— Пойдем дальше. Первая актриса, вторая актриса...

— Тут много возможностей... как вы хотите.

— Лиза, Юля?..

— Договорились.

— Ну что же, а... режиссер?

— Да... режиссер... Я не знаю.

— Может быть... (он назвал — уже не помню какое имя...)?

— Нет, невозможно.

— Почему?

— Невозможно.

— Тогда, может быть (еще одно имя...)? Или, может быть, так: Перов будет играть режиссера, а...

— Нет, нет и нет. Перов должен быть автором, мы ведь уже решили.

— Но тогда кто же?

Он сложил руки на груди, пошевелил пальцами.

— Ну... вот... видите ли...

— Вижу, — сказал он, смеясь. — Я давно уже вижу, к чему вы клоните. Вы хотите, чтобы все совпало, не так ли?

— В конце концов, — сказал я, — вы сами подали мне эту мысль.

— Разве? В таком случае, вы мне ее — подсказали.

Я был почти счастлив в это мгновенье, я помню.

— Ну хорошо, — он уже не шевелил пальцами и уже, почти, не смеялся. — Хорошо, я подумаю.

И подумав, действительно, Сергей Сергеевич, в конце концов, согласился — решился: сказал он мне — сам играть эту роль: не без некоторых колебаний (сказал он...) — но в общем... вы правы (так он сказал...): следует идти до конца — раз уж мы начали...

Что же касается главной и — говорил мне Сергей Сергеевич — самой трудной для исполнения роли, то, очевидным образом, играть ее должен был Фридрих.

— Фридрих?

— Конечно.

Он закурил сигарету, стряхнул пепел, посмотрел на меня. Он угадал мою мысль; глаза его, снова, смеялись.

— Конечно, конечно, Фридрих, — сказал он. — Других возможностей я не вижу. У вас есть какие-то сомнения? Нет? Вот и отлично...

Фридрих, следовательно; ну что же...

А между тем, он уже прочитал мою пьесу — Макс, Макс, разумеется (я хотел бы представить себе, теперь, как он читал ее, как это было; я вижу — отсюда, издалека — некую, скажем, ночь; табачный дым; лампу; задернутые или, может быть, наоборот, раздвинутые, на мгновение, шторы; распахнутое, настежь, окно; луну, плывущую над темной громадой; светлый круг в ясном небе; волненье, тревогу; предчувствие неизбежного...). Как бы то ни было, он прочитал мою пьесу; он позвонил мне.

— Я должен поговорить с тобою, — сказал он. — Нет, не сейчас. Давай увидимся... завтра... да, завтра я свободен... где?.. на бульваре.

Там же, в том городе (огромном, невероятном...) — там было, как сказано, несколько, друг на друга совсем непохожих, хотя и переходивших друг в друга бульваров; но, странным образом, я — теперь, здесь, поворачивая обратно — я уже не могу теперь вспомнить, на каком именно мы встретились с ним в тот день (очень жаркий: это я помню...). Мы встретились, кажется, на том, первом бульваре, с его — или, вернее: в его, бесконечно прямой, в бесконечную даль уходящей аллее; мы вышли, во всяком случае, на тот, другой (второй...), загибавшийся; мы шли, значит, так же, как мы шли с ним когда-то, в какую-то ночь, зиму; прошли (не взглянув на нее...) мимо той скамейки, возле которой когда-то стояли (и снова остановились, в другую зиму, в другую ночь, с Алексеем Ивановичем...); не остановились, прошли; Макс, спросив меня о моей поездке — к этому

морю, выслушав (без видимого интереса...) мое сообщение о том, что самое лучшее начинается, собственно, за курортом, если ехать дальше, вдоль берега (что я однажды и сделал...), — сам, в свою очередь, стал рассказывать мне о гастролях, о городах (один другого печальнее...), о своих отношениях с Володей (первым помощником...), о начале сезона (уже приближавшемся...), о каких-то разногласиях между Марией Львовной и Сергеем Сергеевичем: о той жизни, короче, которой и был для него театр: на маленькой площади; пройдя бульвар целиком, свернули мы в некую — он предложил дойти до реки — весьма старую, но как бы в стороне от моих обычных маршрутов лежавшую улицу, почти незнакомую мне: — и очень долго шли, я помню, по ней, почти молча, сквозь вспышки и отсветы, шум, грохот, редкие тени.

— О чем же ты хотел поговорить со мной?

Он не ответил; улыбнулся; посмотрел на меня.

Был жаркий, мучительно жаркий день; солнце исчезло; неподвижное марево повисло в сгустившемся воздухе.

Мы вышли к реке; за рекою, где уже начиналось неописуемое, был (и до сих пор, наверное, есть...) вполне, в общем, немыслимый, с какими-то, вполне невозможными, каруселями, качелями и колесами, но все-таки: парк (и значит: деревья, быть может: прохлада...). Мы не дошли до него; гроза и ливень застигли нас на мосту.

Со всех сторон хлестал дождь; бился в реку, не сливаясь с водою; отскакивал; разлетался; белые брызги бежали по асфальту, внезапным лужам; мы тоже; сбежали под мост; осмотрелись. Это было одно из тех странных, всегда неожиданных, как будто выпадающих из города мест, которых так много в том городе (огромном, невероятном...); темно и тихо было под этим мостом; стояли, уткнувшись друг в друга, два грузовика с цистернами, скажем так: две машины, иначе, предназначенные для поливания улиц водою; валялись, на грязном асфальте, какие-то доски, какие-то трубы; пахло бензином, мазутом.

Макс, скинув рубашку, вытер ею лицо, волосы; подошел к парапету.

— Послушай, — сказал он вдруг, — я должен играть эту роль.

— Что? Какую?

— Я должен играть эту роль — в твоей пьесе.

— Но, Макс, разве это возможно?

— Необходимо, — сказал он. — Иначе все лишается смысла.

Он был прав, конечно же; я согласился с ним.

— Да... но... как это сделать?

— Поговори с Сергеем Сергеевичем, — сказал он.

— Я?

— Разумеется. Я не могу говорить с ним об этом; ты можешь. Вообще...

— Что?

Дождь кончился, небо очистилось. И мгновенной, я помню, прохладой потянуло вдруг от реки, и блики солнца, вновь по ней побежавшие, показались мне вдруг замирающими, исчезающими, уже почти осенними, может быть.

— Вообще, ты понимаешь, что происходит?

— Нет, конечно, — сказал я.

— Вот и я не понимаю, — сказал он. — Но что-то очень странное происходит с нами... совсем неожиданное.

И я поговорил, действительно, с Сергеем Сергеевичем.

Что? Макс? Да, конечно, он, Сергей Сергеевич, уже думал об этом.

— Вы... об этом... уже...

Конечно. Конечно.

Мы вышли из театра, вдвоем; был вечер, тихий, вновь теплый. Да и как мог он не думать об этом? Трудно, в самом деле, не заметить известного соответствия между вашей пьесой и...

— Чем же? Чем же? — спросил я.

И тем, к примеру, что говорил ему Макс — не далее, как этой зимою, у него, Сергея Сергеевича, на даче — что, кстати, и побудило его, Сергея Сергеевича, предложить Максу...

— Как все это странно, — сказал я.

О да, весьма удивительно. Но такого оборота он, конечно, не ожидал.

— Я тоже, — сказал я. — Все сходится, все совпадает.

— Значит...

Мы дошли до метро; мы остановились у входа: где-то, я помню, между газетным киоском и табачным ларьком: в каком-то, следовательно (так я подумал...) до смешного случайном месте...

— Значит — что же? — Макс... в ваших замыслах... Расскажите мне о них, наконец... Вы пишете, значит, не только пьесы, но еще и некий... роман?

— Я не пишу пьес... во множественном числе, — сказал я. — И я не пишу... я только собираюсь писать... некий, в самом деле, роман. И я так давно собираюсь писать его, что

я уже сам не знаю, будет ли он написан... когда-нибудь. Или я начну писать его... очень скоро, или... вообще никогда.

— Но как бы то ни было, в этом романе... Макс...?

Вот именно, в том-то и дело.

Он опять рассмеялся, я помню.

— Но, — смеясь по-прежнему, — но позвольте узнать... если в вашем романе будет... а он ведь там будет?.. театр...

— На маленькой площади...

— Тем более... если будет там, значит, и пьеса, которую, я надеюсь, мы скоро начнем репетировать... то — что же? — и ваш покорный слуга...

— Во всяком случае, — так я ответил, — некий режиссер в моем романе тоже, разумеется, будет... Но конечно, при том огромном различии, которое существует между, скажем так, жизнью... и...

— Да, да, конечно, я понимаю.

Ах (думаю я теперь...) там шли ведь какие-то люди, входили в метро или, наоборот, выходили; и там был, я помню, фонарь: над ларьком, над киоском; и огороженный железною решеткою клен: между ними; и листья его, попадая в свет фонаря, меняли, и вновь меняли, конечно, свою окраску, свои очертания; и на земле валялись окурки, обрывки газет, мусор; и где-то, на заднем плане, был шум машин, звук шагов: по асфальту...; и посреди всего этого, всей этой жизни...

— Да, — снова сказал Сергей Сергеевич, — вы должны странно, очень странно себя чувствовать...

— Вы тоже, — сказал я.

— Я? Почему же?

— Ну как же, Сергей Сергеевич... Ведь все это вы, в общем... устроили...

— Почему же я? — спросил он.

— Ну как же, — сказал я. — Это вы убедили меня дописать пьесу... которую я вообще не собирался писать... Вы решили ставить ее. Вы же и Макса пригласили в театр... Таким образом...

— Нет, — сказал он. — Все это как-то само собою... устроилось. По-моему, — он опять рассмеялся, — по-моему, вы несколько преувеличиваете мою роль... в вашем романе.

Я тоже рассмеялся, конечно, в ответ. Я опять был: почти счастлив, конечно.

Да, так что же делать? — говорил, тем временем, Сергей Сергеевич (устроитель и режиссер...). Макс, следовательно; ну что же... Да, опять-таки... да, он подумает... Фридрих?.. Нет, он вообще не говорил еще с Фридрихом... не беспокойтесь...

Он держал, я помню, в руке, и подбрасывал, и ловил, и снова подбрасывал: пятикопеечную (таковою, думаю я теперь, была — и есть, наверное — плата: за вход в метро, за спуск вниз...) — в отсвете фонаря взлетавшую, блестевшую, падавшую монету...

— А теперь скажите мне... на прощание... Чего же вы все-таки ждете... от всего этого?

— Не знаю. А вы?

— А что я? — сказал он. — Для меня это просто... новый спектакль... что бы вы там ни думали. Спектакль... по весьма странной, разумеется, пьесе... но в конце концов... только спектакль. А вот для вас...

— Не знаю, — сказал я. — Но чего-то... чего-то я, разумеется, жду.

44

А между тем, опять-таки, он, Макс, не выдерживая ожидания, волнения, не в силах справиться с беспокойством, тревогой, — Макс, отпросившись (как он сам сказал мне...) у Сергея Сергеевича (Сергей Сергеевич, показалось ему, отпустил его почти с радостью: поезжайте, почему бы и нет?.. а я пока подумаю... кое о чем...) — Макс, короче, отпросившись у Сергея Сергеевича (уже начинался сентябрь...), уехал, на два или три дня, может быть, в тот, уже давным-давно отмеченный мною на карте, — утративший свое название, но зато сохранивший, почти сохранивший свой облик, а значит, и свои названия (названия улиц, садов и набережных...) — в тот совсем иной город, короче, где он несколько лет не бывал и куда ему так хотелось поехать: зимою. И вот, значит, снова (как год назад, например...): бессонная, в поезде, ночь; душное купе; верхняя полка; и так же, наверное, проплывали за окном пустынные станции, полустанки; и далекие, где-то огни; и шлагбаум (будка, фары, флажок...); и он так же прислушивался, наверное, к дребезжанию, дрожанию чего-то, к голосам, шагам в коридоре...; утром, по еще почти безлюдному Невскому (Литейный, Фонтанка, Гостиный двор сбывались: как сбываются ожидания, предчувствия или надежды...) дошел, ни о чем в отдельности, должно быть, не думая, до Казанского (с его

колоннадой...) собора; спустился в метро; переехал на Петроградскую сторону (знакомые, у которых он всегда останавливался, жили, как сказано, на Большом — с Большим проспектом Васильевского острова его не следует путать — проспекте...); и на другой, предположим — холодный и ясный, прозрачный и солнечный — день прошел, должно быть, по своему излюбленному, когда-то, маршруту: вдоль Екатерининского канала, через Михайловский парк (особенно им любимый; он присел, наверное, на какую-нибудь, в боковой аллее, скамейку — пятна солнца на темной земле, желтые листья, зеленая, яркая, еще совсем летняя трава на лугу, за деревьями — выкурил сигарету...), через Марсово поле, мимо Летнего сада — на набережную, по набережной — в сторону Зимнего, оттуда, по Дворцовому мосту — на Васильевский остров, к Ростральным колоннам, на Стрелку. И стоя там, на Стрелке, у самой воды (набегавшей, ложившейся на ступени...), глядя на воду, Петропавловскую крепость, фасады дворцов, вдруг, может быть, успокоился, и как будто вспомнив свое отчаяние (действительное отчаяние...), вновь подумал, должно быть, что все это... все это... никакого значения не имеет, что ему даже все равно, сыграет или не сыграет он... некую роль, но что именно потому он все-таки должен ее сыграть, или, если угодно, что именно потому он, наверное, может сыграть ее... на сцене, в театре.

45

И когда он возвратился в Москву, Макс (в этот огромный, вновь и снова, невероятный, самый странный на свете город...) — уже была, в этом городе, осень: осень, отчасти похожая, может быть, на ту, какую-то, с ее блужданиями, открытиями, бесконечно-далекую: не столь, может быть, но все же весьма, весьма ветреная.

Ветер, следовательно, ветер и снова ветер набрасывался на город (огромный, еще раз, таинственный...), и вновь гонял по улицам листья, мусор, обрывки газет, и даже самые невнимательные из горожан, самые прохожие из прохожих вновь, как некогда, застигнутые врасплох, замирали, не в силах справиться с изумлением. Но он, Макс, возвратившись в Москву, уже не бродил, как прежде, по улицам; он сошел с поезда, доехал до дому на такси — и в тот же день отправился, конечно, в театр (на маленькой площади...), где, не без некоторой, должно быть, торжественности, Сергей Сергеевич (устроитель и режиссер...) объявил ему о своем окончательном, принятом, сообщил он, после весьма продолжительных совещаний с Перовым, с Марией Львовной (и тот, и

другая высказывались, в конце концов, в его пользу...), положительном — нет, правда? — да, правда — решении (все это... чистейшая авантюра, конечно... но в общем... попробуйте... вдруг что-то у вас и получится...); Перов, вечером, поздравил его; Мария Львовна, поздравив, поцеловала; Лиза, разумеется, тоже; Фридрих... Фридрих, погрозив ему пальцем, состроив гримасу зависти, ярости, ревности, в конце концов рассмеялся, хлопнул его по плечу (ладно, ладно... все в порядке, я знал, что так будет...); и через несколько дней начались, действительно, репетиции — еще не в зале, не на сцене — в пятиугольной комнате, у Сергея Сергеевича. А между тем, год (почти год...) свободы, в свое время полученный им, то есть Максом, у неописуемо-ненавистного, — закончился, пролетел, завершился; он снова должен был платить свою дань — и снова думал, конечно, о том, чтобы все, просто-напросто, бросить; он боялся, как сказано, армии (нарушим, снова, запрет...); он мог бы, конечно — нарушим еще один — попробовать освободиться и от нее, разыграв, к примеру, какое-нибудь, телесное или (что проще...) душевное заболевание: и в том, и в другом случае это потребовало бы усилий, весьма значительных, времени, которого было жаль; он решил посоветоваться с Сергеем Сергеевичем (устроителем, режиссером...).

— Сколько лет вам осталось?

— Два года.

— Ну так что ж... доучитесь. Не связывайтесь с больницами, комиссиями... всей этой мерзостью. Два года... подумаешь... что такое два года...

— Да, но... театр...

Сергей Сергеевич вдруг рассмеялся.

— Вы что, не можете прогулять свои лекции?..

И в конце концов, после некоторых колебаний последовав полученному совету, и значит вновь посещая свое, если угодно, учебное — если угодно и скажем так — заведение, и вновь, как прежде — хотя и с тайным по-прежнему, постыдным по-прежнему, но теперь уже не столь острым, может быть, страхом (не выгонят ли его, в самом деле...) прогуливая свои лекции, — понимая, что, в общем, не выгонят, — и, в общем, уже почти не замечая, стараясь не замечать их, — не придавая значения, не обращая внимания, — уже, в общем, доучиваясь, — домучиваясь: сказал он мне как-то, — и большую часть времени, проводя, конечно, в театре, — на репетициях: уже начавшихся, на занятиях, с Перовым, с Марией Львовной: продолжавшихся, конечно, по-прежнему, — он, Макс... нет, он уже не бродил в ту осень по городу: и только, может быть, изредка, не выдерживая тревоги, вновь, конечно же, его охватившей, не в

силах справиться с изумленьем, волненьем, нараставшим, как будто сгущавшимся в нем, ощущением близости к чему-то решающему... вот-вот имеющему случиться, сворачивал вдруг в какой-нибудь — по дороге в театр, из театра домой — знакомый и наизусть знакомый ему переулок, и все вдруг вспомнив, между вдохом и выдохом, смотрел, как некогда и как будто впервые, на летевшие по ветру листья, обрывки газет, облаков...; выходил на бульвар, останавливался.

Зато я сам, я очень хорошо это помню, — я: живущий теперь здесь, поворачивая обратно, — а я тоже, конечно, платил свою дань: ненавистно-неописуемому, и тоже (всего лишь год оставалось мне — доучиться...) посещал свое, тоже, учебное — тоже и так сказать — заведение, — и весьма много времени проводил, конечно, в театре (на маленькой площади...) — я очень часто и очень подолгу, вышагивая волнение, нараставшее и сгущавшееся во мне, бродил в ту осень по улицам (переулкам, бульварам...); в иные дни, возвращаясь, например, из театра и уже почти дойдя до дому, шел, не в силах остановиться, не сворачивая в проход, по улице, дальше — мимо красной, кирпичной стены — мимо арки и башенки, — и выходил, к примеру, на тот, так скажем, третий (откуда, сверху, в какой-нибудь ясный, солнечный — выцветший на ветру, вместе с листьями, облаками летевший куда-то — день, виден был — нет, конечно, не весь — почти весь, может быть, город: крыши и купола...) — выходил и на какой-нибудь четвертый, пятый, если угодно, еще ни разу, кажется, не упомянутый мною бульвар, — на какой-нибудь, обнесенный забором пустырь, — и в каком-нибудь дворе, наконец, присев на скамейку, все снова и снова думал о случившемся с нами, застигнутый — случившимся с нами, имеющим случиться с нами — врасплох, не в силах справиться с изумлением.

В самом деле: что это было? Время течет медленно (так писал я когда-то: в начале...). Но (так думаю я теперь...) — но бывают — что же? мгновения? — нет, конечно, отрезки, периоды времени: недели и месяцы — когда оно (время...) вдруг так странно ускоряет свой ход, и с такой решительностью устремляется вдруг к чему-то: еще неведомому, но уже втайне — и даже явно: почти осязаемо, обозримо — откровенно присутствующему, что мы (думаю я...), уже едва поспевая за ним, бежим за ним следом, куда-то, к чему-то, почти не оглядываясь — не успевая, может быть, оглянуться...

А между тем (думаю я...) — и даже ускорив, пугающе-странно, свой ход — оно (время...) — или, что то же, жизнь — остается по-прежнему — или, если угодно, по-прежнему сводится — или, что опять-таки то же, включает в себя по-прежнему —

простое чередование: дней и ночей, засыпаний и пробуждений...; и я вспоминаю теперь, как, уже вечером, после репетиций, блужданий по городу, я, все-таки и в конце концов, возвращался домой, входил в подъезд, поднимался по лестнице, и там, дома: там были, конечно же — нет, отнюдь не случайные персонажи моей тогдашней (в известном смысле и теперешней...) жизни — звавшие меня ужинать, — и, поужинав, читал я, может быть, что-то, никак не связанное ни с театром, ни, вообще, с моей, уже как бы на грани осуществления стоявшей историей (если это история...) — гасил свет, засыпал, — утром, проснувшись, подходил к окну, отдергивал шторы, — и видел, в окне, тот же двор, ту же арку, — и выходил, одевшись, выпив кофе, на ту же самую улицу...; и в общем жил, значит, той же, той же самой, разумеется, жизнью. А между тем (еще и еще раз...) я (и чем дальше, чем быстрее шло время, тем острей, тем отчетливей...) — я чувствовал себя вовлеченным во что-то: в некое, если угодно, устремлявшееся и приближавшее меня к чему-то движение: движение, однако, которое, само по себе, и было, и не было — вновь скажем — жизнью, но посреди привычного окружения, простого чередования (или, если угодно, вопреки: окружению, чередованью...), перерастая его, сходилось и совпадало с чем-то совсем иным (обыкновенно отрицающим — жизнь...) и словно заворачивало за некий край, — некий угол, — некий выступ, если угодно... Так, блуждая по городу (огромному, невероятному...), вдруг и всякий раз неожиданно оказываемся мы в каком-нибудь, не только не похожем на все остальное, на ту улицу, например, по которой мы только что шли, на тот бульвар, с которого мы только что, к примеру, свернули, но как бы не выводимом из всего остального, как бы отменяющем все прочее месте: в каком-нибудь дворике, с круглым, посредине, фонтаном; под каким-нибудь мостом, среди досок и труб; на каком-нибудь (так думал я, например...) пустыре, поросшем травою, с протоптанной — кем-то — тропинкой и, в дальнем углу, одиноким, из ржавой жести, со следами ночного дождя гаражом, где нет, и не может быть, никакой, конечно, машины и где хранится, значит, что-то неведомое или, может быть, ничего уже не хранится...; или — и так далее (думал я...) — и так далее, и так далее...; я уже сам не понимал, может быть, где я, собственно, нахожусь; я был все еще в жизни — я вдруг оказался в моей, в жизни и наяву разыгрывавшейся истории, внутри ее, вот на этих — в ту пору еще не существовавших, конечно, страницах. И я лишь спрашивал себя, удивляясь, когда же, когда же все это началось (летом? весною?..); и я сам не знал, конечно, когда. Совсем незаметно началось оно, это движение; вдруг оказались мы — в

нем. И как будто набирая скорость, набирая, скажем так, крутизну, все быстрей и быстрее, еще раз, подводило оно нас, меня, Макса, к решающему... чему же?

Все быстрей, все быстрее...; и очень быстро, я помню, репетиции (разъясненья и разговоры...) в пятиугольной комнате, у Сергея Сергеевича (в самом деле, говорил мне этот последний, если что-то кому-то и надо было бы — объяснять, то прежде всего, разумеется, Максу: Макс же как раз ни в каких объяснениях не нуждался...) сменились репетициями на сцене; и я очень хорошо помню тот день — тот вечер — спектакля не было — когда мы остались в зале втроем, и Сергей Сергеевич впервые предложил Максу — еще не играя — выйти из-за кулис, пройти по сцене, встать перед залом.

— Посмотрим, — сказал он, — как это будет выглядеть.

Еще не было, я помню, ни столика, ни, соответственно, лампы; мы сидели, кажется, в десятом — в девятом, быть может, — ряду.

— Так, — говорил Сергей Сергеевич, — вы появляетесь из глубины сцены, из-за третьей кулисы, слева... нет — справа?

— Справа, — сказал я. — От нас с вами — справа.

— Да, разумеется. Вы идете (к Максу...) так... наискось... да, вот так... хорошо.

Макс остановился на авансцене, в самом центре ее.

— Здесь? — спросил он.

— Нет, отойдите немного в сторону... вправо... или, может быть, влево?

— По-моему, вправо, — сказал я. — От нас с вами — вправо.

— Пожалуй. Вот здесь... вот здесь вы стоите... нет?

Макс, я помню, покрутил головой, повел плечами, приподнялся на носках, опустился.

— Может быть, — сказал он, — чуть ближе к центру... на один шаг... да, вот здесь, например...

— Хорошо, здесь. Заметьте себе эту точку... положите здесь что-нибудь... не надо?.. ну, как хотите... Теперь давайте, еще раз... проведите линию от того места, где вы выходите, до этой точки... пройдите по ней... нет, нет, не выходите на середину... тогда вам придется поворачивать... а вы идите все время прямо... вернее наискось... но по прямой линии... да, вот так... еще раз, давайте...

И он, Макс, все снова и снова, выходил из-за третьей — правой — кулисы, останавливался — чуть справа — на авансцене; для него, Макса, думаю я теперь, все это было, разумеется, слева.

Он начал понемногу — играть.

— Вот, — сказал он, я помню, — вот я стою здесь, стою перед вами...

Я подумал вдруг, что и здесь, что и в этом, если угодно, случае, сцена, оставаясь собою, должна — все-таки — превратиться во что-то иное — в себя саму, но все-таки превратиться: преобразиться: так я подумал.

— Я смотрю в зал... я говорю...

Сергей Сергеевич не прерывал его; он начал, уже играя, ходить — сначала медленно, потом все быстрее; он прочитал свой первый монолог до конца.

— Я хочу выйти отсюда... выйти отсюда...

Все сбывалось, все было правильно; и сидя рядом с Сергеем Сергеевичем, в пустом и темном зале, в девятом (десятом...) ряду, я вновь, конечно же, испытывал это чувство тревожной, к чему-то, близости, волшебного приближенья...; и вдруг терял его, это чувство; и пытался вызвать его в себе; и не мог; и потом уже чувствовал только неловкость; и смотрел на Сергея Сергеевича; и снова на сцену; и опять на Сергея Сергеевича. Это был он — да: он, Макс — на сцене; все сбывалось, все было правильно; и вместе с тем, все было как-то — не так; и мне казалось, он не так ходит, не так говорит, то слишком тихо, то слишком громко, не с той интонацией, не с тем выражением лица; и сцена, я помню, не превращалась — в себя саму, не преображалась, не оживала.

— Ну хорошо, — сказал Сергей Сергеевич, — теперь давайте разберем все в подробностях. Вы появляетесь... вы идете... медленно... шаг за шагом... останавливаетесь... Что вы делаете с руками?.. убираете за спину?.. да, уберите их за спину... Теперь пауза... держите ее как можно дольше... сколько сможете... Так, теперь говорите...

— Вот я стою здесь, стою перед вами... Я стою здесь, один... Я смотрю в зал, я говорю...

Он очень волновался: я это видел; он пытался вложить — снова вложить — в эту первую фразу — и первую паузу — все то, что в них было заложено; у меня на глазах теряли они свой смысл.

— Ладно... еще раз. Нет... не так быстро... да, руки за спину... теперь пауза... теперь говорите...

— Вот я стою здесь, стою перед вами...

— Нет. Нет. Это должно быть сказано иначе... решительнее.

— Решительнее?

— Конечно. Ведь вы же — решились. Вы начали говорить — наконец. Вы еще сами не знаете, что вы скажете, но вы... да... решились. Или? (в мою сторону...).

— Конечно. Конечно.

— Вот я стою здесь, стою перед вами...

— Ну хотя бы так... пускай так.

— Я стою здесь — один. Я смотрю в зал, я говорю. Я еще сам не знаю, что я скажу...

— А вот теперь нужна, наоборот... нерешительность. Давайте, еще раз...

Еще раза два или три, оставаясь вдвоем, отрабатывали они эту первую сцену, первый выход — на сцену; и возвращаясь домой, оставаясь один, он, Макс (он сам, впоследствии, рассказывал мне об этом...), продолжал, конечно же, ее репетировать (в прихожей и перед зеркалом: если все уже спали; в своей, просто-напросто, плывущей над городом комнате...); и засыпая, повторял про себя: вот я стою здесь...; и просыпаясь, повторял — то же самое...; и когда я снова увидел его на сцене (недели, кажется, через две...), это было, я помню, совсем непохоже на то, что я видел: две недели назад.

Он вышел на сцену — и тут же остановился; он сделал один шаг — поднял голову, посмотрел на Сергея Сергеевича; сделал другой, сделал третий...; и эти три, или четыре шага, допустим, не только, я помню, не сливались друг с другом, и не превращались, вообще говоря — в шаги, в выход, в проход, но каждый из них был словно отделен от всех прочих некоей — да — но не сыгранной им — его собственной, Максовой, нерешительностью: и как если бы он, Макс, на сцене, уже сам не знал, и не мог знать, последует ли за этим — третьим шагом, к примеру, еще один — скажем, четвертый, или уже ничего, вообще ничего не последует...; и точно так же, когда он начал, наконец, говорить, все, что он говорил, не превращалось, собственно, в речь, в монолог, но распадалось и вновь распадалось на отдельные фразы, фрагменты, почти не связанные друг с другом; и после каждой фразы он смотрел на Сергея Сергеевича; и Сергей Сергеевич говорил ему: да, так; или просто кивал головою; и на меня, я помню, он, Макс, вообще не смотрел.

— Вот я стою здесь (пауза...), стою перед вами. Я стою здесь один (пауза...), я смотрю в зал (пауза...), я говорю...

И это было, я помню, чуть-чуть смешно, очень странно, совсем неожиданно.

— Так и должно быть, — сказал мне Сергей Сергеевич. — Это пройдет... со временем. Или не пройдет... (вдруг рассмеявшись...).

— Но тогда — что же?

— Тогда — я не знаю. Тогда, наверное — Фридрих...

Ну нет (подумал я...) вот это меня совсем, совсем не устраивает...

— Вас это не устраивает? Что ж, надейтесь на лучшее...

И затем уже начались настоящие, скажем так, репетиции, с лампой и столиком (подобием столика: простой доской, по-прежнему, положенной на спинки передних кресел...), с участием всех остальных, Лизы: вполне весело, я помню, объявлявшей, что сейчас ее выход, Марии Львовны: последней выходившей на сцену, Юли, Ани и Димы: вновь назовем их, Перова: просто Перова.

И после тех сборов, приготовлений, той легкой путаницы, которая всегда предшествует репетиции, началу ее, все исчезало, конечно — там, за черными окнами — и маленькая площадь, к примеру, и окрестные, например, переулки...; ничего этого не было больше; был только зал, еще и еще раз, только сцена, не очень ярко, но все-таки освещенная, с двумя стульями в глубине; и повторение, конечно же, одних и тех же слов, реплик (мною, мною написанных...); возвращение, сгущение времени.

Многое и очень многое не нравилось мне поначалу: и прежде всего, разумеется, Ане, Юле и Диме свойственная, в первую очередь — и совершенно несносная (как выражался Сергей Сергеевич...) склонность к — сомнительной клоунаде, с которой ему, Сергею Сергеевичу, довольно долго пришлось, я помню, бороться.

— А она ведь здесь как бы... напрашивается.

— Увы, — отвечал я.

— Вот именно. И потому оставьте все это... (подходя к сцене...) все это... комедиантство. Если оно и может быть здесь, то конечно, лишь на самом, и самом заднем плане, — так говорил он.

— А на переднем? — говорила Юля (смеясь...).

— А на переднем все должно быть, разумеется, просто, сдержанно, без кривлянья, без крика. Только тогда это будет... еще рано смеяться... смешно; в самом деле смешно. Все сначала, еще раз.

И — еще и еще раз — заставлял их повторять одни и те же реплики, фразы (мною написанные...), жесты (им для них или ими самими придуманные...) — добиваясь и в конце концов добившись, в общем, от них, от Юли, Ани и Димы, той — отстраненной замедленности, без которой (говорил он мне: я мог бы сказать ему то же самое...) нам и здесь, конечно, не обойтись.

Он же, Сергей Сергеевич, раздваиваясь (как он сам говорил мне, опять-таки...) между своей ролью в пьесе и этой же ролью в жизни, то выходил на сцену, и репетировал вместе с Максом (Лизой, Перовым...), то оставался в зале, и тогда просил кого-

нибудь — Володю, допустим — занять его место (тот, в таких случаях, просто читал его роль по тексту...) — и сидя где-нибудь — иногда совсем близко к сцене (в третьем ряду...), иногда совсем далеко (в глубине зала, один...) — чаще за столиком (подобием столика...), рядом со мною — чуть-чуть сощурив глаза, смотрел, молча, на сцену: и лишь когда некий отрывок сыгран бывал целиком, просил начать все сначала (и закуривал, например, сигарету...) — и тогда уже поправлял Макса, Лизу, просил Перова встать там, Диму здесь, и менял, я помню, все время менял их взаимное расположение: мизансцену, если угодно.

— Нет, нет, еще ближе... вот так... А вы (Макс, в это время, сидел, допустим, на стуле...) — а вы закиньте ногу за ногу и обхватите ее руками... или нет? нет... опустите левую руку... да, вот так, хорошо...

И стряхнув пепел, всматривался в эти вдруг неподвижные фигуры на сцене; все замирало; само время, сгущаясь, почти останавливалось; и вдруг опять — опять приходило в движение.

— Продолжим? Продолжим.

И — сиденье кресла с глухим стуком ударялось о спинку — вновь поднимался на сцену.

И всякий раз, когда я видел его на сцене, я удивлялся, я помню, почти так же, быть может, как удивляемся мы чему-то, что до сих пор казалось нам невозможным, и вдруг — вот оно перед нами...

В самом деле (думаю я теперь...) он, Сергей Сергеевич, выходя на сцену, играл там, на сцене, не какого-то режиссера вообще — или, скажем, некоего режиссера в некоей пьесе (мною написанной...) — и не просто, с другой стороны, оставался на сцене собою (собою, в известном смысле, оставалась на сцене и Лиза, и Мария Львовна, и — тем более — Макс...) — но решившись (как он сам сказал мне когда-то...) идти до конца (раз уж начали...) — он, Сергей Сергеевич, играл, но именно играл там, на сцене, себя самого: Сергея, значит, Сергеевича.

Он складывал руки на груди; он шевелил пальцами; он смотрел, к примеру, на Макса, как будто желая проверить, на месте ли этот последний...; он как будто подчеркивал там, на сцене, свои, уже привычные мне движения (и не потому ли, думаю я теперь, я так хорошо их запомнил и так ясно их вижу теперь, что он, Сергей Сергеевич, так хорошо и так ясно, с такой отчетливой определенностью показал их мне, оттуда, со сцены?..).

— Мы приносим свои извинения, — говорил он: тем же голосом и с той же, почти с тою же интонацией, с какой, только что: продолжим? продолжим...

— Все это, для нас самих, полнейшая, полнейшая неожиданность...

И это был он, там, на сцене... еще более он, чем он сам... уже не он?.. он.

— Вы хотите выйти отсюда? — он указывал рукою на дверь, в глубине зала. — Так выходите...

И как будто чуть-чуть удлиняясь, вытягиваясь, рука его, с вытянутым, чуть согнутым указательным пальцем, падала, падала, падала в зал.

— Но подумайте, что вас ждет там, за этой дверью...

— Там, за этой дверью?..

— Пустые улицы, и темные переулки, и снег, и ветер, и ночь...

— Какой, кстати, снег? Еще нет, кстати, снега...

Лиза? Да, это Лиза сказала однажды.

— Какой снег, в самом деле?..

— Снег скоро выпадет, — сказал (просто...) Перов.

Уже был, в самом деле, там, за дверью, октябрь, ноябрь (быстро, очень быстро шло время...).

— А если не выпадет? — сказала Лиза (продлевая, очевидным образом, паузу, улыбаясь, потягиваясь, приподнимаясь на носках, опускаясь...). — И потом?.. летом?.. весною?..

Макс, я помню, присел на край сцены, закурил сигарету.

— Можно заменить снег дождем, — сказал (кажется...) Дима, посмотрев на меня. — Пустые улицы, и темные переулки, и дождь, и ветер, и ночь...

— Нет, — я подошел к сцене, я помню. — И дождь, и ветер, и ночь? Нет, невозможно.

— А что? — сказал — Фридрих? — Фридрих (получивший, в конце концов, роль — второго актера...). — А что, какая разница?

— Огромная, — сказал я, — огромная разница. Во-первых, дождь созвучен ночи. И дождь, и ночь... нет. И потом, — сказал я, — и снег, и ветер, и ночь: это сразу создает некое ощущение, и некий образ... снег ведь не обязательно падает, он может и просто лежать... на крышах, на тротуарах... И вот мы видим эти темные улицы, и переулки: в снегу, и ночь, и ветер... А сказать: дождь, значит ничего не сказать. Ну дождь; подумаешь...

Макс засмеялся; Сергей Сергеевич тоже.

— Все это... пустые разговоры, — сказал он, — уловки и хитрости... (к Лизе, не только к Лизе...) давно нам знакомые. К премьере снег выпадет, а там будет видно.

— А когда, кстати, будет — премьера?

Макс? Нет, это я спросил у Сергея Сергеевича; зато он, Макс, чуть вздрогнув, с таким, я помню, настороженным, насторожившимся выражением лица, глаз, ждал ответа, что, показалось мне на мгновенье, все вокруг, на мгновенье, затихло.

— Хорошо бы до Нового года, — ответил Сергей Сергеевич. — В декабре... в конце декабря. Раньше мы не успеем. А теперь давайте, соберитесь, нам надо еще сегодня...

В других же случаях я соглашался, я помню, на предлагаемые мне изменения; Лиза, опять-таки, попросила меня однажды чуть-чуть переделать две реплики, которые, как она утверждала, не выговаривались у нее; Мария Львовна попросила меня о том же; Перов, вполне неожиданно, предложил мне добавить несколько фраз в том месте, где он, Перов, то есть — автор, выходит на сцену.

— Я уже здесь, я все слышал.

— И как вы уже догадались... (Сергей Сергеевич: к залу: где никого не было, кроме меня...) мы с самого начала играли здесь...

— Разумеется...

— Вот эту, вот эту пьесу...

— Конечно...

— Странную и в высшей степени странную пьесу...

— Не спорю...

— Да, странная, в самом деле, и в высшей степени странная пьеса... (Юля — Диме, чуть поодаль от всех остальных...).

— Интересно, чем она кончится...

— Ничем, может быть?..

— По всей вероятности...

Я же, подумав, решил, в свою очередь, что... да, какое-то... я до сих пор не могу объяснить его... но все же было, в самом деле, какое-то, до сих пор необъяснимое, сходство между Перовым и — Алексеем Ивановичем (с которым виделся я по-прежнему...). Нет, нет, у него не было ни этих, удивленно-спокойных, отсылавших к чему-то глаз, ни этой внезапной, намекавшей на что-то улыбки...; у него был... да, у него был, пожалуй, вид человека, только что вошедшего с улицы — в какую-нибудь (так думал я, в свою очередь: так думаю я теперь...) комнату, где все остальные уже

провели, предположим, несколько, очень, очень долгих часов...; весь вид и облик его отсылал к чему-то иному, к чему-то — снаружи.

(Он входил в комнату: в пятиугольную, скажем, комнату Сергея Сергеевича; он был еще как будто охвачен, окутан: шумом улицы, ветром, бликами солнца; он осматривался, как будто еще не совсем понимая, что с ним и куда он попал; вдруг, заметив его, быстрым, плавным, широким, здесь, в комнате, почти невозможным, но словно перенесенным сюда снаружи движением подвигал к себе, допустим, какой-нибудь, поодаль стоявший стул...)

А ведь он, Перов, — в известном смысле: лишь он один — играл в моей пьесе — некую роль. Но, с другой стороны: какую же? Мою, мою роль играл он на сцене; и всякий раз, когда я видел его, чудесно, я помню, усиливалось во мне это, уже почти не покидавшее меня, чувство близости, приближенья... к решающему; и как если бы я вдруг оказывался лицом к лицу с тем таинственным, что, собственно, и происходило со мною (на свой лад, соответственно, с Максом...).

И он играл ее так, эту роль, как он и должен был играть ее, разумеется, — ни на чем не настаивая, но вместе с тем, каким-то оттенком интонации, едва уловимым, показывая, подчеркивая свое — с самого начала задуманное мною — отличие: от всех прочих актеров...; они же, поскольку Сергей Сергеевич добивался от них искомой отстраненности, искомой замедленности, от репетиции к репетиции все более очевидным образом двигались так, как будто он: он ими двигал...; и хотя все это, в свое время так меня восхитившее, свелось теперь, разумеется, лишь к некоей — манере игры, на что-то иное, на что-то снаружи, намекал по-прежнему его облик, ни к какой манере никакой игры не сводимое.

Да, все это, все это было — вполне восхитительно; и только Макс, Макс по-прежнему...

А между тем, он репетировал постоянно: я это видел (и он сам, впоследствии, рассказывал мне об этом...).

Он репетировал постоянно: и в театре, и дома, и по дороге из театра домой, и по дороге из дома в театр; вся жизнь его (говорил он впоследствии...) свелась или почти свелась, может быть, к повторению неких фраз, неких жестов; он был занят всем этим так, как, может быть, еще никогда ничем занят не был.

И (так думаю я теперь...) по отдельности жесты его были точны, интонации, в общем, правильны; но то ли потому, что они по-прежнему лишены были — почти всякой связи (а в ней-то, думал я, в ней-то вся и суть...) — то ли, может быть, потому, что он

слишком долго отрабатывал их, и один, и с Сергеем Сергеевичем, они, я помню, казались мне как бы сделанными; в них не было, поначалу, той легкости, к которой он, конечно же, и стремился, но которая (говорил он мне...) дается нам, конечно же, только сама собою, всякий раз неожиданно.

Сергей же Сергеевич говорил ему так:

— Мне совершенно все равно, — говорил ему этот последний, — находите ли вы здесь какие-то соответствия... чему бы то ни было... и вкладываете ли вы во все это какие-то... ваши собственные, скажем, чувства... ваши личные, скажем, эмоции... Все это, поверьте, уже не имеет ровным счетом никакого значения. Вот вам пьеса, вот ваша роль... и вы, — говорил он в другой раз, — и вы должны играть ее точно так же, как играли бы любую другую... любую другую. Вы должны отойти от нее... иначе у вас ничего не получится.

И что-то вдруг получалось у него, разумеется; и стоя, например, перед зеркалом, ночью, в десятый, в двадцатый, в тридцатый раз, может быть, повторяя какой-нибудь жест, взмах руки, по-прежнему, но всякий раз неожиданно, находил он в себе ту единственную, ту неподвижную точку, с которой, и уже сам собою, срывался, падал — во вдруг образовавшуюся в нем пустоту — этот жест, заученный им наизусть, взмах руки, затверженный до отвращения...; он же, Макс, смотрел на него откуда-то, издалека, почти, конечно, отсутствуя, почти исчезая.

Одно такое мгновенье, паденье я очень хорошо помню, на сцене.

— Вы хотите выйти отсюда? — говорил ему Сергей Сергеевич. — Так выходите... Но подумайте, что вас ждет там, за этой дверью...

— Там, за этой дверью? — переспросил он.

— Там, за этой дверью. Пустые улицы, и темные переулки, и снег, и ветер, и ночь... И вы будете идти там, один, и никому не будет до вас никакого дела... Вы это знаете?

— Да, — сказал он. — Я это знаю.

И, я помню, лицо его вдруг изменилось: я видел это: совершенно отчетливо: лицо его, думаю я теперь, вдруг словно собралось и совпало: с чем-то: с самим же собою; взгляд же, наоборот, отдалился; и лишь когда он сказал это, рука его, согнутая до сих пор в локте (с сжатыми, почти сжатыми в кулак пальцами...), распрямилась, упала, повисла; пальцы разжались; и, я помню, тот кусок сцены, на который он как будто указывал рукою, теперь, как будто вдруг затрепетал, на мгновение.

— Да, — сказал он. — Да, это я знаю...

Да, говорил он впоследствии, это случалось всякий раз неожиданно, само собою, в чарующем промежутке; и он всякий раз успокаивался, пускай на мгновение; и чем дальше шло время, тем — чаще это случалось.

Но всякий, или почти всякий раз, когда он пытался воспроизвести, к примеру, какой-нибудь, только что, минуту назад, удавшийся ему жест, или вновь произнести, например, какую-нибудь, только что и минуту назад вполне удачно произнесенную фразу, ни эта фраза, ни этот жест уже не удавались, не давались ему; и как будто сам срываясь — откуда-то, вновь и вновь падал он, конечно, куда-то, в свою, если угодно, жизнь, сведенную, почти сведенную, еще и еще раз, к непрерывному, или почти непрерывному повторению одних и тех же, не удающихся, фраз, не дающихся жестов.

Он уже ни о чем не мог думать, почти ни о чем; он лишь повторял и повторял про себя, обращаясь к кому-то: вот, вот я стою здесь, стою перед вами...; не в силах остановиться.

А ведь он, Макс (так думаю я теперь, в свою очередь...) — он, Макс, охваченный всем этим, ни о чем не думая и по-прежнему, да, в известном смысле, по-прежнему: убегая — вновь, как некогда и с другой стороны, шел он на обострение, на столкновение: со всем тем, от чего он, да, по-прежнему убегал, с самим же собою.

Это кажется невозможным, но именно так это было.

И — входя в театр, выходя из театра — вспоминал он ту весну, разумеется, полтора года назад, то лето, у этого моря, когда сама жизнь его, случайная его жизнь, совпала, ненадолго, с обыкновенно ее отрицающим...; вновь забывал о них.

Вновь, короче, как некогда, шел он на столкновенье, на обостренье; все быстрей и быстрее, в свою очередь и со своей стороны, завернув за угол, приближался он: к чему-то решающему.

И потому беспокойство его нарастало; тревога усиливалась; возбуждение, в иные минуты, делалось уже — едва выносимым.

Я видел это беспокойство — на сцене; оно-то, может быть, и не давало ему играть.

И только изредка, еще и еще раз, поначалу совсем редко, быть может, но, чем дальше шло время, чем ближе подступало решающее и чем сильнее делалось его беспокойство, тем чаще, удивительным образом, поднимался он над ним, над собою; успокаивался: на сцене; исчезал: в пустоте... И чем дальше шло время, чем ближе подступало решающее, тем — решительнее, тем дальше отступал он от своей роли; забывал... нет, ни на минуту не забывал о них, разумеется... и все-таки забывал, уже забыл как будто: обо всех соответствиях; и как если бы (говорил он впоследствии...) — как если бы он, Макс,

жил сразу в двух каких-то, друг с другом почти не связанных, вообще не связанных измерениях; и в одном из них шел, в самом деле, на обостренье, на столкновенье, и волновался, и репетировал; в другом же...

Как бы то ни было, репетиции продолжались и даже, в общем, заканчивались. Уже спектакль был сыгран однажды весь; уже были первые пробы света (и я очень хорошо помню, теперь, как все изменилось, когда я впервые, из темного зала, увидел — сверху, двумя лучами — освещенную сцену: они скрещивались, эти лучи, они двигались — вместе с Максом...). Грим? — Его почти не было: так (говорил мне Сергей Сергеевич...), некоторое усиление черт... Костюмы? — Костюмы оставались, в общем, теми же, что и на репетициях: Сергей Сергеевич, по своему обыкновению, в пиджаке, Перов, против своего обыкновения, тоже, Макс просто в рубашке, может быть, в свитере: вы же сами хотели, чтобы — все совпало со всем... Музыка? — Ни о какой музыке я, сочиняя пьесу, не думал. А между тем (Сергей, еще раз, Сергеевич...) какая-то музыка нам бы не помешала, в некоторых местах; я сказал бы даже, что нам не обойтись без нее... И перебрав несколько, совсем, я помню, далеких друг от друга возможностей, Сергей Сергеевич, что очень меня обрадовало, остановился, в конце концов, на — мир названий разбился — весьма и весьма любимой мной музыке, написанной в свое время — мир имен, мир дат тоже — для некоего — ограничимся намеком — балета; совсем тихо должна была звучать эта музыка, в некоторых, немногих, местах, на заднем плане и как бы по ту сторону совершавшегося на сцене... Что еще? Декорации? — Никаких декораций; серый холст в глубине; два стула: вот эти...

И уже была, в общем, зима — там, за черными окнами — уже давным-давно опали, разумеется, листья, уже выпал, и вновь выпал снег, и растаял, и снова растаял, — и на улицах, в городе было, я помню, то ощущение пустоты и простора, какое бывает в конце осени, в начале зимы, когда ничего еще нет, уже нет, ни снега, ни листьев, и только редкие, случайные, большие снежинки одиноко кружатся в воздухе, лишь усиливая, как ни странно, это ощущение обнаженности, простора и пустоты...

И все-таки (думаю я теперь: отрываясь от писания, глядя в окно...) — и все-таки, все-таки: чего же мы, все-таки, ждали?

Время течет медленно, время ускоряет свой ход... нет, нет, не в том было дело. Но это чувство близости к чему-то решающему... я так ясно помню его... к чему же? к чему же?..

И мы несколько раз говорили друг другу, я помню, и Макс мне, и я Максу, и в театре, и как-то, я помню, на улице... несколько раз говорили мы, как будто убеждая друг друга, друг другу, что это будет только спектакль, просто спектакль... ничего больше.

Но ждали мы чего-то совсем иного, конечно.

Чего же? чего же?

Он шел, как сказано, на обострение, на столкновение; моя история свершалась у меня на глазах; через три, через две недели, на сцене и наяву, предстояло ему разыграть то, что разыгрывалось само по себе; овладеть своей жизнью.

И казалось — и мне, и тем более ему, Максу, казалось — как ни убеждали мы себя и друг друга в обратном, — что после спектакля... если он состоится, если он, Макс, с ним справится... все, все будет как-то — иначе...; и сам спектакль, я очень хорошо это помню, казался и упорно казался нам, в двухнедельной, в десятидневной перспективе, границей, отделявшей некое — уже почти, почти прошлое, от некоего — еще будущего, иного.

Речь и шла, следовательно, о будущем, об ином, совсем ином будущем... оно же, думал и убеждал себя Макс, оно же никогда, разумеется, не наступит.

46

Оно приблизилось, оно наступило, это, во всяком случае, единственное событие, этот, во всяком случае и во всех смыслах, единственный, конечно, спектакль.

Но что же (думаю я теперь...) — что же мне делать с ним и не взять ли мне его просто-напросто в скобки?

А ведь оно все-таки было, событие, он, спектакль, все-таки состоялся, и значит, все-таки, все-таки, в какой-то, из всех других вечеров выпадающий вечер, за несколько дней до Нового года (какого же?.. мир дат разбился... неважно какого...) — все-таки, следовательно, за несколько дней до Нового... неважно какого... года, я (живущий теперь здесь, поворачивая обратно, пишущий, вот сейчас, вот эту страницу...) — все-таки, значит, увидел — из темного зала — на сцене и наяву — осуществленье моей истории, и он, Макс, ее, истории, истинный, если угодно, герой, все-таки, значит, пережил — наяву и на сцене — с моей историей, со своей жизнью решительное, решающее столкновенье...

Я беру, во всяком случае, в скобки: последние дни — перед самой премьерой; возбужденье, волненье, уже почти, пожалуй, невыносимое; бессонные ночи — и в одну из этих ночей: звонок Макса (я тебя разбудил?.. нет?.. я был уверен, что ты не спишь... ничего... просто так...); и последнюю встречу с ним: перед последней — генеральной: говоря театральным языком — репетицией (завтра, завтра... ну что же...); и саму эту репетицию; и самую последнюю, совсем бессонную ночь я тоже беру, наверное, в скобки.

Но я хотел бы оставить снег: снег, выпавший накануне, в тот последний вечер, если угодно, когда я возвращался после последней — в последний раз после репетиции возвращался домой.

— Завтра, завтра; ну что же...

— И неужели присутствие в зале каких-то, отчасти знакомых, отчасти незнакомых людей... какой-то публики, следовательно... так странно меняет все?..

И он пошел совсем неожиданно, этот... третий, да, этот третий снег в том году; и на черном асфальте появились вдруг мгновенные, белые — заносы, заметы, завои; и все вдруг смешалось, закружилось и спуталось; все исчезло: дома, крыши, деревья, город, улицы, переулки; и уже открыв дверь, уже стоя в дверях, я обернулся, я помню: но (так, кажется, или почти так я подумал...) — но я был слишком близко к этому снегу, — и взбежав по лестнице, вошел в комнату, встал у окна: и только в окне, за окном, увидел его так, наконец, как мне хотелось его увидеть; и в дрожащем отсвете каких-то, далеких, огней он кружился, летел и падал там, за окном, — бесшумно и призрачно, — огромными хлопьями, бесконечно; и вдруг кончился; и тут же, в доме напротив, зажглось, тоже, окно; и совершенно ясно, обведенные снегом, проступили очертания соседней крыши, — окон, карнизов...

— Завершение, — думал я, — завершение значит: прощание...

И всю эту, взятую в скобки — выпадающую из скобок — последнюю ночь, я не в силах заснуть, засыпая, опять просыпаясь, подходил, то и дело, к окну; и там, за окном, то все было тихо, то вдруг опять все кружилось, путалось, бесшумно и призрачно; и наутро, сквозь залепленное снегом стекло, увидел я, во дворе, и выйдя на улицу, не справляясь с волнением, увидел, на улице: мягкие, чуть-чуть поблескивавшие на солнце, наметенные за ночь сугробы: какие-то, подумал я, уже — новогодние...; и когда я зашел в театр (мне нужно было, я помню, еще обсудить с администратором некоторые подробности — как назвал его этот последний — не без торжественности — *банкета*: той, иными словами, в данном случае весьма скромной, разумеется,

вечеринки, которая всегда устраивается после премьеры...), Сергей Сергеевич (я встретил его в коридоре...) сказал мне, что — вот, все в порядке, снег выпал — и значит, он, Сергей Сергеевич, вполне может произнести одну — тронув меня за плечо — небезызвестную мне реплику так, как она была написана... или нет?

— Ах, да, да, конечно... все в порядке, снег выпал...

И когда я снова шел, я помню, в театр — часа за два до начала спектакля, — он, снег, уже отсвечивал в сумерках синевою; и в густом, синем, гаснущем небе — сворачивая на маленькую площадь — фонари еще не зажглись — увидел я: внезапные, редкие, безмолвные звезды; и еще немного, в последний раз, постоял перед дверью; и там, за дверью, в театре, все это, конечно, исчезло; и почему-то, я помню, мне совсем не хотелось встречаться, к примеру, с Максом; уже на сцене хотел я его увидеть; и мы сидели, я помню, с Сергеем Сергеевичем в его, Сергея Сергеевича, пятиугольной (я, втайне — и даже втайне, может быть, от себя самого — прощался с ней...) комнате; и он, Сергей Сергеевич, был — или так мне казалось — спокоен; и говорили мы, удивительным образом, о чем-то — почти постороннем; и он рассказал мне, я помню, о своем — первом спектакле... когда-то, давным-давно... и потом вдруг заговорил со мной о моих... дальнейших планах — теперь, по всей вероятности, вы будете писать ваш... роман, — да, по всей вероятности — странно, сказал я, я почти не думал о нем: всю эту осень — да и зачем мне думать о нем, когда я сам: в нем, когда он разыгрывается у меня на глазах — уже завтра, наверное, через неделю, быть может, я вновь начну о нем думать...; и время от времени он, Сергей Сергеевич, выходил, я помню, из комнаты; возвращался; и говорил, что — да, все в порядке, все уже в сборе; и садился к столу, и закуривал сигарету, и быстрыми ударами указательного пальца стряхивал пепел в пепельницу; и когда он открывал дверь (входил, опять выходил...), я слышал там, за дверью: шаги, голоса — и как будто нарастание чего-то, сгущение тревоги; и оставаясь один (отсиживаясь: в пятиугольной комнате, укрывшись в ней и втайне с нею прощаясь...), подходил, конечно, к окну; и синева, в окне, обернулась уже темнотою; уже была ночь; горел, раскачивался под ветром фонарь; внезапные отблески его пробегали по новогодним сугробам; и в конце концов, за полчаса до начала, увидел я — каких-то людей, подходивших, молча, к театру; и в конце концов, в очередной раз возвратившись, Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер, сказал мне, что ему, Сергею Сергеевичу, уже пора идти, пожалуй, в гримерную: и мы вместе вышли, я помню, из комнаты.

— Я не знаю, что говорят в таких случаях...

Он пожал мне руку.

— Все будет в порядке.

Я мог, конечно, пройти в зал через ту — уже много раз упомянутую — в последний раз упоминаемую, может быть, дверь: возле сцены; я хотел войти в него — вместе со зрителями: и потому пошел, я помню, мимо гримерных, уборных, прощаясь с ними, по коридору, — мимо классов, комнаты с зеркалами, поручнем, — и спустился по той, другой лестнице, по которой очень редко ходил и под которой, в вестибюле или, если угодно, в сенях, была, как сказано, касса; и в гардеробе встретил, я помню, отнюдь не случайных — я пригласил их, разумеется, на премьеру — персонажей моей тогдашней, и теперешней, жизни; и в фойе, перед зеркалом — тоже мной приглашенного, поправлявшего галстук — Алексея Ивановича: увидев меня — в зеркале — улыбнулся он — тоже в зеркале — внезапной, конечно, улыбкой.

— Виденья осуществляются?

— Да, похоже на то...

— Я никогда не бывал здесь, — добавил он (как бы в скобках...). — Я вообще очень редко бываю в театре.

— Я знаю, — сказал я. — Вы вообще... самый... нетеатральный человек... из всех мне известных... Я очень волнуюсь... извините меня...

— Ничего, пожалуйста.

— Во всяком случае... спасибо, что вы пришли...

Первый звонок: завершение: прощание...

И были еще знакомые; Фридриховы знакомые, например; Максовы знакомые, наконец; его, Максовы, общие с Фридрихом, к примеру, знакомые; персонажи его случайной жизни, если угодно; но и отнюдь, разумеется, не случайные — он тоже и разумеется пригласил их — персонажи его, Максовой, жизни.

Не было Веры: я уже не встречался с нею в ту зиму; не было — и не могло быть, разумеется, Сони.

И в конце концов (второй звонок: прощание: завершение...) я вошел в зал: как зритель; и вместе, я помню, с какими-то — отстав от знакомых — с какими-то... нет, незнакомыми, и уже торопившимися, обогнавшими меня перед входом, — с какими-то, значит, — смешно и странно, не правда ли? — так думал я, может быть, — с какими-то, тоже, зрителями...

Смешно, странно... и разве (я шел по проходу...), разве все это, этот спектакль... вот сейчас, вот сейчас он начнется... и этот шум в зале, уже затихающий... шепот, шорох, шелест программок... и даже эти черные окна (я прощался с ними...), фанерные кресла

(прощался...), белые стены... разве не было все это — моим собственным... ах, конечно, конечно, моим собственным выходом — на сцену — на всеобщее обозрение?..

А между тем, я сидел — как зритель — в третьем ряду; я видел, наискось, во втором — Алексея Ивановича, твердый профиль его, уверенный и спокойный, воротничок рубашки, руку на подлокотнике кресла...; я подумал вдруг, что — вот, ему, Алексею Ивановичу, совершенно и вполне безразлично, видят его или нет; он стремится сам — видеть; он себя — не показывает... Я был рад, что он здесь; его присутствие как будто уравновешивало что-то во мне...

Сцена вспыхнула, свет в зале погас.

— Вот, следовательно...

И вот он вышел — из-за кулис; остановился; оглянулся; дошел до рампы; все; встал.

— Вот я стою здесь, стою перед вами...

А я сидел, как зритель, в третьем ряду; в темноте; укрывшись и спрятавшись... и я очень хорошо помню, теперь, как он вдруг попал в некий тон, и тот страх, почти ужас, который — само собой разумеется — охватил меня, когда я увидел его на сцене, исчез — и больше не возвращался...

— И конечно, впоследствии, здесь, у этого моря, сидя, к примеру, в его, Максовой, повисшей над землею мансарде, мы пытались вспомнить, во всех подробностях, — и он, Макс, во всех подробностях, рассказал мне — как это было...

Он вышел на сцену: он тут же остановился; он сделал один шаг: остановился; сделал второй: оглянулся; третий: опять оглянулся; он еще видел Сергея Сергеевича, стоявшего за кулисами: Сергей Сергеевич, из-за кулис, смотрел на него, Макса, почти — говорил он — с мольбою; и лишь увидев, после третьего шага, этот взгляд, почти умоляющий, он все-таки — замирая от страха — но все-таки — замирая от ужаса — дошел, наконец, до рампы.

Но стоять: перед рампой, было еще страшнее; и выдержать эту первую паузу было — почти невозможно.

Он вышел на сцену — но зал еще не затих; еще — он стоял перед рампой — еще слышался шорох, шепот, шуршание; он заложил руки за спину; и вот, понимая — нет, нет, он так не думал, он понимал это — понимая, еще и еще раз, что он должен выждать, дождаться, — добиться, — чтобы зал затих, наконец, он молчал, следовательно: молчал перед рампой, заложив руки за спину, глядя в зал и не видя — почти ничего...

Страшно? — Да, очень страшно.

И чем дольше молчал он, тем тише делалось в зале, и его собственное молчание — говорил он впоследствии — со всех сторон, как некая завеса, окружало и окутывало его; и в конце концов, когда сделалось совсем, совсем тихо — я помню это ощущение тишины, почти осязаемой, — он, Макс, разрывая завесу, вовремя, в самое время, но, я помню, каким-то неузнаваемым, не своим голосом — глухим и тут же пронзительным — начал, наконец, говорить.

— Вот я стою здесь, стою перед вами...

И это было, я помню, так, как будто тишина, сгустившаяся над залом, над сценой, вдруг дала трещину, и рухнула, и обвалилась...

— Я стою здесь, один... я смотрю в зал... я говорю...

— Все пропало, все кончено...

И лишь на второй, на третьей, может быть, фразе — я еще сам не знаю, что я скажу — он вдруг попал в некий тон: и вдруг нашел некий жест — для него самого, Макса, — для меня, сидевшего в зале, тем более неожиданный — вытянул руку, ладонью вверх, к залу — сжал ее в кулак — и тут же, но очень медленно, вывернув ее, пальцами вниз, разжал — опустил...; и вместе с этим тоном, жестом, нашел, конечно, и ту... да: волшебную, да: неподвижную точку, с которой уже сама собою, упала — во вновь образовавшуюся, сгустившуюся, собравшуюся вокруг него тишину — и следующая, четвертая, и следующая, пятая, фраза...; и когда он нашел их, этот жест, этот тон, эту точку, спектакль, сразу же, пошел полным ходом; страх исчез и больше не возвращался; и он, Макс, ни о чем, конечно, не думая, не успевая подумать, лишь с тихим и радостным удивлением отмечал про себя, что — вот, все получается, — сбывается, удается...

— Сегодня, один-единственный раз, я действительно к вам обращаюсь... вот сейчас, вот здесь, на сцене и наяву... вот на этой сцене, вот здесь...

И это был, действительно, он, Макс, на сцене... не кто-нибудь... это он, Макс, на сцене и наяву, обращался к безмолвной публике, к темному залу...

Это он бросал вызов... это он... наконец-то.

И он был так собран, говорил он впоследствии, как, может быть, еще никогда не бывал... и таким острым было это ощущение присутствия... вот сейчас, вот здесь, вот на сцене... каким, может быть, еще никогда, никогда не бывало...

— Я еще сам не знаю, что я скажу... Я стою здесь один... один на сцене... один перед залом...

И это был совсем, конечно, не он... это кто-то стоял там, на сцене.

И он понимал, разумеется, что один какой-нибудь неправильный жест, неверная интонация, и все сорвется, все рухнет... Но неправильных жестов не было... почти не было, может быть... и только изредка, совсем ненадолго теряя ее, вновь и тут же вновь находил он, в самом себе, эту единственную, эту неподвижную точку... и как будто вновь, тут же вновь поднимаясь над самим же собою, со все обострявшимся ощущением присутствия, исчезая, отсутствовал.

Он был совершенно свободен, короче, полтора часа, на сцене и наяву.

Я же сидел, как зритель, среди зрителей, укрывшись и спрятавшись...; и я сам не знаю, теперь, что еще сказать мне об этом спектакле, все-таки, все-таки состоявшемся.

Я помню смех в зале, когда, после краткой паузы, на сцене появился Сергей Сергеевич: принесший свои извинения...; я помню вновь смех, когда появилась на сцене Лиза: объявившая, что сейчас ее выход...

Я ждал иного выхода; я дождался его.

Все сбывалось; все было правильно.

Текст пьесы? Да, вот он...

Алексей Иванович... наискось от меня... повернулся ко мне; улыбнулся... кажется... в полумраке.

А ведь и в самом деле было некое сходство, необъяснимое, между ним и Перовым, на сцене, просто Перовым...

И у него, Перова, по-прежнему и на сцене, был, конечно, вид человека, вошедшего откуда-то с улицы...

— Но мы всегда здесь, внутри, где бы мы ни были...

— А там?..

— Никакого *там* вообще, может быть, нет... вообще, может быть, нет...

— И я никогда, наверное... никогда не выйду отсюда...

— Но если нет никакого *там*, то нет и никакого, наверное, *здесь*...

— То есть как — никакого?..

Это Лиза говорила, я помню.

— Ведь вот же... вот эта сцена... вот здесь... и вот зал, и колонны, и, с вашего позволения, зрители... И все это здесь, вот здесь... и мы сами, вот здесь... вот сейчас...

— И хотя мы здесь только играем... мы не могли бы играть, если бы нас здесь не было...

— Нам это только так кажется...

— Может быть...

— И значит, нет ни этого зала, ни этой сцены, ни этих, с вашего... вернее, с их позволения... зрителей...

— А все-таки мы стоим здесь — на сцене, они сидят — в зале...

— Конечно.

И я сидел в зале, конечно, как зритель, вместе со зрителями, и я не знаю, я не знаю по-прежнему, что сказать мне об этом, все-таки, но все-таки состоявшемся, еще раз, спектакле.

Я и пытался, я помню, увидеть его — как зритель, как если бы я ничего не знал ни о нем, ни о пьесе, не писал, не читал ее никогда. Я не мог, конечно, так увидеть его.

И он шел очень быстро, этот спектакль, быстрее, чем шли репетиции, и даже быстрее, или так мне казалось, чем шла та последняя, взятая мною в скобки, генеральная, или проверочная, как иногда называют ее, репетиция, уже никакими замечаниями, обсуждениями, конечно, не прерывавшаяся.

Были, как уже говорилось, побочные, по настоянию Сергея Сергеевича введенные мною мотивы; не в них было дело.

— Да, оставим все это, — говорил, на сцене, Сергей же Сергеевич, — заблуждения чувств, закулисные страсти... Чего, собственно, хотели вы, вашей пьесой, добиться?

— Сам не знаю, — отвечал, на сцене, Перов. — Все это увиделось мне однажды... в одну, очень зимнюю ночь... выход на сцену, уход с нее, может быть... Но в общем...

— Что же?

— Но в общем... речь идет о появлении какой-то иной... совсем иной точки зрения, которая... в заданных нами условиях...

— Вами.

— Простите?

— Вами — условиях...

— Хорошо — мною... которая, следовательно, в заданных... мною условиях, появиться, наверное, и не может... Она взрывает их, эти условия... Ведь мы всегда, всегда с кем-нибудь говорим, где бы мы ни были, что бы ни говорили... Мы выходим из одной роли — попадаем в другую, выходим из другой — попадаем в третью, и... и так далее, до бесконечности... И все всегда превращается, еще раз, в спектакль...

— В таком случае остается лишь замолчать.

— Превосходная мысль.

— Но долго молчать мы не сможем.

— Недолго. До первого смеха.

И взмахнув рукою, почти полный круг, на манер Фридриха, описав ею в воздухе, Сергей Сергеевич, уже много раз виденным мною жестом, вытянув руку и обратив ко всем прочим ладонь ее, с прижатыми друг к другу пальцами, как будто остановил действие, уже... да, уже приближавшееся, в общем, к концу; все замерло; Макс рядом с Лизой; Дима, Аня и Юля; Перов и Сергей же Сергеевич; с неподвижными лицами, в отчасти нелепых, давным-давно, конечно же, отработанных позах стояли они на сцене — нет, не до первого, очень скоро, из глубины зала, послышавшегося, я помню, смеха, но, как и предполагалось, до тех пор, покуда их самих не охватил этот смех. Юля, первой, засмеялась на сцене; затем Дима; затем уже — Макс.

— Вот так, вот так все кончается...

Мария Львовна появилась на сцене.

— Да, — сказала она, — вот так все кончается... И там уже нет никого, за кулисами, вообще никого... И пора уже, в самом деле, заканчивать... Она не появится... здесь, эта... иная точка зрения... никогда не появится...

— Нет, никогда не появится. Здесь все становится спектаклем... что бы мы здесь ни делали, что бы мы ни говорили. Но... по ту сторону всего, что мы говорим, всего, что мы делаем...

— Ничего, может быть, нет...

— Вот именно. Ничего, может быть, нет.

— А значит, нет ни этой сцены, ни этого зала...

— И все-таки мы стоим здесь, на сцене, они сидят в зале, зрители.

Это Лиза говорила, опять-таки.

— По-моему, вы повторяетесь...

Не к Лизе — к Перову.

— Конечно. Ведь уже все сказано.

— И значит... остается лишь замолчать.

— Мы уже молчали.

— Я знаю.

И это был уже почти конец спектакля, уже почти, я помню, финал. И... говорил мне впоследствии Макс... под конец и перед финалом он был уже совершенно, совершенно спокоен. Он не боялся даже сделать какой-нибудь... неправильный жест, например. Даже это уже не имело значения. Ничего уже не имело значения.

— Ну и... что же? — говорила Мария Львовна, обращаясь к нему. — Вы по-прежнему хотите... выйти отсюда?

— Я... я не знаю. Я произношу лишь некий текст, вами... (к Перову...) вами написанный. На самом деле...

— Никакого нет, может быть, самого дела...

— Вот именно. И потому все это... не имеет значения. И все, что мы говорим, и все, что мы делаем... все это, на самом деле, неважно.

— Никакого нет... самого дела.

— Нет... никакого. И я играл сначала одну роль, потом другую... и роль актера, выходящего из своей роли... и роль актера, выходящего из роли актера, выходящего из своей роли... И теперь...

— И теперь вы тоже, конечно, играете...

Сергей, конечно, Сергеевич.

— Какую-то... уже неважно какую роль. Но вместе с тем и по ту сторону всех этих ролей...

— Ничего, как сказано, нет...

— И значит... ничего не играю.

Пауза.

— Ничего?

— Вообще ничего.

— И это тоже лишь некий текст...

— Вами, вами написанный...

— Неважно, неважно...

— Как бы то ни было... (Мария Львовна, подходя снова к Максу...) как бы то ни было и что бы вы ни играли, вам придется все-таки выйти отсюда...

— Сойти со сцены, уйти из театра...

— И это тоже будет лишь частью спектакля... концом и финалом.

— Уйти отсюда вы, конечно, не можете...

— Наоборот.

— Простите?

— Уйти отсюда я, конечно, могу... хоть это и будет лишь... частью спектакля.

— Наоборот.

— Простите?

— Уйти отсюда вы можете... именно потому, что это будет лишь частью спектакля. Ведь ничего... иного здесь быть и не может.

— Пожалуй.

— Ну тогда... что же?.. (Мария Львовна...) разыграем этот финал... ничего не играя...

— Разыграем его, — сказал Макс.

И присев на край сцены, уже свесив ноги, но еще не становясь на пол, к Марии Львовне, опять-таки:

— Мы увидимся с вами... за кулисами... после спектакля.

— И даже раньше...

Сергей Сергеевич, в свою очередь подходя к ним.

— Вам придется ведь снова выйти на сцену... поклониться публике...

— В самом деле...

— Если, конечно, она захочет вас видеть... А теперь давайте, уходите, сходите. Но подумайте, все-таки, что вас ждет там, за этой дверью...

— Пустое фойе?..

— Вероятно...

И спрыгнув на пол, Макс, очень медленно, потом чуть быстрее, но все-таки медленно, и пару раз обернувшись, помахав рукой, на прощание, чуть-чуть, но, пожалуй, лишь чуть-чуть переигрывая, ничего не играя, Марии Львовне, всем остальным, пошел, действительно, по проходу, и хотя шел медленно, очень быстро дошел, конечно, до двери, и дверь, как будто сама собою (я уже не помню теперь, кто именно стоял там в тот вечер, с другой стороны и за дверью...) открылась, и еще немного помедлив, он вошел в нее, она закрылась за ним: — и пробежав, следовательно, через фойе, гардероб, взбежав по лестнице, пробежав мимо классов, комнаты с зеркалами, гримерных, сбежав по другой лестнице, вновь оказался он за кулисами, вновь (полторы, примерно, минуты занимал весь маршрут, весь пробег... мы замеряли время, на репетициях...) — вновь, следовательно, на сцене, где все остальные стояли сперва неподвижно, затем, перед самым его появлением, уже сбрасывая с себя свои роли, не роли, взялись за руки (против чего я, на репетициях, возражал... вполне безуспешно...) и впустив его в образовавшуюся цепочку, подошли, вместе с ним, к авансцене, поклонились, вновь поклонились...: — и после чуть-чуть неуверенных, как мне показалось, хлопков, растерянных рукоплесканий (Сергей Сергеевич подал мне знак рукою, предлагая мне, очевидным образом, подняться, тоже, на сцену; я сделал вид, что не заметил его...) все было кончено; и я вышел из зала, постаравшись ни с кем не встретиться, ни с Алексеем Ивановичем, ни с кем из знакомых; и потом мы еще долго сидели, конечно, в пятиугольной комнате, у Сергея Сергеевича, переживая и обсуждая случившееся; и он, Макс, выпив одну рюмку коньяку, выпил вторую; и я сам после второй выпил третью; и шампанское тоже было, конечно; и так

называемые закуски тоже, разумеется, были; и взаимные поздравления; и ощущение, в общем, успеха; и очень долго, до самой ночи, не отпускавшее меня, и его, я это видел, и нас всех, скажем так, еще радостное, под конец уже почти неприятное мне возбуждение.

47

Ну и что же? — А ничего (или так нам казалось...). Да, он был, он был, этот — единственный вечер...; и — что же? Он прошел, он закончился; и я вспоминаю теперь, как, уже ночью, после спектакля, банкета, вина, коньяка и шампанского, возбужденья, волненья, я возвратился домой, по заснеженным улицам; и лег спать; и не мог, конечно, заснуть; и заснул; и проснувшись, снова увидел в окне: сугробы, уже новогодние, солнце, блестевшее на снегу; и все было так же, то же: та же комната, тот же стол, тот же шкаф, тот же завтрак на кухне; и целый день я не знал, чем заняться; и после обеда вновь, я помню, заснул; и в конце концов позвонил, разумеется, Максу: он же (думаю я теперь...) — он же, Макс, как и я, смотрел, должно быть, в окно, на заметенные снегом деревья, скамейки; и тоже не знал, разумеется, что теперь делать.

Да, он пережил это... решительное столкновение. Он хотел этого — и он это пережил. Он выстоял; он мог быть доволен собою. Он сыграл свою роль; он поднялся над нею. И — что же: что же, думал он, дальше? Дальше (или так казалось ему...) — дальше не было ничего. Ничего? Вот именно: ничего. Ничего дальше не было; и он чувствовал только усталость; и хотел только спать; и все вчерашнее казалось совсем далеким — и тоже как будто небывшим.

И когда я позвонил ему, наконец, он сказал мне, что — да, все в порядке, все прошло, в общем, удачно... он тоже так думает... но что теперь, ах, теперь он чувствует только усталость, и чувствует себя каким-то (сказал он...) пустым, совершенно (сказал он...) пустым.

Так и должно быть, сказал я. Помимо всего прочего, или я ошибаюсь? мы оба переусердствовали вчера — с коньяком и шампанским... Надо выспаться — все будет иначе.

Да, наверное: так он ответил.

Но и на другой день — он выспался — все было так же; и хотя — он пошел в театр — в театре (на маленькой площади...) его вновь все поздравили — с первой удачей: как выразился Перов — и Мария Львовна, поздравив, поцеловала, и Лиза, разумеется, тоже,

и Сергей Сергеевич сказал ему, что... в общем, несмотря на отдельные промахи... он им доволен, даже очень доволен, и надеется, что в новом — с улыбкой — году он, то есть Макс, добьется еще больших, всяческих и всевозможных успехов, — и это было очень, конечно, приятно, — и он подумал, что — вот, наконец, он стал здесь, в театре — своим, почти своим, может быть: — он, Макс, вместе с тем и в то же самое время, чувствовал в себе прежнюю усталость и какое-то... ах, конечно, какое-то, уже знакомое ему, Максу, безнадежное, почти безмерное безразличие, — и стоя где-нибудь за кулисами вдруг, может быть, спросил себя — удивляясь в себе — зачем он здесь и что он здесь делает... после всего, что случилось... после того, как все уже — глядя на сцену — случилось...; и без всякого удовольствия посидев на занятиях (с Перовым ли, с Марией Львовной... неважно...), почти не участвуя в них, пошел, отсутствуя, побрел, исчезая, домой; и на улицах, в городе было то праздничное, скользящее беспокойство, которое всегда предшествует Новому году и которое, на сей раз, почти мучительно не соответствовало его собственному, уже, скорее, какому-то — послепраздничному (подумал он...) настроению: о чем он и сказал мне, я помню, через пару дней, в поезде, в так называемой электричке, по дороге... да: к Сергею Сергеевичу.

В самом деле, там, в том городе, покинутом мною (как, впрочем, везде и повсюду: как и в этой маленькой, например, за дюной притаившейся деревушке...) — там было, разумеется, принято — в ночь с тридцать первого декабря на первое января — поставив, к примеру, в комнате украшенную лентами, шарами и свечками елку — праздновать наступление Нового года; Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер, позвонил мне, я помню, двадцать девятого.

— Где, собственно, вы собираетесь встречать Новый год?

— Еще не знаю; наверное — дома.

— Дело вот в чем, — сказал он. — Мы все обычно встречаем Новый год у меня... нет, не в городе, на даче, конечно... Да, и Перов, и Мария Львовна, и Фридрих... буду рад, если вы тоже приедете.

— С удовольствием, — сказал я. — А... Макс?

— Я уже пригласил его. Приезжайте пораньше, засветло, часов в пять... можете и в четыре... Объяснить вам, как ехать?

— Спасибо, я знаю.

Я позвонил Максу; его не было дома. Вечером, я очень хорошо это помню, он сам позвонил мне. Поеду ли я к Сергею Сергеевичу?

— Да, а ты?

— Поеду... пожалуй.

— В таком случае, не поехать ли нам вдвоем?

Именно это он и хотел предложить мне. Это ведь что-то напоминает... нам обоим, не так ли? Впрочем... он, может быть, вообще никуда не поедет... Хотя, с другой стороны...

— Ты можешь думать до послезавтра, — сказал я.

Нет, нет, он поедет... да, он поедет. Встречаемся... на вокзале?

— Договорились. Часа в три?

— Нет, зачем так рано? В четыре.

— Хорошо, в четыре, — сказал я.

И на этот раз не я его, он ждал меня на вокзале. Но так же, совсем неподвижно — как будто вообще не способные к движению — стояли, у заметенных снегом перронов, поезда, электрички.

И так же, как в тот раз, я смотрел, я помню, на Макса, и он был, или так мне казалось, спокоен, и сам, в свою очередь, с каким-то, казалось мне, безразличным вниманием всматривался в предновогоднее оживление на вокзале, уже начинавшее понемногу стихать, но еще вполне ощутимое: прошла, я помню, довольно шумная и довольно большая — говоря запретным для меня языком — компания весьма молодых и не очень трезвых людей, как и мы отправлявшихся, по всей вероятности, за город; другая компания, возвратившаяся, по всей вероятности, в город; еловые веточки разбросаны были повсюду; разноцветные лампочки, еще не горевшие, висели над одним — и только одним, почему-то — перроном.

Было очень холодно; я дышал на замерзшие руки.

— Ты забыл перчатки? — мы вошли, наконец, в вагон.

— Да.

— Возьми мои.

— Пока не надо, спасибо. Если я совсем замерзну, я скажу тебе.

— Хорошо.

И снова надев их (перчатки...), он начал водить ладонью (костяшками пальцев...) по сплошь покрытому инеем, в морозных стрелах, стеклу: подобие полыньи образовалось в нем, — или нечто вроде прогалины: сказал я, — проталины, может быть: мы оба вдруг рассмеялись. И мы уже ехали; и так же, то сливаясь с наледью, то вновь появляясь в полыньях и проталинах стекол, проплывали за окнами: деревья, далекие крыши, рельсы, дорога, шлагбаум...; и вспыхивало на стеклах, уже клонясь к западу,

солнце, и пробегало вдруг по вагону, по сиденьям и спинкам сидений, ложилось на пол, вновь исчезало.

— Что это у тебя в сумке? — спросил он.

— Шампанское.

— Как, опять шампанское?

— Ну да... Новый год...

— Если хочешь, — сказал он вдруг, — Новый год у нас уже был... Да, Новый год у нас уже был... Уже было и это беспокойство... разве не так?.. и это смутное ожидание чего-то... не разрешающееся, конечно, ничем... усталостью, — он улыбнулся, — усталостью и пустотою наутро... Все это уже было... все это уже было...

Он смотрел, я помню, в полынью оттертого им стекла.

— А впрочем... а впрочем, все это... никакого значения не имеет...

— Вот как?

— Вообще никакого...

И больше мы ни о чем, я помню, не говорили; и сидя напротив Макса — поезд шел медленно, от станции к станции, мысль же ходит, как сказано, тайными, своими путями, — я думал, конечно, о той, первой нашей поездке, робкой и предварительной, — и, конечно, об августе, — и, вообще, о моей — глядя на Макса — истории: уже пора за нее приниматься: так думал я, может быть, — и тут же: нет, еще рано. Я уже знал, что мне делать с театром... с театром и пьесой... но еще не хватало чего-то... чего-то самого важного, может быть... Макс, по-прежнему глядя в окно, улыбался, как некогда, проплывавшим мимо деревьям.

— Ну вот... мы приехали.

И вот она опять, эта станция, заметенная снегом; и точно так же ушел и скрылся поезд за выступом леса, и звук его замер вдали, и мы остались, вдвоем, на платформе, в мгновенной, со всех сторон обступившей нас тишине; и были те же ступени той же лестницы; наледь: все та же; и та же, протоптанная кем-то тропинка; и тот же, один-единственный, белеющий в небе дымок...; но я смотрел на все это: походя, на ходу, ни о каком прошлом не думая, почти не думая, замирая от холода; и мне хотелось только: согреться, дойти поскорее; и мы шли очень быстро, я помню; и свернули, наконец, на ту, нашу улицу; и прошли тот дом, где жил некогда Макс; и тот, где сам я некогда жил; и вошли в лес — и в лесу (где темнота уже притаилась между сосен...) — в лесу было тихо: так тихо, как бывает, наверное, только зимою, в лесу; и неподвижно, безмолвно стояли вокруг деревья: с обведенными снегом, вплоть до мельчайшей веточки, ветками;

и снег, синея, скрипел под ногами; и ничто не предвещало, конечно, решительного, решающего поворота; и — легкий изгиб тропинки — и когда он, Макс, остановившись, достал сигареты и вытащив из пачки одну, но не закуривая, повертел ее в пальцах, посмотрел на меня, достал спички, тряхнул — сухой стук — коробком, и так вдруг просто, так отчетливо, вдруг, произнес:

— Я поворачиваю обратно, —

я, тоже остановившись, я ничего не понял: я тут же понял, разумеется, все. И в этой морозной, пронзительной, со всех сторон обступавшей нас тишине почти нежно прошуршала спичка о темную грань коробка, и легким пламенем вспыхнула в гаснущем воздухе...; и я смотрел ему вслед, ничего не понимая, все, тут же, поняв — с внезапным чувством, что: вот, вот оно, это мгновение, с которого я начну: вот оно: еще тянется, еще длится, не обрывается: прямо передо мною: удаляясь в густеющих сумерках.

А здесь ведь снова теперь весна: здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке.

Здесь снова теперь весна; и вновь, как некогда, тают последние, у самого берега, льдины, и чернеет, и оседает снег в тех тенистых местах, где пляж переходит в дюну, и там, в дюнах, уже проступил из-под снега и мох, и красновато-бурый, по-весеннему, вереск; и я вновь вспоминаю, конечно же, свой приезд сюда, два года назад, и как, в какое-то утро, решившись, написал я, на первой странице:

— Я поворачиваю обратно.

Ну вот — думаю я теперь — вот мы и добрались до него, вновь добрались до него, до этого мгновения, в сумерках, и оно казалось еще таким близким, два года назад, и теперь уже в такую даль от меня отступило.

— Я поворачиваю обратно (еще раз...); и я смотрел ему вслед, не в силах справиться с изумлением, и пошел за ним, и догнал его, наконец.

— Но послушай, послушай, они ведь ждут нас, — сказал я.

— Кто же? — ответил он.

И на этот ответ мне нечего было ответить, и мы шли молча, в сгущавшихся сумерках, проваливаясь в снег, в темноте.

— Пускай ждут, — сказал он. — Иди один, если хочешь...

— Ну нет, — сказал я, — один я туда не пойду...

И мы опять шли молча, вдвоем; обратно и в темноте; и когда вновь появился последний, замыкающий поселок забор, когда мы прошли вдоль него и вновь увидели

нашу, с уже загоревшимися фонарями, огромными сугробами, улицу, Макс, замедлив шаги, сказал вдруг: здесь?.. или здесь?..; и мы не пошли по ней, улице; мы пошли, еще раз, по той, с выступавшими, нет, не выступавшими из земли корнями тропинке, протоптанной кем-то в снегу, по которой шел я когда-то один, впервые его увидев, и которая, краем леса, выводила, вновь вывела нас, разумеется, к станции.

Все это уже давным-давно описано мною.

— Странно, не правда ли?

И он постучал, еще раз, в окошечко кассы, и рука невидимой кассирши протянула нам, еще раз, билеты.

— А знаешь, — сказал он. — Давай... давай выпьем твое шампанское...

— Здесь?

— А что? Подожди-ка...

Он пошел, снова, к кассе; он возвратился, я помню, неся в руке жестяную, синей, или зеленой? нет, синей, темно-синей эмалью покрытую кружку.

Я достал из сумки шампанское, вполне ледяное; я открыл его, закоченевшими и вполне закоченевшими пальцами открутив, я помню, намотанную вокруг пробки и горлышка проволоку; и налил его в кружку.

— С Новым годом, — сказал он.

Изнутри же эмаль была белой, и было, я помню, никогда не забуду, на самом дне, с краю, крошечное, черное пятнышко, чуть-чуть колебавшееся вместе с налитым в кружку шампанским, вполне, вполне ледяным.

— Ну что ж... с Новым годом.

И он сгреб с перил снег, и скрутил снежок, и вдруг улыбнувшись, бросил его, да, в ближайшее дерево.

И мы еще долго стояли вдвоем, на платформе; и заметая рельсы, злой ветер рвал в клочья, над нами, чуть-чуть, в самом деле, зеленоватой луною выхваченные из темноты облака; и вот, наконец, появился, из-за дальнего леса, своим длинным ярким лучом осветил, в последний раз, станцию, подъехал и зашипев, замер поезд; и в наполовину оттаявшем, на сей раз, окне была уже ночь, и далекие огни, и внезапные станции, и отражения наших лиц; и если он что-то сказал — мне, я — ему, то я уже не помню, и не помню по-прежнему, что; случайное что-то; и на вокзале, в городе простились мы с ним так же быстро, как — тогда, после первой поездки.

У Сергея Сергеевича не было телефона на даче; я, следовательно, не мог ему позвонить.

Я встретил Новый год с весьма, конечно же, удивленными моим появлением, неслучайным, еще и еще раз, персонажами моей тогдашней, теперешней жизни; и довольно рано, я помню, в час, в полвторого, лег спать; проснувшись, услышал звонок; Макс стоял на пороге.

— Не выпить ли нам кофе? — сказал он (сняв пальто, стряхнув снег...).

— Отличная мысль, — сказал я. — Шампанское мы уже пили...

Он засмеялся; он вошел в мою комнату.

А между тем, лицо его показалось мне изменившимся за ночь, отчетливо-собранным, определенно-решительным.

— Я должен поговорить с тобою, — сказал он.

— Так я и думал.

Я сварил кофе; мы сидели, как обычно, за круглым, посередине комнаты стоявшим столом; зимний, утренний, морозный и снежный свет, падавший из окна, наискось пересекал его руку, лежавшую на столе, чашку, с как будто мерцающим, мутно-дымчатым, у поверхности, кофе, стеклянную сахарницу с загоревшимися краями.

Он попросил еще одну чашку; он почти не спал, сказал он.

Я снова сходил на кухню; я возвратился.

Я смотрел на него; я ждал, что он скажет.

— Я отказываюсь... я не иду дальше, — сказал он. — И ни в каких, конечно, спектаклях играть я больше не буду. Почему? То есть как — почему? Ты же сам написал в своей пьесе: один-единственный раз... Один-единственный раз... и довольно. Иначе... иначе все лишается смысла.

Он был прав, опять-таки; я согласился с ним.

— Но понимаешь ли ты, в какое положение ты ставишь — меня?

— В неловкое, в очень неловкое положенье, — сказал он. — Но... что же делать? Больше того: я... я хочу попросить тебя снова поговорить... с Сергеем Сергеевичем.

— Ну уж нет. На этот раз нет.

— Пожалуйста, я очень тебя прошу.

— Нет. С какой стати? Это твое решение, ты и...

— Да, конечно, конечно... конечно. Но видишь ли, твой разговор с ним я могу представить себе, мой не могу.

— И как же ты представляешь себе мой с ним разговор?

— Ну, скажи ему, что... так, мол, и так... Макс вот повернул вдруг обратно... и на другой день пришел ко мне, рано утром... и что я могу поделать?.. все это, для меня самого, полнейшая... полнейшая неожиданность... И... мы приносим свои извинения... и так далее... и так далее...

— Ах, Макс, Макс... Ну ладно.

— Уф, — сказал он, откидываясь на стуле. — А теперь, — вновь склоняясь к столу, — а теперь давай, наконец, объяснимся.

— Как, разве мы еще не объяснились?..

— Нет, — он взял в руки чашку, с остатками кофе, он повертел ее, я помню, в руке. — Нет, еще нет.

— Ну что же, я слушаю.

— Ну так вот, скажи мне, собираешься ли ты еще писать тот... роман, о котором ты мне рассказывал... здесь, прошлой зимою?..

— Более чем когда-нибудь. Я даже знаю теперь, с чего я начну.

— С чего же?

— Неважно...

— Но, значит, собираешься?

— Да.

— И в этом романе будет... театр?

— На маленькой площади...

— И пьеса, тобою написанная?

— Конечно.

— И спектакль?

— Без всяких сомнений.

— И главную роль играть в нем будет?..

— Герой... моего романа, — сказал я.

— По имени?..

— Макс.

— И живущий в моем доме?..

— Неописуемом.

— И с которым ты встретился в августе?..

— В начале всего.

— Ну так вот, я не разрешаю тебе.

— Но... Макс..., — сказал я. — При том огромном различии, которое существует между жизнью и...

— Все равно. Я не разрешаю тебе. Это моя жизнь, при всех различиях. И я буду сам разбираться с ней... или не буду... но сам. И я не хочу, чтобы она была средством... для чего-то иного.

— Но... Макс..., — снова сказал я. — Подумай, ведь если бы не мои... дальние замыслы, не было бы и спектакля.

— Я знаю. И я... да, я, в общем, благодарен тебе за то, что он был... один-единственный раз. Но теперь хватит... довольно. И хватит опытов над моей жизнью...

— Их больше и не будет, — сказал я. — Теперь все кончено. Теперь жизнь пойдет своим ходом, а...

— Все равно, все равно. Я не для того живу, чтобы ты потом что-то писал. Я не разрешаю тебе.

— Но... Макс..., — снова... и снова сказал я. — В конце концов, я могу ведь обойтись и без твоего разрешения.

— В таком случае, считай, что мы в ссоре.

— Это несерьезный разговор, — сказал я.

— Ну и пусть, — ответил он: вновь рассмеявшись.

И — и допив, наконец, свой кофе, поставив чашку на блюдце, он, Макс (герой моего романа: вновь, следовательно, простившись со мною, поступающий, все-таки, в мое распоряженье и веденье..) — Макс, простившись со мною, надев пальто и спустившись по лестнице, еще мгновение постоял, может быть, в обманчивой темноте подъезда, закурил сигарету и распахнув, наконец, дверь, увидел уже совсем разошедшееся, ясное, морозное утро, скамейку, заметенную снегом, свои следы на снегу, наискось пересекавшие двор. Он вновь пересек его, стараясь — зачем-то — он сам не знал, конечно, зачем — он и не думал, должно быть, о том, что он делает, — (я же наблюдал за ним из окна...) — стараясь, зачем-то, наступать на эти следы, ступать по этим следам, зачеркивая их, в обратную сторону...; прошел под аркой (скрылся из виду...); пересек переулок; прошел мимо трех, еще раз, с одной, трех, с другой стороны, бледно-зеленой краской выкрашенных домов (фронтоны, кариатиды...); мимо красной, кирпичной (обведенной снегом...) стены; свернул направо, налево...; он сам не знал, разумеется, он и не думал, должно быть, о том, куда, зачем он идет; домой, во всяком случае, возвращаться ему не хотелось. Он шел, все дальше и дальше, по еще тихим, пустынным — а впрочем, уже просыпавшимся, наполнявшимся: голосами и звуками, но все-таки тихим,

пустынным, послепраздничным, с трудом просыпавшимся улицам, переулкам, по еще чистому — а впрочем, уже тронутому, там и здесь, первыми, робкими следами прохожих, лопатами дворников, снегу, — шел, ни о чем не думая, — не зная куда, — вновь, после всех волнений, решений, бессонной ночи и объясненья со мною, охваченный и как будто захлестнутый уже, в общем, не покидавшим его ощущением — пустоты, теперь, когда все было кончено, когда даже Новый год прошел, завершился, еще более острым, наверное, во всяком случае, не менее острым, чем даже в то утро, после спектакля..., — шел, следовательно, все дальше и дальше: и вот, завернув за угол (где — он знал это — останавливался трамвай...), увидел, на другой стороне перед ним, Максом, открывшейся улицы, уже где-то, когда-то — где же? когда же? — им виденного, маленького, в темном зимнем пальто и в шапке с опущенными наушниками, уверенно и вместе с тем осторожно — как если бы он обдумывал каждый свой шаг — по снегу ступавшего человека, подходившего, как и Макс, к остановке трамвая. И трамвай уже показался; трамвай, с обледеневшими, покрытыми инеем стеклами, подлетел, подъехал и затормозил, загремев; — и тряхнув своими наушниками, перебежав через улицу, Алексей... да... Иванович (конечно, конечно...) — вскочил на подножку и скрылся за обледеневшими стеклами; Макс, узнав его, но по-прежнему не думая, должно быть, о том, что он делает, бросился вслед за ним и тоже оказался в трамвае, внутри.

Там, внутри, был снежный, морозный, светящийся сумрак; сквозь белую наледь на стеклах пробивалось, мгновенными вспышками, солнце; трамвай, по невидимым улицам, шел — неизвестно куда; грохотал, замкнувшись в себе.

— Здравствуйте, Алексей Иванович. Вы не узнаете меня?

Тот (Алексей Иванович...) смотрел на Макса своими спокойно-удивленными, как обычно, глазами — как будто (подумал Макс...) удивляясь, но не удивляясь своему удивлению, принимая его как должное, глядя на Макса, — и вдруг (с внезапной улыбкой...) пересел к (ледяному, светящемуся на солнце...) окну.

— Конечно, — (Макс сел с ним рядом...). — Вы — Макс... да, конечно. Вы выглядели совсем иначе тогда.

— Это было так давно, — сказал Макс.

— Давно? По-моему, недавно... неделю назад.

— Неделю? — сказал Макс. — Где же вы меня видели... неделю назад?

— Как?.. В театре, на сцене.

— Не может быть, — сказал Макс. — Вы были, значит, на премьере?

— Конечно.

— Я не знал этого. Вас пригласил, следовательно...

(Я, живущий теперь здесь, поворачивая обратно, пригласил, как сказано, на премьеру Алексея Ивановича...)

— Вполне, — сказал Алексей Иванович, — вполне удивительный был спектакль...

— Вот именно: был.

— Простите?

— Больше спектаклей не будет. Во всяком случае... с моим участием, — сказал Макс.

— И что же... будет? — спросил Алексей Иванович.

— Вы говорите о театре?

— Если угодно.

— Кто-нибудь... кто-нибудь другой будет играть эту роль. Я не знаю. Мне все равно.

— А если... не о театре?

Трамвай вдруг остановился; двери открылись. Кто-то вошел, кто-то вышел; яркий, солнечный, морозом и снегом пахнущий свет хлынул, на мгновение, через открытые двери.

Что? Да, да, он встречал Новый год... у знакомых, и ночевал у них, и едет теперь домой, и... посмотрев на Макса, с внезапной своею улыбкой:

— А я ведь помню, — сказал Алексей Иванович, — я очень хорошо помню тот разговор, на бульваре... два года назад.

— Я его тоже помню... конечно, и я хотел бы продолжить его, — сказал Макс.

— Что может быть проще? Позвоните мне, заходите.

И опять, по невидимым улицам, неизвестно куда, замкнувшись в себе.

— С тех пор прошло так много времени, — сказал Макс. — Все изменилось.

— Все?

— Очень многое.

— Но вы по-прежнему полагаете...?

Они... да, они и ехали теперь по бульвару... нет, не по тому, второму (трамваи по тому не ходили...) — по какому-нибудь четвертому, пятому...; и в неожиданной полынье, внезапной проталине — через проход, через один ряд от них оттертого кем-то, уже вышедшим кем-то, стекла, появлялись вдруг, и вновь появлялись деревья, и одна, очень длинная, обведенная снегом ветка, появившись, приблизившись и теряя свой снег, стегнула вдруг, с резким шорохом, по стеклу, согнулась, вновь стегнула, исчезла...

— Очень, очень многое изменилось с тех пор...

— Я схожу здесь, — сказал Алексей Иванович.

Макс же, простившись с ним, еще очень и очень долго, как уже давным-давно было сказано, бродил по городу, по заснеженным, послепраздничным, так, в общем, и не проснувшимся улицам, переулкам; и вышел на еще, и еще один, быть может, бульвар; и пообедал, может быть, в каком-нибудь кафе, возле метро; и прошел, может быть, где-то совсем, совсем рядом с маленькой площадью; и только под вечер, как давным-давно было сказано, возвратился домой; закрыл дверь; и после всех волнений, решений, объяснений, встреч и блужданий, с чувством и вздохом внезапного, восхитительного облегчения, успокоения, заснул; исчез; в пустоте.

48

И я — опять-таки, все-таки — поговорил с Сергеем Сергеевичем; разговор, о котором мне совсем не хочется теперь вспоминать.

Как бы то ни было, я поговорил с ним (в его, Сергея Сергеевича, пятиугольной, в последний раз, комнате...); я сказал ему, что... так, мол, и так... что Макс повернул вдруг обратно, когда мы шли к нему через лес... и потом пришел ко мне, рано утром... и что все это, для меня самого, полнейшая, да, неожиданность...; я опускаю его ответы, вполне, впрочем, сдержанные.

— Ну так что же — Фридрих?

— Похоже на то.

И было еще несколько репетиций — теперь уже с Фридрихом; и в конце одной из них (первой...) Мария Львовна, я помню, очень и очень долго расспрашивала меня о Максе, и о том, что же все это значит; и Перов, я помню, высказал мне свое недоумение; и свое разочарование Лиза; и затем начались уже спектакли, на которые я сначала ходил, потом перестал ходить, — с Фридрихом, с Фридрихом, разумеется, совсем неплохо, в общем, справлявшимся со своей ролью...; все это уже почти не интересовало меня; и к моей истории уже почти никакого отношения не имело; тем более теперь не имеет.

Жизнь, следовательно, вновь пошла своим ходом; отрицание и утверждение уже не совпадали больше друг с другом.

И был уже январь, февраль, март...; и я уже заканчивал, в общем, свою, так называемую, учебу (и втайне забавлялся, я помню, вводя некие, пускай отдаленно, но все-таки связанные с моей историей — если это история — побочные и добавочные

мотивы в то финальное сочинение, которым так называемая учеба имеет обыкновенье заканчиваться...); и со все возраставшим нетерпением ждал, конечно — свободы; и втайне сомневался, конечно, будет ли она таковой.

— Да, конечно, конечно, — говорил мне Алексей, я помню, Иванович (с которым виделся я по-прежнему и который рассказал мне — с внезапной улыбкой — о своем, как он выразился, возобновленном знакомстве с Максом...). — Вполне свободой она, конечно, не будет. Но если вы не пойдете — служить... а вы ведь не пойдете служить?..

— Нет, не пойду.

— Ну вот... Тогда вам придется лишь как-то зарабатывать... деньги. Что, — сказал он, я помню, — представляет собою простейшую, а потому и наиболее приемлемую форму зависимости...

— Вопрос лишь в том, как зарабатывать их...

— А... что-нибудь вы придумаете.

И я уже думал, я помню, о заработках — каких же? — и тут же, конечно, о том, что — вот, решение... важнейшей задачи откладывается, таким образом, еще на какой-то — какой же, какой же? — срок. А ведь все уже было, в общем, понятно; и я знал уже, как сказано, что мне делать с театром; и даже знал теперь, с чего я начну; и... и все-таки еще, еще чего-то мне не хватало; я сам не мог бы сказать чего; но все-таки еще чего-то... да, тоже: решающего.

С Максом же, пускай не совсем всерьез, но все-таки предложившим мне считать, что мы в ссоре, мы не встречались; мы лишь говорили по телефону несколько раз... в марте, кажется, в апреле и в мае.

49

Ну и — что же? Нет, ничего: — ничего как будто и не было теперь в его жизни. Он снова и по-прежнему посещал свое учебное, вновь скажем так, заведенье; он возвращался, как прежде, домой; что-то, конечно, читал; не думал — почти ни о чем.

Это было, в общем, отчаянье (отказ от чаяний, крушенье надежд...): то же самое отчаянье, может быть, которое испытал он когда-то, на какой-то поляне... ему было почти все равно когда, на какой: то же самое, может быть, которое отзывалось в нем и летом, и осенью, и которое теперь, наконец, заполнило его — почти без остатка.

Он снова встретился с кем-то из своих случайных знакомых позапрошлой зимы; он побывал пару раз на каких-то, как некогда, *вечеринках*: ему было скучно — и только.

Он встретился — и снова встретился с Алексеем Ивановичем; они не только не возвратились к тому, давнему, разговору, но сидя, к примеру, в его, Алексея Ивановича, как будто настежь распахнутой комнате — говоря с ним о вещах, вполне посторонних, о его (Алексея Ивановича...) естественно-научных, к примеру, занятиях, экспериментах и опытах — он понял вдруг, что он и не хочет к нему возвращаться, что ему уже все равно, все безразлично...; Алексей же Иванович (так думаю я теперь...) смотрел, должно быть, на Макса своими удивленно-спокойными, отрешенно-пристальными глазами — как будто предлагая ему *начать первым*... если он хочет.

Макс, как выяснилось, не хотел.

Да, отчаяние, безразличие: и к себе самому, и к своей собственной жизни — и ко всему остальному. Оно не пугало, но и не радовало его; оно сделалось, почти сразу: привычным; оно было: тягучим, томительным, сонным, дремотным.

— Но ведь это не может быть — навсегда?

— И значит, придется когда-нибудь... все равно, все равно.

Ни о чем не хотелось думать; хотелось: заснуть, спать. И он, действительно, спал: ночью; спал как будто и днем: на ходу; проспал, не заметив их, январь, февраль, март; и только в апреле — тем более: в мае — понемногу и как бы исподволь начал, может быть, просыпаться; вдруг — в какое-то утро — открыл глаза, увидел комнату, — стол, кресло, — чашку, забытую на столе, — книгу, которую он читал накануне, обложкой кверху лежавшую возле кровати; с внезапным удивлением посмотрел на все это; опять заснул — и снова проснулся.

— И вот я лежу здесь, и... что же?..

Нет, ни о чем не хотелось думать; ничего не хотелось; а между тем медленно, медленно, исподволь пробуждалось в нем что-то; какая-то, как будто светящаяся, но совсем крошечная, едва различимая точка появлялась, вспыхивала в темноте, — в пустоте, — со всех сторон, изнутри и снаружи, его окружавшей...; вспыхивала, вспыхивала — и гасла; вспыхивала — и вновь исчезала, погаснув, в той темноте, пустоте, из которой она и возникла; вспыхивала — и вспыхнув, освещала на мгновение темноту, пустоту, из которой возникла она, в которую вновь возвращалась. И чем дальше шло время, с тем большим, но по-прежнему безразличным, как будто отрешенным от себя же вниманием следил он за ее появлением, пробужденьем чего-то; и с тем большей, но по-прежнему отрешенной, к себе самой как будто безразличною

радостью — с чувством и вздохом внезапного, всякий раз, облегчения, успокоения — возвращался он в эту огромную, все шире и шире — чем чаще он из нее выходил и чем чаще в нее возвращался, тем шире, тем яснее в нем раскрывавшуюся, — прохладную — как весенний какой-нибудь воздух — прозрачную, удивительным образом, темноту, пустоту; закрывал глаза; вытягивался под одеялом; засыпал; исчезал.

— И чего я хотел, к чему я стремился?.. Лежать так, все забыть...

Подолгу и очень подолгу, в иные дни, от неописуемого, к примеру, свободные, лежал он так, все забывая...; и затем вдруг вставал; одевался; и выпив кофе, шел, предположим, к реке — как когда-то: год назад, три года назад.

И все опять повторялось, конечно, на этих, тоже, прогулках; и деревья, с уже намечавшимися, может быть, листьями, и еще совсем редкая, робкая тень их на мокром асфальте, и тихий, быстрый, вдруг отчетливо-острый запах земли, зелени, влаги, и блики, и отблески солнца, пробегавшие по воде: все это, в своем безмятежном безмолвии, вновь, как некогда, что-то, по крайней мере, сулило ему, звало и манило; и он, Макс — пусть нехотя и как бы уже по привычке — но все-таки откликался на этот зов, этот оклик; и значит, вновь, как некогда, заставлял себя: видеть, смотреть; и принуждал себя, по привычке, к усилию; и ловил свою мысль, собирал свои мысли; они же вновь, разумеется, от него ускользали; и обращенные к кому-то другому, кружились, путались, ему уже неподвластные.

Все было так же: все повторялось. А между тем, он, Макс, — он знал все это уже наизусть; он смотрел на все это — откуда-то, со стороны: из того безразличия, может быть, которое уже не покидало его.

Он знал все это — наизусть; все это было ему — уже почти, пожалуй, неинтересно.

И значит... и значит, вновь, как некогда... когда это, где это было?.. отошел он — на полшага в сторону: от своей собственной жизни; и — и вновь, как некогда, некий — на сей раз влажный, весенний — ветер пробивался, может быть, сквозь этот зазор, эту щель.

И вдруг останавливаясь, глядя на воду, вспоминал он, может быть, море, сосны и облака...; и вновь забывая их, все забывая, шел дальше, все дальше, по набережной.

— Да, вот... вот я иду здесь... И вот деревья, и почти уже листья, и тень, и блики, и отблески... И вот она... да, вот она, эта... как я думал когда-то?.. эта единственная, эта неподвижная точка — во мне, с которой, только с которой, я могу их увидеть... и вижу. Да, вот она, эта точка... Она есть — ее не было... она вспыхивает — она гаснет... Вспыхивает — и гаснет... вспыхивает — и гаснет...

— Ну и пусть... ну и пусть...

И чем дальше шло время, с тем большим, как сказано, но по-прежнему и по-прежнему безразличным вниманием следил он за ее появлением, пробуждением...; и с тем большей радостью, исчезая, возвращался, вместе с ней, в пустоту, в темноту, все шире и шире, в нем самом, раскрывавшуюся.

И все исчезало в ней; все стихало вокруг; и вновь останавливаясь, закрывая глаза, как будто проваливался он: куда-то...; и — и опять открывая их, видел, всякий раз неожиданно, мост, уже появившийся, быки и сваи его вдалеке, блики, отблески, деревья на том берегу, и какой-нибудь, к примеру, прогулочный, белый, маленький катер, выплывавший из-под моста, медленно-медленно приближавшийся, проплывавший, и волну, расходившуюся за ним, с тихим, но вполне отчетливым звуком ударявшуюся о гранит.

— И чего я хотел, к чему я стремился?.. Все правильно, все так и должно быть...

А там, в конце набережной, — там стояла — и до сих пор стоит, быть может? — одна — в конце набережной одна-единственная скамейка; почти всякий раз садился он на нее; исчезал в пустоте; видел реку; вспоминал, может быть, что-нибудь... далекое, очень далекое, уже отступившее. Море? — море, конечно... и, конечно, спектакль... и какую-то, и еще какую-то осень... бульвар и аллею... и прошлую зиму, беду... и то мгновение на той, какой-то, поляне...

— Все правильно, все так и должно быть... Помириться с самим же собою... смириться, — так думал он, может быть.

Помириться? — Он уже помирился с собою. Смириться? — Отчаяние и было смирением.

— И чего же я в самом деле хотел?.. Чего-то иного и какого-то выхода?.. А никакого выхода нет. Нет — и не надо... нет — и не надо...

— Отсутствие выхода и есть, может быть... выход.

И он опять, и опять закрывал, конечно, глаза; и все забывая, вновь, и вновь проваливался в эту безмерную, неизмеримую, прозрачную, прохладную темноту, пустоту, тишину...; и со все обострявшимся, чем дальше шло время, чувством — пробуждения, пробужденности, выходя из нее, видел, как будто впервые, реку, мост, быки и сваи его, отражавшиеся в воде.

Как будто впервые? — Да, как будто впервые... и как если бы он не только не видел, ни разу, этих быков, этих свай, но вообще ничего, никогда.

— И значит..., — подумал он как-то. — Нет, ничего не значит, — так он подумал.

— Это ничего не значит... и ничего, ничего отсюда не следует. Отбросим следствия... обратимся к тому, что есть.

Был, предположим, какой-нибудь, в середине мая, к примеру, уже почти теплый, может быть, день, с легкими, вдруг, порывами мягкого ветра, облаками, как будто омытыми — вчерашним? — да, вчерашним дождем, мелкими лужами в углубленьях асфальта, просыхающими на солнце, острым и совсем острым запахом зелени, влаги.

Он встал со скамейки; он подошел к парапету.

— И я был прав... я был прав... тогда, — думал он. — Есть только это... этот мост, эти сваи, это солнце, бегущее по реке... Есть только это, ничего больше нет. Выводы... выводы были неправильны.

— И потому оставим их, — думал он, — отбросим, — думал он, — следствия... И, — с внезапным, может быть, для него самого неожиданным, быть может, волнением, — и совершенно неважно, смогу ли я увидеть все это через день, через два, через три... Есть только то, что есть... вот сейчас... эти отблески, эти сваи... и эта безмерная, неизмеримая пустота, тишина... из нее же все исходит, в нее же все возвращается...

Так думал он, может быть; и вновь подняв голову, увидел — да: как будто впервые — непонятно откуда — из тишины, пустоты — появившийся на мосту — тот же самый, конечно, и год, и три года назад им виденный — но: как будто впервые, как будто впервые — поезд, товарный... и вагоны, каждый в отдельности... и отражения их, проплывавшие по воде...; и совершенно ясно, из-за стука колес, послышался вдруг щебет какой-то, где-то рядом, невидимой птицы... и чей-то голос, далекий и быстрый... и шум ветра в уже почти летних деревьях.

— И это только сейчас... вот сейчас... непонятно откуда.

Все стихло; поезд исчез. Он же, Макс, еще долго и очень долго стоял, наверное, так, в конце набережной; и закурил, может быть, сигарету; и вновь подумал, наверное, что выводы, выводы были неправильны, что есть только то, что есть... вот сейчас, и что поэтому совершенно неважно, что будет, и будет ли что-нибудь, через день, через два...; и чем дальше шло время, опять-таки, тем сильнее увлекали его — увлекали? — нет, занимали его, скажем так, эти мысли, отчасти, но лишь отчасти, может быть, новые и как будто приближавшиеся, втайне, к чему-то... он еще и сам не знал, конечно, к чему. Вновь и вновь возвращался он к ним, у реки, не только у реки, разумеется; закрывал глаза, исчезал в пустоте.

И ему хотелось вдруг поговорить обо всем этом — с кем-нибудь; но — встречаясь, к примеру, с Алексеем Ивановичем, сидя, к примеру, в его, Алексея Ивановича, во двор и

настежь распахнутой комнате, — он, Макс, как будто боясь, в самом себе, что-то — спугнуть, что-то — нарушить, ни о чем подобном, все-таки, не заговаривал; к тому, давнему разговору не возвращался; и значит, по-прежнему говорил с Алексеем Ивановичем, о его, Алексея Ивановича, естественно-научных занятиях, экспериментах и опытах, о каких-нибудь, мир названий разбился, ему, Максу, отчасти уже знакомых, отчасти незнакомых, может быть, книгах.

А между тем, он видел, конечно, и не мог, конечно, не видеть этих удивленно-спокойных глаз, этой внезапной улыбки...; он тоже, конечно, угадывал за всем этим что-то, так думал он, в свою очередь, непрерывное, почти непрерывное, движение некоей мысли, последовательность усилий, ежедневно возобновляемых. И он лишь удивлялся, может быть, про себя, что все это видит он... или, если угодно, что все это показано ему, Максу... теперь, когда все это ему уже безразлично, почти безразлично.

— Нет, думал он, нет, не о том идет речь... и не о том, чтобы что-то продлить, удержать, воссоздать... все это не имеет значения... Есть только вон те деревья за окнами... первые листья... вон то облако, гаснущее над крышей...

Алексей же Иванович смотрел на него по-прежнему своими удивленно-спокойными, отрешенно-внимательными глазами, как будто... или так вдруг казалось ему, т. е. Максу... как будто, в свою очередь, угадывая его мысли и даже втайне... да, втайне соглашаясь с ними, быть может.

50

— Что, собственно, вы собираетесь делать летом?

— Я не знаю. Я поехал бы куда-нибудь... к морю.

И рассказав Алексею Ивановичу о своих путешествиях, вместе с Фридрихом, два года назад, и о том, как они жили, вдвоем, как он, Макс, один жил — здесь, почти здесь:

— Вот туда-то, — сказал он, — я бы, наверное, и поехал. Хотя...

— Что же?

— Это слишком... курортное место.

— Тогда поезжайте дальше, — сказал Алексей Иванович. — Просто дальше, вдоль берега.

И — рассказав, в свою очередь, Максу об этой... об этой, конечно же, за дюной притаившейся деревушке, где я живу теперь, и уже так долго, один:

— Я бывал там когда-то, — сказал Алексей Иванович. — Лет пять... или шесть лет назад. Если хотите, я дам вам адрес... название дома... Там все дома имеют названия...

— Неужели? — сказал Макс.

— Я могу и написать его хозяевам... если хотите.

— Хочу, — сказал Макс.

— А кстати, я буду в Риге... в конце июня... на, — с внезапной своею улыбкою, — на... конференции.

— Естественно-научной?

— Вот именно. И мы можем там... где-нибудь... увидеться с вами.

Они договорились о встрече: нет, нет, сказал Алексей Иванович, до Макса ему не доехать; это слишком далеко; они могли бы встретиться где-нибудь... на полдороге, к примеру... в ему, Максу, уже знакомых, курортных местах.

— Тридцатого июня... к примеру.

В конце мая Макс позвонил мне: сам позвонил мне: впервые после спектакля.

— Я уезжаю, — сказал он.

— Куда же?

— А вот куда, — сказал он.

— Я уже слышал об этой деревне, — сказал я. — Я почти доехал до нее... год назад.

— Да, я помню. Ты рассказывал мне.

— Как давно это было, — сказал я.

— Что именно?

— Тот день, когда мы попали под дождь, под мост, — сказал я.

— Очень, очень давно.

— А знаешь, — сказал я. — Я бы тоже поехал куда-нибудь... к морю. Может быть... может быть, я приеду к тебе туда.

— Ну... я не знаю, — сказал он. — А впрочем... я осмотрюсь там и напишу тебе. Или позвоню... если оттуда можно звонить.

— Отличная мысль, — сказал я.

51

Он приехал в начале июня.

(Бессонная ночь; станции; полустанки; огни; шлагбаум; станции; бессонная ночь...)

И так же, как два года назад (да, Фридрих... что он, где он теперь?..) — так же, следовательно, как два года назад, сойдя с поезда, пересел он в так называемую электричку (было совсем раннее утро; пустой вагон; туман в окне; деревья в тумане...) — проехал, едва заметив ее, ни о чем не думая, в растерянности и полудремоте, ту самую станцию, где они сошли некогда с Фридрихом, — заснул: на мгновение, — и лишь доехав, вдруг, до последней, конечной станции (где он никогда не бывал и где он должен был сесть в автобус...), вдруг как будто проснулся.

— Скажите, а где здесь — ?..

— Стоянка автобусов? Да вот же она перед вами...

Я знаю все это, теперь, наизусть: и эту стоянку, и три сосны перед нею (две рядом; одна — конечно — поодаль...), и скамейки, и клумбу, — и расписание этих автобусов я тоже знаю теперь наизусть (семь сорок пять; девять тридцать...); он же, Макс, читал его с тайным волнением, не понимая, должно быть, куда ему ехать, что делать, — и втайне удивленный, наверное, таинственным, в самом деле, — таинственным и странным звучанием каких-то, ничего ему не говоривших названий — каких-то городов, каких-то, быть может, поселков (Колка, Мерсрагс... что это значит?..).

И в конце концов он постучал, разумеется, в окошечко кассы, и невидимая — конечно — кассирша протянула ему билет и дала необходимые разъяснения.

Он выпил кофе на станции; он дождался автобуса.

Автобус же, поплутав минут десять по улицам, замерев у шлагбаума, задержавшись на перекрестке, выехал, вдруг, на шоссе — и все, вдруг, изменилось. Это было совсем непохоже на те места, те поселки, в одном из которых он жил, некогда, с Фридрихом и сквозь которые он только что, едва их заметив, проехал; — но это был лес, и поле, и простор, и пространство, и песок у обочин, и шоссе, убегавшее вдаль...

Шоссе это я тоже знаю теперь наизусть; и здесь тоже есть, разумеется, деревни, поселки; они не переходят друг в друга; лес окружает их.

И всякий раз неожиданно возникали они перед Максом; но возникнув, и промелькнув (автобус шел быстро; встречных машин не было...), и может быть, поманив его, Макса, своими редко стоящими домиками, или каким-нибудь деревом у самой дороги (с еще почти весенними, почти прозрачными листьями...), кустом сирени (только-только зацветшей...), или круто изогнутым мостиком через бегущий к морю ручей, — поманив, промелькнув, исчезали, терялись.

Он ни о чем не думал; он смотрел, молча, в окно.

Еще было утро, как сказано, но туман уже поднялся, и уже набиравшее силу солнце вставало за соснами: там, где, как казалось ему, было море. — Море? — Конечно. — Он помнил, однако, закаты на море, два года назад, и как прямо за воду, в воду, падал пылающий шар.

— Странно, странно и удивительно...

А между тем, эта странность легко объясняется изменением линии берега и незаметными поворотами лишь по видимости прямого шоссе.

Автобус, от деревни до станции — и, соответственно: от станции до деревни — идет, как уже говорилось, минут сорок пять, пятьдесят, иногда час. Все это не такие уж огромные расстояния. Но, чем дальше он ехал, тем дальше (или так казалось ему...) уезжал он: и от станции, и от самой железной дороги, — от поездов, электричек, — и еще, и еще от чего-то...

Он подошел к водителю; он сказал названье деревни.

— Да, да, конечно; не беспокойтесь...

И вот опять, значит, лес, и поле, и песок у обочин, и сосны, и солнце, и облака, и мгновенные, всякий раз неожиданные изменения, смещения перспективы: все это (как бывает после бессонной, в поезде, ночи...) просто и скромно, ни на чем, на самом себе, не настаивая, входило в него, Макса, вплывало в его бездумность (втайне задумчивую...), в молчанье, в отсутствие...; и проплыв, пролетев, промелькнув, так же просто и так же скромно, ничего не требуя, ни к чему (вот это слово...) — ни к чему, может быть, не призывая, проходило, забывалось, терялось.

И только однажды (за вдруг расступившимися соснами; повернув голову...) увидел он: море.

Автобус остановился; Макс вышел.

Ну что же: столбик, скамейка...

Я был там: сегодня утром; и там, за все эти годы, ничего, конечно, не изменилось. Там так же, тот же отсвечивает на солнце песок (почти белый: в отличие от морского...); и так же, за дальний лес, загибаясь, уходит шоссе; и тот же ветер шумит в вершинах деревьев.

— Но Боже мой, как медленно он удаляется — исчезает, уменьшаясь в размерах — за поворотом, за выступом леса — бесконечно — автобус — исчез...; и вот я сижу здесь, один, и спешить мне, разумеется, некуда, идти никуда не надо...; и вот эти сосны, этот песок, этот ветер, и эти, конечно же, белые, легкие... как давно я не видел их... облака.

Он вытянул ноги; он закурил сигарету.

— Жизнь находит, но жизнь и теряет, вдруг, свою тему. Она становится жизнью — о чем-то; она опять превращается в жизнь — просто так, ни о чем...

Промчалась, обдав его ветром, машина; исчезла: за поворотом.

— И почему же... и почему же я думал, будто они чего-то хотят от нас, эти деревья, с их стволами и ветками?.. Ах, они, может быть, ничего от нас не хотят...

Они, может быть, ничего от нас не хотят: — и покинув, наконец, остановку, отыскав, по названию дома, и после недолгих переговоров с хозяевами, сняв — сначала на месяц, а затем и на все лето — комнату — мансарду: как уже давным-давно было сказано, — Макс, войдя в нее, увидел вдруг, в окне, за окном — непонятно откуда возникшее перед ним — по дороге им не замеченное — здесь, на этих страницах, уже давным-давно возникшее дерево, с его круглой, парящей в воздухе кроной и размытыми, зыбкими очертаниями ствола, — то самое дерево, на которое и я смотрю теперь, все эти годы, каждый вечер, проходя мимо, вновь оборачиваясь...; и ни к чему не призывая его (ничего не требуя, ничего не желая...), оно было там, за окном — стояло: прямо напротив — как и он, Макс: застыв, замерев.

— И неважно даже, смогу ли я увидеть его, ответить ему... вот сейчас. Важно лишь что-то совсем иное... за всеми чувствами, мыслями...

— И я могу отойти, разобрать вещи, вновь возвратиться... Оно не уйдет — никуда... Оно стоит — и будет стоять здесь, на краю поля, прямо напротив...

— Но и это неважно... и это неважно...

Он приехал в начале июня, и значит (так думаю я теперь...) — и значит, была еще та легкая дымка в воздухе, прозрачная влажность, которая всегда бывает здесь между весною и летом и всякий раз, на мгновение, повторяется осенью.

И никого, никого, разумеется, ни одного человека в то утро не было на море; солнце, мерцающей полосою, бежало к берегу по воде.

Он снял ботинки; он почувствовал, под ногами, сухой, легкий, еще прохладный, — твердый, мокрый, у самого берега, еще совсем холодный песок, — воду, еще ледяную. И потом еще долго, еще очень долго лежал, наверное, на песке (сухом и прохладном...), ни о чем не думая, прислушиваясь, сквозь подступающую дремоту, к шуму волн, набегавших на берег, шуму ветра в (невидимых...) соснах; проснувшись, увидел небо, увидел, вновь, белые, быстрые, летевшие прочь облака...; и затем дошел, должно быть, по кромке воды, до разрушенного, давным-давно, как давным-давно уже сказано, разрушенного, должно быть, причала, опор и бревен с их отражениями; и поднялся,

наверное, в дюны; и обойдя кругом всю деревню, обнаружил магазин: у шоссе; и зашел в него, если он был открыт; — и вечером снова вышел, наверное, на море.

Он был совсем один здесь; никто не знал его; и он никого не знал.

И конечно же, некое беспокойство временами его охватывало, то смутное беспокойство, которое почти всегда охватывает нас в чужих, безлюдных местах.

Однажды (на второй или на третий день по приезде...) это было почти ужасно.

Он пошел в дальний лес, за шоссе: в тот самый лес, за которым (он не знал этого...) начинаются поля, перелески, холмы; ландшафт меняется — и уже почти ничто не напоминает о море.

Он не дошел до этих холмов, до этих полей; он шел по лесу, еще сосновому, еще, в общем, прибрежному, по просеке (две колеи; земля и песок между ними...) — неизвестно куда. И пытаясь, быть может, додумать некие мысли (те же самые, разумеется, которыми весной, у реки, разрешилось его безразличие и которые здесь, после двух- или трехдневной, может быть, паузы вновь, конечно же, к нему возвратились...) — пытаясь, следовательно, додумать некие мысли до той границы, того предела, за которым начинается уже что-то иное, мыслям уже неподвластное (именно так определял он теперь свою, если угодно, задачу...) — он, Макс, пытаясь — и не додумывая, он видел, вместе с тем, сосны: в легкой, прозрачной, поднимавшейся к небу дымке, — и небо: над соснами, — и просеку: две колеи, — и траву, и мох, — и мгновенные пятна солнца: на мху, на траве.

Этот лес просматривается насквозь; сосны стоят здесь редко; ветви их теряются в вышине; и только запах хвои, простор и воздух трепещет между стволами.

Но если свернуть, предположим, вправо (чтобы выйти опять к шоссе...) — лес становится вдруг иным. Это по-прежнему сосны, но мелкие, низкие, прижавшиеся друг к другу; стволы их покрыты бледно-зеленым, с почти белой каймою, лишайником, странно и призрачно меняющим их очертания...

Он закурил сигарету; бросил ее; закурил новую. Он был совершенно уверен, что идет туда, куда надо; он уже слышал, вдали, шум машин, шум шоссе; все это не имело значения; почти ужас охватил его вдруг.

Он был совсем один здесь, в этом лесу; никого, никого вокруг не было.

Были только сосны, прижавшиеся друг к другу; сухие ветки, мох и лишайник; и если где-то там, над лесом, над соснами, по-прежнему, в легкой дымке, уплывало и таяло небо, он не видел его; он видел лишь просвет в конце просеки; он шел не оглядываясь;

он выбежал на шоссе; но даже дойдя до деревни, добежав до дому, не совсем, может быть, успокоился.

— Что это, что это было?..

Ему захотелось — уехать, но он, конечно — остался.

И то же самое, почти то же самое, повторилось вечером, на море, и на другой день, может быть, в дюнах.

И больше это не повторялось. Он сходил, и снова сходил в дальний лес (за шоссе...); он побывал в соседней деревушке (километрах в пяти от нашей; там была — и есть, как сказано — почта...); он съездил в ближайший поселок (в пятнадцати километрах...); и всякий раз возвращался, конечно, домой, в свою, повисшую над землею мансарду; и всякий раз, подходя к ней, уже видел то самое дерево (с его парящей в воздухе кроной...), и поле, и облако...; пространство (думаю я теперь...), уже размеченное привычными ему поворотами, тропинками, просеками, — одной сосной там, другой липой здесь, — мостиком через ручей, и еще одним мостиком: на самом краю деревни, — как будто успокаивалось, замирало вокруг; он приручил его.

И так пошли дни, — полетели и потянулись, — день за днем, один за другим, — утро и вечер, засыпанье и пробужденье; — дни, отчасти заполненные, конечно, и тем, что он видел — деревьями, облаками — и некими мыслями, приближавшимися, втайне, к чему-то, — и каким-нибудь (мир названий разбился...) пускай отдаленно, но все-таки, с этими мыслями, как-то связанным, может быть, — или никак не связанным, может быть, чтением: — и все-таки ничем не заполненные, но как будто раскрытые, раскрывавшиеся: в пустоту..., очень долгие и, конечно же, очень быстро пролетавшие дни.

Были, помимо всего прочего, простые и даже простейшие вещи: приготовить завтрак, подмести комнату...; он делал это почти с удовольствием, ни о чем не думая, все забывая; проснувшись, подходил, конечно, к окну, отдергивал шторы, и посмотрев, опять посмотрев на еще окутанное туманом и в тумане уплывавшее дерево, одевшись, шел — иногда по деревне, дороге — если угодно: улице — между домами, чаще через поле, тропинкой, еще мокрой, разумеется, от росы, — в тот же самый, конечно (и сравнительно новый, плоский и низкий, из бетонных, так скажем, плит, увитых, отчасти, плющем...), с тех пор ничуть не изменившийся магазин: у шоссе, в который и я хожу теперь время от времени (плата за комнату, скажем так, включала — в моем случае и до сих пор включает в себя — обед; о завтраках, ужинах он должен был — я же и до сих пор должен — заботиться сам...); возвращался; и сварив кофе на

электрической, в углу комнаты, плитке, выпив его, подметал, действительно, комнату, вновь и вновь выметая занесенный им накануне песок, каждый вечер вновь появлявшийся.

И затем ему было уже почти все равно, что делать, куда идти — мысль же ходит, как сказано, тайными, своими путями: и то простейшее, опять-таки, обстоятельство, что он, Макс, выходя на море, сворачивал — точно так же, как, выходя на реку, две, допустим, недели назад, сворачивал он — налево (в самом деле, сверни он направо, ему пришлось бы, и причем вброд, перебираться через впадавший в море ручей...) — это вполне простое и простейшее обстоятельство казалось ему, должно быть, как бы неким подтверждением его мыслей, приближавшихся и вновь приближавшихся к чему-то иному, мыслям уже неподвластному.

(Отчего — в скобках — всякий раз, когда он сворачивал все же: направо, перебирался через ручей, — или шел, может быть, по деревне и уже за ручьем, по дощатому — он и теперь все тот же — с косыми перилами мостику, перейдя его, выходил, опять-таки, на море, — эта, если угодно, прогулка — в иную сторону и в ином направлении — приобретала, пожалуй, какой-то, чуть-чуть таинственный, пожалуй, оттенок. А там, за ручьем, была — и есть, разумеется: я только что вернулся оттуда — совсем высокая, очень круто взлетающая вверх дюна: песчаный обрыв и сосны над ним...; отыскав тропинку, поднявшись наверх, обернувшись, видел он, опять-таки и опять-таки, море, внизу, почти неподвижное, как будто застывшее, и — прямо напротив, но совсем, совсем далеко — застывшие, осязаемо-белые, неподвижные облака...)

Как бы то ни было и почти всякий раз сворачивал он — налево; и по самой кромке воды — там, где на твердом, темном, всегда мокром песке остаются, вынесенные прибоем, хрустящие под ногами, мелкие разноцветные ракушки — доходил, разумеется, до причала, опор и бревен с их отражениями; и на пару шагов отойдя от воды, садился, может быть, на — сухой, уже прогретый солнцем — песок; и прислушиваясь к шуму прибоя, шуму ветра в — невидимых — соснах, крикам чаек, круживших над морем, вновь и вновь думал, конечно, что — вот, это только сейчас, только сейчас... вот сейчас.

— И я был прав... тогда, когда-то... конечно. Есть только то, что есть... вот сейчас... вот это море, облако... и вот эта, вот эта... так отчетливо, так очевидно... между морем, облаком летящая чайка...

— Выводы, выводы были неправильны... Оставим их, отбросим, — думал он, — следствия... И совершенно неважно, что будет со мною через день, через два... Все это не имеет значения... речь вообще идет не о жизни...

— О чем же? Ни о чем, ни о чем... И это облако, это море... ни о чем, ни о чем.

Так думал он, следовательно; и закрывал глаза; и проваливался куда-то; в пустоту, в темноту; и опять вставал, шел; и уходил иногда совсем далеко; и перебирался через еще один, впадавший в море ручей; и заходил в дюны; и садился, может быть, на какой-нибудь, поваленный ветром ствол какой-нибудь, к примеру, сосны; и опять спускался к воде; возвращался.

И конечно, она ускользала от него, его мысль, покуда он шел так, по берегу: как всегда, как когда-то; и распадалась, конечно же, на какие-то, к кому-то другому обращенные мысли, случайные, ему неподвластные.

Он не боролся с ними: и если боролся, то, может быть, лишь по привычке: дурной привычке: так думал он, может быть.

Но стоило ему, Максу, остановившись или не останавливаясь, закрывая или не закрывая глаза, вновь вызвать в себе это, уже, в общем, не покидавшее и по-прежнему не покидавшее его ощущение — пустоты, безразличия, как — все исчезало, все случайное, не случайное, все.

Почти и вполне намеренно вызывал он его в себе, всякий раз — и как будто уже навсегда успокаиваясь, радуясь успокоению; и всякий раз — та, светящаяся, та единственная и неподвижная точка, с которой, только с которой, он мог увидеть, и видел, как будто впервые, скажем — облако, скажем — чайку, ветви сосен, ракушки на песке, появлялась — из пустоты, загоралась, вспыхивала и гасла; и — и поначалу совершенно отчетливая, мысль его вновь, конечно же, ослабевала, тускнела; дробилась и путалась; и какие-то, вновь, случайные мысли приходили, проходили в нем, исчезали...; он же, Макс, следил за их... и ее появлением, исчезновением: издалека и откуда-то, безучастно, ни в чем не участвуя, исчезая, сам, в пустоте.

И как если бы то, что было ему, два года назад, обещано, начинало теперь сбываться...

— Но неужели это так просто, — думал он, — неужели так просто?..

И внезапные надежды оживали в нем, может быть: как ни старался он, а он старался, конечно, не поддаваться им, не дать им увлечь себя.

— Есть только то, что есть... вот сейчас. И совершенно неважно... совершенно неважно...

Но они все-таки возвращались к нему, как ни сопротивлялся он им, как ни держался он за отчаяние; и наступил, конечно, какой-то — очень трудный и очень опасный — он тут же понял это, наверное — день, когда он сказал себе: вот... все это... все это и есть, быть может, искомое... уже, значит, найденное.

Он испугался этой мысли, конечно. Он попробовал забыть ее, как можно скорее. Забыть ее он не мог.

— Да, все это и есть, быть может, искомое... уже, значит, найденное...

— Но ведь то, что можно найти, можно и потерять, — думал он.

— И значит, все сначала, все как когда-то... и те же поиски, и те же стремления... и те же попытки воссоздать утраченное... однажды удавшееся... Нет, нет, так не может быть...

Он попробовал вызвать в себе то спасительное ощущение пустоты, безразличия, в котором все исчезало, в котором и эти мысли должны были бы, так он думал, исчезнуть; нет, не исчезли.

Почти забытое им беспокойство охватило его; отзвук прошлого.

То был очень трудный день, скорее пасмурный, темный, с мгновенными, мерцающими просветами, мелким дождем, начинавшимся, снова кончавшимся, серым небом, опускавшимся все ниже и ниже. Он вышел из дому, после обеда, дошел по деревне до мостика, с косыми его перилами, взобрался на дюну. Ему казалось, он уже потерял и утратил... еще накануне так просто ему дававшееся, столь очевидное.

— И вот... что же, что же, что же делать теперь?..

Он не знал, конечно же, что теперь делать.

— Все сначала... все как когда-то...

То появлялось, то почти исчезало, за соснами, море, неподвижное, как будто застывшее; спустившись с дюны, вместе с тропинкой, пошел он через уже знакомый ему, вполне прибрежный, с холмами и низинами, лес; вышел, может быть, на шоссе; вновь вошел в лес, поредевший, снова сгустившийся. И уже по дороге обратно, вдруг, на каком-то, едва заметном повороте тропинки, сам не понимая почему, успокоился, вновь, поднявшись на очередной холм, увидел, быть может, шоссе, черной чертою убегавшее среди сосен, поля за ним и за ними, внезапную даль.

— Нет, — думал он, — это нельзя потерять...

— Это нельзя потерять... Это и справа, и слева, и сзади, и спереди... по ту сторону всех мыслей, всех чувств... отчаянья и надежды...

— Вот, вот... отчаянья и надежды...

Был влажный сумрак в лесу, гулкое эхо.

И успокоившись, и как будто вновь помирившись с собою, не только с собою, еще очень и очень долго шел он так, домой и обратно, под мелким дождем, под этим огромным, серым, все ниже и ниже опускавшимся небом, замедляя шаги, останавливаясь, глядя вокруг.

— Нет, нет, — думал он, — это нельзя потерять... Это и сзади, и спереди, и справа, и слева... Мы идем к этому, из этого, в этом...

— Это нельзя потерять... потому что этого нет...

Почти сквозь слезы... конечно.

И уже был, почти, вечер, мерцающие просветы, розоватые отблески на мокром асфальте шоссе.

— По ту сторону... отчаянья и надежды...

А где-то была Москва, самый странный на свете город, — проспекты и улицы, — неописуемое, сомнительное, запретное...; здесь ничего этого, разумеется, не было; и не только не было — здесь, но здесь и — отсюда сама возможность всего этого казалась (мне же и до сих пор кажется...) решительной, решительной — невозможностью...

И когда он звонил, допустим, в Москву (в самом деле, в соседней, как говорилось уже, деревушке была — и есть — почта, на почте же и был, и есть телефон...) — звонил, к примеру, каким-нибудь, не взятым мною на эти страницы, хотя и неслучайным персонажам его, Максовой, от него, Макса, так чудесно и неожиданно отступившей и отдалившейся жизни (он же звонил им не очень, но все же весьма, весьма часто; он был совсем один здесь, как сказано; и некое — простейшее одиночество он тоже, конечно, испытывал...) — странно, должно быть, очень странно было думать ему, что — вот сейчас, вот в эту минуту, когда он сам, Макс, стоит здесь, на почте, и видит, в окне, дождь или, может быть, солнце, и кусты сирени (еще цветущей, уже отцветающей...), и сосны, и — прямо перед почтою — дуб, с темными, крепкими, во все стороны раскинувшимися ветвями..., — что они — или, вернее, он — или, скажем, она — что она или он (ему отвечавший или ему отвечавшая...) стоит, сидит сейчас где-то, в неописуемом, уже невозможном...; и мгновенные контуры города возникали вдруг перед ним, и мгновенные очертания его, Максова, им, Максом, покинутого жилища, темной громады: и еще немного помедлив (он вешал трубку...), вновь, наверное, исчезали, расплывались в дожде или таяли, к примеру, на солнце.

Почта же являет собою небольшой, двухэтажный, выкрашенный, когда-то, в зеленое, но, от дождя, и снега, и времени, потемневший, конечно, дом, с застекленной — пять

или шесть ступенек ведут к ней — верандой, где, кроме вышеупомянутого телефона, стоит — и, по-видимому, стоял здесь всегда — один-единственный, с продавленным сиденьем стул.

Веранда эта не запирается; звонить отсюда можно и вечером (когда на почте никого уже, разумеется, нет...) — и сколько же (думаю я теперь...) — сколько же вечеров я провел здесь: за все эти годы?

Макс, как бы то ни было, провел здесь однажды один — незабываемый: говорил он впоследствии — вечер.

И мне очень хочется верить, теперь, что это был именно тот, тот самый и единственный вечер, когда он звонил в Москву — мне.

Но я так до сих пор и не знаю, кому он в тот вечер звонил.

У него был, по всей вероятности, так называемый и заранее купленный им — талон: на пятиминутный разговор с Москвою.

— Придется подождать, — сказала, в трубке, телефонистка. — Хорошо?

— Хорошо.

— Я позвоню вам.

Он спустился вниз по ступенькам, сел на одну из них, закурил сигарету и принялся, значит, ждать.

Скажу сразу: он прождал полтора часа.

Он прождал полтора часа: и это (говорил он впоследствии...) — и это было как будто одно, чудесно-растянутое и — так, растягиваясь, утончается некая, скажем, ткань — очень тонкое, почти прозрачное (говорил он...) мгновение.

Был светлый, еще совсем светлый вечер — середина июня — и только медленное, едва заметное затихание, замирание кустов и деревьев втайне предупреждало, быть может, о приближении чего-то — какой-то — еще не ночной — дождевой темноты; и все вдруг, в самом деле, темнело; отворачивалось; замыкалось в себе; светлело опять; и хотя ветра здесь, за деревьями, не было, Макс, поднимая голову, видел, как быстро, по раскрытому небу, пролетают, проносятся то освещенные уже клонившимся к западу солнцем, то вдруг совсем темные — или темные только снизу, сбоку же, слева, сияющие, сверкающие по-прежнему, ослепительно-белые, но уже с розоватым отливом, друг на друга налетающие облака.

Он не предполагал, разумеется, что ждать ему придется так долго: разговор давали обычно минут через двадцать, двадцать пять, иногда тридцать.

И когда он прождал их, эти двадцать, и двадцать пять, и тридцать, и сорок минут, уйти, не дождавшись, было бы уже слишком обидно... он и не уходил, сидел, ждал.

И опять пролетали, летели то совсем темные, то освещенные солнцем, сверкающие, сияющие облака; и залетевшая с моря, или, может быть, ветром занесенная чайка кружила над почтой, над соснами; и потом налетел, действительно, дождь (он укрылся от него на веранде...); вспыхнул на солнце, — погас, — пролетел; и легкие капли на ветках сирени тоже вспыхнули, — сверкнули, — погасли...

Думал ли он о чем-нибудь?

Нет, ни о чем... так, какие-то, более или менее случайные мысли, сами собой появлявшиеся, сами собой исчезавшие...

Он ждал, ждал — и только.

Сорок минут, пятьдесят минут, час...: одно-единственное, отчасти заполненное, конечно, и какими-то случайными мыслями, и внезапно налетевшим дождем, и непрерывным изменением облаков, — и все-таки ничем не заполненное, раскрывавшееся: в пустоту, в пустоту..., — растянутое — как некая, скажем, ткань — прозрачное, тонкое, почти пустое мгновение.

Он ждал, ждал — и только; он никуда не мог отойти; он был как бы привязан, прикован: к телефону, упорно молчавшему: к своему собственному ожиданию: к настоящему, следовательно...

Он был как бы приговорен к настоящему: вот в чем все дело: к настоящему (с улыбкой: я помню...), которое рано или поздно должно было разрешиться — звонком, но которое, не разрешаясь им, упорно и по-прежнему оставалось собою: мгновением, пустым и прозрачным.

И глядя по-прежнему на — летевшие, пролетавшие облака, легкие капли на ветках сирени, ни о чем не думая, садясь и вставая, поднимаясь и спускаясь вновь по ступенькам, он вдруг почувствовал что-то... для него самого неожиданное, но вместе с тем как будто подтвердившее, вновь подтвердившее его, Максовы, уже, в общем, не покидавшие его, Макса, отчасти, но лишь отчасти, как сказано, новые, по ту сторону, ощущенья и мысли: и это было (говорил он впоследствии...) так, как если бы, садясь и вставая, поднимаясь, спускаясь вновь по ступенькам, он, Макс, приговоренный и прикованный к настоящему, вдруг — с совершенной ясностью, несомненностью, но и с внезапным, радостным, может быть, удивлением — почувствовал, — понял, увидел, — что оно его — держит, что он: в нем — и не падает.

Оно держало его, это пустое мгновение; он был в нем — и не падал. Не падал.

— Вот так вот... вот так вот...

— Со всех сторон... по ту сторону...

И по-прежнему замирали, затихали деревья, кусты, все вокруг; и только капли падали с веток, не нарушая, но как будто усиливая это ощущение неподвижности, глубокой и гулкой.

Час и десять минут, час и двадцать... все равно, неважно, неважно...

И когда зазвонил, наконец, телефон, на веранде, все проснулось, все ожило; ожили, проснувшись, кусты; проснулись деревья; самый воздух затрепетал, оживая; — и взбежав по ступенькам, широким, почти немыслимым здесь, на веранде, как будто перенесенным сюда снаружи, но изнутри освещенным и напомнившим ему что-то — он не успел вспомнить что — быстрым и плавным движением подвинув к себе, к телефону поодаль стоящий стул, Макс, снимая трубку и в то же время садясь, сев, ногу закинул за ногу: — и почти неожиданно для него, опять-таки, самого, срываясь, падая — падая? — нет — да и нет — не падая, падая, прозвучал, в трепещущей тишине, его собственный, неузнаваемый голос:

— Да, да, я слушаю...

— Говорите.

И если — как мне очень хочется верить — звонил он в тот вечер — мне: я, на моем конце провода, в том городе (отсюда — почти невозможном...), в той комнате (которая была когда-то моею...), сквозь шумы и треск в трубке, сквозь еще какие-то, приглушенным шепотом совещавшиеся о чем-то, посторонние, дальние голоса, — услышал, значит, его, Максов, неузнаваемый, и не сразу мной узнанный, одновременно спокойный и взволнованный голос...; и этим спокойно-взволнованным голосом он сказал мне, что — вот, он снял для меня комнату, здесь, что я могу приезжать... если еще не раздумал; и потом спросил меня... как показалось мне: улыбнувшись... закончил ли я мое служение — неописуемому (которое я — заканчивал...) — спросил меня, следовательно и нарушим запрет, об экзаменах (из которых — еще один оставалось мне сдать...); и пожелав мне успеха, вновь... или так показалось мне... улыбнувшись, сказал вдруг, я помню, что... между тем... он так и сказал: между тем... он, Макс, сидит сейчас на веранде, на почте и в соседней деревне... и что, как вот сейчас он заметил, замазка оконных рам... на этой, значит, веранде... отваливается, по краям их, совершенно и точно так же... неважно; я же (в свою очередь пообещав ему — как только закончу служение, сдам экзамен, приехать...) еще пару мгновений слушал, как

некогда, быстрые, на моем конце провода, короткие, резкие, обгонявшие друг друга гудки...

52

Но совсем не мне, может быть: Алексею Ивановичу, быть может, звонил он в тот вечер; подтвердившему свой приезд и их встречу: уже давным-давно отмеченную мною на карте.

Они условились о ней еще там, весною, в Москве; Алексей Иванович назначил, как сказано, день (тридцатое июня, к примеру...); назначил время (пять часов вечера...); назначил и место.

— Знаете ли вы, — спросил он у Макса, — знаете ли вы отходящую от центральной и к морю ведущую улицу? Там есть кафе, у самого берега...

О конечно, конечно, он знал его, это кафе; и эту улицу он тоже, конечно, знал. Он забыл лишь, как выяснилось, это ощущение: курорта, праздной толпы..., ощущение — отзвук прошлого — которое тут же, разумеется, к нему возвратилось, когда он, Макс, — тридцатого, к примеру, июня — (был не жаркий, но ясный, и солнечный, и чуть-чуть ветреный, может быть, день...) — доехав, на автобусе, до последней, конечной, — и дальше, на так называемой электричке, до той самой станции, где он сошел, некогда, с Фридрихом, — когда он снова оказался в этом поселке, на той широкой, шумной, центральной (и самой — курортной...) улице, где он некогда, вместе с Фридрихом, жил.

Здесь все было так же, все было то же: те же клумбы, те же скамейки, — ларьки и киоски, — и тот же, за пятью или шестью деревьями, двухэтажный, с башенкой, дом, — и так же, гулкой и частой дробью, по каменным плитам улицы, отзывались чьи-то шаги, — и он так же шел, как когда-то, сквозь обрывки чужих разговоров, быстрые взгляды, сквозь солнце и тень, — и так же свернул налево, к морю, к кафе...; а впрочем, все это, и даже эти отзвуки прошлого, отсветы прошлого..., все это тоже было, конечно, вот сейчас, в настоящем, и точно так же держало его, как держали его, там, в деревне за дюной, сосны и ветер, море и облака.

Он пришел рано, в половине или, может быть, без двадцати минут пять; он сел за тот же столик, где они сидели, обычно, с Фридрихом, на то же самое место. И так же медленно, обведенные солнцем, проплывали за окнами тени прохожих; и так же тихо, в

открытую дверь, вплывали далекие голоса, шум прибоя, плеск волн; и за дверью был тот же песок, те же сосны, тот же столб с отчасти оторванными, на ветру трепещущими афишами; и пятна солнца на дощатом полу, и слепящий блеск его на белой поверхности столика: все было так же; та же тень той же чашки...

— И конечно, мы изменяемся... конечно, мы изменяемся... Мы не властны над этими изменениями... вот в чем все дело...

Он пил кофе; он ждал Алексея Ивановича.

— Вот сейчас, вот сейчас...

— Жизнь находит, но жизнь и теряет вдруг свою тему...

— Как видите, я сдержал свое обещание...

— Я тоже.

Он вошел совсем неожиданно, Алексей Иванович, из сиянья и солнца за дверью, с внезапной улыбкой.

— Я очень рад вас видеть. Да, очень рад...

И как бывало ему время от времени свойственно, несколько раз повторил он это: очень рад, очень рад..., как будто прислушиваясь к нему, удивляясь себе...; затем, преодолев препятствие, посмотрев на часы и заказав, в свою очередь, кофе, сообщил Максу, что, как Макс, наверное, знает, здесь, совсем рядом и почти за углом, есть, и причем открытый — если открытый зал может называться, действительно, залом — открытый, как бы то ни было, зал, где летом устраиваются концерты, нарушим запрет, и где как раз сегодня, вечером, в восемь, неизвестный ему оркестр с неизвестным ему дирижером играет, мир названий... конечно, несколько, ему, Алексею Ивановичу, как раз отлично известных и вполне любимых им пьес, каковые он и предлагает ему, т. е. Максу, послушать с ним вместе.

— Да, с удовольствием, — ответил Макс. — Я только должен успеть на последний автобус... без пяти минут десять. И до него еще надо доехать... на электричке.

— В таком случае, мы простимся с вами... после первого отделенья.

— Хорошо, — сказал Макс. — Как проходит ваша... конференция, если позволите?

— Она уже закончилась, — сказал Алексей Иванович. — Завтра я уезжаю. Нет, ничего особенного... все как обычно.

Он смотрел на Алексея Ивановича, Макс; он подумал вдруг, что он вообще ни с кем, почти ни с кем не говорил целый месяц.

— Ну а вы-то, Макс... чем вы занимаетесь, собственно, в этом... поскольку я его представляю себе... исключительном одиночестве?..

— Переворачиваю понятия, — сказал Макс.

— Всегда полезно. Какие же?

— А... всякие. Какие придется.

— И все же... к примеру?

— Ну... возьмем, к примеру, понятие...

Почему бы и нет, в самом деле?

— Понятие, к примеру, случайности...

— Возьмем его, почему бы и нет?

— Что скажете вы в таком... случае...

Они возвратились, следовательно... готовились, наконец, возвратиться... к тому, давнему разговору, ночному и зимнему. Он ждал этого, Макс. Он не знал лишь, хотел ли он этого.

— Что скажете вы... о вот таком, например, рассуждении? Мы открываем в себе...

— Что же?

— Вообще... да... случайное. Случайные мысли, нам неподвластные...

— С известной точки зрения все случайно, — сказал Алексей Иванович. — Кроме... самой этой точки зрения, быть может.

— Она тоже случайна, — сказал Макс.

— Вот как?

— Конечно. Она тоже, конечно, случайна. Она вспыхивает, она гаснет, исчезает, вновь появляется. И наши неслучайные, как мы полагаем, наши собственные, как полагаем мы, мысли... тоже, тоже, конечно, случайны. Они есть... их могло бы не быть. Они приходят к нам... неизвестно откуда... сами собою. Они уходят... неизвестно куда. Мы над ними тоже... не властны. И это правильно, и так и должно быть. Больше того, я сказал бы, что их... случайность равняется их неизбежности.

— Остроумно, — сказал Алексей Иванович. — И какие же выводы вы делаете из всего этого?

— Я больше не делаю выводов.

— Вообще никаких?

— Вообще никаких. Да и зачем нужны... выводы?

— Только выводы, по-моему, и нужны.

— Разве?

— Без всяких сомнений. Дело ведь вовсе не в наших каких-то... вновь скажем... мыслях.

— Нет, не в них дело.

— Но дело в том, чтобы превратить их... если угодно... в жизнь. Усвоить их и жить... в соответствии с ними.

Все так же медленно проплывали за окнами тени прохожих, обведенные солнцем; все так же тихо вплывали, в открытую дверь, шум прибоя, далекие голоса.

— Нет, и не в этом дело, — сказал Макс. — Речь вообще идет не о жизни... и уж тем более не о том, чтобы привести ее в соответствие... с чем бы то ни было. Все это лишь отрывает нас от того, что... есть, все эти... поиски соответствий... старания и стремленья. А впрочем... не пойти ли нам на море?

— Зачем?

— Просто так.

— Хорошо, пойдемте.

Они вышли, действительно, на море; они сели, на берегу, на скамейку.

— А между тем, — сказал Алексей Иванович, — если отказаться от стремлений, стараний, то... что же будет? Случайные, опять-таки, мысли... как вы выражаетесь.

— А вот и нет, — сказал Макс. — Вот и нет. Вот и нет. Неизвестно... и неважно, что... будет. Ничего вообще не... будет. Есть только то, что есть, вот сейчас... вот это море, вон те облака...

Он и смотрел, разумеется, на это море, те облака; он вновь подумал, наверное, что он мог бы и не говорить Алексею Ивановичу того, что говорил, собирался сказать.

— Мы держимся за наши стремленья, — сказал он, — желания, поиски соответствий. Мы пробуем не держаться за них, отпускаем одну руку, другую... Мы боимся упасть, мы снова за них цепляемся. На самом же деле...

— Вы правы, — сказал Алексей Иванович.

— Простите? — сказал Макс (как некогда...).

— Вы правы... конечно. Но и я тоже прав. И значит... что же? И значит, — говорил Алексей Иванович (своими спокойно-удивленными глазами тоже глядя, разумеется, на море...) — и значит, с одной стороны, стремиться ни к чему нельзя... и всякое стремленье... вы правы... отрывает нас от того, что есть... по крайней мере, от того, что есть... в нас же... от неизбежно-случайного и в случайности своей неизбежного... перевернем, в самом деле, эти... очаровательные понятия... от нам неподвластного и для нас неожиданного... от нас самих, — с внезапной улыбкой. — Но и не стремиться тоже нельзя... и если отказаться от стремлений, во всяком случае от стараний, усилий, то все, конечно, развалится, распадется и спутается...

Тихо и медленно говорил он: уже как будто не к Максу: непонятно к кому обращаясь.

— И... значит: что же? И значит, остается лишь принять это... противоречие. Разрешить его невозможно. Но принять его... как простую данность, если угодно. Там, за ним и по ту его сторону, открывается, быть может, что-то... иное. А..., — все с той же улыбкой, — что вы скажете... о вот этом моем рассуждении?

— Занятное рассуждение, — сказал Макс (рассмеявшись...).

А между тем, оно лишь вчуже занимало его: и как если бы, отдав ему должное и приняв его к сведению, он смотрел на него: откуда-то: давным-давно, на полшага отойдя — от всех рассуждений.

И после — весьма долго длившейся паузы, Алексей Иванович, встав со скамейки, предложил ему, то есть Максу, раз уж они вышли на море, еще немного, вдоль моря, пройтись...; они пошли, конечно, в мою — если угодно, в его, Максову, — сторону, к тому дальнему, разумеется, мысу, за которым — теперь он знал это — была, есть еще одна бухта, в бухте же, между вот этим, бесконечно-далеким, но все-таки видимым, и еще одним, уже невидимым, разумеется, мысом...

— Вы долго жили там? — спросил Макс.

— Нет... две недели.

Там жили, как выяснилось, в то лето, шесть лет назад, его, Алексея Ивановича, — Макс не знал их, я, по ту сторону моей истории, знал, и даже довольно хорошо знал — знакомые: к ним-то и приезжал он, как выяснилось, тогда, когда-то, шесть лет назад.

— Шесть лет назад, — сказал Макс. — Что же было... шесть лет назад?.. Ах, конечно... конечно...

Там ничего, наверное, не изменилось с тех пор (говорил Алексей Иванович...). Магазин? Да, магазин уже был, у шоссе. Причал и бревна? Причал уже был разрушен. Мансарда? Мансарда была такой же... да, с той же лестницей... и с тем же запахом: хвои, смолы.

Он же, Макс, глядя на море и думая, конечно, о том, что было... шесть лет назад, вместе с тем и в то же самое время вспоминал, наверное, тот, какой-то, не последний, но как бы последний вечер того, не шесть, но два года назад, соответственно, лета, когда он шел вот здесь, вот по этому берегу, вместе... А что если позвонить в Ригу Ингмару, Хельге? — подумал он. У него не было их телефона. Позвонить Фридриху? Он не хотел звонить Фридриху. Он мог позвонить ему. Да, позвонить ему, думал он, узнать их телефон у него, ее телефон у них... почему нет, в самом деле?..

— И в конце концов, Алексей Иванович, что можем мы друг другу сказать? Все, что мы говорим, всегда, увы, приблизительно. Только то, что приходит само и само говорит о себе... только оно безусловно.

— Ага... вот видите.

— Оно тоже... случайно.

Алексей Иванович (в свою очередь...) рассмеялся.

Я несколько раз, за все эти годы, мною здесь прожитые, — прошлым летом, позапрошлым летом, к примеру, — всегда летом, конечно, — и всякий раз уходя после первого отделения, на последнем, без пяти минут десять, автобусе возвращаясь домой, — бывал в этом зале, где он, Макс, в первый и, насколько мне известно, единственный раз оказался в тот вечер, — в этом открытом, действительно, зале, с поднимающимися друг над другом рядами скамеек, узких и длинных, изгородью, увитой плющем, отделяющей его от улицы, от парка, к нему примыкающего, с деревянной (кажется; я ни разу не подходил к ней...) раковиною в глубине сцены, внизу. То была ему, Максу, совсем незнакомая музыка (мир названий... еще раз...); шум прибоя, плеск волн слышался сквозь нее; Макс, сидя рядом с Алексеем Ивановичем, поднимая голову, видел еще не гаснущее, еще почти не вечернее небо над далекими соснами, облака, уже затихающие...; нет, подумал он вдруг, он не будет звонить Фридриху; он подождет; никто не знает, что может случиться; все может случиться; все возможно; все правильно. И потом уже ни о чем, конечно, не думал, отдаваясь этому тонкому, легкому... я знаю, что он слушал в тот вечер... да, тоже, державшему его, разумеется, и вместе с тем как будто превышавшему себя самое настоящему, с его медленным нарастанием, постепенным сгущением, вдруг опять разрежавшимся, разрешавшимся..., движенью во времени, круженью в пространстве. И еще только начинало смеркаться, когда, простившись с Алексеем Ивановичем, пошел он к станции, сел в электричку; когда садился в автобус, смеркалось. Автобус, поплутав немного по улицам, выехал, как и следовало ожидать, на шоссе: и очень быстро, опять-таки, не заботясь о встречных машинах (их опять — почти не было...) полетел, помчался — во вдруг распахнувшееся над полянами и полями, над соснами и перелесками небо, еще расчерченное, разумеется, розовыми, красными отсветами, наполовину охваченное закатом, понемногу, над полянами и полями бледневшим, впереди и прямо напротив сгущавшимся. И все, конечно же, затихало, замирало вокруг; темнело и отворачивалось: и чем дальше ехал он, Макс, тем более удивительной казалась ему дорога... и уже как будто не тем, уже знакомым ему шоссе, но: какой-то дорогой,

просто дорогой, вообще дорогой, неизвестно куда...; и впереди, и прямо напротив по-прежнему был закат, с отдельными, в глубине его, растянутыми, застывшими облаками, с мгновенными и призрачными провалами: в сизый сумрак, в лиловый и фиолетовый мрак...; и он все ехал, ехал и ехал, уже сам не зная, как долго он едет; и проехал, вполне неожиданно, соседнюю, почти невидимую, конечно, деревню; и через пять, неподсчитанных им километров оказался вдруг на остановке, один, и... автобус отъехал, звук замер... и словно вдруг выброшенный откуда-то, словно брошенный вдруг куда-то, как некогда.

53

— Ну вот... я жду тебя... приезжай...

И я поехал к Максу сюда: еще сам не зная, конечно же, не подозревая и не догадываясь, чем станет для меня эта маленькая, за дюной притаившаяся деревушка...; то был, как сказано, отъезд еще предварительный, но уже втайне предвещавший, быть может (понимал ли я это? — не знаю, не помню; я помню лишь, что мысль о каком-то — куда-то — отъезде — об отдалении, отрешении — уже была у меня, намечалась, сгущалась...) — предвещавший, значит, какой-то — куда-то — окончательный, быть может, отъезд; и я вспоминаю теперь последний, перед этим отъездом, день — почти так же ясно, быть может, как я вспоминаю последние дни перед тем, уже окончательным, ранней весною, отъездом; и он был, я помню, дождливым: дождливым и пасмурным, этот день, в начале июля; и весь город был охвачен, окутан: влагой, туманом; и только изредка, смутной тенью, проглядывало, на мгновение, солнце; и когда, уже вечером, я ехал, на такси, на вокзал — на бульваре, я помню, были мокрые, темные, влажным блеском, под фонарями, почему-то уже зажженными, отсвечивавшие и чуть-чуть дрожавшие листья; и я очень долго ходил по перрону, и пройдя его целиком — поезд стоял неподвижно — с внезапным, я помню, волнением увидел: рельсы, блестевшие, исчезавшие: в тумане, в тонком дожде.

— И вот опять, значит, станции, полустанки, огни, шлагбаум, станции, бессонная ночь...

Но и утром в окне был — дождь: начавшийся, значит, там, продолжавшийся, значит, здесь, пролетавший, как деревья и станции, мимо; и под дождем пересел я в так называемую электричку; под дождем сел в автобус; и только — я вышел — на

остановке — столбик, скамейка — уже не было больше дождя; был туман; было серое, темное, нависшее над деревьями небо — и капли, капли повсюду: на всех ветках, на всех, я помню, кустах.

И — как уже давным-давно было сказано — и отыскав его, Максову, повисшую над землею мансарду, поднявшись по лестнице, постучав в дверь, я увидел его, у окна, с брошенной на пол книгой, внимательно и отрешенно глядящим на расплывавшееся в тумане и в тумане уплывавшее дерево.

— Вот и ты.

— Вот и я...

И он посмотрел на меня — точно так же, как он смотрел, только что, на это дерево, расплывавшееся в тумане; и в сером, тихом, дрожащем и тающем свете лицо его вновь показалось мне изменившимся (я же и не видел его: полгода...), неузнаваемым; и он спросил меня, как я доехал, и сказал мне, что — вот, уже второй день почти не прекращается дождь, и я ответил, что — там, в Москве, то же самое, и он сказал: вот как? — и как если бы дождь там, в Москве, был чем-то почти невозможным... и потом спросил меня: все, ты свободен? — и я сказал: все, я свободен...; и мы пошли с ним сюда, в этот — совсем старый, как мне показалось, совсем серый в сером, пасмурном свете, деревянный, хотя и с кирпичным фундаментом — и с очень острой, очень высокой, в серое небо взлетавшей, взлетающей крышею — в этот дом, разумеется, где я и живу до сих пор, теперь, здесь, поворачивая обратно...; и я познакомился, конечно, с хозяйкой его — не впустить ли мне ее на эти страницы, пускай на мгновение? — вот, вот она идет через сад — уходит, проходит — и договорился, конечно, о плате: за еду и за комнату; и вошел, впервые, вместе с Максом, вошел в эту комнату — еще сам не зная, конечно, не подозревая и не догадываясь, что я буду сидеть здесь когда-нибудь, вот сейчас, описывая свое собственное здесь появление — вот, из вот этой двери — давным-давно, в начале июля: — в эту комнату, следовательно, с окном в сад и дальше: на дюну, с железной печкой в углу и — подобно той, московской, покинутой (что я сразу же про себя и отметил...) — с двумя столами, круглым, посредине, обеденным и, соответственно, письменным, у окна (за ним-то я сейчас и сижу, отрываясь от писания, вновь принимаясь писать...); и разложил вещи, и — среди прочего — положил на стол... вот на этот, некие, еще там, в Москве, сделанные мною записи, вполне, разумеется, предварительные.

— Что это?

— Это? Нет, — сказал я, — нет, это... так. Пойдем же, пойдем же скорее на море...

Оно тоже было серым, я помню, — серым и темным было оно в тот день, море — мы вышли на берег — почти неподвижно лежавшее перед нами (и только изредка, но совсем-совсем редко, не следовавшие друг за другом, но по отдельности, неизвестно откуда приходившие волны, с глухим и словно полым, внутри — как если бы они и эхо свое приносили с собою — полым и сумрачным звуком, разбивались и падали: на твердый, темный песок...); и хотя взгляд терялся, конечно, в безмерном его просторе, оно — в этот серый и пасмурный день, под серым и пасмурным, все ниже и ниже опускавшимся небом — оно показалось мне совсем не таким огромным, каким ожидал я его увидеть: необъятным и все-таки обозримым — нет, необозримым, конечно, но даже в самой своей необъятной необозримости как будто укрытым — укрытым и укрывавшим: и бухту, и дюну, и берег, и меня, и Макса на берегу...

И лишь когда я увидел его (и взгляд мой тут же потерялся, конечно, в безмерном его просторе...), я впервые, быть может, почувствовал, что я действительно — здесь, и в самом деле — приехал; и я повернулся к Максу, я помню, и он, Макс, в двух шагах от меня, смотрел на море, вдаль — с едва заметной, одними глазами, но все-таки замеченной мною улыбкой (и как если бы — так я подумал — как если бы некая веселая тайна объединяла его с этим морем, редкими волнами и вот этой, вот этой, сквозь темный воздух, пасмурный день летевшей куда-то чайкой...); — и потом мы пошли с ним вдоль берега, зашли в дюны, и с другого края деревни, обогнув ее, возвратились домой; и вечером, но уже за ручьем — по дощатому, с косыми перилами мостику перейдя его — вышли, опять-таки, на море; и поднявшись на дюну, и прислонившись, я помню, к сырому стволу сосны, я снова увидел его, сверху, внизу, море, море и море, как будто уходившее вверх, поднимавшееся вдали, огромное и все-таки замкнутое, и вновь, я помню, почувствовал, что я, действительно, здесь, вот здесь, вот сейчас...; и потом была ночь, первая ночь в этой комнате, и дождь, и всплески, и шорохи, и вода, по желобу стекавшая с крыши; и на другой день мы снова пошли с ним: куда-то...: я, следовательно, — как и он, Макс, месяц назад — я узнавал, открывал для себя: и деревню, и дюны, и лес, — проводил линии, отмечал повороты...; но — в отличие от него, Макса, — я вовсе не был один: он, Макс, он был со мною; и он показывал мне все это так, как рассказываем мы о чем-то, как признаемся мы в чем-то важнейшем — с улыбкой: веселая тайна, но вместе с тем очень серьезно, подробно и обстоятельно — и как если бы, в самом деле, что-то важнейшее зависело от того, что вот эта тропинка выводит, опять, на шоссе, а вон та теряется среди сосен, — или так, может быть, как если бы все это: и море, и дюны, и одно дерево там, другое дерево

здесь, и мостик через ручей, и соседняя (мы доехали до нее на автобусе; мы возвратились, я помню, пешком...) — километрах в пяти от нашей — деревня, и почта (с застекленной верандой...), и кусты сирени, и ветер, и облака: — как если бы все это, само по себе, и было неким признанием, — как если бы этим все было сказано, и больше уже не требовалось и даже нельзя было, ни о чем, говорить.

(Лишь однажды, я помню, на третий или на четвертый, может быть, день, и с каким-то, как показалось мне, подчеркнутым отсутствием интереса, он, Макс, но все-таки спросил меня вдруг о театре: на маленькой площади, и о том, идут ли спектакли: по моей пьесе, конечно, и как проходят, и как играет в них Фридрих...; я уже не помню теперь, неважно, что я ответил...)

Я вставал рано: как и он, Макс: как и теперь я встаю, теперь, здесь, поворачивая обратно. Я шел в магазин у шоссе: купить что-нибудь к завтраку; по дороге заходил иногда за Максом; по дороге обратно заходил иногда к нему; мы завтракали обычно вдвоем, в его, Максовой, повисшей над землею мансарде; он варил кофе: с очевидным, для меня, удовольствием повторяя, каждое утро, одни и те же движения: наливая воду в кофейник, насыпая сахар, помешивая... И затем... и затем мне тоже было, в общем, почти безразлично, куда идти и что делать; и почти всякий раз мы выходили, разумеется, на море; и сворачивали, конечно, налево; и по самой кромке воды доходили до опор и столбиков, с их отражениями; и поднимались в дюны; и опять спускались к воде.

И в эти первые дни оно было по-прежнему серым, темным и пасмурным — море, море, конечно — укрывавшим бухту, берег, нас с Максом; и таким же серым, таким же пасмурным небо, опускавшееся все ниже; и в дюнах был, конечно, туман, влага, мелкие капли, срывавшиеся с деревьев, по рукаву стекавшие на руки, гулкое эхо...

— Тебе это ничего не напоминает? — спросил я.

— Нет... что же?

— Ничего, ничего.

И мы опять спускались к воде, и если не было дождя, садились, опять, на песок.

— Подумай, — сказал он. — Вот мы сидим здесь, на берегу моря, на краю мира...

— И... что же?

— Нет, ничего.

А между тем, я прекрасно понял эту мысль, не имевшую продолженья (и точно так же, конечно, как он, Макс, понял — не имевшую продолженья — мою...); и я уже думал, как сказано, об отдалении, отрешении, — о повороте обратно, — о решении

важнейшей задачи...; и оставаясь, к примеру, один, в моей комнате (вот этой, вот этой...), садился, к примеру, за стол (да, вот этот...), и открывал привезенные мной из Москвы, иногда совсем старые записи, и перечитывал, и снова перечитывал их, и добавлял к ним, может быть, что-нибудь: о какой-то осени, какой-то зиме...; и вновь выходил, разумеется, из дому; и шел, один, в лес; один в дюны; сам не зная зачем; удивляясь, все более удивляясь, я помню, тайному, тихому, все более очевидному для меня, отзвуку... неправдоподобно-далекого: в этих, никогда мною прежде не виденных, соснах, елях, осинах..., в падении этих капель..., этом дожде, этой мороси. И заходя снова к Максу, вновь и вновь обнаруживал его у окна, смотрящим на все то же, все то же, с парящею кроною, дерево...; и мы опять выходили с ним: на море.

Мне хотелось расспросить его, к примеру, о чем-нибудь: о какой-то осени, какой-то зиме...; я не решался. В самом деле (думаю я теперь...) он, Макс, хотя и предложив мне приехать к нему сюда: что было, в общем, воспринято мною как знак примирения (мы не были в ссоре...) — он вовсе не отменял, тем не менее, своего, если угодно, запрета. Он и не подтверждал его; он вообще не возвращался к тому утреннему, полгода назад, объяснению; я тоже, конечно, возвращаться к нему не хотел; напоминаний о моих помыслах старался, соответственно, избегать. Мы не говорили о прошлом; мы вообще в это первое время по большей части молчали; шли молча вдоль берега; под мелким дождем.

И затем, как сказано, все, в одну ночь, изменилось; дождь, действительно, перестал; небо взлетело вверх; внезапное солнце засверкало на мокрых крышах, мокрой траве; дома в деревне раздвинулись; деревья вокруг расступились; дальний мыс, дотоле почти невидимый, оказался вдруг очень — дальним, бесконечно-далеким; даже шум волн сделался вдруг иным...

А здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке, — здесь жили в то лето — как уже говорилось (и до сих пор, каждое лето, приезжают сюда из Москвы: и теперь уже снова здесь: неделю назад я встретил их на остановке автобуса...) — некие, уже в силу простой длительности связывающих нас отношений неслучайные персонажи моей, теперешней жизни (таковая, значит, тоже имеется? — да, да, как ни странно — и особенно: летом...) — некие, вновь скажем так, весьма молодые и весьма приятные люди, снимавшие (и до сих пор снимающие, каждое лето...) большой, каменный, за самою дюною, песочного цвета дом, через два дома от моего.

Мы познакомились с ними на берегу — на пляже: если угодно; — мы провели у них несколько, весьма приятных, опять-таки, вечеров, за чашкой чая или стаканом вина, в легкой и милой бездумности.

У них же — вот, следовательно, о чем пойдет теперь речь — у них были в то лето — и до сих пор есть: те же самые — велосипеды; и когда, познакомившись с ними, мы попросили у них — вернее: он, Макс, переглянувшись со мною, попросил у них — чтобы съездить на почту — два, соответственно, велосипеда: — вот, следовательно, когда мы выехали из деревни (был, я помню, прохладный, но ясный и тихий вечер; солнце, уже клонясь к западу — у нас за спиною, — еще отсвечивало, вместе с отражениями облаков, на мокром асфальте...) — и очень быстро — наши тени обгоняли друг друга — поехали по шоссе, еще, конечно, не наизусть, но уже очень хорошо, и мне, и тем более Максу, конечно, знакомому: — так внезапно, я помню, совсем по-иному развернулось оно перед нами, — а вместе с ним и деревья, и облака, и поле, и мокрый асфальт, и уже просыхавшие, но еще, попадая под шины, тихим шепотом, стрекотом, летучими брызгами отзывавшиеся — отвечавшие — лужи; и такая, в этом быстром и легком движении, раскрылась, вдруг, даль...; и когда (доехав до почты, но — нет, не дозвонившись, я помню, в Москву...) — потом, когда ехали мы обратно — в уже гаснущее, красное, розовое, и с мгновенными, вдруг, провалами: в сизый сумрак, в лиловый и фиолетовый мрак, — расплывавшееся и вместе с тем уже замиравшее, уже почти неподвижное небо: — так, в обратную сторону, и на сей раз уже скорее тревожно, таясь и стихая, разворачивалось перед нами пространство; закрывалось, запахивалось за нами...; и все это вместе (и ощущение скорости, и внезапная даль...) так ясно, с такой настойчивостью напомнило нам о чем-то..., о каких-то иных (сказал мне Макс в тот же вечер...) еще, быть может, ржавеющих где-то велосипедах..., — что, одним словом, возвратив и поставив на место эти, чужие (и на полчаса задержавшись, наверное: в приятной бездумности...) — мы, в тот же вечер или на следующий, может быть, день (Макс, опять-таки, первый заговорил со мною об этом...) решились купить свои: свои собственные, значит, велосипеды: решение (думаю я теперь...), с одной стороны, простое и ясное, с другой же (думаю я...) — означавшее, может быть, некое — что же? — некое, может быть, обязательство.

В самом деле, купить велосипеды означало: остаться (здесь, в этой маленькой, за дюной притаившейся деревушке...); мы же еще сами не знали, наверное, сколько времени мы здесь проживем; мы могли в любой день уехать; я, во всяком случае, не предполагал прожить здесь целое лето. Но купить велосипед и уехать через неделю

было бы слишком глупо; купить велосипед означало: остаться — и после, уехав, оставить его: в залог (в самом деле, не везти же его в Москву? да и зачем он там?..); купить велосипед, таким образом, означало: уехав, вернуться; купить велосипед, одним словом, означало: как-то связать себя с этой деревней (с этим шоссе, еще, быть может, с какими-то, еще неизвестными нам дорогами...); я понимал это; Макс (не вернувшийся...) — Макс, наверное, тоже.

Мне, однако (связавшему себя с этой деревней и очень многим — во всех смыслах — обязанному этим местам...), покупать велосипед не пришлось; я жил, как сказано, в том же, деревянном, с кирпичным фундаментом доме; хозяйка его (с тех пор, думаю я, тоже сделавшаяся, если угодно, неким персонажем моей теперешней жизни: вот, вот она идет через сад...) — узнав о моих намерениях, сообщила мне, что у нее есть (и хранится на чердаке; под взлетающей крышею...) уже очень и очень старый, но, по ее мнению, очень хороший и еще вполне поддающийся починке велосипед, каковой и предоставляет она в мое полное распоряжение (и мы, я помню, почти целый день, вместе с Максом, собирали — вернее: сначала разбирали его, смазывали, вновь собирали; как давно, сказал Макс, не слышал я этих слов: педальная каретка, гаечный ключ, задняя втулка...); он же, Макс, дня через три после нашей поездки на почту (я предложил ему, разумеется, поехать с ним вместе; нет, не надо, сказал он...) отправился, на автобусе, и дальше: на так называемой электричке, в один из тех, переходящих друг в друга поселков, где он жил некогда с Фридрихом и где — вторая станция после конечной — был (и есть...) возле станции — магазин спортивных, с позволенья сказать, принадлежностей.

Он предполагал купить там велосипед, собрать его и доехать на нем до дому; сделать это оказалось не просто; часа полтора (говорил он впоследствии...) провел он (улыбнувшись, я помню...) на маленькой, между магазином и станцией, площади, прикручивая гайки, закрепляя винты, оттирая машинное масло; руль болтался, седло тоже, цепь, с непривычки, никак не удавалось ему натянуть.

Но хотя все это было и трудно, и утомительно (и руль, в самом деле, болтался, и цепь, по-прежнему, натянуть не удавалось ему...) — все это (думаю я теперь...) — и эта маленькая, пыльная площадь, и этот теплый, почти жаркий день, и песок, и солнце, блестевшее на песке, и чьи-то, вокруг, голоса, и шаги, и шум поездов, подходивших к станции и вновь от нее отходивших, и даже какие-то, быть может, прохожие, остановившиеся и в бессмысленной неподвижности наблюдавшие за тем, что он делал, и сорванная резьба, и шина, которую он накачивал, и нипель, и колпачок, упавший,

конечно, на землю, и насос, нагревшийся от его усилий, и сами эти усилия, и усталость, и сигарета, которую выкурил он...: все это (думаю я теперь...) как будто складывалось в какое-то, замкнутое в себе целое (с пригнанными друг к другу частями, деталями, винтами и гайками...); он же, Макс (отдалившись, пускай лишь на тридцать пять каких-нибудь километров, вновь, конечно же, поступающий в мое распоряженье и веденье...) — он же, Макс, и был в нем, и не был; он смотрел на все это, на себя самого и свои руки в машинном масле, откуда-то: и как если бы, вдруг раскрываясь, это целое (с пригнанными друг к другу частями...) выпускало и даже выталкивало его наружу, в пространство, с еще невидимыми, но уже словно парившими в воздухе, над площадью и над станцией, соснами, полями и перелесками, дорогами и шоссе: тем же самым, конечно, на которое и выехал он: собрав, все-таки, велосипед.

Тридцать пять (или около того...) километров предстояло ему проехать. И конечно, впоследствии (думаю я теперь...) — впоследствии, в августе — мы проезжали с ним и гораздо большие расстояния (пятьдесят и даже шестьдесят километров в день...); но, конечно, теперь — с непривычки — эти тридцать пять километров казались ему расстоянием огромным. К тому же был он и голоден; он не ел, с утра, ничего. Чем дальше он ехал, однако, — и, в особенности: когда проехал он поворот: к последней, конечной станции, — проехал, у поворота, бензоколонку, — когда, следовательно, оказался он и вправду: снаружи, между лесом и полем, — тем легче было ехать ему; усталость и голод лишь усиливали, быть может, это ощущение легкости, быстрой и радостной; и если (думаю я теперь...) — если испытывал он и что-то вроде тревоги (успеет ли он до темноты? доедет ли он вообще?.. в самом деле, он выехал поздно, и уже втайне, еще почти незаметно, но уже медленно, втайне клонился к вечеру день...) — то, странным образом, эта тревога сама по себе была радостной — и как будто сообщалась: деревьям, полям, — или (что то же...) отвечала и соответствовала какой-то — как-то связанной, может быть, или никак не связанной, может быть, с приближением сумерек — чудесной, блаженной тревоге, которую видел он, крутя педали, в полях и деревьях, — и которую он, Макс, пролетая, в свою очередь как будто подхватывал, и подхватывая увозил, быть может, с собою... И это были уже не те пять километров: до почты, но тридцать или тридцать пять километров: расстоянье огромное; и хотя это было, конечно, все то же, еще, конечно, не наизусть, но уже знакомое ему, Максу, шоссе, совсем, совсем иначе, конечно, разворачивалось оно перед Максом; и вместе с ним поля, и поляны, и прибрежный лес, и мостик через ручей, и деревня, и колодцы, и крыши, и вдруг, в мгновенном промельке, море, и опять лес, и

снова поляны; и со всех сторон окружало его пространство; и впускало, и втягивало его в себя; и вместе с тем как будто выталкивало его, под стук каретки, все дальше, наружу; и свистом, ветром пробегало по рукам, по щекам; трепало волосы; внезапной влагой отзывалось в глазах.

— Вот, — думал он, — да, вот я здесь еду... успеть бы, доехать бы вовремя... Сколько, сколько еще осталось?.. Двадцать... или нет, девятнадцать... скоро будет опять указатель... восемнадцать, может быть, километров... И уже гаснут, уже замирают деревья... уже почти вечер... успеть бы... И о чем я думал?.. недавно?.. неважно... И все, и все, что мы говорим... и даже все, что мы думаем... А... вот... машина... И вторая, и третья... как быстро, как быстро они проносятся... Но и я еду быстро... Боже мой, как быстро я еду... И это со всех сторон... и сзади, и спереди... вон в тех соснах, среди этих кустов... И это нельзя... нельзя... нет, нельзя потерять... вообще... и... что же?.. семнадцать... нет, шестнадцать, еще, километров... Со всех сторон... и сзади, и спереди...

И так, значит, ехал он: все дальше и дальше — не замечая (говорил он впоследствии...), что его, Максова, — я очень хорошо ее помню — брезентовая, с длинною лямкою — ключи, и детали, и запасная камера, которую попросил я его купить, лежали в ней — сумка (он закрепил ее на так называемом заднем багажнике, иными словами: над задним колесом, на крыле: прижав ее, разумеется, но, по-видимому, недостаточно плотно прижав ее тем особым — из толстой проволоки, на пружинах — устройством, название которого мне неведомо — есть ли оно вообще? — и которое он, Макс, впоследствии, назвал просто: креплением...) — не замечая, еще раз, что, покуда он ехал так, сумка, выбиваясь из-под крепления, сползала понемногу с багажника, лямка же оказывалась все ближе, в опасной и очень опасной близости ко втулке заднего колеса: — и вот (тринадцать или, может быть, двенадцать километров оставалось ему проехать...) — и вот, вдруг (шоссе; солнце, уже заходящее, но еще ослепительное; тени сосен, уже вечерние...) — вот, вдруг, велосипед занесло, и сзади послышался грохот, стук, дребезжание, и ему показалось: он падает — но: нет, он не упал, — он успел соскочить, и соскакивая, обернувшись, увидел, что заднее колесо скользит, не вращаясь, сумка же, с дребезгом, лязганием (ключей и деталей...) бьется, в ужасе, об асфальт. Он... ах, он ждал чего-то подобного; не мог же он, в самом деле, купить просто-напросто велосипед, собрать его и доехать на нем просто-напросто до дому; что-то (говорил он впоследствии...) должно было, конечно, случиться — и, конечно, случилось. Она, т. е. лямка, не просто запуталась в спицах; во втулку заднего

колеса удалось ей проникнуть; он пытался освободить ее — и не мог; ткань, с треском, рвалась; колесо не вращалось по-прежнему.

Он сел у обочины; он был счастлив.

Со всех сторон... по ту сторону...

Те же сосны... тот же песок...

И затем... еще полтора часа провел он у этой обочины, поставив велосипед на седло, разбирая заднюю втулку; и добрался, наконец, до подшипников, никогда им прежде не виданных; и высвободив остатки ткани, последние нитки, снова собрал ее, втулку; о траву вытер руки; и уже почти в темноте, но доехал, все-таки, до дому, до своей, повисшей над землею мансарды, где я ждал его, уже начав беспокоиться; и смеясь, я помню, рассказал мне, как это было; и на другой день мы выехали из деревни; и доехали до перекрестка; и свернули направо...; и вот так, следовательно, начались наши поездки: по шоссе и дорогам: по разным дорогам, разным шоссе: *дальше*, вдоль моря: от моря, *вглубь*.

Я (теперь и здесь, поворачивая обратно...) — я мог бы, как сказано, вычертить схему и план этих мест (округи, окрестностей...) — со всеми шоссе и со всеми, пожалуй, дорогами...; и я снова езжу теперь и все еще езжу, один... иногда вместе с кем-нибудь, но чаще один... на его, Максовом, на своем собственном велосипеде (они оба теперь как бы, хотя лишь как бы, мои...); и доезжаю, конечно, до перекрестка; и сворачиваю направо: к морю; и опять налево: вдоль линии берега; и по обсаженной тополями дороге уезжаю все дальше, все дальше; и тополя, вдруг, кончаются; и появляются, вдруг, поляны, перелески, кустарник; и вдруг, в одном-единственном месте, внизу, за соснами: море; и значит, тут же, за соснами: огромный размах морского, ни с каким иным небом не сравнимого неба; и затем уже сосны, сосны — и только; и затем уже заборы, крыши, дома: ближайший к нам, в пятнадцати километрах отсюда, поселок, где есть, тоже, почта, кафе, почти всегда, впрочем, закрытое, магазин — и даже два магазина.

Мне нравилась, мне до сих пор нравится эта дорога; он же, Макс, предпочитал ей то, другое, от перекрестка прямо, шоссе, отходящее от линии берега, прямое и ровное: настолько ровное и настолько прямое, что кажется, в обе стороны идет оно чуть-чуть под уклон, через лес: одним махом, все быстрей и быстрее, проезжали мы десять, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать, может быть, километров; Макс, поднимая голову, смотрел, конечно, вокруг, вдаль; я сам, выпрямляясь в седле, смотрел на Макса, на мелькавшие мимо деревья; и если, как чаще всего и бывало, уже под вечер, во всяком случае после обеда выезжали мы из дому, вдруг — в глаза било солнце, уже

заходящее, еще ослепительное; и вдруг скрывалось за соснами; опять появлялось: из-за стволов, веток, вдруг загоравшихся; и оглянувшись, видел я наши тени, летевшие вместе с нами, за нами; и тени сосен, лежавшие неподвижно; и мы поворачивали обратно или сворачивали, чаще, направо: к морю, следовательно, и вновь, конечно же, к морю: за ручьем и мельницей, и тогда и теперь заколоченной: на еще одно, третье, если угодно, шоссе, идущее, и уже без всяких сомнений, чуть-чуть, потому что к морю, вниз, под уклон, всегда и все эти годы пустынное: ни одной машины, или так мне кажется, ни разу я здесь не встретил. И через пару километров кончался (кончается...) лес; и появлялись (и появляются...) снова поляны, прогалины; перелески: прибрежная низменность; и в оттенках света, в дрожании воздуха тоже чувствуется близость к морю, вновь обретенная; и на одной поляне, между двумя перелесками, есть, еще не отмеченная, вот, следовательно, отмечаемая мною на карте, не очень высокая, и даже скорее низкая, одна-единственная, посредине поляны, сосна, как будто вычерченная мгновенными, быстрыми, тонкими росчерками: Макс, проезжая мимо, всякий раз сбавлял скорость, приподнимался в седле, и затем еще, еще раз оборачивался; и слева, над лесом, уже был, в общем, закат; и первые розоватые отблески уже пробегали, может быть, по раскрывшемуся, над полянами, небу; и летели, по небу, белые, легкие, в розоватых отблесках, облака; и мы выезжали, действительно, к морю: по ту сторону уже упомянутого мною поселка; и поворачивали, еще раз, направо; и закат, соответственно, оказывался у нас за спиною; и кусты, и деревья как будто тоже поворачивались лицом к темноте; затихали, смолкали; и начинался, вновь кончался поселок; дома, крыши, заборы; магазин; другой магазин; и вокруг нас снова были сосны, поляны; тополя, справа, слева; и в вечернем воздухе легко, совсем легко было ехать; и уже как будто сами собою крутились педали, вращались колеса; стучала каретка; потрескивало, посвистывало что-то в низинах; и Макс, я помню, снова, снова оглядывался, проверяя, казалось мне, на месте ли — уже гаснущий, да: уже гаснущий, на месте, закат; и опять склонялся к рулю; набирал скорость; выпрямлялся в седле; и так, значит, ехали мы, возвращаясь домой; и наши, уже вечерние, густые, темные тени, обгоняя нас, обгоняя друг друга, бежали, летели; и вылетали вдруг на обочину; и пересекали, вдруг, перекресток; мы тоже; и если где-то там, у нас за спиною, еще горели, гасли последние отсветы, мы, во всяком случае, уже ехали в ночь, в сон, в темноту; и в темноте, в сумерках все, конечно, менялось, замедляло свой ход, отворачивалось; и дорога, по которой мы ехали, была уже вовсе не той, уже очень хорошо, уже почти наизусть знакомой мне, Максу дорогой, но: какой-то дорогой,

просто дорогой; вообще дорогой, неизвестно куда; и он, Макс, обогнавший меня в темноте, уже не был более Максом, но — я смотрел ему вслед — смутной тенью, шелестом шин по асфальту; и мне казалось, мы будем еще очень и очень долго ехать так, в темноте, по какой-то, вообще и просто дороге, неизвестно, нет, неизвестно куда...; а между тем, мы уже подъезжали к деревне; въезжали в деревню; уже были — дома. И на другой день снова ехали, конечно, куда-нибудь.

— И знаешь, — сказал он мне как-то, — если вдруг, на полной скорости, остановиться, тогда после ветра, шума, стука и скрипа наступает вдруг такая пронзительная, поразительная, почти осязаемая тишина...

Мы так и сделали: на том, третьем, я очень хорошо это помню, от мельницы к морю, шоссе; и вот, действительно, после ветра, шума, движения, возбуждения, стука и скрипа, наступила, опустилась, сгустилась: поразительная, почти осязаемая, пронзительная, безмерная тишина; и мы стояли, прислушиваясь; и он, Макс, с перекинутой через раму велосипеда ногою, и я сам, переводя дух, замерев: долго, очень долго стояли мы так: и глядя, конечно, на ту, уже и только что отмеченную мною на карте, между двумя перелесками, во все стороны раскинувшую свои тонкие, быстрые, отделенные друг от друга, мгновенными росчерками прочерченные в воздухе ветви, сосну, синий лес за поляной...

— Но знаешь, — сказал он в другой раз, — есть еще мгновения тишины, вполне удивительной. Между двумя волнами, на море... и даже при очень сильном ветре, — сказал он.

Я не знал этого; я знаю: теперь; вновь и вновь, выходя на море, пытаюсь я поймать эту краткую, крошечную, едва уловимую паузу, это мгновение тишины, в самом деле, когда одна волна уже отступила, другая уже подступает, и уже готова упасть, и — не падает, не падает, медлит..., затем, как будто не выдерживая своей собственной тяжести, перехлестывая через свой собственный край, обрывается, ударяется о песок, отступает..., и вот опять, между нею и следующей, уже подступающей, эта, и даже при сильном ветре, краткая, совсем краткая пауза, эта как бы задержка падения, задержка дыхания: в чарующем промежутке, между вдохом и выдохом...

А были, были, как сказано, — и бывают, конечно, по-прежнему, — дни очень сильного ветра, такого ветра, что все билось: в испуге, трепетало: в тревоге, и все листья всех кустов, всех деревьев поворачивались своей обычно невидимой, светлой, другой стороною; и ни о каких поездках не могло быть, конечно, и речи; зато очень теплой и всякий раз неожиданно теплой, теплее воздуха, оказывалась, или казалась,

вода, почти до сосен заливавшая берег; и огромные, приходившие друг за другом, но все-таки, всякий раз, чудесной паузой и мгновенной задержкой друг от друга отделенные волны сбивали с ног, меня, Макса, захлестывали, поднимали, бросали...; и войти в воду было легче, чем выйти; выходить не хотелось; куда-то в сторону относил нас прибой; совсем далеко от спрятанных за кустами колкой травы полотенец выходили мы на берег; бежали к ним, на бегу согреваясь; на ветру замирая...; вечером же отсвечивало все это розовым, красным; сизым, серым, зеленым; ярко-красным, яростно-розовым... И бывали, напротив, совсем жаркие, душные, неподвижные дни, с бессильно повисшим над морем, одним-единственным каким-нибудь облаком, безмолвным его отражением; и дни густого, сплошного, темно-белого или, может быть, сверкающе-белого, сверху, но невидимым солнцем освещенного, пронизанного тумана; и снова ясные, жаркие; прохладные, ясные дни; по утрам, просыпаясь, я видел, в окне, за окном, косые тени деревьев, росу, блестевшую на траве; однажды, совсем рано проснувшись, вышел из дому, поднялся на дюну, остановился: и глядя, разумеется, на море, за соснами, выше сосен, в мерцаньях и отблесках, подумал, я помню, что вот сейчас, выкупавшись, я вернусь домой и начну писать просто-напросто, с начала, с первой страницы...; и затем вдруг увидел его, Макса, на берегу: скинув рубашку, сняв брюки, вошел он, вздрогнув, в еще вполне ледяную, разумеется, воду; среди отблесков и мерцаний исчез; опять появился.

— Давай, — сказал он, я помню (когда, в свою очередь, проплыл я, замирая от холода, пять, допустим, взмахов в одну, пять в другую, соответственно, сторону...) — давай поедем куда-нибудь... но куда-нибудь вглубь.

— Вглубь? — сказал я.

— Ну да, просто вглубь, через лес и от моря. Посмотрим, что там, — сказал он.

— Но только сначала выпьем кофе, — сказал я.

Мы выехали из деревни, пересекли шоссе, и через лес, по одной из, в разные стороны расходившихся просек (по той же самой, наверное, по которой он, Макс, на второй или на третий день по приезде, шел, один, неизвестно куда...) поехали — неизвестно куда, в свою очередь, нет, не сворачивая направо, все дальше и дальше, все по той же, песчаной (колеса увязали в ней...) просеке, среди редких, высоких, в наклонном утреннем свете чуть-чуть колебавшихся сосен. Мы не знали, конечно, что там, за лесом; мы еще и не подозревали, должно быть, о существовании каких-то холмов, долин, хуторов; подъемов и спусков; совсем неожиданно, я очень хорошо это помню, увидели мы, за расступившимися соснами, поле; совсем неожиданно холм; дорогу,

уходившую вверх; и на поле, рядом с дорогой, огромный камень, валун; и еще огромную тень его, чуть-чуть колебавшуюся, опять-таки: вместе с колосьями уже чуть-чуть пожелтевшей пшеницы. Мы остановились, конечно; мы слезли с велосипедов и очень, я помню, медленно (утро; легкий ветер; тихий, совсем тихий шелест колосьев...) пошли по дороге, дошли до камня и вновь, конечно, остановились. Я подошел к нему; я потрогал его рукою; его поверхность была твердой, темной, неровной, — (неровной и трудной...) — в быстрых, тонких, мгновенных прожилках; он всегда стоял здесь: так я подумал.

— Дальше?

— Дальше, конечно...

И дальше был, действительно, холм, дорога, очень круто уходившая вверх, и справа, вдали, на другом холме, хутор, деревья и дом: белые стены, темная крыша. И так ясно, я помню, отсвечивало, на повернутой к нам стене, и в окнах, повернутых к нам, так ярко сияло солнце (вставaвшее у нас за спиною...) — и так четко, на этой белой стене, проступали, вполне крошечные, тени деревьев, что — нет, я обернулся: поле, через которое мы прошли и проехали, лежало внизу неподвижно, безмолвно, и уже ровной чертою чернел покинутый нами лес...; и затем был спуск, поворот, и — (канава, крапива; мы снова остановились...): кусты шиповника и заросли уже почти спелой малины.

— А это... что это: знаешь?

— Нет.

— Дикий тмин, вот что это такое.

— Неужели?

— Попробуй.

И — опять поворот, — подъем, спуск, — другой холм, другое поле, — перелесок, мостик, ручей, — и опять дорога, и огромные лужи (каждый год и каждое лето я нахожу их: в тех же самых местах...): и мы слезали с велосипедов и снова на них садились; и хотя уже разгорался, уже набирал силу день, и солнце вспыхивало, вдруг, на руле, и нежным жаром пробегало, вдруг, по рукам, свет и тени еще были ранними, утренними, и последние клочья тумана еще лежали в оврагах, в низинах; и чем дальше мы ехали, шли, тем дальше отступало от нас море, отступал от нас лес, прибрежный, деревни, поселки..., и тем сильнее делалось, во мне, тревожное, радостное, с горьковатым привкусом тмина и мгновенной сменою запахов, ощущение: отрешенной глуши, не знающей и не имеющей выхода, раскрытой и все-таки замкнутой; и мне

вновь казалось, наверное, что мы будем идти и ехать вот так, неизвестно куда, в глубь, в глушь, бесконечно; и потом мы опять, я помню, остановились.

Совсем неподвижно, еще раз, безмолвно, еще раз, лежала она перед нами, эта, уже давным-давно упомянутая мною долина, с ее полем, уже начавшим желтеть, аистом, блуждающим по полю, с ее, посреди поля, хутором, деревьями, его окружавшими. И так ясно, так ясно, еще раз, отсвечивало, на повернутой к нам стене, и в окнах, повернутых к нам, так ярко сияло солнце, что — нет, дальше, дальше; и дальше: холмы, поросшие лесом; и еще дальше, за ними: другой лес, другие холмы, едва различимый, едва различимые; голубые за синими; и небо; и, конечно же, белые, застывшие, легкие, с розовато-перистой россыпью между двумя из них, сзади, вставшим солнцем освещенные, обведенные облака. И так тихо было вокруг, такая неподвижность во всем, такое безмолвие в воздухе, что (подумал я...) — вот, еще немного, еще одно какое-нибудь, совсем крошечное, быть может, усилие — и все это исчезнет, исчезнет: исчезнет поле, исчезнут холмы, растают, уплывут облака; и Макс, стоявший рядом со мною, и я сам, и наши велосипеды, лежавшие у обочины, и обочина, и дорога, и репейник, и подорожник: все, все исчезнет, ничего не останется: вот сейчас, вот сейчас...

Лишь легкий ветер; лишь тихий, совсем тихий шелест колосьев.

И это было, я помню, так, как если бы я вновь оказался лицом к лицу с самой тайной, самой таинственной, важнейшей, может быть, из всех моих предпосылок: создающей и вместе с тем превышающей: все возможности — всякого осуществленья...

Я не выдержал; я отвернулся.

И подойдя к велосипеду (лежавшему у обочины...), толкнул, я помню, переднее (повисшее в воздухе...) колесо: колесо завертелось — мир снова ожил.

Макс же, посмотрев, я помню, на это — очень долго и очень медленно замиравшее в своем вращении — колесо, на меня, — вдруг, посмотрев, рассмеялся; и не сказав друг другу ни слова, мы поехали дальше, влево, вниз, по дороге (огибавшей долину, исчезавшей за выступом леса...); и в конце концов (спуск, подъем, спуск; холмы и снова холмы...) выехали на какое-то — пустынное, прямое шоссе.

— Налево, направо?

— Направо. Нет, пожалуй, налево...

Это, как мы вскорости поняли — вновь, через несколько километров, въехав в прибрежный, сосновый, в пятнах солнца: на мху, на траве, но все-таки темный, густой, по обе стороны, лес — это было шоссе, отходящее от соседней, уже много и много раз

упомянутой мною деревни; мы ехали, значит, обратно, к морю, домой; и в последний раз оглянувшись, я в последний раз увидел: холмы, даль, уже исчезавшую; и затем была уже только дорога, шоссе; ветер, стук, скрип; и мгновенный промельк деревьев, полян, каких-то бревен, сложенных у обочины; и затем уже соседняя (в пяти километрах от нашей...) деревня; и автобус, нас обогнавший; и машина, летевшая нам навстречу; остановка: столбик, скамейка.

Я (еще и еще раз...) — я мог бы вычертить схему и план этих мест (округи, окрестностей...): шоссе, к примеру, отходящее от соседней деревни, приводит, в итоге, после двух поворотов, в ближайший к нам и отнюдь не курортный, очень маленький, но все-таки город (железнодорожная станция; мощенные булыжником улицы; церковь; рынок; тоже: кафе...): туда-то и отправились мы — через неделю, может быть, после только что описанной мною поездки: двадцать пять километров в одну и столько же в другую, соответственно, сторону: почти, сказал Макс, путешествие.

Был пасмурный... нет, без дождя... но все-таки, снова, пасмурный и даже серый, отчасти, день; быстро и очень быстро доехали мы до соседней (в пяти километрах...) деревни, повернули направо, проехали, так же быстро, прибрежный, по обе стороны, лес: — и вот, значит, вновь (я ждал их...) холмы, и поля, и эта (на сей раз: темная, серая...) — и эта темная, серая даль, неподвижная, в безмерном безмолвии, исчезающая: я ждал ее, я готовился к ней: к ней нельзя приготовиться; и справиться с ней (думал я...) — справиться с ней — невозможно...

И уже промелькнуло, пролетело, пропало то место, где, неделю назад, выехали мы на шоссе; и за ним был крутой, пугающей крутизны, спуск; и дальше, вновь: лес; и за лесом, снова: холмы; и снова поля; темный день, серая даль...

— Не надо, — говорил мне Макс, — не надо ехать так быстро. Пятьдесят километров: почти путешествие...

Но я не мог удержаться; и он, Макс, на самом деле, удержаться тоже не мог; все так же быстро ехали мы; чуть медленнее на подъемах; еще быстрее на спусках; со всех сторон, и справа, и слева, окружало нас, в блаженной тревоге, пространство, раскрытое, замкнутое; и впускало, и втягивало нас в себя; и выталкивало нас, все дальше, наружу; и свистом, ветром пробегало по рукам, по щекам; и трепало волосы; и внезапной влагой отзывалось, конечно, в глазах...

Этот — отрезок пути (мы следили за указателями...) занимает ровно тринадцать (схема, план...) километров; затем: поворот (отмеченный, и значит отмечаемый мною теперь: одновременно крепким и стройным, вполне старым, наверное, у самой обочины,

дубом...); и дальше, за поворотом: еще семь километров до города, по уже чуть более оживленному (машины; хутора за деревьями; сено, собранное в стога...), но все же, в общем, пустынному, среди полей, холмов петляющему шоссе. Там тоже есть очень крутой, очень трудный, если ехать на велосипеде, подъем; и сразу за ним: крутой, или может быть, не очень крутой, но зато очень долгий, среди холмов, полей — очертания их все время меняются — очень долго петляющий спуск; и затем: еще один поворот; и уже, у обочины, на жестяной, проржавевшей по краю табличке, название города; но еще, почти километр: поля; еще, без всяких сомнений: холмы; и — я очень хорошо это помню — на чуть-чуть наклонившемся, влево, с отсутствующими проводами, столбе: большое, круглое, темное, на темном фоне, гнездо, в гнезде же: белая, на темном и сером фоне, с совершенной четкостью, в профиль, от него отделенная, и вместе с тем как будто вбирающая в себя этот фон, темный день и серую даль: белая, с опущенным клювом, птица: аист, опять-таки: неподвижно, совсем неподвижно стоял он: очень прямо: застыв, замерев.

— Смотри, смотри, — (Макс; оборачиваясь...).

И я смотрел, смотрел как мог, изо всех сил, всей мерою зрения.

Я сбавил скорость; я выпрямился в седле.

Я был уже совсем близко к роману; я приближался к нему: с каждым взмахом педалей.

А между тем, мы уже въезжали в город, и дорога сменилась улицей, обочина тротуаром, и вокруг уже были дома, поначалу еще деревянные, потом уже каменные, низкие, старые, двух-, трехэтажные, с отваливавшейся, по большей части, краскою, штукатуркою; сараи в тесных дворах; пыльные, в окнах, цветы: маленький, совсем маленький город: ему, Максу (о чем он тут же сказал мне...) напомнивший, в общем, те, один другого печальнее и вокруг Москвы, города, по которым ездил он, вместе с театром, год... неужели всего лишь год?.. да, год назад... и: поехали отсюда скорее: сказал он.

Но мы все-таки посидели, я помню, в кафе; и выпили кофе; и зашли, я помню, в магазин спортивных, вновь скажем так, принадлежностей; и на железнодорожной станции обнаружили кассу, где (при наличии свободных мест...) можно было (и до сих пор можно...) купить билет на любой поезд в любом направлении; и возле рынка (уже закрытого...): огромную, совершенно пустынную, поразившую нас своим размахом и размерами площадь, с крошечными, на другой стороне ее, двух-, трехэтажными,

каменными, очень старыми, вполне обветшавшими, беспомощно и неловко прижавшимися друг к другу домами.

И потом, когда ехали мы обратно, — выехали из города, проехали (аиста в нем уже не было...) темное — на темном фоне — гнездо, — и тот, не очень крутой, но очень долгий, среди холмов, полей очень долго петляющий спуск обернулся, конечно, подъемом: не очень крутым, но очень и мучительно долгим, — и мы, я помню, упорствовали, и в конце концов, я помню, сдались, слезли с велосипедов и пошли, значит, просто пешком: — вот тогда-то, я помню, поднимаясь, вместе с Максом, пешком, по бесконечному склону холма, по шоссе, я увидел, в дали (на этот раз: очень медленно, но все-таки менявшей по-прежнему свои контуры, свои очертания...), вдали — через поле, ложбину, овраг — за деревьями: медленно — так же медленно, может быть, как меняла свои очертания и контуры даль, — очень медленно, бесшумно, безмолвно подъезжавший к городу поезд: и каждый вагон в отдельности: я сосчитал их: и последний, почти игрушечный, за деревьями, за поворотом железной дороги, нам невидимой, исчезавший: исчезнувший...

Я остановился; Макс тоже.

Я снова вспомнил, конечно же, то далекое и очень далекое, то очень раннее утро, когда мы стояли вместе с Верой... да, Вера... на вершине, тоже, холма, глядя вдаль...; и то другое, то совсем далекое и совсем раннее утро, конечно же, когда, впервые или как будто впервые увидев его, Макса, еще безымянного, стоял я, на опушке леса, один, с внезапным... и вновь ко мне возвратившимся... внезапным чувством: внезапного пробужденья...

И вот тогда-то, на обратном пути — мы снова ехали, уже не так быстро — проехали поворот, проехали дуб у обочины — вот тогда-то, на обратном пути, я впервые, я помню, заговорил с Максом... о чем же?.. да, я помню, я помню, конечно, о чем... о его, Максовых, им, Максом, только что и так кстати для меня упомянутых, поездках, вместе с театром, по разным, вокруг Москвы, городам... об этих городах и об этих поездках, о которых он уже рассказывал мне когда-то... о которых он совсем иначе, конечно, рассказывал мне теперь.

Как же? Вот именно: как же?

— Но как же все изменилось, — сказал он, — когда, — улыбнувшись, — когда и как только начались репетиции... пьесы, тебе известной...

И крутя педали, глядя вокруг, и затем опять, я помню, остановившись, сидя, я помню, в уже почти прибрежном лесу, на сложенных у обочины бревнах, говорили мы,

впервые после спектакля, о спектакле, о репетициях... вообще, следовательно, о театре: на маленькой площади... вообще, следовательно, об этом, еще таком близком, но уже так далеко, от нас обоих, от Макса и от меня отступившем, с театром связанном времени...; и вечером, возвратившись в деревню, в его, Максовой, повисшей над землею мансарде, и на другой день, поехав *дальше*, вдоль моря, вновь, я помню, говорили о нем... о прошлом, следовательно, и впервые о прошлом...; и от этого, позднего, близкого, уже отступившего, перешли, почти незаметно, к иным, далеким, ранним, очень далеким, самой природой своею, еще раз, своей окраской, звучанием, значением и смыслом отделенным друг от друга, несравнимым друг с другом... и теперь уже, в общем, собранным... отчасти опущенным, отчасти описанным... но, в общем, уже собранным мною, теперь, здесь, временам...

Нет, нет, он не отменял по-прежнему своего, если угодно, запрета; к тому, утреннему, полгода назад, объяснению по-прежнему не возвращался; я тоже; лишь изредка, я очень хорошо это помню, каким-нибудь быстрым взглядом, быстрой улыбкой, показывал он, что он знает... прекрасно знает, конечно же, о чем идет речь.

И он говорил обо всем этом — как же?.. — да, как будто отмахиваясь от этого прошлого, как будто отстраняя его от себя, и вместе с тем, вот что странно, вполне подробно и даже, чем дальше шло время, тем подробнее, тем обстоятельнее; и в конце концов, уже не дожидаясь моих вопросов (каковые, соответственно, прекратились...), начал сам рассказывать мне... о какой-нибудь зиме, о какой-нибудь осени, но по-прежнему, удивительным образом, как будто отмахиваясь от них, отстраняя их от себя: и как если бы для него, Макса, все это уже не имело никакого или почти никакого значения, и он предпочел бы, наверное, вообще ни о чем подобном не говорить, но, тем не менее, и раз уж мы заговорили об этом, то, пожалуйста: вот как все это было...; вокруг же были поля, и поляны, и перелески; и снова ясные, жаркие; и прохладные, и ясные дни; и лето, уже приближавшееся втайне к концу; и выгоревшая на солнце, пожелтевшая от зноя трава, уже намекавшая на возможность иной, совсем иной желтизны...; и еще раза два или три доезжали мы, я помню, до той, уже много раз упомянутой мною долины, с ее полем, аистом, хутором; важнейшей моей предпосылки; и положив велосипеды, садились, в свою очередь, у обочины; и за одной цепью холмов была еще одна цепь; за одним лесом другой; и между августом, осенью прошло, значит, сколько же? два года, конечно...; но сколько бы времени ни прошло между ними...; и колесо вращалось; и мир оживал; и мы ехали, к примеру, обратно; или, может быть, дальше; и выезжали, вновь, на шоссе; и вечером, уже в сумерках возвратившись в

деревню, сидели, допустим, на остановке, на скамейке у столбика; и всякий раз задолго, издалека слышался шум, к примеру, какой-нибудь, приближавшейся понемногу машины; и свет фар ее появлялся задолго до ее появления; и пролетал почти по небу; и затем уже по кустам, по деревьям; и скрывался, вместе с нею, за поворотом; шум же еще долго и очень долго отзывался в тишине, затихая...; и в другие дни сидели мы, допустим, в его, Максовой, повисшей над землею мансарде — или вновь, допустим, у моря, еще озаренными последними, по облакам, по воде пробегавшими отблесками, уже гаснущего — или погасшего, но еще долго и очень долго, опять-таки, светившегося своим собственным, затаенным и призрачным, как будто внутрь повернутым светом...; и словно поручив мне (так думаю я теперь...) и стремление к прошлому, и само это прошлое, как будто отдавая его, еще и еще раз, в мое распоряжение и ведение, с рук на руки, или так мне казалось, передавая мне свою, нашу жизнь, он вдруг умолкал, разумеется, и пересыпал руками песок, и смотрел, конечно, вокруг... вновь и вновь, следовательно, возвращаясь в то чистое, отстраненное (а настоящее, думаю я теперь, и есть, может быть: отстраненность...) — в то настоящее, следовательно, о котором мы не говорили, которое само, разумеется, сказывалось: в том, как говорил он о прошлом, — и в котором было, значит, море, еще раз, своим собственным светом светившееся в темноте, и шум волн, окутывавший нас на мгновение, и на другой день снова поля, и дороги, и опять остановка, и вновь мансарда, вновь море.

И я шел только что, возвращаясь домой, мимо Максовой, с тех пор нисколько не изменившейся, как уже говорилось, мансарды, и совершенно ясная тень ее лежала на освещенном луною поле, и тень дерева, с его парящей по-прежнему в воздухе, в осязаемом сумраке, кроною...

Там есть один холм, как сказано, один-единственный холм, там, в глубине, с которого, и только с которого, в какой-нибудь, в конце лета, к примеру, как будто настежь распахнутый день, видна бывает, вдруг, тоненькая, за всеми прочими холмами, полями и перелесками, чуть более светлая, чем лес, синеющий на горизонте, чуть более темная, чем небо, синеющее над лесом, тоненькая, совсем тоненькая, темно-синяя полоска воды: море, море, еще и еще раз, бесконечно далеко отступившее, внезапно, безмолвно и призрачно возникающее за всеми прочими холмами, полями, между лесом и небом, сливаясь с ними, отделяясь от них...

— Да, как август, — сказал Макс, — как август, как август. А впрочем... Бог с ним, с этим августом, — сказал он, я помню.

И вдруг засмеявшись, пошел, по склону холма, к велосипедам, оставленным у обочины, и через несколько, вслед ему, моих собственных и вполне удивленных шагов, она, полоска, исчезла, лес и небо сомкнулись.

И затем все опять изменилось, в одну какую-то ночь; проснувшись, наутро, вновь увидел я, за окном, темно-серое, совсем низко нависшее небо, с отчетливо отделявшимися от него, еще более низкими, чуть менее темными, серо-дымчатыми и очень быстро летевшими облаками; и капли дождя на траве, на ветках и листьях, уже желтеющих; и дождь этот, целый день, то начинался, то снова кончался, то превращался вдруг в совсем мелкую, совсем тихую морось; и на другой день снова в нее превратился; и выходя в лес, или в дюны, один или с Максом, снова слышал я во всем этом, в падении этих капель, отзвук августа... Бог с ним... да, Бог с ним, конечно... а между тем, он сам, Макс, он первый заговорил со мною об этом, и сказал, что да, да, похоже, да, очень похоже...; и в глуши, в чащобе стоял уже совершенно осенний, уже грибной, терпкий запах; и стволы осин казались простым сгущением воздуха; и уже почти дойдя до шоссе, мы повернули направо, и пошли через ясный, сосновый, как будто расступавшийся перед нами, мягкими и мокрыми иглами, валежником устланный лес...; и даже если они ничего не хотят от нас, эти деревья...; он улыбнулся, я помню; он ушел, я помню, вперед; все дальше и дальше уходил он, как некогда, почти теряясь среди замерших сосен, в гулкой влаге, со всех сторон окружавшей его... И были ночи, конечно, и шелест веток, и всплески, и шорохи, и вода, по желобу стекавшая с крыши, и редкий шум по шоссе пролетавших машин, издалека появлявшийся, понемногу стихавший...; и я вдруг снова видел ее целиком... и как некое целое, мою, следовательно, еще и еще раз, теперь уже так близко подошедшую к завершенью историю... со всеми ее поворотами; и вспоминая август, вспоминал, среди прочих времен, прочих зим, ту снежную, темную, теплую, вторую зиму в истории, те, тогдашние, теперь уже куда более понятные мне ощущения...; самую... и самую тайную, может быть, из всех моих предпосылок... И уже все разъехались, и мы проводили на остановку наших... теперь уже только моих, и теперь уже снова уехавших отсюда знакомых, и нам самим уже следовало подумать об отъезде, о билетах на поезд — куда же? Он предложил мне поехать сначала в тот, совсем другой город, лишенный названия; я согласился. И мы поехали прежде всего за билетами, в ближайший к нам, в двадцати пяти километрах отсюда расположенный, как сказано, город, отнюдь не курортный, не на велосипедах, на сей раз, на попутных машинах, и причем (дочертим карту и проведем последние линии...) не по тому, отходящему от

соседней деревни (машины попадались там редко...), но по чуть более оживленному, от уже давным-давно, много раз упомянутого мной перекрестка (мы доехали до него на автобусе...) отходящему — влево — шоссе, по которому, на велосипедах, почти никогда мы не ездили, до сих пор я не езжу. Там слишком много подъемов, для машины не трудных, если ехать на велосипеде — мучительных. Но никаких машин не было; и постояв немного на остановке, у перекрестка (тоже, разумеется: столбик, тоже: скамейка...), мы пошли, я помню, пешком, по шоссе, черневшему, загибавшемуся среди едва знакомых нам сосен; и затем, через два километра, поймали, все же, машину, легковую машину, очень быстро — подъем, спуск и снова подъем — холмы, поля и снова холмы — один, другой хутор — долетевшую, домчавшуюся до города, с его булыжником мощенными улицами, железнодорожной станцией, кассой; еще более пустынным, печальным, заброшенным показался он мне в тот день. Мы купили билеты; мы зашли, снова, в кафе. Домой? Да, домой. И надо было снова ловить машину, и было не совсем понятно, я помню, где же ее ловить. Мы решили выйти из города — и очень долго шли, я помню, по неожиданно длинными оказавшимся улицам, мимо двух-, трехэтажных, мимо каких-то, вдруг, новых, или сравнительно новых, пятиэтажных, по большей части, домов, огородов, заборов, сараев. Все это кончилось; машин опять не было. И когда появился вдруг... мы обернулись... выезжавший из города и набиравший скорость, на шоссе, грузовик, Макс, посмотрев на меня, рассмеявшись, взмахнул, конечно, рукою, и выбросил ее в воздух, и вновь, выдохнув, опустил; и грузовик, проехав, остановился; и мы побежали к нему по обочине; и совершенно ясно — вот, вот, на бегу — видел я и белый, конечно, песок, и белый щебень, и мостик через канаву, и последнюю, непонятно откуда возникшую и уже ничего не окружавшую изгородь, и поле, открывшееся за нею, и мелкий, за полем, еловый лес на пригорке, с двумя, тремя, может быть, светлыми и до самых крон обнаженными соснами, возвышавшимися над ним...; и Макс, договорившись с водителем, сказал мне: в кузове: конечно, в кузове мы поедем; и мы поехали, разумеется, в кузове, сидя, в глубине его, на каких-то, на сей раз, кусках не очень чистого, я помню, картона. Но что-то грохотало и гремело вокруг нас, по-прежнему, задний борт кузова, может быть, с его железными, продетыми в петли, задвижками...; и совсем, и совсем огромным казалось это темное, серое, низкое, над убегающими полями, улетающими деревьями, небо...; и трепал, конечно же, волосы, и стоило нам повернуться, пробегал, конечно же, по щекам — дорожный, влажный, всем пространством, всей далью отзывавшийся ветер...; и был ручей в низине, и какое-то, вдруг, болото, и трава, и кочки, и — снова — холмы, и

хутор, и мокрое сено, собранное в стога, и еще один хутор; и грузовик, на перекрестке, остановился; и мы проводили его, конечно, глазами — он поехал прямо, уменьшаясь в размерах, свернул налево: вдоль линии берега — и пошли, снова, пешком — автобуса в обратную сторону не было — по теперь уже очень хорошо знакомому нам шоссе, по которому, впрочем, пешком никогда не ходили; и шли очень быстро, я помню; и чем дальше шли мы, тем легче было идти; и теперь уже прибрежный лес стоял, вокруг, неподвижно; и уже почти были сумерки, когда дошли мы, наконец, до деревни. Вот так, вот так все кончается... И весь вечер просидели мы в его, разумеется, Максовой, над землей повисшей мансарде; и на другой вечер, за день до отъезда, тоже сидели в ней; и в эти последние дни, не дожидаясь моих вопросов, но по-прежнему, удивительным образом, как о чем-то уже отступившем, уже почти не имевшем значения говоря обо всем этом, он рассказал мне, как он здесь жил до меня, без меня... о почте, о встрече с Алексеем Ивановичем...; и вновь засмеявшись, вновь сказал, что — вот так, вот так все кончается... вот и это лето закончилось...; и что же, спросил я его, что же будет теперь?..; только не говори мне, сказал я, что тебе... все равно. Мне действительно все равно, сказал он, смеясь. Хотя, с другой стороны... нет, неважно, неважно. И спустившись по лестнице, я увидел звезды, среди облаков, и еще немного постоял, разумеется, держась руками за мокрые, деревянные, крашеные, и с отстающею краской, перила.

54

Я был уверен, что я вернусь; я не знал лишь когда; в последний раз, уже из автобуса, посмотрел я на столбик, скамейку; двери закрылись, автобус отъехал.

И вот, следовательно (электричка, поезд, бессонная ночь...) — вот, значит, после каких-то, вполне поддающихся описанию, но все-таки безымянных дорог, полей, перелесков, — хуторов, холмов и долин, как будто затерянных, в своей безымянности, в огромном, неизмеримом, со всех сторон окружающем их пространстве, — возникающих из него и опять исчезающих в нем, — вот, значит: улицы, парки, проспекты, дворцы и каналы, — или, иначе: названия, — с такой уверенностью вписанные в пространство, что (говорил я Максу: мы шли, я помню, по набережной, от Зимнего к Марсову полю: Нева, ветер; серый ветер над серой рекою; и на том берегу: Петропавловская, с ее шпилем и кусочком песчаного берега, крепость; и —

обернувшись: Ростральные колонны, Васильевский остров, Биржа, Стрелка, ступени, ведущие прямо к воде...) — что (говорил я...) этот город, не правда ли? кажется — или вдруг кажется, может быть: своим же собственным, не правда ли? описанием..., — вот, следовательно, после безымянных, каких-то, долин и затерянных, где-то, холмов, этот (говорил я Максу...), хотя и лишенный имени, но как будто насквозь описанный и почти совпадающий со своим же собственным описанием город, — этот город (еще и еще раз...), где он, Макс, был... неужели всего лишь год?.. да: год назад, где сам я несколько лет не бывал и где, на второй или, может быть, на третий день по приезде, Макс, сворачивая с Невского проспекта на Екатерининский канал, столкнулся, значит, с шедшим ему навстречу, сворачивавшим, соответственно, с канала на Невский — Сергеем Сергеевичем (устроителем, режиссером...).

Об этой встрече мне нечего больше сказать; о ней все уже сказано; давным-давно уже сказано.

Сергей Сергеевич... да, Сергей Сергеевич взял его под руку и пошел с ним вместе, вдоль Екатерининского канала, то есть, со своей точки зрения, обратно. Он приехал, как выяснилось, на два дня, уезжает сегодня вечером. Позволено ли ему будет спросить? Конечно, конечно... И уже начинали желтеть, краснеть, как сказано, клены, там, в Михайловском, им, Максом, особенно любимом, как сказано, парке, уже совсем низким, осенним казалось нависшее над лужайкой, над кленами, в темных тучах, серое небо... Единственное... единственное событие... во всяком случае, для него, Макса, единственное... Предупредить заранее? Он не мог, он не знал. Сразу после? Он не решился. Что? другие возможности? другие роли и другие спектакли? Жалеет ли он о них? Вот сейчас, в общем нет... Но скажите, Сергей Сергеевич... Подвел? Нет, не очень... Идемте? Идемте... И они шли уже вдоль Лебяжьей канавки, мимо Летнего сада, и вышли, значит, к Неве, и — что же?.. Надежды не сбылись? ожиданья не оправдались? Оправдались — на свой лад? сбылись — но иначе? Дождь, такси... всего наилучшего. И уже в машине, усевшись на переднее, рядом с шофером, сиденье, Сергей Сергеевич — наконец: писал я когда-то — в последний раз: пишу я теперь — Сергей Сергеевич, уже сидя в машине, в последний раз, наконец, сложил руки на груди и пошевелил, на прощание, пальцами. Машина, брызнув водой из-под колес, развернулась, отъехала; Макс, оставшись один, пошел дальше, по набережной, перешел на Васильевский остров: и затем еще очень долго, как сказано, стоял, под мелким дождем, на Стрелке и глядя на воду, набегавшую, ложившуюся на ступени, вновь отступавшую..., ни о чем, конечно, не думая, но с отчетливым, чуть-чуть, может быть, удивлявшим его самого, чувством, да, завершения...

чего же?.. уже завершенного... но все-таки завершения, завершения..., отчасти похожим, наверное, на то чувство, которое я сам испытываю, здесь и теперь, с каждым днем все отчетливее и с каждой страницей яснее.

Но как же, все-таки, как они кружат в пространстве, эти поезда, электрички, подрагивают на ходу, грохочут, гудят, проводят линии, вычерчивают узоры, и медлят, и снова стремятся, и вдруг, и вдруг поворачивают...

Соня, следовательно, сидевшая на скамейке...

И, конечно же, все это, все это... и этот вновь темный, вновь пасмурный, уже так давно отмеченный мною на карте, проплывавший за окнами, остановившийся день, и Павловск, волшебное место, и вокзал, и парк, и холмы, и аллеи, и влажный воздух, и дымка в низинах, и это огромное, опять-таки, серое, над холмами и над деревьями нависавшее небо, и павильоны, и беседки, и статуи, и ручей, и мостик, отражавшийся в тихой воде, и островерхая башенка на берегу, и далекие очертания дворца, и пожелтевшие липы, и желтые листья, и вся эта наша поездка, и все мои мысли, понемногу во мне умолкавшие... о разных, о совсем разных, конечно же, понемногу умолкающих во мне временах, о моей, следовательно, уже готовой начаться и теперь уже, в общем, кончающейся, во мне самом умолкающей понемногу истории, со всеми ее поворотами, скрещениями линий, смещениями перспективы, событиями, персонажами, встречами..., да, все это, все это, все это кажется мне теперь простым приближением к ней, уже так давно появившейся, вовсе не исчезавшей...; и мы шли к ней медленно, медленно, долго, так же медленно, как шли когда-то, навстречу друг другу...; и когда прошли мимо, Макс, обернувшись, остановился; и пошел обратно; я тоже; и темный гравий поскрипывал у нас под ногами; и тихо шуршали листья; и аллея вдруг запахнулась; и... все прочее уже давным-давно рассказано мною. Упомянем, в последний раз и в белой с черными полосами обложке роман, лежавший у нее на коленях; упомянем, конечно, дворец и внешнюю его галерею; полулестницу и полутропинку; мостик и снова мостик; павильон с колоннадой. И он сам не понимает теперь, сказал Макс по дороге обратно, почему он не позвонил просто-напросто Ингмару, Хельге, не спросил у них ее телефона...; она этого тоже не понимает, сказала Соня; хотя, с другой стороны, ее телефона у них, по всей вероятности, нет. Нет? Нет. То было, в ее жизни, более или менее случайное знакомство, сказала она. В моей тоже, ответил Макс. Бывают, впрочем, такие случайности... И на другой день встретились мы у Исаакиевского, и на третий возле Казанского, как уже говорилось, собора...; и она

знала его, как выяснилось, гораздо лучше, чем мы его знали, этот город, лишенный названия, насквозь описанный и почти совпадающий со своим описанием...; и ты можешь, конечно, писать все, что хочешь, сказал мне Макс, в поезде, по дороге в Москву, в конце вагона и в тамбуре, где горел, разумеется, свет, и отражения наших лиц, наших рук проплывали сквозь туманные сумерки, сквозь тени деревьев. Все, что хочешь; я снимаю запрет. Спасибо, сказал я. Но знаешь ли ты, что ее вполне могло бы не быть, моей и нашей, сказал я, истории? Я знаю, так он ответил. И уже совсем тусклыми казались огни промелькнувшей станции, еще какие-то, по краю проступавшего в сумерках поля, далекие, сиреневые огни.

55

Все тихо вокруг. Да, вот оно — в последний или, может быть, в предпоследний раз — это дерево, с его парящей по-прежнему в воздухе, с его, уже понемногу желтеющей кроною...

Уже осень, следовательно: уже опять, значит, осень: здесь, в этой маленькой, за дюною притаившейся деревушке...

И я еще не уезжаю отсюда, нет... провожая глазами автобус... еще не уезжаю отсюда. И мне предстоит еще дописать ее до конца, мою, как ни странно, историю... и еще с самого начала переписать ее, разумеется. Я не знаю... я все еще не знаю, удивительным образом, сколько времени проживу я здесь, на берегу моря, на краю мира, в отрешенной глуши.

Вот письмо, сегодня утром полученное мною от Сони.

Сколько лет мы не виделись? — пишет она среди прочего. Я считаю, я путаюсь в счете... И сколько лет мы еще не увидимся? Год? Больше года? Ты дошел уже почти до конца, пишешь ты? Ты собираешься начать все сначала? Ну что же...

А здесь уже почти осень, в городе, желтые листья. И я встречалась вчера с Алексеем Ивановичем, и мы очень долго говорили с ним о тебе.

Макс тоже о тебе спрашивает? Макс? Вот именно: Макс.

Знаешь ли, где он теперь? Он просил не говорить тебе этого. Ты сам догадываешься, быть может.

Я догадываюсь, конечно.

И я по-прежнему, все так же и как все эти годы, занимаю, конечно, свою, каждое утро, позицию; и все стихает вокруг; смолкает во мне; и даже шум волн, крик чаек тут же снова сливается с окружающей меня тишиною...

Мы возвратились, значит, в Москву, в этот, еще и в последний, в предпоследний раз, быть может, таинственный, огромный, невероятный, самый странный на свете город: и когда мы возвратились в Москву, наступило, сразу же, позднее, совсем позднее время, решительной и резкой чертою отделенное от всех предыдущих.

Уже все было ясно, с чего, где...; но, как сказано и нарушим снова запрет, я должен был — простейшая форма зависимости — подумать о заработках: каких же? Я придумал каких; я сделал несколько переводов; я написал кое-что, откровенно прибыльное, так скажем; я не рассчитывал, разумеется, что денег, мной заработанных, хватит мне для решения важнейшей задачи.

(Их не хватило, конечно; решение ее затянулось; оно было бы вообще, наверное, невозможным, во всяком случае здесь, не будь той, весьма скромной, впрочем, поддержки, которую, все эти годы, оказывали, и продолжают оказывать мне, за что я им весьма, конечно же, благодарен, неслучайные, еще и в последний раз, персонажи моей, в последний, в предпоследний раз, может быть, жизни...)

Я был очень занят, как бы то ни было, и с Максом — в свою очередь заканчивавшим свою, так называемую, учебу — мы почти, я помню, не виделись.

Мы оба виделись с Соней; она жила, как выяснилось и как сказано, совсем недалеко от тех мест, где жил я, в старой, поддающейся или почти поддающейся описанию части города, в двумя полукружиями во двор, до тех пор мне неведомый, фасадом же, с тремя колоннами, в очень и очень хорошо знакомый мне переулок выходившем и до сих пор выходящем, наверное, доме.

Я познакомил ее с Алексеем Ивановичем; я все рассказал ей: поздно вечером, у меня дома: в той же комнате, следовательно, где когда-то, давным-давно, все рассказал я — Вере.

И это был уже, я помню, октябрь, конец октября; и были желтые листья по краям мостовых, мокрым блеском отсвечивавшие на мокром асфальте, и редкие звезды над темными крышами, и прозрачные отсветы в тонком, таяющем небе.

И затем выпал снег, и листья исчезли, и Макс, с которым я почти не встречался, но пару раз все-таки встретился, сказал мне как-то и между прочим, что — вот, на днях, видел он, вполне мельком и совершенно случайно, хозяев той дачи, которую когда-то снимали его, нарушим запрет и скажем снова, родители, и —

— Что же? — спросил я.

— Нет, ничего, — сказал он. — Так, ничего...

И еще я вспоминаю один разговор с Алексеем Ивановичем, в середине зимы и в его, Алексея Ивановича, во двор и настежь распахнутой по-прежнему комнате.

— Значит, скоро вы уезжаете?

— Да, уже скоро.

— Все это очень, вообще, интересно. Но самое интересное, конечно, что будет потом.

— Когда — потом? — спросил я.

— Ну, потом... потом, после романа.

— Ах, вот этого я не знаю, — сказал я. — Вот этого я совсем не могу представить себе. Но что-то должно быть... иное... в жизни, — сказал я. — Иное время, иное пространство...

— Я тоже так думаю.

Но еще все было так же, конечно; и в этом, по самой природе и самой сути своей зимнем городе была, в известном смысле последняя, лишь походя, но все-таки отмечаемая мною на карте зима; последняя зима в этом городе; и значит, сугробы; значит, ранние сумерки; фонари и снежинки; карнизы, обведенные снегом...; и лишь в самом конце ее, в начале весны, я, решившись и закончив последний, опять-таки, самый трудный, я помню, очень долго не дававшийся мне перевод, отправился, вместе с Соней, зашедшей ко мне в тот день, на вокзал, где, в кассе и почему-то смеясь, к удивлению кассирши, купили мы — на через неделю (как сказала Соня...) билет: один билет: на поезд и для меня.

И эту последнюю неделю провел я, конечно, прощаясь, блуждая по городу; и в последний, весенний, с внезапными порывами ветра, внезапным снегом и солнцем, столь же внезапным, с легкими, быстрыми, улетающими сквозь снег и уже морскими какими-то облаками, ясный, путаный день, у Сони встретился с Максом: впервые, после нашего возвращения в Москву, увидев их, значит, вдвоем...; и простившись с ними обоими, вышел, я помню, на первый, с его аллеей, на второй, с его сплетением веток, бульвар; и в конце бульвара спустился в метро; и проехав три... нет, четыре... четыре, разумеется, остановки, оказался на том, третьем, если угодно, бульваре, откуда, сверху, виден был, как сказано, весь, почти весь, может быть, город: крыши и купола...; и уже в сумерках зашел, я помню, в театр: на маленькой площади...; и уже совсем поздно вечером, в последний раз, к Максу.

— Я напишу тебе оттуда, — сказал я.

— Нет, — сказал он.

— То есть как... нет?

— То есть... нет, ты можешь мне, разумеется, написать, но я вряд ли тебе отвечу, — сказал он.

— В таком случае я позвоню тебе... оттуда, с почты, — сказал я.

— Нет, — сказал он.

— Нет?

— Нет. Во-первых, меня скоро не будет здесь, — сказал он. — Ты уедешь, но и я не останусь... И во-вторых...

— Во-вторых?

— Во-вторых, у меня тоже есть свои планы, свои, как ты выражаешься, помыслы... Так что давай не звонить и не писать друг другу, — сказал он. — Потом... когда-нибудь... встретимся и все друг другу расскажем...

— Но... Макс, — сказал я.

— А что? — сказал он. — По-моему, это... правильное решение. Или... нет?

— Я не знаю, — сказал я.

— На самом деле я тоже не знаю, — сказал он.

И когда, на другой, уже самый последний, опять ясный, вновь путаный, с тем же ветром, теми же, освещенными солнцем, улетающими сквозь снег облаками, весенний и влажный день, я ехал, уже в сумерках, на вокзал, оттуда, сверху, с третьего, если угодно, бульвара, видны были уже только окна, огни...; и очень долго, конечно же, ходил я, занеся чемодан в купе, по перрону...; и лежа, на верхней полке, засыпая, вновь просыпаясь, вспоминал и, казалось мне, вспомнил, под стук колес, все... уже отступившее, вновь предстоящее; почти не данность, только задание...; и совсем иначе, конечно же, выглядели те курортные, с голыми ветками, станциями, те поселки, с расступившимися домами, мимо которых ехал я, утром, на электричке...; но так же быстро, конечно, не заботясь о встречных машинах — их просто не было — летел и мчался, по ровному и прямому шоссе, почти пустой, я помню, автобус.

И вот соседняя деревня, и вон там, за теми соснами, почта...

И я посидел, конечно, на остановке, на скамейке, у столбика, и посмотрел, конечно, на белый песок у обочины, на небо, с быстрыми, легкими, да, все теми же, вставшим солнцем освещенными облаками...

Я предупредил о моем приезде заранее; комната была для меня приготовлена.

Она почти не изменилась с тех пор, эта комната, с ее круглым, обеденным, с ее письменным столом, у окна, железной печкой в углу...; и мне странно думать, теперь, что, когда я уеду отсюда, соберу вещи, книги, сложу рукопись в папку, уже мною купленную, следы и знаки, так скажем, моей жизни — здесь, исчезнут... почти сразу, наверное, и что если не следующим, то через одно лето, к примеру, здесь будет жить, в этой комнате, кто-нибудь, мне незнакомый, меня тоже не знающий...

Ни о чем подобном, тогда, когда-то, я, конечно, не думал.

Еще последние льдины лежали у самого берега, еще последние пятна снега в тех тенистых местах, где пляж переходит в дюну...

И еще почти неделю, я помню, бродил я по дюнам, по берегу, успокаиваясь, дожидаясь успокоенья...; и потом подумал, я помню, что дожидаться его не следует, дождаться его невозможно, что слова хоть и приходят откуда-то, из какого-то, в себе самом таящегося безмолвия, но что и безмолвия без слов не бывает, без слов не услышать...; и вдруг, и снова решившись, написал, наконец, на самой первой, вот она, с тех пор уже чуть-чуть пожелтевшей, чуть-чуть помявшейся, потому что первой, странице:

— Я поворачиваю обратно...

— Я поворачиваю обратно, — так написал я. — Мне часто вспоминается теперь эта фраза, сказанная когда-то Максом. Он сказал ее совсем просто, как что-то обыкновенное и не имеющее значения, и тем более странно прозвучала она в окружавшей нас тишине...

И — что же? — и он остановился, конечно, достал сигареты и закурил... и потом медленно, как будто все еще раздумывая и сомневаясь, повернулся и пошел обратно, туда, откуда мы пришли... Да, медленно, медленно, еще раздумывая, еще сомневаясь, началось оно, это каждый день прерываемое, но и каждый, почти каждый день, все эти годы, возобновляемое мною движение...; и я сам не знал поначалу, куда, по каким дорогам пойду я...; и чем дальше я шел, тем яснее видел я эти дороги, эти линии и скрещения их...; и весна превратилась в лето, лето в осень и осень, соответственно, в зиму...; и бывали, конечно, удачные, и бывают, конечно, по-прежнему, но были, но и бывают совсем, совсем неудачные дни...; дни успеха и недели провалов...; и очень и очень многое написано мною лишь начерно...; лишь кое-как и предварительным образом...; но все же, как-то, написано...; и временами, в дни неудач, мне хотелось, конечно, уехать, и некое простейшее одиночество я тоже, конечно, испытывал...; и все-таки оставался...; и всякий раз оставался...; и снова была весна, и вновь лето, и... я сам

уже путаюсь в счете... снова осень, снова зима...; еще весна, еще лето...; и... и вот теперь уже осень, вновь осень...; и желтые, и красные листья, уже падающие, уже облетающие...; и прозрачная влажность в воздухе, и легкая дымка...; и я еще не уезжаю отсюда, нет, не уезжаю отсюда...; и я буду до тех пор переписывать все это, покуда — что же? — покуда оно само не закончится, само собой не закончится, это — вновь начинающееся движение...

Так все и было.

Так все и было: думаю я теперь (теперь, здесь: где и когда?..) — в моем теперешнем теперь, здешнем здесь: в ином времени и в совсем ином, конечно, пространстве: в этой (так думаю я теперь...) уже по ту сторону моей истории, там — нет, тоже здесь... еще здесь и на этих страницах, невозможной и все-таки вспыхивающей, на мгновение, точке: в этой точке, в этой тоже, конечно, позиции — и тоже, разумеется, у окна (отметим ее, эту точку... она вспыхивает, она гаснет... но все-таки отметим ее, вне истории, синеющей, за окном и на горизонте, горою, черепичной крышей соседнего дома и тремя соснами, как будто замершими на полпути от крыши к горе: двумя рядом и одной, конечно, поодаль...) — так все и было, еще раз, и я еще почти целый год переписывал, в самом деле, мою, да, историю, придавая и в конце концов придав ей тот вид, который она имеет теперь, отбрасывая ненужное, удаляя излишнее, исправляя неправильное, заполняя пробелы. И некоторых, в конце концов исключенных мною страниц, отвергнутых мною сцен мне до сих пор, может быть, жаль, и кое с чем, в этом окончательном тексте, я до сих пор, может быть, не согласен... Как бы то ни было, еще почти целый год прожил я там... теперь уже там... в той... теперь уже в той... за дюною притаившейся деревушке; и была, конечно, зима, был снег и сугробы, был дым над белыми крышами, был лед на море, льдины, исчезавшие, вновь появлявшиеся... наконец, растаявшие, в одну какую-то ночь; мох и вереск в дюнах; весеннее тепло; жара; лето. И когда опять пожелтели, еще не падая, листья, когда вновь повеяло холодом и прозрачной дымкой окутался берег, я обошел деревню, в последний раз, и объехал на велосипеде округу, и собрал, действительно, вещи, книги, и сложил рукопись в папку, и в последний раз вышел на море, и... автобус отъехал, двери закрылись... и взглянув, в последний и самый последний раз, на выступ леса, скамейку и столбик, после бессонной и вполне бессонной, разумеется, ночи, на другое утро и не в силах справиться с изумлением, оказался вдруг... тоже: в том... самом странном на свете, огромном, невероятном, таинственном... и теперь уже вновь покинутом мною городе, с его утраченными названиями, с его сохранившимся названьем, в Москве.

Я взял такси на вокзале; я втащил чемодан по лестнице.

— Но как же... но как же ты изменился...

— Изменился?..

— Но как...

И так странно, я помню, было снова ходить по этим, отчасти неописуемым, отчасти уже описанным мною улицам, узнавая, не узнавая их более, мимо этих домов.

Я позвонил Соне; я позвонил Алексею Ивановичу.

Он за два дня прочитал мою рукопись; он спросил меня, я помню, похоже ли: похоже ли получившееся на то, что когда-то мне виделось; я сказал, конечно, что нет, совсем непохоже.

— Ну и... что теперь? — спросил он.

— После романа?

— После романа.

— Нет, я не знаю. Вообще... есть ведь и другие города, другие земли, — сказал я. — Посмотрим... поддаются ли они описанию...

Соня же, с которой встретились мы на бульваре, сказала мне, что... она так и думала, и что, конечно, мне здесь уже... нечего делать. Макс, кстати, тоже так думает.

Макс?

Вот именно: Макс.

Я не спросил ее, где он теперь. Я знал, где он.

И мы прошли, я помню, бульвар целиком... с его, все той же, в бесконечную даль уходящей аллеей... и свернули, я помню, в один, и в другой переулок, и простившись с нею, я еще долго смотрел ей вслед, еще очень долго видел ее; обернувшись и помахав мне рукою, исчезла она, наконец, на каком-то, уже осеннем углу.

Я доехал на метро до вокзала; поезда, электрички стояли там так же, вполне неподвижно, у никаким снегом не заметенных, конечно, перронов, с редкими желтыми листьями на отчасти мокром, после ночного дождя, отчасти уже просыхавшем, я помню, асфальте. И так же медленно шел этот поезд, последний в моей истории, так же медленно, от станции к станции; и за окнами проплывали, конечно, дома, и все те же заборы, и какие-то, наверное, склады, и далекие крыши, и затем уже лес, и поле, и перелесок, изгиб дороги, шлагбаум. И вдруг опять пошел дождь, и косыми каплями побежал по стеклу, и закончился. И уже из тамбура, сквозь узкое, в подтеках и копоти, дверное оконце увидел я, разумеется, магазин, и дорожку, к нему ведущую, и деревья вокруг него...; и поезд остановился, и двери открылись...; и вот, значит, после шума,

движенья, мельканья, в тишине, со всех сторон меня обступившей, эта станция, желто-зеленая, уже осенняя, еще, в общем, летняя, с ее, все той же, на противоположной платформе, назад и набок завалившейся по-прежнему кассой, часами и минутною стрелкою, мелкими лужами в углубленьях асфальта, каплями дождя на перилах, на листьях и ветках, все та же. И я стоял на ней, выброшенный откуда-то и брошенный, конечно, куда-то...; в последний раз, может быть, и в самый последний...; и были ступени, разумеется, лестницы, вполне стоптанные, как оказалось...; и пахло влагой, и пахло травою...; и еще пытаясь, может быть, что-то, и даже все, в последний раз, вспомнить, шел я, все дальше и дальше, мимо этих, так знакомых, как никакие другие, где бы я впоследствии ни оказался и что бы ни случилось со мною, никогда уже мне знакомы не будут, домов, мимо этих заборов, вон той канавы, вот этой крапивы, и как только вышел на ту, нашу улицу, увидел его: его, Макса.

Он вышел, в свою очередь, из лесу; он шел домой, по всей вероятности; он прошел уже, я это видел, тот дом, где сам я когда-то жил; он шел, значит, так же, как я шел в то утро; и я, значит, так же, как он; он заметил меня, разумеется; но: медленно, но так же медленно шли мы навстречу друг другу, с каждым шагом все ближе, и так же медленно падал, конечно, какой-то, сорвавшийся с дерева лист, мокрый, желтый, первый, последний, так медленно, что казалось, ему вообще не долететь никогда до земли, кружился, падал, снова кружился, и он, Макс, то вынимая, то снова засовывая руки в карманы, смотрел, конечно, по сторонам, на меня, и уже совсем близко была та калитка, в которую свернул он когда-то, и ветви яблонь, нависавшие над забором, и откуда-то оттуда, из яблонь, послышался вдруг щебет какой-то, нет, невидимой птицы, и больше ничего я не слышал, свои собственные шаги, ничего, и так, значит, шли мы, с каждым шагом все ближе, так же и так же медленно, еще и еще раз, как шли тогда, в то первое утро, и значит так же, думаю я теперь, в моем теперешнем теперь, здешнем здесь, как движется вот эта, вот эта, уже последняя и самая последняя... неужели я допишу ее... вот сейчас... фраза, как двигалась... как все еще движется моя и наша, со всеми ее... я вспоминал их, пока не поздно... вспоминаю их, в последний раз... поворотами, событиями, персонажами, встречами, поездами и станциями, улицами, домами, сугробами, облаками и листьями, зимами, осенями, веснами, будущим и прошлым, история, приближаясь к концу, до конца, бесконечно. —